

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

А. Писемский

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением
А. П. Могилянского

Подготовка текста и примечания
Ф. И. Евнина
(«Мещане»),
М. П. Еремина
(«Русские лгуны», «Уже отцветшие цветки»)

МЕЩАНЕ

Роман в трех частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

В Большом театре давали «Травиату». Примадонна была восхитительна. В переднем ряду, между все почти военными, сидел один статский. В его фигуре, начиная с курчавой, значительно поседевшей головы и весьма выразительного, подвижного лица до посадки всего тела, проглядывало что-то гордое и осанистое. Он сидел, опершись своими красивыми руками на дорогую палку. Костюм его весь состоял из одноцветной материи. По окончании первого акта, когда статский встал с своего места и обернулся лицом к публике, к нему обратился с разговором широкоплечий генерал с золотым аксельбантом и начал рассказывать, по мнению генерала, вероятно, что-нибудь очень смешное. Статский выслушал его весьма внимательно, но в ответ генералу ничего не сказал и даже на лице своем ничего не выразил. Тот, заметно этим несколько обидевшись, отвернулся от статского и, слегка поддувая под свои нафабренные усы, стал глядеть на ложи. В это время с другой половины кресел стремился к статскому другой военный, уж какой-то длинновязый, с жиденькими усами и бакенбардами, с лицом, усыпанным веснушками, с ученым знаком на груди и в полковничьих эполетах. Он давно со вниманием заглядывал на статского, и, когда тот повернул к нему лицо свое, военный, как-то радостно воскликнув: «Боже мой, это Бегушев!» — начал, шагая через ноги своих соседей, быстро пробираться к нему.

— Александр Иванович, вы ли это? — произнес он, останавливаясь, наконец, перед Бегушевым.

Что-то вроде приветливой улыбки промелькнуло на губах того.

— Ах, Янсутский, здравствуйте! — проговорил он, протягивая военному руку и как бы несколько обязательным тоном.

После того Янсутский некоторое время переминался перед Бегушевым, видимо, отыскивая подходящий предмет для разговора.

— Но каким же образом вы на опере Верди? — придумал он, наконец.

Бегушев усмехнулся.

— Что вас так удивляет это? Я очень люблю эту оперу,— отвечал он.

— Но знатоки, кажется, вообще не слишком высоко ставят Верди?..— больше спросил Янсутский.

— Я не особенный знаток...— протянул Бегушев.

— Ну, как вы не знаток!..— возразил Янсутский и затем прибавил:—Как, однако, много времени прошло с тех пор, как я имел честь познакомиться с вами за границей... Лет пятнадцать, кажется?

— Да,— протянул и на это Бегушев.

Янсутский придал затем печальное выражение своему лицу.

— А Наталья Сергеевна, как я слышал, кончила жизнь?

Лицо Бегушева окончательно омрачилось.

— Она умерла, — проговорил он.

После этого оба собеседника опять на некоторое время замолчали.

— А вы тоже в Москве живете? — сказал Бегушев как бы затем, чтобы что-нибудь сказать.

— Я, собственно, больше живу в вагонах, на железной дороге. Я занимаюсь коммерцией: распорядитель в нескольких компаниях и сам тоже имею подряды. Нельзя, знаете: в год тысчонок шестьдесят—восемьдесят иногда зашибешь,— приятно это и соблазнительно...— объяснил Янсутский.

— Но каким же образом вам позволяют носить ваш военный мундир? — спросил Бегушев явно удивленным голосом.

— Да... ну, это что же!.. Я, собственно, схлопотал и сохранил себе эту форму больше для апломба. Весу она, знаете, как-то больше дает между разным этим мужичь-

ем: подрядчиками... купцами!.. Россия-матушка еще страна варварская: боится и уважает палку и светленький позументик!

Бегушев на это молчал

— Вы, если я не ошибаюсь, дом свой в Москве имеете? — допрашивал его Янсутский.

— Свой-с! — отвечал ему лаконически Бегушев.

— Надеюсь, что вы позволите мне быть у вас,— продолжал Янсутский, слегка кланяясь,— у меня тоже здесь свой дом, который и вы, может быть, знаете: на Тверской, против церкви; хатка этакая небольшая — на три улицы выходит... Сам я, впрочем, не живу в нем, так как бываю в Москве на время только...

Бегушев и на это совершенно промолчал.

— Буду иметь честь явиться к вам! — заключил Янсутский и, расшаркавшись, отошел от Бегушева; но, проходя мимо широкоплечего с аксельбантом генерала, почти в полспины поклонился ему. Генерал протянул ему два пальца. Янсутский пожал их и, заметно оставшись очень доволен этим, вышел с некоторою гордостью на средний проход, где, приостановившись, взглянул на одну из бельэтажных лож, в которой сидела одна-одинехонька совершенно бабочке подобная дама, очень богато разодетая, с целым ворохом волос на голове, с лицом бледным и матовым, с светлыми, веселыми глазками и с маленьким, вздернутым носиком. В продолжение всего акта она совершенно не слушала оперы, сидела даже отвернувшись от сцены, очень часто зевала и прислонялась головкой к спинке кресел, как бы затем, чтобы заснуть. Единственным развлечением ее была стоявшая на перилах ложи бонбоньерка, из которой она беспрестанно таскала конфекты, нехотя сосала, жевала их и некоторые даже выкидывала из своего хорошенького рта. Увидав Янсутского, дама сделала ему пригласительный знак рукою. Тот кивнул ей, в свою очередь, головой и через несколько минут вошел к ней в ложу.

— На, съешь конфетку! — начала она, как только что он уселся рядом с ней.

— Подите, не хочу! — отвечал Янсутский.

— Съешь!.. Съешь непременно! — повторила настойчиво дама и почти насильно сунула ему в руку огромную конфекту.

Янсутский улыбнулся, пожал плечами; но делать нечего: начал есть конфекту.

— С кем ты с последним мужчиной говорил? — спросила дама.

— С Бегушевым.

— А ты разве знаком с ним?

— Давным-давно,— отвечал Янсутский.

Дама после того, прищурив свои хорошенькие глазки, начала внимательно смотреть на Бегушева.

— А он в самом деле очень хорош собой! — проговорила она, с живостью повертывая свою головку к Янсутскому.

Бегушев в это время все еще стоял лицом к публике и действительно, по благородству своей фигуры, был как отменный соболь между всеми.

— Чем же особенно хорош? Наконец, он не молод очень,— старик почти! — возразил Янсутский.

— А он богат? — продолжала расспрашивать дама.

— Богат!

— Говорят, он очень умный и ученый, что ли?

— А черт его знает, умный ли он и ученый! — произнес уж с некоторою досадливостью Янсутский.— Но кто ж тебе говорил все это про него?

— Домна Осиповна, разумеется!.. Кто ж больше!..

Янсутский при этом усмехнулся.

— Значит, это правда, что она с ним сошлась?

— Еще бы не правда!..— воскликнула дама.— Вчера была ее горничная Маша у нас. Она сестра моей Кати и все рассказывала, что господин этот каждый вечер бывает у Домны Осиповны, и только та очень удивляется: «Что это, говорит, Маша, гость этот так часто бывает у меня, а никогда тебе ничего не подарит?»

Янсутский снова на это усмехнулся.

— Как же это так случилось? Домна Осиповна всегда себя за такую смиренницу выдавала! — сказал он.

— Пожалуйста, смиренницу какую нашел! — произнесла насмешливо его собеседница. — Она когда и с мужем еще жила, так я не знаю со сколькими кокетничала!..

— Но тогда она это делала, как сама мне говорила, для того, чтобы ревность в муже возбудить и чтобы хоть этим удержать его около себя.

— Ну да, так!.. Для этого только!..— горячилась дама.— Кокетничала, потому что самой это приятно было;

но главное, досадно,— зачем притворничать? Я как-то посмеялась ей насчет этого Бегушева, она вдруг надулась: «Я вовсе, говорит, не так скоро и ветрено дарю мои привязанности!..» Знаешь, мне хотела этим маленькую шпильку сказать!

— И за дело!.. Зачем же вызывать на такие разговоры, когда кто их сам не начинает...

— Я их теперь и не начну больше никогда с ней!.. — сказала дама и при этом от досады сделала движение рукою, от которого лежавшая на перилах афиша полетела вниз. — Ах! — воскликнула при этом дама совершенно детским голосом и очень громко, так что Янсутский вздрогнул даже немного.

— Что такое? — спросил он.

— Посмотри, я афишу уронила,— продолжала дама, загибая голову вниз,— вон она летит и прямо-прямо одному старичку на голову; а он и не чувствует ничего, ха-ха-ха!

И дама, откинувшись на задок кресла, начала хохотать.

— Перестань, Лиза; разве можно так держать себя в театре! — унимал ее Янсутский.

— Не могу, не могу удержаться!..— говорила дама.

Янсутский покачал только с неудовольствием головой и, встав со стула, начал поправлять ремень у своей сабли.

— А ты разве не поедешь ко мне ужинать? У меня папа̀ будет и привезет устриц! — проговорила дама.

— Бог с ним, с твоим папа́, и с его устрицами... Мне еще нужно в одном месте быть.

— Так вот что...— начала дама, и голос ее как бы изменил своей обычной веселости.— Каретник опять этот являлся: ему восемьсот рублей надобно заплатить.

Что-то вроде кислой гримасы пробежало по лицу Янсутского.

— Заплатил уж я ему,— отвечал он с явной досадой.

— И потом...— продолжала дама, голос ее все еще оставался каким-то нетвердым,— из магазина от Леон тоже приходили, и ты, пожалуйста, скажи им, чтобы они и не ходили ко мне... я об этих противных деньгах терпеть не могу и разговаривать.

— А вещи когда берешь, это любишь? — заметил ей ядовито Янсутский.

— Вещи я, конечно, люблю, а потом я хотела тебе сказать, — сердись ты на меня или не сердись, но изволь непременно на нынешнее лето в Петергофе дачу нанять, или за границу уедем... Я этих московских дач видеть не могу.

— Успеем еще это сделать, — отвечал Янсутский, уже уходя.

— Непременно же! — крикнула ему вслед дама.

В продолжение всего этого разговора генерал с золотым аксельбантом не спускал бинокля с ложи бабочке подобной дамы, и, когда Янсутский ушел от нее, он обратился к стоявшему около него молодому офицеру в адъютантской форме:

— Это madame Мерова, если я не ошибаюсь?

— Да-с! — отвечал адъютант.

— И в ее ложе, по обыкновению, Янсутский!..— продолжал генерал.

— Как всегда! — отвечал с улыбкой адъютант.— Очень, говорят, она дорого ему стоит! — прибавил он негромко.

— Дорого? — полюбопытствовал генерал.

— Тысяч двадцать пять в год! — объяснил адъютант.

— Ого, сколько!..— произнес негромко, но заметно одобрительным тоном генерал.

При разъезде Бегушев снова в сенях встретился с Янсутским, который провожал m-me Мерову. Янсутский поспешил взаимно представить их друг другу. Бегушев поклонился m-me Меровой с некоторым недоумением, как бы не понимая, зачем его представляют этой даме, а m-me Мерова кинула только пристальный, но короткий на него взгляд и пошла, безбожнейшим образом волоча длинный хвост своего дорогого платья по грязному полу сеней... От рассеянности ли она это делала или от каких-нибудь мыслей, на минуту забежавших в ее головку,— сказать трудно!

К подъезду первая была подана карета m-me Меровой, запряженная парою серых, в яблоках, жеребцов. M-me Мерова как птичка впорхнула в карету. Ливрейный лакей захлопнул за ней дверцы и вскочил на козлы. Вслед за тем подъехал фаэтон Янсутского — уже на вороных кровных рысаках.

— Кто это именно дама, с которой вы меня познакомили? — спросил его Бегушев.

— Это одна моя очень хорошая знакомая,— отвечал Янсутский с некоторой лукавой усмешкой.— Нельзя, знаете, я человек неженатый. Она, впрочем, из очень хорошей здешней фамилии, и больше это можно назвать, что par amour! [1]. Честь имею кланяться! — И затем, сев в свой экипаж и приложив руку к фуражке, он крикнул: — В Яхт-клуб!

Кровные рысаки через мгновение скрыли его из глаз Бегушева.

Нет никакого сомнения, что Янсутский и m-me Меровою, и ее каретою с жеребцами, и своим экипажем, и даже возгласом: «В Яхт-клуб!» хотел произвесть некоторый эффект в глазах Бегушева. Он, может быть, ожидал даже возбудить в нем некоторое чувство зависти, но тот на все эти блага не обратил никакого внимания и совершенно спокойно сел в свою, тоже очень хорошую карету.

Кучер его, выбравшись из ряда экипажей, обернулся к нему и спросил:

— За Москву-реку прикажете ехать?

— Туда! — отвечал Бегушев.

Кучер поехал.

Глава II

На Таганке, перед большим домом, украшенным всевозможными выпуклостями, Бегушев остановился. В доме перед тем виднелся весьма слабый свет; но когда Бегушев позвонил в колокольчик, то по всему дому забегали огоньки, и весь фасад его осветился. На все это, разумеется, надобно было употребить некоторое время, так что Бегушев принужден был позвонить другой раз. Наконец, ему отворили. Он вошел и сделал невольно гримасу от кинувшегося ему в нос запаха только что зажженного фотогена. Три приемные комнаты, через которые проходил Бегушев, представляли в себе как-то слишком много золота: золото в обоях, широкие золотые рамы на картинах, золото на лампах и на держащих их неуклюжих рыцарях; потолки пестрели тяжелою лепною работою; ковры и салфетки, покрывавшие столы, были с крупными, затейливыми узорами; драпировки на окнах и дверях ярких цветов...

---

[1] по любви! *(франц.)*

Словом, во всем чувствовалась какая-то неизящная и очень недорогая роскошь. В этих комнатах не было никого; но в четвертой комнате, представляющей что-то вроде женского кабинета, Бегушев нашел в домашнем туалете молодую даму, сидевшую за круглым столом в покойных креслах, с глазами, опущенными в книгу. Это была та самая Домна Осиповна, о которой упоминала m-me Мерова. При входе гостя Домна Осиповна взмахнула глаза на него, нежно улыбнулась ему и, протягивая свою красивую руку, проговорила как бы не совсем искренним голосом:

— А я было и ждать вас совсем перестала, — досадный этакой!

— Виноват, опоздал: я в театре был,— отвечал Бегушев, довольно тяжело опускаясь на кресло, стоявшее против хозяйки. Вместе с тем он весьма внимательно взглянул на нее и спросил: — Вы все еще больны?

— Да, у меня здесь вот очень болит,— сказала Домна Осиповна, показывая себе на горло, кокетливо завязанное батистовым платком.

— Но что же доктор, как объясняет вашу болезнь?— продолжал Бегушев уже с беспокойством.

— А бог его знает: никак не объясняет! — отвечала Домна Осиповна. Она, впрочем, вряд ли и больна была, а только так это говорила, зная, что Бегушеву нравятся болеющие женщины.— Главное, досадно, что курить не позволяют! — присовокупила она.

— Ну, это еще беда небольшая! — заметил ей Бегушев.

— Да, я знаю, вы даже рады этому! — сказала Домна Осиповна. — Однако что же я не спрошу вас: вы чаю, может быть, хотите?

— Ежели есть он,— отвечал Бегушев.

— О, конечно,— проговорила Домна Осиповна и, проворно встав, вышла в соседнюю комнату. Там она торопливым голосом сказала своей горничной: — Чаю, Маша, сделай, и не из того ящика, из которого я пью, а который получше, знаешь?

— Знаю-с,— подхватила сметливая горничная.

— На стакан или на два — не больше! — прибавила Домна Осиповна.

— Понимаю-с! — снова подхватила горничная.

Бегушев между тем сидел, понурив немного голову и

как бы усмехаясь сам с собой. Будь он менее погружен в свои собственные мысли, он, может быть, заметил бы некоторые маленькие, но тем не менее характерные факты. Он увидел бы, например, что между сиденьем и спинкой дивана затиснут был грязный батистовый платок, перед тем только покрывавший больное горло хозяйки, и что чистый надет уже был теперь, лишь сию минуту; что под развернутой книгой журнала, и развернутой, как видно, совершенно случайно, на какой бог привел странице, так что предыдущие и последующие листы перед этой страницей не были даже разрезаны,— скрывались крошки черного хлеба и не совсем свежей колбасы, которую кушала хозяйка и почти вышвырнула ее в другую комнату, когда раздался звонок Бегушева.

Возвратившись в кабинет, Домна Осиповна снова уселась в свое кресло, приложила ручку к виску и придала несколько нежный оттенок своему взгляду, словом — заметно рисовалась... Она была очень красивая из себя женщина, хотя в красоте ее было чересчур много эффектного и какого-то мертво-эффектного, мазочного,— она, кажется, несколько и притиралась. Взгляд ее черных глаз был умен, но в то же время того, что дается образованием и вращением мысли в более высших сферах человеческих знаний и человеческих чувствований, в нем не было. Несомненно, что Домна Осиповна думала и чувствовала много, но только все это происходило в области самых низших людских горестей и радостей. Самая глубина ее взгляда скорей говорила об лукавстве, затаенности и терпеливости, чем о нежности и деликатности натуры, способной глубоко чувствовать.

Бегушев приподнял, наконец, свою голову; улыбка все еще не сходила с его губ.

— Сейчас я ехал-с,— начал он,— по разным вашим Якиманкам, Таганкам; меня обогнало более сотни экипажей, и все это, изволите видеть, ехало сюда из театра.

— Ах, отсюда очень многие ездят! — подхватила Домна Осиповна.— Весь абонемент итальянской оперы почти составлен из Замоскворечья.

Бегушев развел только руками.

— И таким образом,— сказал он с грустной усмешкой,— Таганка и Якиманка — безапелляционные судьи актера, музыканта, поэта; о печальные времена!

— Что ж, из них очень много образованных людей, прекрасно все понимающих!—возразила Домна Осиповна.

— Вы думаете? — спросил ее Бегушев.

— Да, я даже знаю очень много примеров тому; моего мужа взять,— он очень любит и понимает все искусства...

Бегушев несколько нахмурился.

— Может быть-с, но дело не в людях,—возразил он,— а в том, что силу дает этим господам, и какую еще силу: совесть людей становится в руках Таганки и Якиманки; разные ваши либералы и демагоги, шапки обыкновенно не хотевшие поднять ни перед каким абсолютизмом, с наслаждением, говорят, с восторгом приемлют разные субсидии и службишки от Таганки!

— Но кто же это? Нет! — не согласилась Домна Осиповна.

— Есть!.. Есть!..— воскликнул Бегушев.— Рассказывают даже, что немцы в Москве, более прозорливые, нарочно принимают православие, чтобы только угодить Якиманке и на благосклонности оной сотворить себе честь и благостыню,— и созидают оное, созидают! — повторил он несколько раз.

Домна Осиповна на это только усмехнулась: она видела, что Бегушев начал острить, а потому все это, конечно, очень мило и смешно у него выходило; но чтобы что-нибудь было серьезное в его словах, она и не подозревала.

Бегушев заметно одушевился.

— Это бессмыслица какая-то историческая! — восклицал он.—Разные рыцари, — что бы там про них ни говорили, — и всевозможные воины ломали себе ребра и головы, утучняли целые поля своею кровью, чтобы добыть своей родине какую-нибудь новую страну, а Таганка и Якиманка поехали туда и нажили себе там денег... Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и обсчитывая при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяким вздором... Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку или, лучше сказать, механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство.

При последних словах Домна Осиповна придала серьезное выражение своему лицу и возразила почти глубокомысленным тоном:

— Почему же для Таганки одной? Я думаю, и другие могут этим пользоваться и наслаждаться.

— Да других-то, к несчастью, не стало-с! — отвечал с многознаменательностью Бегушев.— Я совершенно убежден, что все ваши московские Сент-Жермены, то есть Тверские бульвары, Большие и Малые Никитские, о том только и мечтают, к тому только и стремятся, чтобы как-нибудь уподобиться и сравниться с Таганкой и Якиманкой.

— Богаты уж очень Таганка и Якиманка! Все, разумеется, и желают себе того же,— заметила Домна Осиповна,— в чем, впрочем, и винить никого нельзя: жизнь сделалась так дорога...

— А, если бы вопрос только о жизни был, тогда и говорить нечего; но тут хотят шубу на шубу надеть, сразу хапнуть, как екатерининские вельможи делали: в десять лет такие состояния наживали, что после три—четыре поколения мотают, мотают и все-таки промотать не могут!..

В это время горничная принесла Бегушеву чай.

— Поставь это на стол и сама можешь уйти! — сказала ей Домна Осиповна.

Горничная исполнила ее приказание и ушла.

Бегушев, вероятно очень мучимый жаждою, сразу было хотел выпить целый стакан, но вдруг приостановился, поморщился немного, поставил стакан снова на стол и даже поотодвинул его от себя: чай хоть и был приготовлен из особого ящика, но не совсем, как видно, ему понравился. Домна Осиповна заметила это и постаралась внимание Бегушева отвлечь на другое.

— Постойте, постойте! — начала она как бы слегка укоризненным тоном.— Я вас сейчас поймаю; положим, действительно многие, как вы говорите, ездят, чтобы только физически раздражать свои органы слуха и зрения; но зачем вы-то, все уж, кажется, видевший и изучивший, ездили сегодня в театр?

— Я? — спросил Бегушев.

— Да, вы!.. Мне не на шутку досадно было: я больна, скучаю, а вы не едете ко мне.

— Очень просто: я слушал «Травиату»! — объяснил Бегушев.

Лицо Домны Осиповны при этом мгновенно просияло.

— А! — сказала она и потом присовокупила тихо нежным голосом: — Что же, по той все причине, что Травиата напоминает вам меня?

— Не по иной другой-с! — отвечал Бегушев вместе шутливо и с чувством.

— Уж именно! — подтвердила Домна Осиповна.— Я не меньше Травиаты выстрадала: первые годы по выходе замуж я очень часто больна была, и в то время, как я в сильнейшей лихорадке лежу у себя в постели, у нас, слышу, музыка, танцы, маскарады затеваются, и в заключение супруг мой дошел до того, что возлюбленную свою привез к себе в дом...

Бегушев, сидевший все потупившись, при этом вдруг приподнял голову и уставил пристальный взгляд на Домну Осиповну.

— Скажите: вы очень любили вашего мужа? — спросил он.

— Очень! — отвечала Домна Осиповна.— И это чувство во мне, право, до какой-то глупости доходило, так что когда я совершенно ясно видела его холодность, все-таки никак не могла удержаться и раз ему говорю: «Мишель, я молода еще...— Мне всего тогда было двадцать три года...— Я хочу любить и быть любимой! Кто ж мне заменит тебя?..» — «А любой, говорит, кадет, если хочешь...»

— Дурак! — произнес, как бы не утерпев, Бегушев и повернулся в своем кресле.

Домна Осиповна покраснела: она поняла, что чересчур приподняла перед Бегушевым завесу с своих семейных отношений.

— Конечно, это так глупо было сказано, что я даже не рассердилась тогда,— поспешила она прибавить с улыбкой.

Но Бегушев оставался серьезным.

— И что же вы, жили с ним после этого? — проговорил он.

— Да!..

— Странно! — сказал Бегушев, снова потупляя свое лицо. Ему как будто бы совестно было за Домну Осиповну.

— Но я еще любила его — пойми ты это! — возразила она ему.— Даже потом, гораздо после, когда я, наконец, от его беспутства уехала в деревню и когда мне написали,

что он в нашу квартиру, в мою даже спальню, перевез свою госпожу. «Что же это такое, думаю: дом принадлежит мне, комната моя; значит, это мало, что неуважение ко мне, но профанация моей собственности».

При слове «профанация» Бегушев поморщился.

Домна Осиповна, привыкшая замечать малейший оттенок на его лице и не совсем понявшая, что ему, собственно, не понравилось, продолжала уж несколько робким голосом:

— И вообрази, при моем слабом здоровье я на почтовых проскакала в какие-нибудь сутки триста верст,— вхожу в дом и действительно вижу, что в моей комнате, перед моим трюмо причесывается какая-то госпожа... Что я ей сказала,— сама не помню, только она мгновенно скрылась...

Бегушев, наконец, усмехнулся.

— Воображаю, какая ей песня была пропета,— проговорил он.

— Ужасная, кажется...— продолжала Домна Осиповна,— я даже не люблю себя за это: я очень мало умею себя сдерживать.

— В этом случае, я думаю, нечего и сдерживать себя было: в вас говорило простое и законное чувство,— заметил Бегушев.

— Да, но все нехорошо!.. Потом муж приехал... ему тоже досталось; от него, по обыкновению, пошли мольбы, просьбы о прощении, целование ручек, ножек, уверения в любви — и я, дура, опять поверила.

— Общее свойство всех женщин! — сказал Бегушев.

— Нет, кажется в этом случае я самая глупая женщина: ну чего могла я ожидать от моего супруга после всего, что он делал против меня? Конечно, ничего, как и оказалось потом: через неделю же после того я стала слышать, что он всюду с этой госпожой ездит в коляске, что она является то в одном дорогом платье, то в другом... один молодой человек семь шляпок мне у ней насчитал, так что в этом даже отношении я не могла соперничать с ней, потому что муж мне все говорил, что у него денег нет, и какие-то гроши выдавал мне на туалет; наконец, терпение мое истощилось... я говорю ему, что так нельзя, что пусть оставит меня совершенно; но он и тут было: «Зачем, для чего это?» Однако я такой ему сделала ад из жизни, что он не выдержал и сам уехал от меня.

— Ад сделали? — спросил с злым удовольствием Бегушев.

— Решительный ад!.. Что ж, я не скрываю этого теперь!..— отвечала Домна Осиповна.— Я вот часто думаю,— продолжала она,— что неужели же я должна была после такой ужасной семейной жизни умереть для всего и не позволить себе полюбить другого... Счастье мое, конечно, что я в первое время, при таком моем ожесточенном состоянии, не бросилась прямо, как супруг мне предлагал, на шею какому-нибудь дрянному господину; а потом нас же, женщин, обыкновенно винят, почему мы не полюбим хорошего человека. Господи! Я думаю, каждая женщина больше всего желает, чтобы ее полюбил хороший человек; но много ли их на свете? Я теперь очень стала разочарована в людях: даже когда тебя полюбила, так боялась, что стоишь ли ты того!

— А может быть, и я не стою твоей любви? — спросил ее Бегушев.

— Нет, ты стоишь, в этом я теперь убеждена,— отвечала Домна Осиповна и, встав, подошла к Бегушеву, обняла его и начала целовать.— Ты паинька у меня — вот кто ты! — проговорила она ласковым голосом, а потом тут же, сейчас, взглянув на часы, присовокупила: — Однако, друг мой, тебе пора домой!

— Пора? — повторил Бегушев.

— Да, а то люди, пожалуй, после болтать будут, что ты сидишь у меня до света: второй уже час.

— Уже? Действительно, пора! — сказал Бегушев, приподнимаясь с кресел и отыскивая свою шляпу.

— Но только, как я тебе говорила, я пока так остерегаюсь; а потом, когда разные дрязги у меня кончатся, я вовсе не намерена скрывать моих чувств к вам; напротив: я буду гордиться твоею любовью.

Бегушев усмехнулся.

— Как итальянка Майкова: «Гордилась ли она любви своей позором»...

— Именно: я буду гордиться любви моей позором! — подхватила Домна Осиповна.

Бегушев после того крепко пожал ей руку, поцеловал ее и, мотнув приветливо головой, пошел своей тяжеловатой походкой.

Домна Осиповна заметно осталась очень довольна всем этим разговором; ей давно хотелось объяснить и растолко-

вать себя Бегушеву, что и сделала она, как ей казалось, довольно искусно. Услышав затем, что дверь за Бегушевым заперли, Домна Осиповна встала, прошла по всем комнатам своей квартиры, сама погасила лампы в зале, гостиной, кабинете и скрылась в полутемной спальне.

Глава III

Бегушев, как мы знаем, имел свой дом, который в целом околотке оставался единственный в том виде, каким был лет двадцать назад. Он был деревянный, с мезонином; выкрашен был серою краскою и отличался только необыкновенною соразмерностью всех частей своих. Сзади дома были службы и огромный сад.

Некоторые из знакомых Бегушева пытались было доказывать ему, что нельзя в настоящее время в Москве держать дом в подобном виде.

— В каком же прикажете? — спрашивал он уже со злостью в голосе.

— Его надобно иначе расположить, надстроить, выщекатурить, украсить этими прекрасными фронтонами,— объясняли знакомые.

— Это не фронтоны-с, а коровьи соски, которыми изукрасилась ваша Москва! — восклицал почти с бешенством Бегушев.

Знакомые пожимали плечами, удивляясь, каким образом все эти прекрасные украшения могли казаться Бегушеву коровьими сосками.

— Но, наконец, — продолжали они, — это варварство в столице оставлять десятины две земли в такой непроизводительной форме, как сад ваш.

— Что ж мне, огород, что ли, тут разбить? Я люблю цветы, а не овощи! — возражал Бегушев.

— Нет, вы постройтесь тут и отдавайте внаймы: предприятие это нынче очень выгодно, — доказывали знакомые.

— Я дворянский сын-с,— мое дело конем воевать, а не торгом торговать,— отвечал на это с каким-то даже удальством Бегушев.

— Ну продайте эту землю кому-нибудь другому, если сами не хотите,— урезонивали его знакомые.

— Чтобы тут какой-нибудь каналья на рубль капитала наживал полтину процента,— никогда! — упорствовал Бегушев.

В доме у него было около двадцати комнат, которые Бегушев занимал один-одинехонек с своими пятью лакеями и толстым поваром Семеном — великим мастером своего дела, которого переманивали к себе все клубы и не могли переманить: очень Семену покойно и прибыльно было жить у своего господина. Убранство в доме Бегушева, хоть и очень богатое, было все старое: более десяти лет он не покупал ни одной вещички из предметов роскоши, уверяя, что на нынешних рынках даже бронзы порядочной нет, а все это крашеная медь.

Раз, часу во втором утра, Бегушев сидел, по обыкновению, в одной из внутренних комнат своих, поджав ноги на диване, пил кофе и курил из длинной трубки с очень дорогим янтарным мундштуком: сигар Бегушев не мог курить по крепости их, а папиросы презирал. Его седоватые, но еще густые волосы были растрепаны, усы по-казацки опускались вниз. Борода у Бегушева была коротко подстрижена. Он был в широком шелковом халате нараспашку и в туфлях; из-под белой как снег батистовой рубашки выставлялась его геркулесовски высокая грудь. В этом наряде и в своей несколько азиатской позе Бегушев был еще очень красив.

На другом диване (комната уставлена была диванами и даже называлась диванною) помещался господин, по наружности совершенно противоположный хозяину: высокий, в коротеньком пиджаке, весьма худощавый, гладко остриженный, с длинными, тщательно расчесанными и какого-то пепельного цвета бакенбардами, с физиономией умною, но какою-то прокислою, какие обыкновенно бывают у людей, самолюбие которых смолоду было сильно оскорбляемо; и при этом он старался держать себя как-то чересчур прямо, как бы топорщась даже. Видимо, что от природы ему не дано было никакой важности и он уже впоследствии старался воспитать ее в себе. Господин этот был некто Ефим Федорович Тюменев, друг и сверстник Бегушева по дворянскому институту, а теперь тайный советник, статс-секретарь и один из влиятельнейших лиц в Петербурге.

Приезжая в Москву, Тюменев всегда останавливался у Бегушева, и при этом обыкновенно спорам и разговорам

между ними конца не было. В настоящую минуту они тоже вели весьма задушевную беседу между собой.

— И что же, эта привязанность твоя серьезная? — спрашивал Тюменев с легкой усмешкой.

— Разумеется!.. Намерение мое такое, чтобы и дни мои закончить около этой госпожи,— отвечал Бегушев.

— Она, значит, женщина умная, образованная? — продолжал расспрашивать Тюменев.

— То есть она умна, и даже очень, от природы, но образования, конечно, поверхностного...

— А собой, вероятно, хороша?

— Да-с, насчет этого мы можем похвастать!..— воскликнул Бегушев.— Я сейчас тебе портрет ее покажу,— присовокупил он и позвонил. К нему, однако, никто не шел. Бегушев позвонил другой раз — опять никого. Наконец он так дернул за сонетку, что звонок уже раздался на весь дом; послышались затем довольно медленные шаги, и в дверях показался камердинер Бегушева, очень немолодой, с измятою, мрачною физиономией и с какими-то глупо подвитыми на самых только концах волосами.

— Принеси мне из кабинета большой портрет Домны Осиповны,— сказал ему Бегушев.

Камердинер не трогался с своего места.

— Портрет Домны Осиповны,— сказал ему еще раз Бегушев.

Лицо камердинера сделалось при этом еще мрачнее.

— Да он-с висит там,— проговорил он, наконец.

— Ну да, висит! — повторил Бегушев.

— Над столом-с!.. На стол надо лезть! — продолжал камердинер.

— На стол, конечно! — подтвердил Бегушев.

Камердинер, придав своему лицу выражение, которым как бы хотел сказать: «Нечего вам, видно, делать», пошел.

В продолжение всей этой сцены Тюменев слегка усмехался.

— Прокофий твой не изменяется,— сказал он, когда камердинер совсем ушел.

— Изменяется, но только к худшему!..— отвечал Бегушев.— Скотина совершенная стал: третьего дня у меня обедали кой-кто... я только что заикнулся ему, что мы все есть хотим, ну и кончено: до восьми часов и не подал обеда.

Тюменев при этом покачал головой.

— Охота же тебе держать подобного дурака,— проговорил он.

— Но кто ж его возьмет без меня? — возразил Бегушев.— У него вот пять человек ребятишек; он с супругой занимает у меня четыре комнаты... наконец, я ему говорю: «Не делай ничего, пользуйся почетным покоем, лакей и без тебя есть!» Ничуть не бывало — все хочет делать сам... глупо... лениво... бестолково!

— Это может хоть кого вывести из терпения! — заметил Тюменев.

— И выводит: я пускивал в него чернильницу и бритвенницу... боюсь, что с бешеным моим характером я убью его когда-нибудь до смерти. А он еще рассмеется обыкновенно в этаких случаях и преспокойно себе уйдет.

— Он знает,— протянул Тюменев,— что ты же придешь к нему просить прощения.

— В том-то и дело! — воскликнул Бегушев.— Мало, что прощения просить, да денег еще дам.

На этих словах он остановился, потому что Прокофий возвратился с портретом в руках, который он держал задом к себе и глубокомысленно смотрел на него.

— Петля вон тут лопнула, на которой он висел, — доложил он, показывая портрет барину.

— Потому что ты не снял его, а сдернул,— сказал тот.

— Да кто ж до него дотянется туда! — почти крикнул Прокофий.

— Ну, пожалуйста, не оправдывайся! — остановил его Бегушев.

Прокофий на это насмешливо только мотнул головой и ушел.

Бегушев передал портрет Тюменеву, который стал на него смотреть — сначала простым глазом, потом через пенсне, наконец, в кулак, свернувши его в трубочку.

Бегушев с заметным нетерпением ожидал услышать его мнение.

— Elle est très jolie et très distinguée [1],— произнес, наконец, Тюменев.

— Да!.. Так! — согласился с удовольствием Бегушев.

— Что она?..— При этом Тюменев нахмурил несколько свои брови.— Замужняя, разводка?

---

[1] Она очень красива и очень изысканна, *(франц.)*

— Разводка!

— Формальная?

— Нет!

Тюменев снова начал смотреть в кулак на портрет.

— Знаешь,— начал он, придав совсем глубокомысленное выражение своему лицу,— черты лица правильные, но склад губ и выражение рта не совсем приятны.

— Это есть отчасти! — подтвердил Бегушев.

— Нет того, знаешь,— продолжал Тюменев несколько сладким голосом,— нет этого доброго, кроткого и почти ангельского выражения, которого, например, так много было у твоей покойной Наталии Сергеевны.

— Эк куда хватил! Наталий Сергеевен разве много на свете! — воскликнул Бегушев, и глаза его при этом неведомо для него самого мгновенно наполнились слезами.— Ты вспомни одно — семью, в которой Натали родилась и воспитывалась: это были образованнейшие люди с Петра Великого; интеллигенция в ихнем роде в плоть и в кровь въелась. Где ж нынче такие?

— То есть как где же? — возразил с важностью Тюменев.— Вольно тебе поселиться в Москве, где действительно, говорят, порядочное общество исчезает; а в Петербурге, я убежден, оно есть; наконец, я лично знаю множество семей и женщин.

— Гм! Петербург! Нашел чем хвастать! Изящных женщин в целом мире не стало! — сказал с ударением Бегушев и, встав с своего места, начал ходить по комнате.— Хоть бы взять с того, курят почти все! Вот эта самая госпожа,— продолжал он, показывая на портрет Домны Осиповны,—как вахмистр какой-нибудь уланский сосет!.. Наконец, самая одежда женщин,— что это такое? Наденет в полпуда ботинки, да еще хвастает, поднимая ногу: «Смотрите, какие у меня толстые подошвы!», а ножищато тоже точно у медведицы какой. Все-с сплошь и кругом превращается в мещанство!

— Старая, любимая песня твоя! — произнес Тюменев.

— Да,— продолжал Бегушев, все более и более разгорячаясь,— я эту песню начал петь после Лондонской еще выставки, когда все чудеса искусств и изобретений свезли и стали их показывать за шиллинг... Я тут же сказал: «Умерли и поэзия, и мысль, и искусство»... Ищите всего этого теперь на кладбищах, а живые люди будут только торговать тем, что наследовали от предков.

— Но что ж из этого! — сказал с усмешкою Тюменев. — Искусство, правда, несколько поослабло; но зато прогресс совершается в другом отношении: происходят огромные политические перевороты.

— Какие, какие? — перебил его почти с азартом Бегушев.

Тюменев придал недовольное выражение своему лицу.

— Любезный друг, мы столько с тобой спорили и говорили об этом,— возразил он.

— И вечно буду спорить, вечно! — горячился Бегушев.— Не могу же я толкотню пигмеев признать за что-то великое.

— Почему пигмеи, и когда, по-твоему, были великаны? — продолжал Тюменев.— Люди, я полагаю, всегда были одинаковы; если действительно в настоящее время существует несколько усиленное развитие торговли, так это еще хорошо: торговля всегда способствовала цивилизации.

— «Торговля способствовала цивилизации»... Ах, эти казенные фразы, которых я слышать не могу! — кричал Бегушев, зажимая даже уши себе.

— Стало быть, ты в торговле отрицаешь цивилизующую силу? — взъерошился немного, в свою очередь, Тюменев.

— Не знаю-с, есть ли в ней цивилизующая сила; но знаю, что мне ваша торговля сделалась противна до омерзения. Все стало продажное: любовь, дружба, честь, слава! И вот что меня, по преимуществу, привязывает к этой госпоже,— говорил Бегушев, указывая снова на портрет Домны Осиповны,— что она обеспеченная женщина, и поэтому ни я у ней и ни она у меня не находимся на содержании.

Тюменев усмехнулся.

— Но женщины были во все времена у всех народов на содержании; под различными только формами делалось это,— проговорил он.

— Извините-с! Извините! — возразил опять с азартом Бегушев.— Еще в первый мой приезд в Париж были гризетки, а теперь там всё лоретки, а это разница большая! И вообще, господи! — воскликнул он, закидывая голову назад.— Того ли я ожидал и надеялся от этой пошлой Европы?

— Чего ты ждал от Европы, я не знаю, — сказал Тю-

менев, разводя руками,— и полагаю, что зло скорей лежит в тебе, а не в Европе: ты тогда был молод, все тебе нравилось, все поселяло веру, а теперь ты стал брюзглив, стар, недоверчив.

— Что я верил тогда в человека, это справедливо,— произнес с некоторою торжественностью Бегушев.— И что теперь я не верю в него, и особенно в нынешнего человека,— это еще бо́льшая правда! Смотри, что с миром сделалось: реформация и первая французская революция страшно двинули и возбудили умы. Гений творчества облетал все лучшие головы: электричество, пар, рабочий вопрос — все в идеях предъявлено было человечеству; но стали эти идеи реализировать, и кто на это пришел? Торгаш, ремесленник, дрянь разная, шваль, и, однако, они теперь герои дня!

— Совершенно верно! — подхватил Тюменев.— Но время их пройдет, и людям снова возвратится творчество.

— Откуда?.. Я не вижу, откуда оно ему возвратится!.. Что все вокруг глупеет и пошлеет, в этом ты не можешь со мной спорить.

— Более чем спорить, я доказать тебе даже могу противное: хоть бы тот же рабочий вопрос — разве в настоящее время так он нерационально поставлен, как в сорок восьмом году?

— Рабочий-то вопрос? Ха-ха-ха! — воскликнул Бегушев и захохотал злобным смехом.

Тюменев, в свою очередь, покраснел даже от досады.

— Смеяться, конечно, можно всему,— продолжал он,— но я приведу тебе примеры: в той же Англии существуют уже смешанные суды, на которых разрешаются все споры между работниками и хозяевами, и я убежден, что с течением времени они совершенно мирным путем столкуются и сторгуются между собой.

— И работник, по-твоему, обратится в такого же мещанина, как и хозяин? — спросил Бегушев.

— Непременно, но только того и желать надобно! — отвечал Тюменев.

— Ну, нет!.. Нет!.. — заговорил Бегушев, замотав головой и каким-то трагическим голосом.— Пусть лучше сойдет на землю огненный дождь, потоп, лопнет кора земная, но я этой курицы во щах, о которой мечтал Генрих Четвертый, миру не желаю.

— Но чего же ты именно желаешь, любопытно знать? — сказал Тюменев.

— Бога на землю! — воскликнул Бегушев.— Пусть сойдет снова Христос и обновит души, а иначе в человеке все порядочное исчахнет и издохнет от смрада ваших материальных благ.

— Постой!.. Приехал кто-то? Звонят! — остановил его Тюменев.

Бегушев прислушался.

Звонок повторился.

— По обыкновению, никого нет! Эй, что же вы и где вы? — заревел Бегушев на весь дом.

Послышались в зале быстрые и пробегающие шаги.

Бегушев и Тюменев остались в ожидающем положении.

Глава IV

В передней между тем происходила довольно оригинальная сцена: Прокофий, подав барину портрет, уселся в зале под окошком и начал, по обыкновению, читать газету. Понимал ли он то, что читал, это для всех была тайна, потому что Прокофий никогда никому ни слова не говорил о прочитанном им. Вдруг к подъезду дома Бегушева подъехал военный в коляске, вбежал на лестницу и позвонил. Прокофий при этом и не думал подниматься с места своего, а только перевел глаза с газеты в окно и стал смотреть, как коляска отъехала от крыльца и поворачивалась. Военный позвонил в другой раз, и раздался крик Бегушева. На этот зов из задних комнат выбежал молодой лакей; тогда Прокофий встал с своего места.

— Ну да, поспел... не отворят пуще без тебя! — проговорил он тому.

Молодой лакей, делать нечего, ушел назад, а Прокофий отправился в переднюю и отворил, наконец, там дверь.

Вошел Янсутский.

— Дома Александр Иванович? — спросил он сначала очень бойко.

— Дома-с! — отвечал ему явно насмешливым голосом Прокофий.

— Принимает? — продолжал Янсутский несколько смиреннее.

— Не знаю-с,— отвечал Прокофий.

Янсутский почти опешил.

— Но кто же знает, любезный? — спросил он тоже, в свою очередь, насмешливо.

Прокофий нахмурился.

— Ваша как фамилия? — сказал он.

— Полковник Янсутский,— отвечал Янсутский с ударением на слове полковник.

Но на Прокофия это нисколько не подействовало.

— А имя ваше и отчество? — продолжал он расспрашивать.

— Петр Евстигнеич! — отвечал Янсутский, несколько удивленный таким любопытством.

Прокофий подумал некоторое время.

— У них гость теперь из Петербурга,— у нас и остановился,— объяснил он, наконец.

— Кто ж такой? — спросил Янсутский.

— Тайный советник Тюменев,— сказал Прокофий. Янсутский при этом вспыхнул немного в лице.

— Это статс-секретарь? — сказал он.

— Статс-секретарь! — повторил за ним Прокофий. Янсутский несколько минут остался в некотором недоумении.

— Я его немножко знаю; но, может быть, Александр Иванович занят с ним и не примет меня? — проговорил он нерешительным голосом.

— Снимите шинель-то! — почти приказал ему Прокофий.

Янсутский повиновался.

Прокофий пошел медленно и, войдя в кабинет, не сейчас доложил, а сначала начал прибирать кофейный прибор, так что Бегушев сам его спросил:

— Кто там звонил? Приехал, что ли, кто?

— Полковник Янсутский спрашивает: примете ли вы его,— пробормотал себе почти под нос Прокофий.

Бегушев взглянул на Тюменева.

— Тебя не стеснит этот господин? — отнесся он к нему.

— Нисколько.

— Прими! — сказал Бегушев Прокофию, а тот опять пошел медленно и неторопливо.

Янсутский в продолжение всего этого времени охорашивался и причесывался перед зеркалом.

— Пожалуйте-с! — разрешил ему Прокофий.

При входе в диванную Янсутский заметно был сконфужен, так что у него едва хватило духу поклониться первоначально хозяину, а не Тюменеву.

— Я воспользовался вашим позволением быть у вас! — проговорил он как-то жеманно.

— Очень рад вас видеть,— сказал ему вежливо Бегушев и затем проговорил Тюменеву:—Господин Янсутский!

Янсутский мгновенно же и очень низко поклонился тому, но руки не решился протянуть.

— Приятель мой Тюменев! — объявил ему Бегушев.

Тюменев при этом едва только кивнул головой, а руки тоже не двинул нисколько, и лицо его при этом выражало столько холодности и равнодушия, что Бегушеву даже сделалось немножко жаль Янсутского.

Уселись все.

Янсутский, впрочем, скоро овладел собой.

— Как ваше здоровье? — отнесся он к хозяину.

— Благодарю, здоров! Что сегодня: холодно? — проговорил Бегушев.

— Свежо! — отвечал Янсутский.

Тюменев сделал движение, которым явно показал, что он хочет говорить.

— Скажи,— обратился он прямо и исключительно к одному только Бегушеву,— правду ли говорят, что в Москве последние десять лет сделалось холоднее, чем было прежде?

— То есть как тебе сказать: переменчивее как-то погода стала, дуют какие-то беспрестанно глупые ветра,— проговорил тот.

— И действительно ли причина тому та,— продолжал Тюменев,— что по разным железным дорогам вырубают очень много лесов?

— Непременно эта причина! — подхватил Янсутский, очень довольный тем, что может вмешаться в разговор.— Леса, как известно, задерживают влагу, а влага умеряет тепло и холод, и при обилии ее в воздухе резких перемен обыкновенно не бывает.

— Истина совершеннейшая! — подтвердил Бегушев; в тоне его голоса слышался легкий оттенок насмешки, но Янсутский, кажется, не заметил того.

— Этого весьма печального, конечно, истребления лесов, может быть, со временем избегнут,— снова заговорил

он.— В наше время наука делает столько открытий, что возможно всего ожидать!.. Вот взять, например, эту руку (Янсутский показал при этом на свою руку)... Когда она находится в покое, то венозная кровь, проходя чрез нее, сохраняет в себе семь с половиной процентов кислорода, но раз я ее двинул, привел в движение... (Янсутский в самом деле двинул рукой и сжал даже пальцы в кулак), то в ней уже не осталось ничего кислорода: он весь поглощен углеродом крови, а чтобы освободить снова углерод, нужна работа солнца; значит, моя работа есть результат работы солнца или, точнее сказать: это есть тоже работа солнца, перешедшая через известные там степени!..

Бегушев слушал Янсутского довольно внимательно и только держал голову потупленною; но Тюменев явно показывал, что он его не слушает: он поднимал лицо свое вверх, зевал и, наконец, взял в руки опять портрет Домны Осиповны и стал рассматривать его.

Янсутский между тем, видимо, разгорячился.

— В железнодорожном двигателе почти то же самое происходит,— говорил он, кинув мельком взгляд на этот портрет,— тут нужна теплота, чтобы превратить воду в пары; этого достигают, соединяя углерод дров с кислородом воздуха; но чтобы углерод был в дровах и находился в свободном состоянии, для этого нужна опять-таки работа солнца, поэтому нас и на пароходах и в вагонах везет тоже солнце. Теория эта довольно новая и, по-моему, весьма остроумная и справедливая.

— Не особенно новая, она у меня даже есть! Красненькая книжка этакая, перевод лекций Рейса, семидесятого года, кажется! — произнес как бы совершенно невинным голосом Бегушев.

Янсутский немного смутился.

— Я не знаю, есть ли перевод, но я слушал это в германских университетах, когда года два тому назад ездил за границу и хотел несколько возобновить свои сведения в естественных науках.

— Все эти открытия, я думаю, для эксплуататоров не суть важны...— заметил Бегушев.

— О нет-с! Напротив, напротив! — воскликнул Янсутский.— Потому что, как говорят газеты,— справедливо ли это, я не знаю,— но сделано уже применение этой теории... Прямо собирают солнечные лучи в резервуар и ими пользуются.

— Но какой же результат этого будет? — спросил Бегушев.

— Тот, что удешевится перевозка! — подхватил Янсутский.

— А тариф останется все тот же? — продолжал Бегушев.

— Тариф, может быть, останется и тот же! — отвечал Янсутский и засмеялся.

— Да, вот с этой стороны я понимаю! — произнес Бегушев.

— Что же!..— возразил ему Янсутский, пожимая плечами и некоторым тоном философа.— Таково свойство людей...

На этом месте Тюменев положил портрет в сторону и снова заявил желание говорить.

— Вероятно, на передвижении дороги, будь оно производимо дровами или прямо солнцем, многого не наживешь; но люди составили себе состояния, строя их! — отнесся он опять больше к Бегушеву.

— То есть, когда давали по полутораста тысяч на версту, а она стоила всего пятьдесят...— заметил Бегушев.

— Ну, положим, что и побольше,— возразил Янсутский.— Я-с эти дела знаю очень хорошо: я был и производителем работ, и начальником дистанции, и подрядчиком, и директором,—в настоящее время нескольких компаний,— и вот, кладя руку на сердце, должен сказать, что точно: вначале эти дела были превосходные, но теперь этой конкуренцией они испорчены до последней степени.

— Напротив, я полагаю — поправлены несколько,— сказал Бегушев.— Нельзя же допускать, чтобы люди в какие-нибудь месяцы наживали себе миллионы,— это явление безнравственное!

— Я говорю испорчены — собственно в коммерческом смысле,— объяснил Янсутский.— Но, наконец, почему ж безнравственное явление? — присовокупил он, пожимая плечами.— Это лотерея... счастье. Вы берете билет: у одного он попадает в тираж, другому выигрывает двадцать пять тысяч, а третьему двести тысяч.

— Но только в вашем деле это несколько повернее, на большее число благоприятных случаев рассчитано, если не целиком они одни только и взяты! — отнесся Тюменев на этот раз уже к Янсутскому.

— Никак этого, ваше превосходительство, невозмож-

но сделать,— возразил тот самым почтительным тоном.— Извольте вы взять одни земляные работы. У вас гора, вам надобно ее срыть или провести сквозь нее туннель; в верхних слоях, которые вы можете исследовать, она — или суглина, или супесок, а пошли внутрь — там кремень, а это разница огромная в стоимости!.. Болото теперь у вас на пути; вы в него, положим, рассчитали вбить две тысячи свай; а вам, может быть, придется вбить их двадцать тысяч. Потом-с цены на хлеб в прошлом году были одни, а нынче вдвое; на железо и кирпич тоже.

— Ну,— перебил его Тюменев,— на все это, я думаю, прикинуто довольно.

— Где ж прикинуто! Из чего, когда по сорок тысяч на версту берут! — воскликнул невеселым тоном Янсутский.— Я вот имею капиталы и опытность в этих делах, но решительно кидаю их, потому что добросовестно и честно при таких ценах выполнить этого дела невозможно; я лучше обращусь к другим каким-нибудь предприятиям.

На эти слова Янсутского собеседники его ничего не возразили, и только у обоих на лицах как бы написано было: «Мошенник ты, мошенник этакой, еще о честности и добросовестности говоришь; мало барышей попадает в твою ненасытную лапу, вот ты и отворачиваешь рыло от этих дел!»

— Я бы вот даже,— снова заговорил Янсутский, оборачиваясь к Тюменеву,— осмелился спросить ваше превосходительство, если это не будет большою нескромностью: то предприятие, по которому я имел смелость беспокоить вас,— как оно и в каком положении?

— Провалилось! — отвечал с явным удовольствием Тюменев.

Янсутский покраснел.

— Очень жаль,— сказал он с гримасой и пожимая плечами.— Но какая же причина тому?

— Очень оно фантастично, чересчур фиктивно! — отвечал с усмешкой Тюменев.

— На каких же данных такой взгляд на него мог установиться? — продолжал Янсутский.

— На самых точных данных, которые были собраны о нем,— отвечал ему Тюменев и обратился к Бегушеву: — В последний венский кризис... может, это и выдумка, но во всяком случае очень хорошо характеризующая время... Положим, можно изобресть предприятие на разра-

ботку какого-нибудь вещества, которого мало в известной местности находится... изобресть предприятие на разработку предмета, совершенно не существующего в этой местности,— но там открылось предприятие, утвержденное правительством, и акции которого превосходнейшим образом разошлись, в котором поименованной местности совсем не существовало на всем земном шаре; вот и ваше дело несколько в этом роде,— заключил он, относясь к Янсутскому.

— Я не думаю-с! — возразил тот с прежней гримасою в лице.— Я, впрочем, тут только денежным образом участвую, паи имею!

— Да, но паи могут быть проданы!.. Я говорю это не лично про вас, но бывают случаи, что люди, знающие хорошо подкладку дела, сейчас же продают свои паи и продают очень выгодно, а люди, не ведающие того, покупают их и потом плачутся,— проговорил насмешливо Тюменев.

— Нет-с, я не продал бы моих паев, я дело понимаю иначе,— сказал с достоинством Янсутский и затем обратился к Бегушеву: — А я было, Александр Иванович, приехал к вам попросить вас откушать ко мне; я, собственно, живу здесь несколько на бивуаках, но тут существуют прекрасные отели, можно недурно пообедать,— проговорил он заискивающим голосом.

Бегушев нахмурился.

— Но когда вам это угодно? — спросил он.

— В среду, в шесть часов, в Hôtel de France. Я именинник, и хочется немножко отпраздновать этот день... будут некоторые мои знакомые и дамы, между прочим.

— Дамы? — переспросил Бегушев.

— Да! Вот эта madame Мерова, а потом наша общая с вами знакомая, Домна Осиповна Олухова, портрет которой я, кажется, и вижу у вас!..— объяснил Янсутский, показывая глазами на портрет.

Бегушев при этом немного смутился и вместе с тем переглянулся с Тюменевым.

— Вы знакомы, значит, с Домной Осиповной? — спросил он.

— О боже мой, сколько лет! — воскликнул Янсутский.— Я начал знать ее с первых дней ее замужества и могу сказать, что это примерная женщина в наше время... идеал, если можно так выразиться...

— А что за господин ее муж? — спросил Бегушев.

Янсутский пожал плечами.

— Это купеческий сынок, человек очень добрый, который умеет только проматывать, но никак не наживать... Домна Осиповна столько от него страдала, столько перенесла, потому что каждоминутно видела и мотовство, и прочее все... Она цеплялась за все и употребляла все средства, чтобы как-нибудь сохранить и удержать свою семейную жизнь, но ничто не помогло.

Бегушев слушал Янсутского с каким-то мрачным вниманием.

— Без лести можно сказать,— продолжал тот с чувством,— не этакого бы человека любви была достойна эта женщина... Когда я ей сказал, что, может быть, будете и вы, она говорит: «Ах, я очень рада! Скажите Александру Ивановичу, чтобы он непременно приехал».

— Я буду-с,— произнес с тем же мрачным видом Бегушев.

— Ваше превосходительство,— отнесся уже к Тюменеву Янсутский и вставая при этом на ноги,— я осмелился бы покорнейше просить и вас посетить меня.

— Благодарю вас, но я в этот день думаю уехать из Москвы.

— Но день можно переменить; я именины могу раньше отпраздновать! — подхватил Янсутский.

— Ах, нет, пожалуйста, я вовсе не желаю вас так стеснять,— проговорил Тюменев, несколько сконфуженный и удивленный такою смешною угодливостью от человека, которому он сейчас только говорил колкости.

— Что за вздор: уедешь! — вмешался Бегушев.— Оставайся до четверга, и поедем!

— Ты желаешь этого? — спросил Тюменев.

— Очень; я тебя, кстати, познакомлю тут с Домной Осиповной,— отвечал Бегушев.

— Извольте-с, я буду! — обратился Тюменев к Янсутскому.

— Очень вам благодарен! — произнес тот действительно обрадованным голосом, а потом раскланялся и ушел.

— И это вот тоже герой дня,— хорош? — спросил с грустью Бегушев, разумея, конечно, Янсутского.

— Да,— подтвердил Тюменев,— но я сильно подозреваю, что Домну Осиповну он для тебя пригласил.

— Конечно!..— воскликнул Бегушев.— Хотя, в сущности, он это удовольствие доставляет мне из-за тебя!

— Из-за меня? — спросил не без удивления Тюменев.

— Из-за тебя! Каждый раз, как ты у меня погостишь, несколько этаких каналий толстосумов являются ко мне для изъявления почтения и уважения. Хоть и либеральничают на словах, а хамы в душе, трепещут и благоговеют перед государственными сановниками!

— Трепещут? — спросил Тюменев, проникнутый тайным удовольствием.

— Сильно! — подтвердил Бегушев.

Глава V

В тот же день сводчик и ходатай по разного рода делам Григорий Мартынович Грохов сидел за письменным столом в своем грязном и темноватом кабинете, перед окнами которого вплоть до самого неба вытягивалась нештукатуренная, грязная каменная стена; а внизу на улице кричали, стучали и перебранивались беспрестанно едущие и везущие всевозможные товары ломовые извозчики. Это было в одном из переулков между Варваркой и Ильинкой.

Грохов был несколько слонообразной наружности, имел глаза, налитые кровью, губы толстые и отчасти воспаленные, цвет лица красноватый. Происходя из ничтожных сенатских писцов, Грохов ездил в настоящее время на рысаках и имел, говорят, огромные деньги, что, впрочем, он тщательно скрывал, так что когда его видали иногда покупающим на бирже тысяч на сто — на полтораста бумаг и при этом спрашивали: «Что, это ваши деньги, Григорий Мартынович?» — он с сердцем отвечал: «Нет-с, порученные». Несмотря на свое адвокатское звание, Грохов редко являлся в суд, особенно новый; но вместе с тем, по общим слухам, вел дела крупные между купечеством и решал их больше сам, силою своего характера: возьмет, например, какое ни на есть дело, поедет сначала к противнику своему и напугает того; а если тот очень упрется, так Грохов пугнет клиента своего; затем возьмет с обоих деньги и помирит их. Председательствовал также Грохов во многих конкурсах, любил заведывать имением малолетних и хлопотал иногда для людей достаточ-

ных по делам бракоразводным. При такого рода значительной деятельности у Грохова была одна проруха: будучи человеком одиноким, он впадал иногда в загулы; ну, тогда и дела запускал, и деньжищев черт знает сколько просаживал, и крепкое здоровье свое отчасти колебал, да вдобавок еще страху какого-то дурацкого себе наживал недели на две. Настоящая минута для него была именно одною из таких минут; из всего вчерашнего дня, вечера и ночи Грохов только и помнил две голые женские ноги, и больше ничего! Может быть, он набуянил где-нибудь, избил кого-нибудь, убил, пожалуй,— ни за что не мог поручиться! Пот даже холодный прошибал при этих мыслях Грохова. Но дверь кабинета отворилась, и вошел письмоводитель его, в поношенном пальто, нечесаный, с опухшим лицом и тоже, должно быть, вчера бывший сильно пьян.

— Госпожа Олухова к вам приехала,— проговорил он совершенно охриплым голосом.

Грохов сделал над собою усилие, чтобы вспомнить, кто такая это была г-жа Олухова, что за дело у ней, и — странное явление: один только вчерашний вечер и ночь были закрыты для Григория Мартыныча непроницаемой завесой, но все прошедшее было совершенно ясно в его уме, так что он, встав, сейчас же нашел в шкафу бумаги с заголовком: «Дело г.г. Олуховых» и положил их на стол, отпер потом свою конторку и, вынув из нее толстый пакет с надписью: «Деньги г-жи Олуховой», положил и этот пакет на стол; затем поправил несколько перед зеркалом прическу свою и, пожевав, чтоб не так сильно пахнуть водкой, жженого кофе, нарочно для того в кармане носимого, опустился на свой деревянный стул и, обратясь к письмоводителю, разрешил ему принять приехавшую госпожу.

Вошла Домна Осиповна в бархатном платье со множеством цепочек на груди и дорогими кольцами на пальцах. В грязном кабинете Грохова Домна Осиповна казалась еще красивее.

— Честь и место! — сказал Грохов, стараясь улыбнуться и показывая на кресло против себя.

Домна Осиповна села. Она заметно была взволнована.

— Я вчера еще была у вас,— начала она.

— Знаю-с!.. Я вчера очень занят был,— перебил ее Грохов.

Чем он, собственно, занят был, мы отчасти знаем.

— Вы были в Петербурге? — продолжала Домна Осиповна.

— Как же-с! — отвечал было Грохов, но у него в это время страшно закружилась голова, а перед глазами только и мелькали две вчерашние женские ноги.

Домна Осиповна ожидала, что он будет что-нибудь далее говорить, но Грохов только в упор смотрел на нее, так что она даже покраснела немного.

— Что ж, муж эту бумагу, о которой я просила вас, дал вам? — сказала она.

— Выдал-с! — отвечал Грохов и, отыскав в деле Олуховых сказанную бумагу, подал ее Домне Осиповне и при этом дохнул на нее струею такого чистого спирта, что Домна Осиповна зажала даже немножко нос рукою. Бумагу она, впрочем, взяла и с начала до конца очень внимательно прочла ее и спросила:

— Что же, с этим видом я могу теперь везде свободно жить?

— Конечно-с!.. Без сомнения,— едва достало силы у Грохова ответить ей.

Ему все трудней и трудней становилось существовать; но вдруг...— таково было счастливое свойство его организма — вдруг он почувствовал легкую испарину, и голова его начала несколько освежаться.

— Очень можете-с, очень! — повторил он значительно оживленным голосом.

Домна Осиповна несколько мгновений как бы собиралась с мыслями.

— А насчет обеспечения меня,— проговорила она и при этом от волнения приложила дрожащий свой пальчик к губам, как бы желая кусать ноготь на нем.

— И это устроил-с! — отвечал Грохов; испарина все более и более у него увеличивалась, и голова становилась ясней.— Я сначала, как и вы тоже желали, сказал, что вы намерены приехать к нему и жить с ним.

— Интересно, как это он встретил,— заметила Домна Осиповна.

— Испугался очень!.. Точно я из пушки в него выстрелил! — отвечал Грохов.

Домна Осиповна вспыхнула вся в лице.

— Как лестно это слышать,— произнесла она.

— Кричит, знаете, этой госпоже своей,— продолжал

Грохов,— «Глаша, Глаша, ко мне жена хочет воротиться...» Та прибежала, кричит тоже: «Это невозможно!.. Нельзя...» — «Позвольте, говорю, господа, закон не лишает Михаила Сергеича права потребовать к себе Домну Осиповну; но он также дает и ей право приехать к нему, когда ей угодно, тем более, что она ничем не обеспечена!» — «Как, говорит, не обеспечена: я ей дом подарил».

— Вот хорошо! — почти воскликнула Домна Осиповна.— Он мне дом подарил, когда я еще невестой его была.

— Ну, когда бы там ни было, но он все-таки подарил вам...— начал было Грохов, но при этом вдруг раскашлялся, принялся харкать, плевать; лицо у него побагровело еще больше, так что Домне Осиповне сделалось гадко и страшно за него.

— Это все госпожа его натолковывает ему,— проговорила она, когда Грохов позатих немного.

— Нет-с, ошибаетесь!.. Совершенно ошибаетесь,— возразил он, едва приходя в себя от трепки, которую задал ему его расходившийся катар.— Госпожа эта, напротив... когда он написал потом ко мне... О те, черт поганый, уняться не может! — воскликнул Грохов, относя слова эти к начавшему снова бить его кашлю.— И когда я передал ему вашу записку... что вы там желаете получить от него лавки, капитала пятьдесят тысяч... Ну те, дьявол, как мучит!..— заключил Грохов, продолжая кашлять.

— Как, однако, вы простудились,— заметила ему с состраданием Домна Осиповна.

— Страшно простудился... ужасно!..— говорил Грохов и затем едва собрался с силами, чтобы продолжать рассказ: — Супруг ваш опять было на дыбы, но она прикрикнула на него: «Неужели, говорит, вам деньги дороже меня, но я минуты с вами не останусь жить, если жена ваша вернется к вам»... О господи, совсем здоровье расклеилось...

И Грохов, как бы в отчаянии, схватил себя за голову.

— Это, я думаю, все от ваших усиленных занятий,— проговорила, по-прежнему с состраданием, Домна Осиповна.— Но что же, однако, муж мой выдал вам какой-нибудь документ? — поспешила она прибавить, потому что очень хорошо видела и понимала, как Грохову трудно

было с ней вести объяснение, и даже почему именно было трудно.

— Выдал-с! Сейчас вот вам передам все: это вот-с купчая крепость на лавки, а это ваши деньги,— говорил он, пододвигая то и другое к Домне Осиповне.

Она купчую крепость тоже прочла весьма внимательно и начала потом считать деньги, раскладывая их сначала на сотни, а потом на тысячи.

— Тут всего тридцать тысяч! — произнесла она недоумевающим голосом.

— Тридцать-с! — ответил сначала очень коротко Грохов; но, видя, что Домна Осиповна все еще остается в недоумении, он присовокупил: — Все имущество я ценю в двести тысяч, хотя оно и больше стоит... десять процентов мне — значит, двадцать тысяч, а тридцать — вам!

Слова эти окончательно озадачили Домну Осиповну.

— Но десять процентов, кажется, берется, когда дело ведут! — произнесла она с какой-то перекошенной и злой улыбкой.

— А я разве не вел дела? — возразил ей Грохов.— Но кроме того, мы уговорились так с вами... У меня вашей руки письмо есть на то.

— Но я полагала, что дело дойдет до суда,— говорила с той же злой улыбкой Домна Осиповна.

— Ну, за это вы благодарите бога, что дело до суда не дошло,— произнес с ударением и тряхнув головой Грохов,— по суду бы супруг ваш шиш вам показал.

— Как же шиш... и как это деликатно с вашей стороны так выражаться! — сказала, вся вспыхнув, Домна Осиповна.

— Так, шиш! — повторил еще раз Грохов.— В законах действительно сказано, что мужья должны содержать своих жен, но каких? Не имеющих никакого своего имущества; а муж ваш прямо скажет, что у вас есть дом.

— Но дом я,— возразила Домна Осиповна с прежней неприятной улыбкой,— сейчас могу продать!

— А тогда он скажет, что у вас деньги есть.

— Деньги я тоже могу прожить, подарить, потерять...

Грохов усмехнулся при этом.

— Да, как же, обманешь кого-нибудь этими побасенками: нынешние судьи не слепо судят и прямо говорят, что они буквы закона держатся только в делах уголовных, а в гражданских,— так как надо же в чью-либо поль-

зу решить,— допускают толкования и, конечно, в вашем деле в вашу пользу не растолковали бы, потому что вы еще заранее более чем обеспечены были от вашего мужа...

Всех этих слов Грохова Домна Осиповна и не слушала, а молча и с заметно недовольным лицом укладывала бумаги и деньги в карманы своего платья.

— Вы потрудитесь во всем этом дать мне расписочку,— сказал Грохов, пододвигая Домне Осиповне бумагу и перо.

— Что же я написать должна? — спросила та.

— Напишите-с, что документы и деньги, переданные мне вашим мужем, вы сполна получили, а я напишу, что следующие мне по делу сему деньги вами тоже уплочены!..— отвечал Грохов и написал, что говорил.

— Ну, не очень я деньги сполна получила,— говорила Домна Осиповна, начиная писать расписку.

— Не знаю-с, по-моему, вы сполна их получили,— сказал Грохов и на лице своем весьма ясно изобразил желание, чтобы клиентка его поскорее убиралась от него; но Домна Осиповна не поднималась с своего места.

— Но каких мне бумаг купить на эти деньги, решительно недоумеваю,— проговорила она, кусая свои розовые губки.

Грохов догадался, что этот вопрос был адресован к нему.

— Из бумаг вам лучше всего купить хмуринские акции,— отвечал он.

— Но они очень высоко стоят,— произнесла грустным голосом Домна Осиповна.

— На бирже их нечего и покупать,— там приступу нет, но нельзя ли вам как-нибудь их достать от самого господина Хмурина; дает, говорят, он некоторым знакомым по номинальной даже цене... Нет ли у вас человека, вхожего к нему?

Домна Осиповна некоторое время соображала.

— Янсутского разве попросить; он вчера был у меня,— сказала она, опять как бы больше сама с собой.

— Чего же лучше... Приятели, ни в чем не отказывают друг другу.

— Его попрошу!..— продолжала Домна Осиповна тем же размышляющим голосом.— Но самые акции верны ли?

При этом вопросе Грохов даже рассмеялся.

— Вот еще!.. Верны ли акции...— произнес он.

Домна Осиповна, наконец, поднялась.

Грохов тоже встал с своего стула.

— До свиданья! — сказала она довольно сухо ему.

— До свиданья-с! — повторил и он ей, склоняя свою голову к столу и начиная внимательно смотреть на лежавшие на нем бумаги.

Домна Осиповна ушла.

Грохов после того опять сейчас же сел.

— Ну, барынька... выжига порядочная! — произнес он, утирая градом катившийся со лба пот; от всех этих объяснений с клиенткою похмелья у него как будто бы и не бывало.

От Грохова Домна Осиповна проехала в одну из банкирских контор. Там, в первой же со входа комнате, за проволочной решеткой,— точно птица какая,— сидел жид с сильными следами на лице и на руках проказы; несмотря на это, Домна Осиповна очень любезно поклонилась ему и даже протянула ему в маленькое отверстие решетки свою руку, которую жид, в свою очередь, с чувством и довольно сильно пожал.

— А я к вам денег еще привезла положить на чек,— сказала она веселым и развязным тоном.

— А и прекрасно, что привезли! — подхватил тоже весело жид.

Домна Осиповна положила перед ним на прилавок деньги и расчетную книжку.

Жид рассмотрел сначала книжку, пересчитал потом деньги и, положив их в ящик, произнес, стараясь приятно улыбнуться:

— К прежним пятидесяти тысячам вы кладете еще тридцать?

— Еще! — отвечала Домна Осиповна с той же веселой улыбкой; эти пятьдесят тысяч она скопила, когда еще жила с мужем и распоряжалась всем его хозяйством, о чем сей последний, конечно, не ведал.

— Но вот еще что... Вероятно, я скоро возьму у вас все свои деньги,— прибавила Домна Осиповна жиду.

Тот почтительно склонил перед ней свою голову.

— О, когда только вам угодно будет! — произнес он,

придав своим глазам какое-то даже сентиментальное выражение, а затем, написав в книжке, что нужно было, передал ее с некоторою ловкостью Домне Осиповне.

Та, взглянув на написанную в книжке цифру денег, поблагодарила жида наиприятнейшей улыбкой.

— Скажите,— начала она, приближая уже почти к самой решетке свое лицо и весьма негромким голосом,— хмуринские акции верны или нет?

— Как то, что завтра солнце взойдет! — отвечал ей жид.

— Так верны? — переспросила Домна Осиповна.

— Так верны! — повторил жид.

— Mersi [1],— сказала на это Домна Осиповна и, пожав еще раз пораженную проказой руку жида, ушла.

Глава VI

Елизавета Николаевна Мерова, в широчайшем утреннем капоте, обшитом кругом кружевами и оборками, сидела на небольшом диванчике, вся утонув в него, так что только и видно было ее маленькое личико и ее маленькие обнаженные ручки, а остальное все как будто бы была кисея. Квартира Елизаветы Николаевны, весьма небольшая, в противоположность дому Домны Осиповны представляла в своем убранстве замечательное изящество и простоту; в ней ничего не было лишнего, а если что и было, так все очень красивое и, вероятно, очень дорогое. Квартира ее таким образом была убрана, конечно, на деньги Янсутского; но собственно вкус, руководствовавший всем этим убранством, принадлежал родителю Елизаветы Николаевны, графу Николаю Владимировичу Хвостикову, некогда блестящему камергеру, а теперь, как он сам даже про себя выражался,— аферисту и прожектеру.

Граф в это время сидел у дочери. Он был уже старик, но совершенно еще стройный, раздушенный, напомаженный, с бородой à la Napoleon III и в безукоризненно модной сюртучной паре.

— Как же, chère amie [2], ты это утверждаешь!..— говорил он (даже в русской речи графа Хвостикова слыша-

---

[1] Благодарю. *(франц.)*
[2] дорогой друг. *(франц.)*

лось что-то французское).— Как женщина, ты не можешь даже этого понимать!..

— Я, может быть, и не понимаю; но Петр Евстигнеич говорит, что все это одна фантазия, вздор!..— возразила ему Елизавета Николаевна.

— Как, вздор? — спросил граф и от досады переломил даже находящуюся у него в руках бисквиту и кусочки ее положил себе в рот: он только что перед тем пил с дочерью шоколад.

— Так, вздор,— повторила она.— Петр Евстигнеич говорит, что надобно сначала первое дело покончить.

— Но оно уже кончено... с неделю, как оно рассмотрено и разрешено...— сказал с уверенностью граф.

— А если кончено, так и прекрасно!.. А другое предприятие, Петр Евстигнеич говорит, надобно подождать...

— Для тебя, chère amie, каждое слово твоего Петра Евстигнеича... Oh, diable[1]... от одного отчества его язык переломишь!.. Тебе он, по твоим чувствам к нему, представляется богом каким-то, изрекающим одни непреложные истины, но другие, может быть, понимают его иначе!

Граф Хвостиков собственно сам и свел дочь с Янсутским, воспользовавшись ее ветреностью и тем, что она осталась вдовою,— и сделал это не по какому-нибудь свободному взгляду на сердечные отношения, а потому, что c'est une affaire avantageuse — предприятие не безвыгодное, а выгодными предприятиями граф в последнее время бредил.

— В сущности, твой Петр Евстигнеич кулак и привык только считать гроши! — присовокупил он вполголоса.

— Пожалуйста, папа, не говорите так,— остановила его дочь.— Я люблю этого человека и не позволю никому об нем дурно отзываться.

Говоря это, Елизавета Николаевна вся вспыхнула даже.

— Что ж, это семейный разговор был...— возразил было граф.

— А я и семейного разговора такого не желаю иметь,— подхватила дочь.

Граф замолчал.

Вскоре затем приехала Домна Осиповна. Елизавета Николаевна очень ей обрадовалась.

---

[1] О, черт... *(франц.)*

— Ах, вот кто это! — воскликнула она, увидав входящую подругу, и, вскочив, как козочка, с дивана, бросилась обнимать ее.

Граф Хвостиков тоже сейчас встал и поклонился гостье; при этом случае нельзя не заметить, что поклониться так вежливо и вместе с тем с таким сохранением собственного достоинства, как сделал это граф, вряд ли многие умели в Москве.

— Ты, однако,— начала Елизавета Николаевна, перестав, наконец, целовать Домну Осиповну,— опять в обновке, в бархатном платье!

— Да, я с болезнью моею и поездкою за границу так истрепала мой туалет, что решительно теперь весь возобновляю его!..— отвечала та не без важности.

— Постой, постой! — останавливала между тем Мерова приятельницу, не давая ей садиться и осматривая ее с головы до ног.— Но знаешь, ma chère[1], платье это тяжело на тебе сидит.

— Я не нахожу этого,— отвечала Домна Осиповна, не совсем, видимо, довольная этим замечанием.

— Тяжело,— повторила Мерова,— не правда ли, папа́? — отнеслась она к отцу.

Граф Хвостиков лукаво усмехнулся.

— «В мои ль лета свое суждение иметь!» — произнес он уклончиво.

— Как вы ни молоды, граф, но все-таки, я полагаю, свое мнение вы можете иметь! .— отнеслась к нему с улыбкою Домна Осиповна.— Скажите, тяжело это платье?

— Pardon, madame, je ne comprends pas ce que cela signifie[2]: тяжело! Тяжело только то, что трудно поднять, но вам, я надеюсь, не тяжело носить ваше платье, а приятно.

Граф хотел этим что-то такое сострить.

— Даже очень приятно, оно такое теплое, в нем так уютно,— подтвердила Домна Осиповна.

— Но оно не платье, chère amie,— силилась доказать Мерова,— а драпировка какая-то.

— Хорошо сказано, хорошо!.. О, ты дочь, достойная меня! — подхватил граф (он еще смолоду старался слыть

---

[1] моя дорогая, *(франц.)*
[2] Извините, мадам, я не понимаю, что это значит *(франц.)*.

за остряка, и даже теперь в обществе называли его «тупым шилом»).

— Поэтому вы,— отнесся он к Домне Осиповне,— прекрасная дорическая колонна, а платье ваше драпри... Vous êtes une dame aux draperies!..[1]

— Не знаю... Я что-то колонн в драпировках не видала,— произнесла та, несколько уже обидевшись и садясь на кресло.

Граф Хвостиков тоже сел.

— Ну что, пустяки — колонна!..— подхватила Мерова, также усаживаясь около приятельницы.— Я убеждена,— продолжала она,— что это тебе, по обыкновению, шила твоя Дарья Петровна.

— Конечно, Дарья Петровна, которая никак не хуже шьет твоей madame Минангуа, и разница вся в том, что та вдвое берет за фасон и вдвое материи требует,— возразила Домна Осиповна.

— Как же это возможно! — произнесла почти с плачем в голосе Мерова.— Папа, разве правда это? — обратилась она опять к отцу.

— Я не знаю фасонов madame Минангуа; но в окнах у ней я только видал прелестные цветки,— отвечал граф.

— А разве она делает цветы? — спросила Домна Осиповна.

— Нет, он все глупости говорит: засматривался там на хорошеньких мастериц! — перебила с досадой Мерова и снова обратилась к главному предмету, ее занимающему: — Ты спрашиваешь, отчего тяжело, но зачем такие широкие складки? — сказала она, показывая на одну из складок на платье Домны Осиповны.

Та пожала при этом плечами.

— Ты, значит, не видала последних фасонов; есть у тебя какой-нибудь модный журнал? — спросила она.

— Два даже! — воскликнула Мерова и, проворно сходив, принесла оба журнала.

— Смотри: узенькая это складка или широкая? — говорила Домна Осиповна, показывая с торжеством на одну из картинок.

M-me Мерова вспыхнула при этом: она чувствовала себя прямо уличенною.

[1] Вы — дама в драпировке! *(франц.)*.

— Знаю я это! Но пусть на картинках это так и будет; носить же и надевать на себя такое платье я никогда бы не хотела,— произнесла она капризным голосом.

— Погоди,— остановила ее Домна Осиповна,— а этот капот, который на тебе, разве не так же сделан?

— Да что капот! Ей-богу, как ты говоришь? — почти выходила из себя Мерова.— Это глупая какая-то блуза, которую мне шила белошвейка.

— Attendez, mesdames [1], я вас помирю!..— сказал, поднимая знаменательно свою руку, граф Хвостиков.— Каждая из вас любит то, что требует ее наружность!.. Madame Олухова брюнетка, к ней идет всякий блеск, всякий яркий цвет, а Лиза — существо эфира: ей надобно небо и легко облегающий газ!..

— Да, если это так, то конечно!.. — согласилась с ним Домна Осиповна, но дочь — нет и продолжала отрицательно качать своею головкою.

В это время послышались звуки сабли.

— Петр Евстигнеич, кажется, — проговорил граф Хвостиков.

Мерова заботливо взглянула на дверь.

Вошел действительно Янсутский, приехавший прямо от Бегушева и бывший очень не в духе. Несмотря на то, что Тюменев и Бегушев дали слово у него отобедать, он инстинктивно чувствовал, что они весьма невысоко его третировали и почти что подсмеивались над ним, тогда как сам Янсутский, вследствие нахапанных всякого рода проделками денег, считал себя чуть не гениальным человеком.

Войдя в комнату, он к первой обратился Домне Осиповне.

— Очень рад, что я вас здесь застал, — сказал он, крепко пожимая ей руку.

— И я отчасти потому приехала, что надеялась встретить вас здесь, — сказала она.

Янсутский затем мотнул головой Меровой и ее папа, снял саблю и сел. Елизавета Николаевна пристально посмотрела на него.

— Что вы такой сегодня, — фу, точно кот Васька, сердитый? — спросила она его.

— Нисколько не сердитый,— отвечал ей небрежно

---

[1] Подождите, сударыни, *(франц.)*

Янсутский и снова отнесся к Домне Осиповне: — Бегушев будет у меня обедать.

— Будет? — повторила та с удовольствием.

— Будет! — отвечал Янсутский и обратился уже к графу Хвостикову: — У Бегушева я встретил Тюменева; может, вы знаете его?

— О, боже мой! Это один из лучших моих знакомых! — произнес граф, поднимая при этом немного глаза вверх.

— И он мне сказал, что наше предприятие действительно рассматривалось, но что оно провалилось окончательно.

Граф Хвостиков при этом побледнел.

— Что такое провалилось? — спросил он, как бы не поняв этой фразы.

— А то провалилось, что не утверждено, — отвечал ему насмешливо и со злостью Янсутский.

— Вот видишь, папá, как ты всегда говоришь! — сказала также и дочь графу, погрозя ему укоризненно пальчиком. — Верно все... решено... кончено!

— Но мне писали об этом! — бормотал граф, совсем, как видно, опешенный.

— Не знаю-с, кто вам это писал, — возразил ему с явным презрением Янсутский, — но оно никогда не было, да и не могло быть решено в нашу пользу. Нельзя же в самом деле ожидать, чтобы позволили на воздухе строить дом.

— Где ж на воздухе, — продолжал кротким голосом граф,—разве «Credit mobilier» — не то же самое?

— Вот еще что выдумали: «Credit mobilier»! — воскликнул насмешливо Янсутский.— Предприятие, черт знает когда существовавшее, и где же? В Париже! При содействии императора, — и то лопнувшее — хорош пример! Я просто сгорел от стыда, когда Тюменев стал расписывать Бегушеву это наше дурацкое дело!

Граф на это ничего уж и не возражал.

Дочери, кажется, сделалось жаль его.

— Хотите завтракать?.. — спросила она Янсутского, зная по опыту, что когда он поест, так бывает подобрее.

— Нет, не хочу!.. — отвечал отрывисто Янсутский (надменный вид Тюменева никак не мог выйти из его головы).— А у меня еще гость будет — этот Тюменев,— присовокупил он.

— Ах, это отлично! Мне очень хочется посмотреть на него! — воскликнула Мерова.— Что он такое: генерал-адъютант?..

— То есть, пожалуй, генерал-адъютант, штатский только: он статс-секретарь! — отвечал не без важности Янсутский. — Я, собственно, позвал этого господина, — отнесся он как бы больше к графу, — затем, что он хоть и надутая этакая скотина, но все-таки держаться к этаким людям поближе не мешает.

— О, без сомнения! — подтвердил тот невеселым голосом.

Положение графа было очень нехорошее: если бы изобретенное им предприятие было утверждено, то он все-таки несколько надеялся втянуть Янсутского в новую аферу и таким образом, заинтересовав его в двух больших делах, имел некоторое нравственное право занимать у него деньги, что было необходимо для графа, так как своих доходов он ниоткуда не получал никаких и в настоящее время, например, у него было в кармане всего только три целковых; а ему сегодняшним вечером нужно было приготовить по крайней мере рублей сто для одной своей любовишки: несмотря на свои 60 лет, граф сильно еще занимался всякого рода любовишками. Но где взять эти сто рублей!.. Не у Янсутского же просить взаймы после всех дерзостей, которые он позволил себе сказать: граф все-таки до некоторой степени считал себя джентльменом.

— Этот Тюменев очень много рассказывал интересных вещей, — снова начал Янсутский.

Граф Хвостиков при этом взглянул на него.

— А именно? — спросил он.

— Да разные там разности! — отвечал Янсутский.— О некоторых переменах, предполагаемых в министерстве .. о своих беседах с разными высокопоставленными лицами... об их взглядах на Россию! (Но более точным образом определить, что ему рассказывал Тюменев, Янсутский не мог вдруг придумать: как человек практический, он владел весьма слабым воображением.) В такие откровенности пустился, что боже упаси!.. Понравился, видно, я ему очень! — заключил он, вставая и беря свою саблю.

— А мне еще, Петр Евстигнеич, надобно с вами два слова сказать!..— проговорила при этом Домна Осиповна.

— Ваш слуга покорный! — отвечал ей Янсутский.

— Но только по секрету!..— присовокупила Домна Осиповна.

— И по секрету могу! — подхватил Янсутский.

Они оба пошли.

— Вы не ревнуете? — спросила Домна Осиповна, оборачиваясь к Меровой.

— Немножко ревную! — отвечала та.

В следующей комнате Домна Осиповна и Янсутский сели.

— Послушайте,— начала она заискивающим голосом,— у меня есть теперь свободные деньги... Я бы желала на них приобресть акции Хмурина — где бы мне их достать?

— На бирже сколько угодно.

— Да, но на бирже они дороже своей цены...

— Еще бы!.. И главное, что с каждым днем поднимаются и будут еще подниматься.

— Вы думаете? — проговорила Домна Осиповна, и глаза ее при этом блеснули каким-то особенным блеском.

— Уверен в том!.. А на какую сумму вам нужно этих акций?

— Я еще этого не определила точно! — отвечала уклончиво Домна Осиповна.— Акции Хмурина, конечно, теперь очень хорошо стоят, но они могут и понизиться, все-таки это риск!.. У Хмурина, говорят, много еще их на руках, и он их дает некоторым знакомым по номинальной цене.

— Кому же он дает?.. Лицам, от которых сам в зависимости. Впрочем, Хмурин будет у меня на обеде... Попробуйте, скажите ему об этом! — проговорил Янсутский.— Он нежен с дамами.

— Нежен? — спросила, усмехнувшись, Домна Осиповна.

— Очень даже. Вы сначала, будто шутя, попросите у него, а потом и серьезно скажите.

— Понимаю; но и вы словечко замолвите ему с своей стороны; он, говорят, вам ни в одной просьбе не отказывает!..

Янсутский пожал плечами.

— Пока еще не отказывал ни в чем; извольте, я ему скажу!

— Пожалуйста!

У графа Хвостикова в это время тоже шел об деньгах разговор с дочерью.

— У тебя нет рублей двухсот — трехсот?..— спросил он будто случайно и совершенно небрежным тоном.

— Нет, папа, на вот, хоть возьми ключ и посмотри сам! — отвечала та совершенно, как видно, искренно.

Граф некоторое время переминался.

— А этак заложить мне что-нибудь не можешь ли дать?

— Ни за что, папа!.. Ни за что!..— воскликнула, точно даже испуганная этой просьбой, Мерова.— Петр Евстигнеич и за браслет тогда меня бранил очень, бранил и тебя также.

— Как же он меня бранил? — имел неосторожность спросить Хвостиков.

— Просто подлецом тебя называл,— объяснила откровенно дочь.

Янсутский и Домна Осиповна возвратились и вскоре затем оба уехали, а граф Хвостиков, желая сберечь свои единственные три рубля, как ни скучно ему это было, остался у дочери обедать.

Глава VII

Петр Евстигнеевич Янсутский в день именин своих, часов еще в десять утра, приехал в один из очень дорогих отелей и объявил там, что он человекам восьми желает дать обед; потом, заказав самый обед, выбрал для него лучшее отделение отеля и распорядился, чтобы тут сейчас же начали накрывать на стол. Затем он съездил, привез и собственными руками внес в избранное им отделение монстры-ананасы, которые, когда уложили их на вазы, доставали своею зеленью чуть не до потолка. Янсутский остался этим очень доволен; но зато в ужас пришел, когда увидел приготовленные для обеда канделябры,— ни дать ни взять какие бывают на похоронных обедах. Он немедля приказал их взять к черту, послал в магазин и велел оттуда принести прежде еще им виденные там четыре очень дорогие, из белой бронзы, многосвечные шандалы и купил их — с тем, чтобы после отпразднования они были отправлены к m-me Меровой. По случаю пыли на драпировке, коврах и на мебели у него вышла

целая история с хозяином отеля. Янсутский требовал, чтобы позвали обойщика и всё бы это выбили, вычистили. Хозяин-француз, с своей стороны, уверял, что у него все выбито, чисто; а Янсутский кричал, что у него все не чисто. Француз вспыхнул от гнева, и только надежда получить с господина полковника порядочный барыш удержала его в границах приличия, и он даже велел все исполнить по желанию Янсутского, который потом прямо из отеля поскакал к Меровой. Он застал ее чуть не в одном белье, раскричался на нее жесточайшим образом за то, что она накануне, на каком-то дурацком вечере, просидела часов до пяти и теперь была с измятой, как тряпка, кожею, тогда как Янсутский никогда в такой степени не желал, как сегодня, чтобы она была хороша собою.

Домна Осиповна, в свою очередь, тоже немало хлопотала по случаю предстоящего обеда. Она еще заранее сказала Бегушеву, что хочет приехать на обед с ним вместе и даже в его экипаже. Бегушева несколько удивило это.

— Но ловко ли будет? — спросил он.

— Очень ловко!.. Я с сегодняшнего дня вовсе не намерена скрывать наших отношений,— пояснила Домна Осиповна.

Мы знаем, что она перед тем только покончила с мужем все дела свои.

Бегушев промолчал, но в сущности такое ее намерение ему не понравилось. По его понятиям, женщине не стараться скрывать подобных отношений не следовало, потому что это показывало в ней некоторое отсутствие стыдливости.

— И, пожалуйста, заезжайте за мной в вашем новом фаэтоне и на ваших вороных лошадях, а не на противных гнедых! — дополнила Домна Осиповна.

— Но вороные,— возразил было Бегушев,— ужасно резвы: на них того и гляди или себе голову сломишь, или задавишь кого-нибудь. Я хочу велеть их продать.

— Не смейте этого и думать! — почти прикрикнула на него Домна Осиповна.— Я обожаю этих лошадей, и на них извольте заехать за мной.

Бегушеву и это желание ее показалось довольно странным.

В самый день обеда Домна Осиповна с двенадцати часов затворилась в своей уборной и стала себе «делать лицо». Для этого она прежде всего попритерлась несколько, а затем начала себе закопченной шпилькой выводить линии на веках; потом насурмила себе несколько брови, сгладила их и подкрасила розовой помадой свои губы. «Сделав лицо», Домна Осиповна принялась причесываться, что сопровождалось почти драматическими сценами. Парикмахер, как видно не совсем искусный, делал по-своему, а Домна Осиповна требовала, чтобы он переделывал по ее. Парикмахер переделывал, но все-таки выходило не так. Домна Осиповна сердилась, кричала, плакала и, наконец, прогнала парикмахера, велев, впрочем, ему дожидаться в передней. Оставшись одна, она, для успокоения нерв, несколько времени ходила по комнате; а потом, снова подправив себе лицо, позвала опять парикмахера и с ним, наконец, общими силами устроила себе прическу, которая вышла как-то вся на сторону; но это-то больше всего и нравилось Домне Осиповне: она видела в этом выражение какого-то удальства — качество, которое в последнее время стало нравиться некоторым дамам. Платье Домна Осиповна надела ярко-зеленое со множеством дорогих вещей.

Когда Бегушев заехал за ней и увидел ее в полном наряде, то не мог удержаться и произнес:

— Что это какие вы сегодня зеленые!

— Это самый модный цвет! — объяснила ему Домна Осиповна.

Бегушев невольно потупился: всю молодость свою провел он в свете, кроме того, родился, вырос в очень достаточном семействе, но таких ярких цветов на платьях дам что-то не помнил. Впрочем, он и это явление отнес, по своей привычке, к бездарности века, не умеющего даже придумать хоть сколько-нибудь сносный туалет для дам.

Сев в фаэтон с Бегушевым, Домна Осиповна сказала кучеру:

— Пожалуйста, поскорей!

Тот, желая ей угодить, понесся на всех рысях, так что на первых порах Бегушев едва опомнился и только на Тверской взглянул на Домну Осиповну. Он в первый еще раз видел ее разряженною и едущею в щегольском экипаже. Полученное им на этот раз впечатление было

окончательно неприятное. На Домне Осиповне оказалась высокая шляпка с каким-то глупо болтающимся вверху цветком. Сама Домна Осиповна сидела с неописанной важностью, закинув ногу на ногу, и вместе с тем она с явным презрением смотрела на всех, идущих пешком. Бегушев, весь свой век ездивший в экипажах, подозревать даже не мог переживаемого в настоящие минуты удовольствия его дамою, далеко не пользовавшеюся в молодости довольством средств.

В отеле, между тем, m-me Мерова сидела в качестве хозяйки в маленькой гостиной взятого отделения, а Янсутский в полной мундирной форме ртом и мехами раздувал уголья в находящемся тут камине, чтобы скорее они разгорелись и дали из себя приятную теплоту.

Приехали Домна Осиповна и Бегушев.

— А Тюменев что же... не будет? — спросил последнего Янсутский с беспокойством.

— Не знаю; вероятно, приедет,— отвечал тот ему довольно сухо.

Дамы, как водится, увидав друг друга, издали легкие восклицания, поцеловались и, с быстротой молнии осмотрев друг на друге туалеты, уселись.

Домна Осиповна нашла, что m-me Мерова, бывшая в платье из серого фая с высоким лифом, слишком бедно оделась для такого парадного случая; а Меровой, напротив, показалось, что Домна Осиповна чересчур разрядилась. Мыслей этих они, конечно, не высказали.

— Как здесь мило и уютно,— начала разговор первая Домна Осиповна.

— Очень мило! — подхватил Янсутский.

Бегушев, усевшийся несколько в стороне, у окна, тоже окинул глазами комнату и решительно не понимал, что в ней было милого.

— А как красиво сервирован стол! — продолжал Янсутский, показывая Домне Осиповне на накрытый в зале стол.

Она, чтобы рассмотреть хорошенько, надела даже пенсне и с своей стороны подтвердила:

— Очень хорошо.

M-me Мерова в это время вскидывала на мгновение свои глазки на Бегушева. Она тоже, кажется, подобно ему, не находила ничего особенно красивого и милого в трактирном убранстве.

Явился граф Хвостиков в черном фраке и белом галстуке.

— Боже мой, сколько лет не видались! — воскликнул было он, растопыривая перед Бегушевым руки и как бы желая заключить его в свои объятья.

Но тот, однако, не пошевелился с своего места и проговорил только:

— Здравствуйте!

— Каждый день я к вам сбирался, каждый день! — продолжал Хвостиков.

Бегушев и на это промолчал.

Граф, поняв, что ему тут ничего не вытанцевать, расшаркался перед дамами.

— Je vous salue mesdames[1],— и, сейчас же усевшись на кресле, рядом с Домной Осиповной, начал отдуваться. По решительному отсутствию денег, граф издалека пришел пешком.

— Вы устали? — спросила его Домна Осиповна.

— Сидя около вас, я не могу сказать, что я у стали; скорей, я у золота,— отвечал он.

Домна Осиповна поняла его остроту и искренне засмеялась.

Бегушев при этом нахмурился.

Граф между тем устремил свой взгляд вдаль.

— Однако я так проголодался, что попрошу у тебя позволения выпить рюмку водки и съесть что-нибудь,— проговорил он Янсутскому и, встав, прямо отправился в залу к разнообразнейшей закуске, приготовленной там на особом довольно большом столе.

Янсутский принялся внимательно следить за ним.

Граф съел икры, семги, рыбок разных, омаров маринованных, так что Янсутский не выдержал и, подойдя к нему, тихо, но со злостью сказал:

— Пожалуйста, не портите все тарелки, а с которых возьмете,— велите, по крайней мере, переменить их на свежие!

Графа смутило несколько такое замечание.

— Je comprends, mon cher! [2]—отвечал он тоже негромко и вместе с тем продолжая есть, а потом, накушавшись, строго приказал лакею пять разоренных тарелок переме-

---

[1] Приветствую вас, сударыни, *(франц.)*
[2] Я понимаю, дорогой мой! *(франц.)*

нить на новые; накануне Хвостикову удалось только в целый день три раза пить кофе: ни на обед, ни на ужин он не попал ни к одному из своих знакомых!

— А я теперь был у Хмурина; у него Офонькин; они сейчас сюда приедут,— сказал граф Янсутскому, возвращаясь в гостиную.

— Знаю это я! — отвечал тот ему небрежным тоном.

Вошедший быстро лакей доложил, что приехал Тюменев. Янсутский опрометью бросился в коридор. Он заранее еще распорядился, чтобы его немедля известили о прибытии Тюменева.

— Здесь, ваше превосходительство, сюда пожалуйте! — говорил он, раболепно встречая почетного гостя и вводя его в свое отделение.

Тюменев был в трех звездах.

— Не узнаете? — спросил его тотчас же граф Хвостиков, останавливаясь перед ним.

Тюменев изобразил на лице своем некоторое недоумение.

— Граф Хвостиков,— объяснил ему тот.

— А! — произнес довольно вежливо Тюменев, протягивая ему руку.

— Мы всю молодость, если вы помните, провели с вами в одном кругу!..—продолжал Хвостиков.

— Да, но вы были тогда такой лев Петербурга,— сказал Тюменев.

— Зато теперь вы лев! — подхватил Хвостиков, показывая на звезды Тюменева.

— Какой я лев,— скромно возразил тот, но вряд ли, впрочем, в настоящие минуты не считал себя львом, потому что очень топорщился и поднимал голову как только мог высоко.

Янсутский, сиявший удовольствием от посещения Тюменева, ввел его в гостиную и поспешил представить дамам, или, точнее сказать, поспешил дам представить ему.

Тюменев молча поклонился им и сел. С Бегушевым они кивнули друг другу головами.

В маленькой передней после того раздались снова голоса и смех вновь приехавших гостей. Янсутский тоже поспешно встретил их.

Вошел совсем русский купец, в скобку подстриженный, напомаженный, с расчесанною седою бородою и в длиннополом, из очень дорогого сукна, сюртуке. На вид он,

как кажется, был очень низкопоклонлив. За ним следовал другой господин, уже во фраке и в весьма открытом жилете, из-под которого виднелось дорогое белье с брильянтовыми запонками,— господин с лицом корявым и с какою-то совершенно круглою головою, плотно посаженною в высокие, крепко накрахмаленные воротнички. В противоположность товарищу своему, он держал себя очень гордо; но Янсутский заметно встретил с бо̀льшим почетом купца и его первого рекомендовал Тюменеву.

— Господин Хмурин! — сказал он.

— Знает меня его превосходительство! Знакомы мы тоже маненечко! — говорил Хмурин, низко и по-мужицки кланяясь Тюменеву, а вместе с тем, однако, протягивая ему руку, которую тот, с своей стороны, счел за нужное пожать.

— Господин Офонькин! — добавил Янсутский, показывая на господина во фраке, которому Тюменев только издали кивнул головой.

Офонькин тоже весьма немного наклонил свою голову вперед: он, вероятно, в некотором отношении был вольнодумец!

— Господин Хмурин,— объяснил Янсутский дамам. Те любезно улыбнулись старику, который и им тоже низко и по-мужицки поклонился.

— Извините, сударыни, не умею, как дамам представляться и раскланиваться им,— сказал он и затем указал на своего товарища.— Вон Василий Иваныч у нас... тоже, надо сказать, вместе мы с ним на шоссе воспитание получили... Ну, а ведь на камне да на щебне не много ловким манерам научишься,— так вот он недавно танцмейстера брал себе и теперь как есть настоящий кавалер, а я-с — как был земляник, так и остался.

— Вы всё шутите! — проговорил еще первое слово Василий Иванович и сразу обнаружил свое бердичевское происхождение.

— Не угодно ли вам будет присесть? — сказал Хмурину Янсутский.

— Благодарю вас покорно! — отвечал тот, и ему низко кланяясь; а потом хотел было сесть на одно из кресел, в котором, впрочем, вряд ли бы и уместился, но в это время поспешила встать с дивана Домна Осиповна.

— Не угодно ли вам лучше здесь сесть? — сказала она Хмурину.

Он сначала было растопырил руки.

— Нет, сударыня, извините, не могу этого...

— Очень можете,— перебила его Домна Осиповна,— вы человек пожилой, почтенный и непременно должны сидеть на диване.

Хмурин затем поклонился еще раз ей, сел и принял такую позу, которой явно показал, что он нисколько не стесняется и совершенно привык сидеть перед дамами, перед всякими статс-секретарями и даже руководствовать всей беседой.

— Сейчас я читал в газетах,— начал он совершенно развязно и свободно, между тем как друг его Офонькин делал над собой страшное усилие, чтобы занять все кресло, а не сидеть на краешке его,— читал в газетах,— продолжал Хмурин,— что, положим, там жена убила мужа и затем сама призналась в том, суд ее оправдал, а публика еще денег ей дала за то. Бывали ведь такие случаи, по старинной это выходит поговорке русской: «Милость на суде хвалится» — прекрасно-с, отлично!.. Читаю я далее-с: один там из моих подрядчиков, мужичонко глупый, выругал, что ли, повариху свою, которая про артель ему стряпала и говядины у него украла, не всю сварила,— повариха в обиду вошла и к мировому его, и господин мировой судья приговаривает мужика на десять дней в тюрьму. Значит, убивать можно, потому что еще денег за это дают, а побранить нельзя — наказывают; странно что-то!

— Это потому,— начал ему возражать Янсутский,— что поводом к убийству могут быть самые благородные побуждения; но мужчине оскорбить женщину — это подло и низко. В этом случае строгие наказания только и могут смягчать и цивилизовать нравы!

Хмурин склонил голову, чтобы внимательнее выслушать и лучше понять, что говорил Янсутский.

— Только это-с? — спросил он его каким-то плутовато-насмешливым голосом.

— Конечно! — подтвердил Янсутский.— Даже в наших предприятиях — вы, конечно, хорошо это знаете — ни подрядчики, ни мы сами в настоящее время не станем так строго обращаться с подчиненными, как это бывало прежде.

— Это отчего-с? Я нынче так же строго держу... еще строже даже!..— возразил Хмурин.

— Поэтому вы рискуете быть наказанным,— заметил ему Янсутский.

— Да хоть бы двадцать раз меня наказывали!.. В нашем деле без строгости нельзя-с!

— Что ж, вы и терпели наказание? — спросил Хмурина Тюменев.

— Никак нет-с! — отвечал тот с усмешкой.— И терпеть даже никогда не буду, потому я богат... Ну, когда тоже очень этак не остережешься, призовешь после этого «пострадавшее лицо», как нынче их, окаянных, именуют, сунешь ему в зубы рублей тридцать — он же тебе в ноги поклонится.

— Ну, не всякий вам поклонится, извините! — возразил ему опять Янсутский.

— Не всякий? — повторил насмешливо Хмурин.— Я даже... не для огласки это будь молвлено... генерала было одного «оскорбил действием»,— прибавил он, видимо, зная все юридические термины из новой судебной практики и сильно их не любя.

— Генерала? — спросил не без удивления Тюменев.

— Точно так-с! — ответил Хмурин.— Кирпичу я ему поручил для меня купить, тысяч на сто, а он тут и сплутовал сильно; я этого не стерпел, соскочил с пролеток, да с плетью за ним... «Ну, думаю, пропал совсем!..» А выходит, что на другой день он сам же пришел ко мне: добрый, значит, этакой уж человек, и до сей поры мы приятели!..

Говоря это, Хмурин все почему-то старался смотреть в окно, а граф Хвостиков тоже как-то глядел в совершенно противоположную сторону, и сильно можно было подозревать, что вряд ли эта история была не с ним.

— Сильвестр Кузьмич любит и выдумывать на себя,— отозвался вдруг Офонькин на своем бердичевском наречии.

— Пошто ж мне выдумывать?.. Не выдумываю!..— отвечал ему как бы совершенно равнодушным тоном Хмурин.— А говорю только к тому, что я суда мирового не боюсь.

— Прекрасно-с, но в этом случае вы вините общество, а не суд,— начал снова с ним препираться Янсутский.— В давешнем же споре нашем вы смешали два совершенно разные суда: один суд присяжных, которые считают себя

вправе судить по совести и оправдывать, а в другом судит единичное лицо — судья

— Позвольте-с! Позвольте! — перебил его Хмурин, как-то отстраняя даже рукою его доказательства.— Господину мировому судье закон тоже позволяет судить по совести — раз!.. Второе — коли убийцу какого-нибудь или вора судят присяжные, суди и драчуна присяжные: суд для всех должен быть одинакий!

— Я не нахожу существенной разницы в обоих этих судах,— вмешался в разговор Тюменев,— как тут, так и там судят лица, выбранные обществом.

Хмурин на это засмеялся.

— Ах, ваше превосходительство! — воскликнул он. — Изволите вы жить в Питере: видно, это оченно высоко и далеко, и ничего вы не знаете, как на Руси дела делаются: разве одинако выбираются люди на места, на которых жалованья платят, или на места, где одна только страда и труд! На безденежное место тоже больше стараются упрятать человека маленького, смирного, не горлопана; ну, а где деньгами пахнет, так там, извините, каждый ладит или сам сесть, а коли сам сесть не хочет, так посадит друга и приятеля,— а не то, чтобы думали: каков есть внутри себя человек. Вы мне про эти дела и выборы наши лучше не говорите — вот они где у меня, в сердце моем сидят и кровь мою сосут!..

И Хмурин при этом указал на себя в грудь.

— Так надо сказать-с,— продолжал он, явно разгорячившись,— тут кругом всего этого стена каменная построена: кто попал за нее и узнал тамошние порядки — ну и сиди, благоденствуй; сору только из избы не выноси да гляди на все сквозь пальцы; а уж свежего человека не пустят туда. Вот теперь про себя мне сказать: уроженец я какой бы то ни было там губернии; у меня нет ни роду, ни племени; человек я богатый, хотел бы, может, для своей родины невесть сколько добра сделать, но мне не позволят того!

— Как не позволят? — спросил Тюменев с удивлением.

— Не позволят-с! — продолжал Хмурин.— Потребуют — то прежде устрой, другое, где лапу запускать удобнее; а я — согрешил, грешный,— смолоду не привык по чужой дудке плясать, так и не делаю ничего!.. Словом, стена каменная кругом всего поставлена, а кто ее разобьет?.. Разве гром небесный!

— Сердится все за то, что его в головы не выбирают! — шепнул граф Хвостиков Офонькину.

— Да, — согласился тот, кинув на графа лукавый взгляд.

— И во всем этом нашем кругозоре, — развивал далее свою мысль Хмурин, — выходит, что немец — плут, купец — дурак али, правильнее сказать, прикидывается дураком, потому что ему около своих делов ходить выгоднее, а барин — бахвал или тоже плут!

— Отличное определение сословных элементов! — воскликнул при этом Бегушев, все время сидевший потупя голову и довольно внимательно прислушивавшийся к словам Хмурина.

— Верно-с определено! — подтвердил тот с своей стороны. — Хоть теперь тоже это дело (называть я его не буду, сами вы догадаетесь — какое): пишут они бумагу, по-ихнему очень умную, а по-нашему — очень глупую; шлют туда и заверяют потом, что там оскорбились, огорчились; а все это вздор — рассмеялись только... видят, что, — сказать это так, по-мужицки, — лезут парни к ставцу, когда их не звали к тому.

— Это совершенно справедливо! — подхватил Тюменев.

— Да как же, помилуйте? Я у вас же, у вашего превосходительства был вскоре после того. Вы меня спрашиваете: «Что это такое?», я говорю: «Публике манехонечко хочет показать себя, авось, другой сдуру подумает: «Ах, моська, знать, сильна, коль лает на слона!» — как писал господин Крылов.

— Ну нет-с, я с этим решительно не согласен! — начал было Янсутский; но в это время к нему подошел лакей и доложил, что стерляжья уха разлита и подана.

Янсутский даже побледнел при этом.

— А что же свечи не засвечены? — спросил он почти с бешенством.

— Сейчас засвечу-с! — отвечал лакей, показывая ему имевшуюся у него в руках спичку.

— Прежде это надобно было сделать! — говорил Янсутский, выходя с лакеем в залу, где, выхватив у него спичку, зажег ее и приложил к серной нитке, проведенной через все свечи; такой способ зажжения Янсутский придумал для произведения большого эффекта, — и действительно, когда все свечи почти разом зажглись, то дамы

даже легонько вскрикнули, а Хмурин потупил голову и произнес:

— Свет Христов просвещает всех!

Но Бегушев при этом не мог удержаться и презрительно засмеялся.

Янсутский между тем с довольным лицом возвратился в гостиную.

— Отличная вещь изобретена — это мгновенное освещение! — сказал он.

— Это ниткой особенной делается? — спросил его глубокомысленно Офонькин.

— Ниткой! Однако прошу покорно вести поскорее дам к столу; иначе простынет уха! — говорил Янсутский.

Тюменев сейчас же подал руку m-me Меровой; его уже предуведомил Бегушев, в каких она находится отношениях с Янсутским, и, может быть, вследствие того на нее Тюменев довольно смело и весьма нежно взглядывал; но она, напротив, больше продолжала вскидывать весьма коротенькие взгляды на Бегушева. Граф Хвостиков хотел было вести Домну Осиповну, но она отстранила его и отнеслась к Хмурину.

— А я с вами пойду, вы позволите мне это? — сказала она ему.

— Если вам угодно! — проговорил тот, складывая руку свою кренделем.— А я ведь, признаться, и не хаживал с дамами к столу.

— Ну, полноте, пожалуйста, не притворяйтесь,— возразила Домна Осиповна, засовывая свою руку в его руку.

— Право, не хаживал,— повторил лукаво Хмурин.

Глава VIII

За обедом уселись следующим образом: m-me Мерова на месте хозяйки, по правую руку ее Тюменев, а по левую Бегушев. Домна Осиповна села рядом с Хмуриным, а граф Хвостиков с Офонькиным. Сам Янсутский почти не садился и был в отчаянии, когда действительно уха оказалась несколько остывшею. Он каждого из гостей своих, глядя ему в рот, спрашивал:

— Холодна?.. Холодна?

— Напротив, уха как следует подана,— успокоил его, наконец, Тюменев.

— Вина теперь, господа, не угодно ли? — воскликнул вслед за тем Янсутский, показывая на бутылки с золотыми ярлыками.— Это мадера мальвуази. Для ухи ничего не может быть лучше... правда? — спросил он всех.

Все согласились, что правда.

— Вино-с это историю имеет!..— произнес Янсутский, обращаясь более к Тюменеву.— Оно еще существовало, когда англичане брали Гибралтар. Как вы находите его?— заключил он, относясь уже к Бегушеву.

— Мадера недурна,— отвечал тот совершенно равнодушно.

— Очень хороша! — отозвался с своей стороны Офонькин.

— Она цельная и к цели прямо ведущая,— сострил граф Хвостиков.

— Отчего ж вы не угощаете вашего кавалера? — спросил Янсутский, подходя к Домне Осиповне и указывая ей на Хмурина.

— Ах, позвольте, я вам налью,— проговорила та, поспешно беря со стола бутылку и наливая из нее огромную рюмку для Хмурина.

Тот поблагодарил ее улыбкою. Бегушев при этом внимательно посмотрел на Домну Осиповну.

За ухой следовала говядина. Янсутский и тут начал приставать к своим гостям:

— Хороша? Хороша?

— Да, хороша!.. Полно юлить тебе! — сказал ему, наконец, Хмурин.

— Нельзя, братец, в рассейских отелях того и гляди, что подадут страшную мерзость,— возразил Янсутский.

— Никогда не подадут, если деньги заплатишь хорошие,— заметил Хмурин и снова принужден был поклониться Домне Осиповне, потому что она опять подлила ему вина, которое Хмурин выпив пришел в заметно приятное настроение духа.

— А у меня еще просьба к вам, Сильвестр Кузьмич,— начала Домна Осиповна, усмехаясь несколько.

Хмурин при этом склонил к ней несколько голову свою.

— Видите что... Последнее время я все состояние перевела на деньги и теперь должна на них жить...

— Что ж, это дело хорошее! — подхватил Хмурин.— На деньги еще жить можно; вот без денег — так точно, что затруднительно, как примерно теперь графу Хвости-

кову,— шепнул он, кивнув головой на сего последнего.— Колький год тоже, сердешный, он мается этим.

— Но женщине и с деньгами затруднительно,— возразила Домна Осиповна.— Капитал, разумеется, прожить легко; но надобно стараться жить процентами.

— Это так-с, совершенно справедливо,— согласился Хмурин.

— Вина этого, конечно, вы выпьете! — переменила вдруг разговор Домна Осиповна, беря из рук Янсутского красное вино, по бутылке которого он раздавал каждому из гостей своих, пояснив, что это вино из садов герцога Бургундского.

Хмурин выпил налитый ему Домной Осиповной стакан и придал такое выражение своему лицу, которым показал, что он ее слушает.

— И я бы, вот видите,— продолжала она,— желала акций ваших приобресть по номинальной цене — тысяч на восемьдесят.

Голос ее при последних словах слегка дрогнул.

— По номинальной цене-с? — переспросил Хмурин.

— Да! — отвечала ему робко Домна Осиповна.

— Но их нет по номинальной цене,— сказал было Хмурин.

— Нет на бирже, но у вас они есть,— пояснила Домна Осиповна.

— У меня-то есть,— произнес протяжно Хмурин,— но мне их продавать по такой цене словно бы маненечко в убыток будет!

— Что вам?.. Что значит этот убыток — все равно что ничего!

— Ну, как-с ничего! Всё деньги тоже,— продолжал Хмурин.

— Какие это для вас деньги? Вы сравните свое состояние и мое: у меня восемьдесят тысяч, а вы миллионер, я нищая против вас; кроме того, я женщина одинокая, у меня никого нет — ни помощников, ни советников.

— А супруг ваш где же? — перебил ее Хмурин.

— Я с мужем не живу; мы врозь с ним.

Хмурин выпучил глаза от удивления.

— Скажите, не слыхал я этого!

— Более уже года,— продолжала Домна Осиповна.

— Но что же за причина тому? — спросил Хмурин.

Домна Осиповна грустно усмехнулась.

— Не сошлись характерами, как говорят... Кутил он очень и других женщин любил,— проговорила она и вздохнула.

— Поди ты, какое дело! — произнес как бы с участием Хмурин.— Значит, ради сиротчества вашего надобно вам сделать уступочку эту! — присовокупил он, усмехаясь.

— Ради сиротчества моего мне уступите,— повторила Домна Осиповна тоже с улыбкою.

Хмурин еще раз усмехнулся.

— Только дело такое, сударыня, по номинальной цене я не могу вам продать, прямо выходит двадцать тысяч убытку; значит, разобьемте грех пополам: вы мне накиньте десяточек тысяч, и я вам уступлю десяток.

— Ни за что, ни за что! — полувоскликнула Домна Осиповна.— Я так решилась, чтобы непременно по номинальной цене!

— Что ж решились? — возразил опять усмехаясь и с некоторым даже удивлением Хмурин.— Мало ли на что человек решится, что ему выгодно.

— Нет, кроме того, серьезно, меня обстоятельства вынуждают к тому. Ваши бумаги сколько дают дивиденту?

— Прошлый год дали по пятнадцати рублей на акцию.

— Поэтому я всего буду получать двенадцать тысяч, а мне из них по крайней мере тысяч семь надобно отправить к мужу в Петербург...

— Разве у него своего ничего уж нет? — спросил Хмурин.

— Ни рубля!.. Ну, пожалуйста, добрый, почтенный Сильвестр Кузьмич, продайте! — упрашивала Домна Осиповна.

— Да дайте, по крайней мере, за восемьдесят-то — восемьдесят пять,— отвечал ей тот, продолжая усмехаться.

— Но у меня и денег таких нет — понимаете?

— Это что же, рассчитаем: не хитро.

— Нет, пожалуйста, умоляю вас,— перебила Хмурина Домна Осиповна.

Тот покачал головой.

— Делать нечего-с! — сказал он не совсем, кажется, довольным голосом.— Приезжайте завтра в контору.

— Можно? — спросила с нескрываемым восторгом Домна Осиповна.

— Приезжайте-с,— повторил еще раз Хмурин.

— Merci! Я за это пью здоровье ваше! — продолжала

Домна Осиповна и, чокнувшись с Хмуриным, выпила все до дна.

В продолжение всего этого разговора Бегушев глаз не спускал с Домны Осиповны. Он понять не мог, о чем она могла вести такую одушевленную и длинную беседу с этим жирным боровом.

Вскоре подали блюдо, наглухо закрытое салфеткой.

Янсутский сейчас же при этом встал с своего места.

— Это трюфели à la serviette [1],— сказал он, подходя к Бегушеву, с которого лакей начал обносить блюдо.

Бегушев на это кивнул головой.

— Благодарю вас, я трюфели ем только как приправу,— проговорил он.

— Но в этом виде они в тысячу раз сильнее действуют... Понимаете?..— воскликнул Янсутский.

Бегушев и на это отрицательно покачал головой.

Янсутский наклонился и шепнул ему на ухо:

— Насчет любви они очень помогают!.. Пожалуйста, возьмите!

— Нет-с, я решительно не могу их в этом виде есть! — сказал Бегушев.

Янсутский, делать нечего, перешел к Тюменеву.

— Надеюсь, ваше превосходительство, что вы по крайней мере скушаете,— проговорил он.— Насчет любви они помогают! — присовокупил он и тому на ухо.

— Будто? — произнес Тюменев.

— Отлично помогают! — повторил Янсутский.

Тюменев взял две — три штучки.

— Et vous, madame? [2] — обратился он к Меровой.

— Елизавете Николаевне мы сейчас положим,— подхватил Янсутский и положил ей несколько трюфелей на тарелку.

— Но я не хочу столько, куда же мне?..— воскликнула та.

— Извольте все скушать! — почти приказал ей Янсутский.

— Трюфели, говорит господин Янсутский, возбуждают желание любви,— сказал m-me Меровой Тюменев, устремляя на нее масленый взгляд.

— Каким же это образом? — спросила она равнодушно.

---

[1] в салфетке, *(франц.)*

[2] А вы, сударыня? *(франц.*

— То есть — вероятно действуют на нашу кровь, на наше воображение,— старался ей растолковать Тюменев.

— А, вот что! — произнесла Мерова.

— Что ж вы так мало скушали?.. Стало быть, вы не желаете исполниться желанием любви? — приставал к ней Тюменев.

— Нисколько! — отвечала Мерова.

— Почему же?.. Может быть потому, что сердце ваше и без того полно этой любовью?

— Может быть! — проговорила Мерова.

— Интересно знать, кто этот счастливец, поселивший в вас это чувство? — спросил Тюменев, хотя очень хорошо знал, кто этот был счастливец.

— Ах, этот счастливец далеко теперь,— сказала с притворным вздохом m-me Мерова.

— Где ж именно? — полюбопытствовал Тюменев.

— Да на том свете или в Японии. Что дальше?

— Тот свет, полагаю, дальше.

— Ну, так он на том свете.

— Трюфели-с! Трюфели! — говорил в это время Янсутский, идя за лакеем, подававшим это блюдо Хмурину.

— Отворачивайте, батюшка! Идите с богом!.. Стану я эти поганки есть!.. — отозвался гость.

Янсутский обратился к Офонькину.

— Voulez vous? [1] — сказал он.

— Oui [2],— отвечал тот тоже по-французски.

— А вам, конечно, все остальное? — спросил Янсутский графа Хвостикова.

— Но не отсталое, заметь!..— сострил, по обыкновению, граф Хвостиков.

Лакей поставил перед ним все блюдо. Граф принялся с жадностью есть. Он, собственно, и научил заказать это блюдо Янсутского, который сколько ни презирал Хвостикова, но в гастрономический его вкус и сведения верил.

Домна Осиповна между тем все продолжала любезничать с Хмуриным, и у них шел даже довольно задушевный разговор.

— Я супруга вашего еще в рубашечке знал... У дедушки своего сибиряка он воспитывался,— говорил Хмурин.

— А вы и дедушку, значит, знаете? — спросила довольно стремительно Домна Осиповна.

---

[1] Хотите? *(франц.)*

[2] Да, *(франц.)*

— Господи, приятели исстари... старик знатный... самодуроват только больно!

— Это есть немножко! — подхватила Домна Осиповна.

— Какое немножко!.. В Сибири-то живет — привык, словно медведь в лесу, по пословице: «Гнет дуги — не парит, сломает — не тужит...» Вашему, должно быть, супругу от него все наследство пойдет? — спросил Хмурин.

— Вероятно ему, он самый ближайший наследник его... Впрочем, ему и этого состояния ненадолго хватит.

— Чтой-то этакой-то уймы... Вам уж надобно его попридержать!

— Как же я могу попридержать его, когда я не живу с ним,— возразила с грустною улыбкою Домна Осиповна.

— Сойдетесь! Мало ли люди сходятся и расходятся. Вы, как я имею честь вас видеть, дама умная этакая, расчетливая, вам грех даже против старика будет; он наживал-наживал, а тут все прахом пройдет.

— Ничего я теперь не могу сделать! — сказала Домна Осиповна решительным тоном.

— И что же, дедушка теперь знает, что вы в разводе?

— Не думаю! По крайней мере я к нему не писала, а муж... не знаю.

— Тот не напишет, побоится; а то бы старик давно его к себе призвал и палкой отдул.

В это время обед кончился. Лакеи подали кофе и на столе оставили только ликеры и вина.

— Mesdames! — воскликнул Янсутский.— Угодно вам, как делают это английские дамы, удалиться в другую комнату или остаться с нами?

— Я желаю остаться здесь! — отозвалась первая Домна Осиповна.— Вы остаетесь, ma chère? — спросила она Мерову.

— Мне все равно! — отвечала та.

Янсутский затем принялся неотступно угощать своих гостей ликерами и вином. Сам он, по случаю хлопот своих и беспокойства, ничего почти не ел, но только пил, и поэтому заметно охмелел; в этом виде он был еще отвратительнее и все лез к Тюменеву и подлизывался к нему.

— Очень вам благодарен, ваше превосходительство, за ваше посещение,— говорил он, беря стул и садясь между ним и Меровой.

Тюменев молча ему на это поклонился.

— Я, знаете... вот и она вам скажет...— продолжал

Янсутский, указывая на Мерову,— черт знает, сколько бы там ни было дела, но люблю повеселиться; между всеми нами, то есть людьми одного дела, кто этакой хорошенький обедец затеет и даст?..— Я! Кто любим и владеет хорошенькой женщиной?..— Я! По-моему, скупость есть величайшая глупость! Жизнь дана человеку, чтобы он пользовался ею, а не деньги наживал.

— Правду это говорит он про себя? — спросил Тюменев Мерову с несколько ядовитой улыбкой.

— Нет, неправду: прескупой, напротив! — отвечала та.

— Ну, где же скупой? — возразил, немного покраснев, Янсутский.

— Конечно, скупой! — повторила Мерова.

— Вовсе не скупой!.. Вон Офонькин действительно скуп: вообразите, ваше превосходительство, ему раз в Петербурге, для небольших этих чиновничков, но людей весьма ему нужных, надо было дать обедец, и он их в летний, жаркий день позвал,— как вы думаете, куда?.. К Палкину в трактир, рядом с кухней почти, и сверх того еще накормил гнилой соленой рыбой в ботвинье; с теми со всеми после того сделалась холера... Они, разумеется, рассердились на него и напакостили ему в деле. По-моему, это мало что свинство, но это даже не расчет коммерческий: сделай он обед у Дюссо, пусть он ему стоит полторы — две тысячи, но устрой самое дело, которое, может быть, впоследствии будет приносить ему сотни тысяч.

— Каким же образом маленькие чиновники могут повредить или устроить какое бы ни было дело? — спросил Тюменев, по-видимому несколько обидевшись на такой рассказ.

— Ге!.. Маленькие чиновники!.. Маленькие чиновники — дело великое! — воскликнул Янсутский (будь он в более нормальном состоянии, то, конечно, не стал бы так откровенничать перед Тюменевым).— Маленькие чиновники и обеды управляют всей Россией!..

— Может быть, вы и меня угощаете обедом, чтобы подкупить на что-нибудь? — заметил ядовито Тюменев.

— О, ваше превосходительство, мог ли бы я когда-нибудь вообразить себе это! — произнес Янсутский, даже испугавшись такого предположения Тюменева.

— И не советую вам,— продолжал тот,— потому что пообедать — я пообедаю, но буду еще строже после того.

— О, совершенно верю! — продолжал восклицать Янсутский.— А я вот пойду позубоскалю немного над Офонькиным,— проговорил он, сочтя за лучшее перевести разговор на другой предмет, и затем, подойдя к Офонькину и садясь около него, отнесся к тому: — Василий Иванович, когда же вы дадите нам обед?

— Чего-с? — отозвался тот, как бы не поняв даже того, о чем его спрашивали. Его очень заговорил граф Хвостиков, который с самого начала обеда вцепился в него и все толковал ему выгоду предприятия, на которое он не мог поймать Янсутского. Сын Израиля делал страшное усилие над своим мозгом, чтобы понять, где тут выгода, и ничего, однако, не мог уразуметь из слов графа.

— Когда ж вы нам обед дадите? — крикнул ему на ухо во все горло Янсутский.

— Не дам никогда! — крикнул и с своей стороны громко Офонькин и немедля же повернулся слушать графа Хвостикова.

— Господин Офонькин разговора даже об этом не любит,— заметил Тюменев.

— О, у меня есть его тысяча рублей! — произнес Янсутский.— Послезавтра же затеваю обед от его имени и издерживаю всю эту тысячу.

— А я все-таки ее с вас взыщу,— возразил ему, смеясь, Офонькин.

— Как же вы ее взыщете, когда у вас никакого документа на нее нет?

— А это будет неблагородно с вашей стороны,— сказал, по-прежнему смеясь, Офонькин.

— Неблагородно, но вкусно!.. Не правда ли, граф? — отнесся Янсутский к Хвостикову, который на этот раз и сострить ничего не мог, до того был занят разговором о своем предприятии.

Домна Осиповна обратила, наконец, внимание на то, что Бегушев мало что все молчал, сидел насупившись, но у него даже какое-то страдание было написано на лице. Она встала и подошла к нему.

— Отчего вы сегодня такой сердитый и недовольный? — спросила она его ласково.

— Не всем же быть таким счастливым и довольным, как вы,— отвечал он ей.

Домна Осиповна посмотрела при этом на него довольно пристально.

— Но и печалиться, кажется, особенно нечему,— проговорила она.

В ответ на это Бегушев ничего ей не сказал и, встав, обратился к Тюменеву.

— Ты хочешь ехать со мной? — спросил он его.

— Да, мне пора!..— отвечал тот, вставая.

Домна Осиповна при такой выходке Бегушева изменилась несколько в лице.

— А как же я-то? — спросила она его.

— Вы, вероятно, долго еще здесь пробудете, но мне вас дожидаться некогда; а экипаж я за вами пришлю,— проговорил Бегушев скороговоркой, ища свою шляпу.

Домна Осиповна видела, что он взбешен на нее до последней степени, но за что именно, она понять не могла. Неужели он приревновал ее к Хмурину?.. Это было бы просто глупо с его стороны... Она, конечно, могла настоять, чтобы Бегушев взял ее с собою, и дорогою сейчас же бы его успокоила; но для Домны Осиповны, по ее характеру, дела были прежде всего, а она находила нужным заставить Хмурина повторить еще раз свое обещание дать ей акций по номинальной цене, и потому, как кошки ни скребли у ней на сердце, она выдержала себя и ни слова больше не сказала Бегушеву.

Янсутский, услыхав о намерении двух своих гостей уехать, принялся их останавливать.

— Будет, будет уж, достаточно вы подкупили нас вашим обедом,— подтрунивал над ним Тюменев.

Янсутский окончательно струсил.

— Ваше превосходительство, неужели вы могли подумать? — говорил он, прижимая руку к сердцу.

Тюменев начал раскланиваться с m-me Меровой и при этом явно сделал чувствительные глаза.

— Вы, если я не ошибаюсь, постоянная жительница Москвы? — говорил он, крепко-крепко пожимая ей руку.

— Нет, вовсе... конечно, когда мои знакомые... то есть, пока живет здесь папа мой...— отвечала m-me Мерова, совершенно смутившись и при этом чуть не проговорившись: «Пока Янсутский здесь живет»...— Летом, впрочем, я, вероятно, буду жить в Петергофе...

— Надеюсь, что вы тогда дадите мне знать о себе,— продолжал Тюменев, все еще не выпуская ее руки.

— Непременно, непременно! — отвечала m-me Мерова; ей, кажется, был немножко смешон этот старикашка.

Домне Осиповне Тюменев поклонился довольно сухо; в действительности он нашел ее гораздо хуже, чем она была на портрете; в своем зеленом платье она просто показалась ему какой-то птицей расписной. Домна Осиповна, в свою очередь, тоже едва пошевелила головой. Сановник петербургский очень ей не понравился своим важничаньем. Бегушев ушел за Тюменевым, едва поклонившись остальному обществу. Янсутский проводил их до самых сеней отеля и, возвратившись, расстегнул свой мундир и проговорил довольным голосом:

— Черт с ними!.. Очень рад, что убрались! Сейчас тапер явится: попоем, потанцуем? Дам только мало! А что если бы пригласить ваших знакомых: Эмму и Терезию? — присовокупил он, взглянув вопросительно на Хмурина и Офонькина.

Хмурин только усмехнулся и потряс головой, но Офонькин заметно этому обрадовался.

— О да, это весело бы было! — сказал он.

— Но как это дамам нашим понравится? — спросил негромко граф Хвостиков.

— Ничего, я думаю! — отвечал Янсутский.— Елизавета Николаевна,— обратился он к Меровой, — вы не оскорбитесь, если мы пригласим сюда двух француженок — немножко авантюристок?

— Что ж, я сама авантюристка! — отвечала та наивно.

— А вы, Домна Осиповна? — обратился Янсутский к Олуховой.

— Ах, пожалуйста, я совершенно без всяких предрассудков.

— Граф, сходите,— сказал Янсутский Хвостикову.

Тот при этом все-таки сделал маленькую гримасу, но пошел, и вслед за тем, через весьма короткое время, раздались хохот и крик француженок.

— Hop! [1] — воскликнула одна из них, вскакивая в комнату, а затем присела и раскланялась, как приседают и раскланиваются обыкновенно в цирках, и при этом проговорила: — Bonsoir, mesdames et messieurs! [2]

— Hop! — повторила за ней и другая, тоже вскакивая и тоже раскланиваясь по образцу товарки.

---

[1] Гоп! *(франц.)*

[2] Добрый вечер, дамы и господа! *(франц.)*

— Guten Abend, meine Herren und meine Damen![1] — произнесла, входя скромно, третья. Она была немка, и граф захватил ее для каких-то ему одному известных целей.

— Прежде всего вина! — воскликнул Янсутский и вкатил сразу каждой из вновь прибывших дам стакана по три шампанского.

— Nous allons danser![2] — воскликнули радостно француженки, увидя входящего и садящегося за рояль тапера.

— Danser![3] — повторил за ними и Янсутский.

— А я с вами; вы от меня не спасетесь,— говорила Домна Осиповна, подходя и подавая руку Хмурину.

— Ходить, сударыня, могу, а танцевать не умею,— отвечал тот.

Мерову взял Офонькин, немку — граф Хвостиков, а Эмму-француженку — Янсутский. Танцы начались очень шумно. Оставшаяся свободною француженка Тереза принялась в углу танцевать одна, пожимая плечами и поднимая несколько свое платье.

— Так я завтра же непременно заеду к вам за акциями,— говорила Домна Осиповна, водя своего кавалера за руку, так как он совершенно не знал кадрили.

— Завтра же, сударыня, и приезжайте,— говорил он, выхаживая перед ней, как медведь.

Домну Осиповну это очень развеселило, и она принялась танцевать с большим увлечением.

После кадрили последовал бурный вальс. Домна Осиповна летала то с Янсутским, то с Офонькиным; наконец, раскрасневшаяся, распылавшаяся, с прическою совсем на стороне, она опустилась в кресло и начала грациозно отдыхать. В это время подали ей письмо. Она немножко с испугом развернула его и прочла. Ей писал Бегушев:

«Посылаю вам экипаж; когда вы возвратитесь домой, то пришлите мне сказать или сами приезжайте ко мне: я желаю очень много и серьезно с вами поговорить».

Домна Осиповна поняла, что надобно спешить тушить пожар. Она немедля собралась.

— Куда же вы? — спросили все ее с удивлением.

— Нужно-с! — отвечала она коротко и уехала.

Мерова тоже вскоре после того начала проситься у

---

[1] Добрый вечер, господа и дамы! *(немец.)*
[2] Будем танцевать! *(франц.)*
[3] Танцевать! *(франц.)*

Янсутского, чтобы он отпустил ее домой. Ей, наконец, стало гадко быть с оставшимися дамами. Янсутский, после нескольких возражений, разрешил ей уехать.

— Вы, смотрите, недолго же здесь оставайтесь, а то вы, пожалуй, бог вас знает, чего не наделаете с этими вашими дамами,— говорила она Янсутскому, когда он провожал ее в передней.

— Не останусь долго! — успокаивал он ее во всеуслышание, но, однако, еще нескоро приехал, и танцы с француженками продолжались часов до пяти утра, и при этом у всех трех дам кавалеры залили вином платья и, чтобы искупить свою вину, подарили каждой из них по двести рублей.

Глава IX

Бегушев принадлежал к тому все более и более начинающему у нас редеть типу людей, про которых, пожалуй, можно сказать, что это «люди не практические, люди слова, а не дела»; но при этом мы все-таки должны сознаться, что это люди очень умные, даровитые и — что дороже всего — люди в нравственном и умственном отношении независимые: Бегушев, конечно, тысячекратно промолчал и не высказал того, что думал; но зато ни разу не сказал, чего не чувствовал. Ни в единый момент своей жизни он не был рабом и безусловным поклонником чьей-либо чужой мысли, так как сам очень хорошо понимал, что умно и что неумно, что красиво и что безобразно, что временно, случайно и что вечно!.. Но да не подумает, впрочем, читатель, что я в Бегушеве хочу вывести «прекрасного» человека или, по крайней мере, лицо «поучительное»!.. Ни то, ни другое: он был только человек, совершенно непохожий на тех людей, посреди которых ему последнее время привелось жить, и кто из них лучше: он ли с своим несколько отвлеченным миросозерцанием, или окружающие его люди, полные практической, кипучей деятельности,— это я предоставляю судить вкусу каждого. По происхождению своему Бегушев был дворянин и из людей весьма достаточных. Воспитывался он сначала в дворянском институте, потом в Московском университете и, кончив курс первым кандидатом, поступил в военную службу, будучи твердо убежден, что эта служба у нас единствен-

ная хоть сколько-нибудь облагороженная в смысле товарищей, по крайней мере: память о декабристах тогда была очень еще жива в обществе! Но на первых же порах своей служебной деятельности Бегушев получил разочарование: прежде всего ему стало понятно, что он не родился для этих смотров и парадов, которых было очень много и на которых очень строго спрашивалось; потом это постоянное выдвиганье вперед и быстрые повышения разных господ Ремешкиных затрогивали и оскорбляли самолюбие Бегушева... Все это, наконец, до того отвратило его от службы, что он, перестав совершенно ею заниматься, сделался исключительно светским человеком и здесь, в благовонной «сфере бала», встретил некую Наталью Сергеевну — прелесть женского ума, сердца, красоты,— так что всякий, кто приближался к ней, делался или, по крайней мере, старался сделаться возвышенней, благородней и умнее. Время молодости Бегушева в России можно было бы в некоторой степени назвать временем какого-то боготворения женщин. Стихи: «К глазкам», «К губкам», «К кудрям женским», «Она», «К ней!» писались тысячами. Умные старики того времени приходили в недоумение и почти в негодование. «Помилуйте! — восклицали они.— Прежде Державин писал оду «Бог», «Послание к Фелице», описывал «Водопад», а нынешние поэты все описывают нам ножки и волосы своих знакомых дам!» Но как бы то ни было, Бегушев в этот период своей жизни был совершенно согласен с поэтами и женщин предпочитал всему на свете: в Наталью Сергеевну он безумно влюбился. Она ему ответила тем же. Взаимная страсть их очень скоро была замечена в обществе. Пожилой и очень важный генерал (муж Натальи Сергеевны) вызвал поручика на дуэль, и поручик его сильно ранил, за что разжалован был в солдаты и послан на Кавказ. Наталья Сергеевна бросила мужа-генерала и уехала на Кавказ за солдатом. Лет пять Бегушев был рядовым; наконец смиловались над ним: дали ему возможность отличиться и вслед за тем возвратили ему прежние чины. Бегушев сейчас же вышел в отставку и выхлопотал себе даже разрешение уехать за границу для излечения полученной им раны. Наталья Сергеевна опять последовала за ним. Сам старый муж ее хлопотал, чтобы ей дозволили это. Бегушев уехал в чужие края с большой ненавистью к России и с большой любовью к Европе и верою в нее. Там действительно при-

ближалось довольно любопытное время. Бегушев с лихорадочным волнением был свидетелем парижской революции 48-го года; но он был слишком умен и наблюдателен, чтобы тут же не заметить, что она наполовину состояла не из истинных революционеров, а из статистов революции. Империя Наполеона и повсеместный разгром революционных попыток в Германии окончательно разбили его мечты. Вера в Европу и ее политический прогресс в нем сильно поколебалась!.. Бегушев почувствовал даже какое-то отвращение к политике и весь предался искусствам и наукам: он долго жил в Риме, ездил по германским университетским городам и проводил в них целые семестры; ученые, поэты, художники собирались в его салоне и, под благодушным влиянием Натальи Сергеевны, благодушествовали. За это время Бегушев очень многому научился и дообразовал себя, и вряд ли оно было не самое лучшее в его жизни; но счастья прочного нет: над Бегушевым разразился удар с той стороны, с которой он никак не ожидал. Наталья Сергеевна, глубоко скрывая от Бегушева, в душе сильно страдала от своего все-таки щекотливого положения,— тогда женщины еще не гордились подобными положениями! Деликатная натура ее, наконец, не выдержала: она заболела и, умирая, призналась Бегушеву в своих тайных муках. Можно судить, что сталось с ним: не говоря уже о потере дорогого ему существа, он вообразил себя убийцей этой женщины, и только благодаря своему сильному организму он не сошел с ума и через год физически совершенно поправился; но нравственно, видимо, был сильно потрясен: заниматься чем-нибудь он совершенно не мог, и для него началась какая-то бессмысленная скитальческая жизнь: беспрерывные переезды из города в город, чтобы хоть чем-нибудь себя занять и развлечь; каждодневное читанье газетной болтовни; химическим способом приготовленные обеды в отелях; плохие театры с их несмешными комедиями и смешными драмами, с их высокоценными операми, в которых постоянно появлялись то какая-нибудь дива-примадонна с инструментальным голосом, то необыкновенно складные станом тенора (последних, по большей части, женская половина публики года в три совсем порешала). Таким образом, в Европе для Бегушева ничего не оставалось привлекательного и заманчивого. Мысль, что там все мало-помалу превращается в мещанство, более и более

в нем укоренялась. Всякий европейский человек ему казался лавочником, и он с клятвою уверял, что от каждого из них носом даже чувствовал запах медных пятаков. Вообще все суждения его об Европе отличались злостью, остроумием и, пожалуй, справедливостью, доходящею иногда почти до пророчества: еще задолго, например, до франко-прусской войны он говорил: «Пусть господа Кошуты и Мадзини сходят со сцены: им там нет более места,— из-за задних гор показывается каска Бисмарка!» После парижского разгрома, который ему был очень досаден, Бегушев, всегда любивший романские племена больше германских, напился даже пьян и в бешенстве, ударив по столу своим могучим кулаком, воскликнул: «Вздор-с! Этому не быть долго: немцы не могут управлять Европой,— это противоречило бы эстетике истории!..»

В продолжение всей своей заграничной жизни Бегушев очень много сближался с русской эмиграцией, но она как-то на его глазах с каждым годом все ниже и ниже падала: вместо людей умных, просвещенных, действительно гонимых и несправедливо оскорбленных,— к числу которых Бегушев отчасти относил и себя,— стали появляться господа, которых и видеть ему было тяжело.

Наскучавшись и назлившись в Европе, Бегушев пробовал несколько раз возвращаться в Россию; проживал месяца по два, по три, по полугоду в Петербурге, блестящим образом говорил в салонах и Английском клубе, а затем снова уезжал за границу, потому что и на родине у него никакого настоящего, существенного дела не было; не на службу же государственную было поступать ему в пятьдесят лет и в чине поручика в отставке!.. Что касается до предложения некоторых друзей его идти по выборам и сделать из себя представителя земских сил, Бегушев только ядовито улыбался и отвечал: «Стар я-с и мало знаю мою страну!» В сущности же он твердо был убежден, что и сделать тут ничего нельзя, потому что на ложку дела всегда бывает целая бочка болтовни и хвастовства! В Россию Бегушев еще менее даже, чем в Европу, верил и совершенно искренне соглашался с тем мнением, что она есть огромное пастбище второстепенных племен. При таком пессимистическом взгляде на все в Бегушеве не иссякла, однако, жажда какой-то поэзии, и поэзии не в книгах только и образцах искусства, а в самой жизни: ему мерещилось, что он встретит еще женщину, которая

полюбит его искренне и глубоко, и что он ей ответит тем же. Человеку редко не удается хоть отчасти осуществить постоянно и упорно им лелеемую мечту. В один летний сезон Бегушев приехал на воды; общество было там многочисленное и наполовину состояло из русских, и по преимуществу женщин. Все они хорошо знали Бегушева и бесконечно его уважали, как постоянного жителя Европы. Его еще молодцеватую и красивую фигуру беспрестанно видели то в тех, то в других кружках, сам же Бегушев вряд ли чувствовал большое удовольствие от этого общества; но вот с некоторого времени он начал встречать молодую даму, болезненную на вид, которая всегда являлась одна и почти глаз не спускала с Бегушева; это наконец его заинтересовало. Сойдясь однажды с нею в курзале, где кроме их никого не было других посетителей, он подошел к ней и спросил:

— Вы русская?

— Русская,— отвечала дама и вся покраснела при этом.

— Ваше семейство? — продолжал Бегушев.

— Я одна! Семьи у меня даже в России нет!..

— Вы дама или девица?

— Я замужем; но я не живу с мужем! — сказала дама и при этом окончательно пылала в лице.

— И что же, вам прописан курс здешних вод? — расспрашивал ее Бегушев.

— Нет, я так!.. От скуки больше, для развлечения...

— Болезнь, значит, у нас с вами общая: я тоже скучаю.

— Ну, это незаметно! Вы, кажется, здесь предмет такого общего внимания.

— То есть меня знают все, и я тоже всех знаю,— отвечал Бегушев, и лицо его при этом покрылось оттенком грусти.

Дама посмотрела на него внимательно. Далее потом на вопрос Бегушева об ее имени и отчестве она отвечала, что имя ее очень прозаическое: Домна Осиповна, а фамилия и еще хуже того: Олухова. О фамилии самого Бегушева она не спрашивала и сказала, что давно его знает.

Тот же вечер Бегушев провел уже у Домны Осиповны, а затем их всюду стали видеть вдвоем: робко и постоянно кидаемые взгляды Домною Осиповною на Бегушева, а на-

конец и его жгучие глаза, с каким-то упорством и надолго останавливаемые на Домне Осиповне, ясно говорили о начинавшихся между ними отношениях. Первым основанием для чувства Домны Осиповны к Бегушеву было некоторое чехвальство: он ей показался великосветским господином, имеющим большой успех между женщинами, которого она как бы отнимала у всех. Бегушев же видел в ней слабое, кроткое существо, разбитое в жизни негодяем мужем, о чем Домна Осиповна рассказала Бегушеву с первых же свиданий. Согреть своим дыханием и снова возвратить это существо к жизни — ему было несказанно приятно!..

Глава X

Приехав с обеда и отправив письмо к Домне Осиповне, Бегушев сидел в своем кабинете. У него даже глаза налились кровью от гнева. По натуре своей он был очень вспыльчивый и бешеный человек и только воспитанием своим сдерживал себя. Послышался негромкий звонок. Бегушев догадался, конечно, кто приехал; но он не пошевелился, чтобы поторопить своего Прокофия, который, разумеется, и отпер дверь не очень поспешно. В эти мгновения Бегушев кусал свои ногти. Наконец, раздались негромкие шаги, и вошла Домна Осиповна, ласково и кротко улыбаясь. Она, как бы ничего не случилось, сняла свою шляпку и, подойдя к Бегушеву, поцеловала его в лоб. Он и тут не пошевелился, а только насмешливо посмотрел на снятую ею шляпку. Домна Осиповна после того села напротив него.

— Ты сердит на меня за что-то, я вижу,— сказала она.

— Очень сердит,— отвечал Бегушев.

— Но за что?

— За все!.. За весь сегодняшний день!..— отвечал Бегушев, нервно постукивая ногой.

— За весь день? — спросила с удивлением Домна Осиповна.

— За весь!.. Что бы вы там ни говорили, как бы ни ссылались на моды, но в такие платья одеваться нельзя!.. Такие шляпки носить и так причесываться невозможно.

Домна Осиповна окончательно была удивлена.

— Почему же нельзя и невозможно? — спросила она почти насмешливо.

— Потому-с,— почти крикнул Бегушев,— что так могут одеваться только первобытные женщины... дикие, из лесов вышедшие... Вон, смотрите, ваша же подруга Мерова — она, по всему видно, лучше в этом отношении вас воспитана!.. Посмотрите, как она скромно, умно и прилично была одета!

Домна Осиповна вспыхнула при этом. Бегушев не подозревал, какое глубокое оскорбление нанес он ей этими словами: Домна Осиповна, как мы знаем, постоянно спорила и почти пикировалась с Меровой касательно туалета и, считая ее дурочкой, твердо была уверена, что та решительно не умеет одеваться, а тут вдруг что же она слышала, какое мнение от любимого ею человека?

— Madame Мерова вообще, я вижу, вам больше нравится, чем я!.. Что ж, займитесь ею: она, может быть, предпочтет вас Янсутскому,— проговорила она с навернувшимися слезами на глазах.

— Пожалуйста, не переходите на почву ревности!.. Вы сами хорошо знаете, что я слишком вас люблю, слишком стар, чтобы увлечься другой женщиной,— не говорите в этом случае пустых фраз! — возразил ей Бегушев.

— Как же мне не говорить,— продолжала Домна Осиповна.— За то, что я как-то не по вкусу твоему оделась, ты делаешь мне такие сцены и говоришь оскорбления.

— Ты-то уж меня очень оскорбила сегодня... Очень! — перебил ее Бегушев с запальчивостью.— Чувствовала ли ты, как ты сидела, когда мы ехали с тобой в коляске?

Домна Осиповна склонила при этом голову.

— Даже и то не по нем, как я сидела в коляске, — проговорила она.

— Очень не по мне — ты сидела, как бы сидела самая пошлейшая камелия.

— Это терпения никакого нет выслушивать такие сравнения!..— сказала Домна Осиповна и окончательно заплакала.

Бегушеву сейчас сделалось жаль ее.

— Но пойми ты это,— заговорил он, ударяя себя в грудь,— я желал бы, чтобы ты никогда не была такая, какою ты была сегодня. Всегда я видел в тебе скромную и прилично держащую себя женщину, очень мило одетую, и вдруг сегодня является в тебе какая-то дама червонная!.. Неужели этот дурацкий вкус замоскворецких купчих повлиял на тебя!

— Хорошо, я вперед буду так одеваться, как за границей одевалась,— сказала покорно Домна Осиповна.— Что же, в этом все твое неудовольствие?

— Нет, не в этом,— отвечал опять Бегушев с запальчивостью.— Я этого мерзавца Янсутского совсем не знал; но вы его, как сам он говорил, давно знаете; каким же образом вы, женщина, могли поехать к нему на обед?

— Каким же образом ваша приличная madame Мерова поехала к нему на обед? — спросила, в свою очередь, с ядовитостью Домна Осиповна.

— Что ж мне за дело до madame Меровой; она может ехать куда ей угодно... говорить, что хочет и как умеет...

— Но главное,— возразила Домна Осиповна, пожимая плечами,— на обеде у Янсутского ничего такого не было, что бы могло женщину шокировать!.. Все было очень прилично!

— Прилично! — воскликнул Бегушев и захохотал саркастическим смехом.— Прилично очень!.. Когда этот мерзавец за каждым куском, который глотал его гость, лез почти в рот к нему и спрашивал: «Хорошо?.. Хорошо?..» Наконец, он врал непроходимо: с какой наглостью и дерзостью выдумал какую-то мадеру мальвуази, существовавшую при осаде Гибралтара, и вино из садов герцога Бургундского! Чем же он нас после того считает? Пешками, болванами, которые из-за того, что их покормят, будут выслушивать всякую галиматью!

— Не мне же было ему возражать и спорить с ним; это вам, мужчинам, следовало,— проговорила Домна Осиповна.

— Никто от вас и не требует, чтобы вы ему возражали, но вы должны были оскорбиться.

Домна Осиповна решительно не понимала, чем она тут могла оскорбиться.

— И тотчас же уехать после обеда, если имели неосторожность попасть на такую кабацкую попойку,— добавил Бегушев.

Попойки кабацкой, по мнению Домны Осиповны, тоже совершенно не было, а были только все немного выпивши; но она любила даже мужчин навеселе: они всегда в этом случае бывают как-то любезнее. Впрочем, возражать что-либо Бегушеву Домна Осиповна видела, что совершенно бесполезно, а потому, скрепя сердце, молчала.

— Или эти милые остроты дуралея Хвостикова, ко-

торыми вы так восхищались!..— не унимался между тем тот, не могший равнодушно вспомнить того, что происходило за обедом.

Домна Осиповна и на это молчала, что еще более поднимало в Бегушеве желчь, накопившуюся в продолжение дня.

— Но все это, разумеется, бледнеет перед тем, — заключил он с ядовитой усмешкой,— что вы — молодая женщина порядочного круга, в продолжение двух часов вели задушевнейшую беседу с мужиком, плутом, свиньей.

Домна Осиповна подняла, наконец, голову.

— Вот видишь, как несправедливы все твои обвинения,— сказала она.— Я с этим мужиком разговаривала о делах моих, по которым у меня хлопотать некому, кроме меня самой.

— Нет-с, вы мало что разговаривали с ним, вы с ним любезничали, чокались бокалами!.. Удивляюсь, как брудершафт не выпили!

— Нельзя же с человеком, говоря о каком-нибудь деле своем, говорить грубо.

— Вы никак не должны были с ним говорить!.. Он хоть человек не глупый, но слишком неблаговоспитанный! Если у вас есть с ним какое-нибудь дело, то вы должны были поверенного вашего послать к нему!.. На это есть стряпчие и адвокаты.

— Но я никого из этих адвокатов не знаю.

— В таком случае извольте мне поручить ваши дела и расскажите, в чем они состоят; я буду с Хмуриным разговаривать за вас.

Предложение это смутило Домну Осиповну. Она не хотела, чтобы Бегушев подробно знал ее состояние, и обыкновенно говорила ему только, что она женщина обеспеченная.

— Не хочу я тебя беспокоить моими делами,— возразила она.— Ты сам говоришь, что мы не должны обременять друг друга ничем и что пусть нас связывает одна нравственная привязанность!

Говоря это, Домна Осиповна, будто бы от жару, сняла свои букли и распустила немного косу и расстегнула несколько пуговиц у платья. Маневром этим она, видимо, хотела произвести приятное впечатление на Бегушева и достигнула этого.

— Посмотри, пожалуйста! — воскликнул он.— Не в

тысячу ли раз ты в этом виде прелестнее, чем давеча была?

— Неужели же я растрепанная лучше, чем одетая? — спросила Домна Осиповна.

— Гораздо, потому что природа у тебя прекрасная, но вкуса нет.

Домна Осиповна при этом опять покраснела.

— Ну хоть в таком виде люби меня. Ты не сердишься больше на меня? Скажи! — говорила она, вставая и подходя к Бегушеву.

— Я не сержусь, но я огорчен!.. Я желал бы, чтобы ты была лучше всех в мире или, по крайней мере, умнее в каждом поступке твоей жизни.

— В таком случае учи меня, — продолжала Домна Осиповна, целуя его в лоб. — Что же делать, если я такая глупенькая родилась на свет!

— Ты не глупенькая, а тебе надобно гувернантку хорошую нанять.

— Найми гувернантку мне! — сказала покорным голосом Домна Осиповна.

В это время, без всякой осторожности, явился Прокофий, так что Домна Осиповна не успела даже прервать поцелуя своего, не то что поотойти от Бегушева.

— Подано кушать-с! — сказал Прокофий почти повелительным голосом.

Рассердясь на барина, никогда почти не ужинавшего, а тут вдруг ни с того, ни с сего приказавшего готовить затейливый ужин, Прокофий строжайшим образом распорядился, чтобы повар сейчас же начинал все готовить, а молодым лакеям велел накрывать стол.

— Хотите скушать чего-нибудь? — сказал Бегушев, уже начав Домне Осиповне говорить «вы».

— Хорошо, — отвечала та, поправляя прическу у себя.

Они прошли в столовую.

— Я нарочно велел приготовить пулярдку с трюфелями, чтобы вам показать, какие могут быть настоящие трюфели, сравнительно с теми пробками, которыми нас угощал сегодня наш амфитрион...

И Бегушев сам наложил Домне Осиповне пулярды и трюфелей.

Она скушала их все.

— Есть, надеюсь, разница? — спросил ее Бегушев.

— Да! — согласилась Домна Осиповна, но в самом

деле она так не думала, и даже вряд ли те трюфели не больше ей нравились.

— Теперь позвольте вам предложить и красного вина, которое, надеюсь, повыше сортом вина из садов герцога Бургундского!

И Бегушев налил Домне Осиповне действительно превосходного красного вина.

— О, это гораздо лучшее вино! — согласилась Домна Осиповна, все-таки не чувствуя в вине никакого особенного превосходства. В следующем затем маседуане она обнаружила, наконец, некоторое понимание.

— Как хорошо это пирожное; его никак нельзя сравнить с давешним!..— начала уже она сама.

— Это из свежих фруктов, а то из сушеной дряни. Мещане!.. Они никогда не будут порядочно есть!.. — заключил Бегушев.

После ужина гостья и хозяин снова перешли в кабинет, и, по поводу коснувшегося разговора о Хмурине и Янсутском, Бегушев стал толковать Домне Осиповне, что эти дрянные люди суть продукт капитала, самой пагубной силы настоящего времени; что существовавшее некогда рыцарство по своему деспотизму ничто в сравнении с капиталом. Кроме того, это кулачное рыцарское право было весьма ощутимо; стоило только против него набрать тоже кулаков,— и его не стало! Но пусть теперь попробуют бороться с капиталом, с этими миллиардами денежных знаков! Это вода, которая всюду просачивается и которую ничем нельзя остановить: в одном месте захватят, в другом просочится!

Домна Осиповна по наружности слушала Бегушева весьма внимательно; но в душе скучала и недоумевала: «Бог знает, что такое он это говорит: деньги — зло, пагубная сила!» — думала она про себя и при этом была страшно утомлена, так что чрезвычайно обрадовалась, когда, наконец, часу в четвертом утра экипаж Бегушева повез ее на Таганку. Легши в такой поздний час, Домна Осиповна, однако, проснулась на другой день часов в девять, а в десять совсем была одета, и у крыльца ее дожидалась наемная извозчичья карета, сев в которую Домна Осиповна велела себя везти в знакомую нам банкирскую контору и при этом старалась как можно глубже сесть в экипаж: она, кажется, боялась встретить Бегушева и быть им узнанной.

В конторе она нашла того же жида, который в несколько минут заплатил ей по чеку восемьдесят тысяч. Уложив эти деньги в нарочно взятый для них саквояж, Домна Осиповна отправилась в контору Хмурина, где сидел всего один артельщик, который, когда Домна Осиповна сказала, что приехала купить акции, проворно встал и проговорил: «Пожалуйте-с; от Селивестра Кузьмича был уже приказ!» Домна Осиповна подала ему свой саквояж с деньгами, сосчитав которые, артельщик выдал ей на восемьдесят тысяч акций. Домна Осиповна, сев в карету с этими акциями, сначала было велела себя везти в банк, но потом, передумав, приказала извозчику ехать в прежнюю банкирскую контору.

— Я заехала к вам спросить, почем теперь хмуринские акции стоят, которые я сейчас купила,— отнеслась она к тому же жиду.

— Еще на десять рублей повысились со вчерашнего дня,— отвечал тот, махнув рукой.

Домна Осиповна некоторое время оставалась в недоумении.

— Уж я не знаю, не продать ли мне поэтому их, — проговорила она.

— Что ж, продайте — купим! — подхватил жид.

— А после где же я их возьму? — продолжала Домна Осиповна прежним нерешительным тоном.

— У нас же купите, когда они упадут в цене.

— Ну, купите их у меня! — произнесла Домна Осиповна каким-то робким голосом и подавая мешок с акциями жиду. Тот что-то долго вычислял на бумажке.

— Сто шесть тысяч вам следует.

Домна Осиповна при этом радостно вспыхнула в лице: ровно двадцать шесть тысяч она наживала себе лишних.

— Деньгами ли прикажете, или какими-нибудь бумагами? — спрашивал ее жид.

— Дайте бумагами, которые только повернее.

— Пятипроцентными?

— Хорошо,— согласилась Домна Осиповна.

Затем, получив пятипроцентные и отвезя их в банк на хранение, она рассуждала сама с собой: «А Бегушев бранил меня, что я полюбезничала с Хмуриным; за такие подарки, я думаю, можно полюбезничать!.. Право, иногда умные люди в некоторых вещах бывают совершенные дураки!»

Глава XI

Прошло месяца два. Часов в одиннадцать утра Домна Осиповна хотя уже и проснулась, но продолжала еще нежиться на своей мягкой и эластической постели. Она вообще очень любила и в постельке поваляться, и покушать — не столько хорошо и тонко, сколько много, — и погулять на чистом воздухе, и покупаться в свежей воде, и быть в многолюдном обществе, а более всего — потанцевать до упаду и до бешенства; может быть, потому, что Домна Осиповна считала себя очень грациозною в танцах. По происхождению своему она была дочь экзекутора из какого-то присутственного места, и без преувеличения можно сказать, что на ворованные деньги от метел, от песку, от дров была рождена, возращена и воспитана. В начале жизни своей, таким образом, Домна Осиповна, кроме красивого личика, стройного стана и разнообразной практической изворотливости, ничего не имела. Родители ее, несмотря на скудость средств, вывозили ее по всевозможным публичным собраниям и маскарадам, смутно предчувствуя, что она воспользуется этим... Так и случилось: Домна Осиповна в очень недолгом времени сумела пленить господина Олухова, молодого купчика (теперешнего супруга своего), и, поняв юным умом своим, сколь выгодна была для нее эта партия, не замедлила заставить сего последнего жениться на себе; и были даже слухи, что по поводу этого обстоятельства родителями Домны Осиповны была взята с господина Олухова несколько принудительного свойства записочка. Но как бы то ни было, бедность и нужда вследствие этого остались сзади Домны Осиповны, и она вынесла из нее только неимоверную расчетливость, доходящую до дрожания над каждым куском, над всякой копейкой, и вместе с тем ненасытимую жажду к приобретению. Даже в настоящие минуты Домна Осиповна обдумывала, каким бы образом ей весь перед тем только сделанный туалет не очень в убыток продать и заказать себе весь новый у m-me Минангуа. Тогда она и посмотрит, как с нею будет равняться стрекоза Мерова; слова Бегушева об ее наряде на обеде у Янсутского не выходили из головы Домны Осиповны.

Вошла ее горничная.

— Господин Грохов приехал к вам,— доложила она.

Домна Осиповна почти обмерла, услышав имя своего

адвоката. С тех пор как он, бог знает за что, стянул с нее двадцать тысяч, она стала его ненавидеть и почти бояться.

— Но я еще не одета совсем,— проговорила она.

— Он говорит, что ему телеграмму надобно сегодня посылать в Петербург,— присовокупила горничная.

«Что такое, телеграмму в Петербург?» — Домна Осиповна понять этого не могла, но, тем не менее, все-таки чувствовала страх.

— Куда ж ты его приняла, где посадила? — спросила она, вставая и начиная одеваться.

— Они в гостиной-с теперь,— объяснила горничная.

Грохов действительно находился в гостиной и, усевшись там на одно из кресел, грустно-сентиментальным взором глядел на висевшую против него огромную масляную картину, изображающую Психею и Амура. На этот раз он был совершенно трезв. После того похмелья, в котором мы в первый раз встретили его, он не пил ни капли и был здрав, свеж и не столь мрачен.

Хозяйка, наконец, вышла; она была еще в блузе и, не успев голову причесать хорошенько, надела чепчик и в этом наряде была очень интересна; но Грохов вовсе не заметил этого и только, при ее приходе, встал и очень почтительно раскланялся с ней.

— Здравствуйте! Что скажете хорошенького? — проговорила Домна Осиповна, садясь на диван и не без трепета в голосе.

Грохов тоже сел и, наклонив несколько голову свою вниз, начал с расстановкой:

— Я-с... получил... от вашего супруга письмо!

Домна Осиповна немного побледнела при этом.

— До меня касающееся? — спросила она.

— До вас,— отвечал Грохов, опять несколько протяжно.

— Что ж такое угодно ему писать обо мне? — спросила Домна Осиповна, стараясь придать насмешливый оттенок своему вопросу.

— Позвольте мне прочесть вам самое письмо,— сказал ей на это Грохов.

— Пожалуйста,— отвечала Домна Осиповна.

Грохов вынул из кармана письмо и принялся читать его ровным и монотонным голосом:

— «Почтеннейший Григорий Мартынович! Случилась черт знает какая оказия: третьего дня я получил от деда из Сибири письмо ругательное, как только можно себе вообразить, и все за то, что я разошелся с женой; если, пишет, я не сойдусь с ней, так он лишит меня наследства, а это штука, как сам ты знаешь, стоит миллионов пять серебром. Съезди, бога ради, к Домне Осиповне и упроси ее, чтобы она позволила приехать к ней жить, и жить только для виду. Пусть старый хрыч думает, что мы делаем по его».

Прочитав это, Грохов приостановился ненадолго, видимо, желая услышать мнение Домны Осиповны. Она же, в свою очередь, сидела бледная, как полотно.

— Нет, это невозможно! — произнесла она решительно.

— Отчего же? — спросил ее почти нежно и с живым участием Грохов.

Вопрос этот, по-видимому, удивил Домну Осиповну.

— С какой же стати я опять с ним буду жить? — сказала она.

— Да ведь для виду только! — объяснил ей Грохов.

— Сделайте милость, для виду!..— воскликнула Домна Осиповна, голос ее принял какой-то даже ожесточенный тон.— Знаю я его очень хорошо,— он теперь говорит одно, а после будет говорить совсем другое.

Лицо Домны Осиповны горело при этом. Вероятно, в этом отношении она сохранила довольно сильные и неприятные воспоминания.

— Нет-с, он пишет — для виду только...— повторил Грохов.

Домна Осиповна взяла себя за голову и долгое время думала.

— Кто ж дедушке написал, что мы живем врознь?..— спросила она.

— Старик пишет в письме, что Хмурин, богач этот здешний, приятель его,— отвечал Грохов.

Домна Осиповна прикусила язычок. Значит, она сама и виновата была во всем, потому что очень разоткровенничалась с Хмуриным.

— Если вы не съедетесь, пяти миллионов ваш супруг лишится, а это не безделица!..— проговорил многозначительно Грохов.

Домна Осиповна перевела при этом тяжелое дыхание.

— Ненадолго хватит ему этих пяти миллионов, когда получит!.. Скоро их промотает на разных госпож своих! — проговорила она.

— О, нет-с!.. Зачем же?..— возразил ей Грохов, как бы проникнувший в самую глубь ее мыслей.— Прежде всего он имеет в виду вас обеспечить! — присовокупил он и снова начал читать письмо: — «Ежели Домна Осиповна окажет мне эту милость, то я сейчас же, как умрет старый хрен, выделю ей из его денег пятьсот тысяч».

Услыхав это, Домна Осиповна, как ни старалась, не могла скрыть своего волнения: у нее губы дрожали и грудь волновалась.

— Нет, это невозможно!..— повторила она еще раз, беря себя за голову, но заметно уже не столь решительным тоном.

— Отчего же невозможно? — спросил ее опять с некоторою нежностью Грохов. Он как будто бы сам влюблен в нее был и умолял ее не быть к нему жестокою.

— А если уж я люблю другого? Я женщина, а не камень! — ответила Домна Осиповна, гордо взмахнув перед ним голову свою.

— Так что ж такое!.. Ну и господь с вами, любите! — успокоивал ее Грохов.

— Как, любите другого? — спросила его со строгостью Домна Осиповна.

— Так-с, любите! — сказал нисколько не смущенный ее вопросом Грохов.— Супруг ваш предусмотрел это: «Надеюсь,— пишет он,— что она позволит мне привезти мою Глашу, и я тоже ни в чем ее не остановлю: пусть живет, как хочет!»

— Еще бы он меня остановил!..— проговорила Домна Осиповна и усмехнулась не совсем естественным смехом.

Самый простой, здравый смысл и даже некоторое чувство великодушия говорили Домне Осиповне, что на таких условиях она должна была сойтись с мужем,— во-первых, затем, чтобы не лишить его, все-таки близкого ей человека, пяти миллионов (а что дед, если они не послушаются его, действительно исполнит свою угрозу,— в этом она не сомневалась); а потом — зачем же и самой ей терять пятьсот тысяч? При мысли об этих ты-

сячах у ней голова даже начинала мутиться, в глазах темнело, и, точно звездочки светлые, мелькала перед ней цифра — пятьсот тысяч; но препятствием ко всему этому стоял Бегушев. Домна Осиповна предчувствовала, что это на него произведет страшное и убийственное впечатление. Вместе с тем, из последней происшедшей между ними размолвки, она убедилась, что Бегушев вовсе не считает ее за такое высокое и всесовершенное существо, в котором не было бы никаких недостатков; напротив, он находил их много, а с течением времени, вероятно, найдет еще и больше!.. (Домна Осиповна была опытна и прозорлива в жизни.)

«Что ж в итоге потом будет? — продолжала она быстро соображать.— Что, во имя какой-то не вполне вселяющей доверие любви, она пренебрежет громаднейшим состоянием, а что это глупо и неблагоразумно, скажет, конечно, всякий». Но тут перед Домной Осиповной являлась и другая сторона медали: положим, что это сближение ее с мужем так поразит и так взбесит Бегушева, что он бросит ее и покинет совершенно. Что он человек довольно неудержимого характера, она видела этому два — три опыта. «Ну что же, если и бросит,— говорил в Домне Осиповне ум.— Бог с ним, значит, он не любит ее!» — «Нет, напротив, это-то и покажет, что он ее безумно и страстно любит»,— возражало сердце Домны Осиповны и при этом начинало ныть до такой степени, что бедная женщина теряла всякую способность рассуждать далее.

Грохов всю эту борьбу в ней подметил.

— Может быть, вы желаете поразмыслить несколько о предложении вашего супруга? — сказал он.

— Да!.. Я, конечно, должна подумать! — отвечала она.

— Поразмыслите и порассудите!..— одобрил Грохов.

— И что же, муж, вероятно, предполагает внизу у меня в доме жить? — спросила Домна Осиповна.

— Без сомнения, внизу-с! Зачем его вам наверх к себе пускать?

— И что же,— продолжала Домна Осиповна, лицо ее снова при этом покрылось сильным румянцем,— госпожа эта тоже будет жить вместе с ним в моем доме?

— Ай, нет! Сохрани от этого бог! — воскликнул Гро-

хов и замахал даже руками.— Надобно сделать так для виду, что вы будто бы как настоящий муж с женой живете... Дедушка — старик лукавый... он проведывать непременно будет; а эту госпожу пусть супруг ваш поселит, где хочет, посекретнее только, и пускай к ней ездит.

— Но как же она смотрит, что он хочет сойтись со мной? — спросила Домна Осиповна.

— Как смотрит? Не сумасшедшая!.. Поняла, что нельзя человека из пустой ревности лишать пяти миллионов наследства.

— Да, ну прекрасно,— продолжала Домна Осиповна, окончательно овладевшая собой.— Я вот, подумать страшно, на какую ужасную жизнь себя обреку... может быть, всем здоровьем моим пожертвую тут; а муж, получив наследство, вдруг раскапризничается, опять предложит мне жить отдельно, не вознаградив меня ничем.

— Но он пятьсот тысяч вам обещает! — возразил Грохов.

— Обещать обещает, но может и передумать,— произнесла Домна Осиповна.

Грохов понял, куда она бьет.

— Мы-с бумагу с него возьмем, обяжем его условием, что вот, в случае получения им наследства, он должен немедля выдать вам пятьсот тысяч; в противном случае обязан заплатить неустойку.

Домна Осиповна выслушала его со вниманием, как обыкновенно она выслушивала всякий деловой разговор.

— А вы потом опять с меня десять процентов возьмете за это дело? — заметила она с злобной улыбкой.

— Я с вас ничего не возьму, ни копеечки! — успокоил ее Грохов.— А того барина щипну маленько. Чем же нам кормиться! До свиданья,— заключил он, вставая.

— До свиданья! — сказала Домна Осиповна, тоже вставая.

— Когда же мне прикажете ждать от вас решительного ответа? — продолжал Грохов.

Домна Осиповна подумала некоторое время.

— Завтра я вам отвечу! — сказала она.

— Слушаю-с!..— сказал Грохов и затем, поцеловав у ней руку и неуклюже расшаркавшись, ушел.

Оставшись одна, Домна Осиповна впала в мучитель-

ное раздумье, хоть в сущности она уже окончательно решила в мыслях своих сойтись с мужем, потому что лишиться пятисот тысяч было выше всяких нравственных сил ее и почти равнялось бы самоубийству; но весь вопрос для нее состоял в том, как ей поступить в этом случае с Бегушевым? Прямее всего было бы рассказать ему, как дело есть!.. Будь другой человек на месте Бегушева, более благоразумный и практический, Домна Осиповна так бы с тем и поступила: тот бы понял ее. Но она знала очень хорошо, что Бегушев, несмотря на свои пятьдесят лет, был еще мечтатель и безумец; чего доброго, он, пожалуй, насильно ей свяжет руки, посадит в экипаж и увезет за границу. Она очень хорошо помнила его беснование при первом объяснении в любви, когда она хотела его немного повыдержать. «Лучше всего,— сказала себе мысленно Домна Осиповна,— в отношении подобных людей действовать так, что сначала сделать окончательно, что им неприятно, а потом и сказать: они побесятся, поволнуются, покричат, но и успокоятся же когда-нибудь»,— тем более, что Домна Осиповна будет ему говорить и может даже ясно доказать, что она живет с мужем только для виду. Приняв такое намерение, она, однако, протерзалась и проплакала целый день и всю ночь. Проснувшись на другой день с зеленым цветом лица и с распухшими от слез глазами, она все-таки пересилила себя и написала Грохову: «Телеграфируйте мужу, что он может приехать ко мне». По отправлении этого письма Домной Осиповной овладел новый страх: ну, как муж приедет в то время, как у нее сидит Бегушев, и по своей болтливости прямо воскликнет: «Благодарю тебя, душенька, что ты позволила приехать к тебе!» А она желала, чтобы это навсегда осталось тайною для Бегушева и чтобы он полагал, что муж возвратился к ней нахрапом, без всякого согласия с ее стороны. Изобретательность женская помогла в этом случае Домне Осиповне. Воспользовавшись тем, что у нее начали перекрашивать в девичьей пол, она написала Бегушеву такое письмо: «Мой дорогой друг, позволь мне переехать к тебе на несколько дней; у меня выкрашена девичья, и я умираю от масляного запаху!» На это она получила от Бегушева восторженный ответ: «Приезжайте, сокровище мое, и оживите, как светозарное светило, мою келью!» И вечером в тот же день Домна Осиповна была уже в доме Бегушева.

Глава XII

Надобно было иметь силу характера Домны Осиповны, чтобы, живя у Бегушева целую неделю и все почти время проводя вместе с ним, скрывать от него волнующие ее мысли и чувствования, тем более что сам Бегушев был очень весел, разговорчив и беспрестанно фантазировал, что вот он, с наступлением зимы, увезет Домну Осиповну в Италию, в которой она еще не бывала, познакомит ее с антиками, раскроет перед ней тайну искусств,— и Домна Осиповна ни одним словом, ни одним звуком не выразила, что она ожидает совершенно иначе провести грядущую зиму,— напротив, изъявляла удовольствие и почти восторг на все предложения Бегушева. Прокофий в эти дни превзошел самого себя: он с нескрываемым презрением смотрел на Домну Осиповну и даже кушанья за обедом сначала подавал барину, а потом уж ей, так что Бегушев, наконец, прикрикнул на него: «Начинай с Домны Осиповны!» Прокофий стал начинать с нее, но и тут — то забудет ей подать салату, горчицы, то не поставит перед нею соли. Из женской прислуги у Бегушева была всего только одна жена Прокофия, по имени Минодора, женщина благоразумная и неглупая. Она, разумеется, озаботилась на дамской половине дома приготовить для Домны Осиповны, в особой отдельной комнате, постель, и когда та пришла в эту комнату, Минодора не замедлила явиться к ней, чтобы помочь ей раздеться. Прокофий по этому поводу спросил на другой день жену суровым голосом:

— Ты зачем ходила эту гостью раздевать, у ней у самой нет разве рук?

— Ах ты, дурак, дурак этакой! — сказала Минодора.— Какая бы госпожа ни приехала к барину, я должна служить, а уж Домне Осиповне и подавно: это все равно, что барыня наша теперь!

— Хороша барыня! — воскликнул Прокофий, и у него при этом перекосило даже рот от злости.— Похожа она на барыню! — присовокупил он, и очень возможно, что в мыслях своих сравнивал Домну Осиповну с Натальей Сергеевной, о которой Прокофий всегда с каким-то благоговением отзывался.

Он все время житья Бегушева за границей был при нем и даже немножко говорил по-французски и по-немецки.

В одно утро Прокофий выкинул новую штуку. Бегушев, как только приехала к нему Домна Осиповна, всей прислуге приказал никого не принимать, пока гостит она у него, и первые три дня прошли благополучно; но на четвертый поутру, когда Домна Осиповна, совсем еще неодетая, сидела у Бегушева в диванной и пила с ним чай, вдруг раздался довольно слабый звонок.

— Кто-то, кажется, позвонил? — произнесла Домна Осиповна и хотела было уйти.

— Не примут! — успокоил ее Бегушев.

Но Домна Осиповна явственно начала слышать мужские шаги, которые все более и более приближались к диванной, так что она поспешила встать, и только что успела скрыться в одну из дверей во внутренние комнаты, как из противоположных дверей появился граф Хвостиков.

Бегушев побагровел от злости. Он убежден был, что графа принял Прокофий, и принял с умыслом, а не просто. Первым его движением было идти и избить Прокофия до полусмерти, но от этого он, как и всегда, удержался, только лицо его оставалось искаженным от гнева. Граф Хвостиков, заметивший это и относя неудовольствие хозяина к себе, сконфузился и почти испугался.

— Pardon, mon cher!..[1] Я, может быть, обеспокоил тебя? — пробормотал он.

— Нет, ничего! — отвечал Бегушев.

— Не занят ли ты чем-нибудь? Я и в другое время могу зайти к тебе! — продолжал граф.

— Ничего, оставайтесь! — повторил еще раз Бегушев.

Граф сел на диван и, закинув голову назад, начал добрым и в то же время сохраняющим достоинство тоном:

— Как мне приятно было войти в твой дом!.. Так вот и видишь в этих маленьких, отдельных комнатках, что это была какая-нибудь моленная твоей матушки, а это, может быть, комнатка сестер твоих, а это уголок дальнего родственника, пригретого бедняка!..

Бегушев не без удивления выслушал эти элегические излияния графа и сначала объяснить себе не мог, зачем он им предавался.

Граф между тем продолжал:

— Ты все это, mon cher, сохранил, и потому честь и

[1] Извини, дорогой!.. *(франц.)*

хвала тебе за то великая, а мы все это растеряли, уничтожили!

— Кто ж вас заставлял это делать? — произнес насмешливо Бегушев.

— Ветреность и глупость наша! — подхватил граф.— И это бы еще ничего... Конечно, это — священные воспоминания, которые приятно сохранять каждому!.. Но мы надурили больше того: мы растратили и промотали все наше состояние.

Бегушев на это промолчал. Он начинал смутно уразумевать, куда разговор клонился.

— А ты, cher ami[1], скажи, все состояние твое капитализировал, кажется? — перешел уж прямо к делу граф.

— Нет!..— пробурчал Бегушев.

— Но, разумеется, если бы ты это сделал, то у тебя огромный бы капитал составился.

— Не знаю, не рассчитывал... не считал!..— отвечал Бегушев.

— Счастливый человек! — воскликнул граф.— Имеет такое состояние, что даже не считает, а мы и рады бы считать, да нечего!

Презрительная улыбка промелькнула на губах Бегушева.

— Да-с, да! — не унимался граф.— Три тысячи душ, батюшка, я прожил, по милости женщин и карт, а теперь на старости лет и приходится аферами заниматься!

— Что ж, на этом поприще ты можешь отлично поправить твои дела,— произнес не без ядовитости Бегушев.

— Непременно поправлю, сомнения нет никакого! — воскликнул радостно граф.— Но все-таки, согласись, нравственно тяжело. Я был камергер, человек придворный; теперь же очутился каким-то купцом, так что не далее, как в прошлом генваре, на бале во дворце, великие князья меня спрашивают, чем я занимаюсь. «Pardon, Altesse[2], говорю, я занимаюсь теперь аферами!» Хотел, знаешь, объяснить им мое положение, потому что, как ты хочешь, правительству следовало бы немножко поддерживать нас, хоть и безумцев, но все-таки людей, ему преданных: хоть бы службишку дали какую-нибудь

---

[1] дорогой друг, *(франц.)*

[2] Извините, ваше высочество, *(франц.)*

или пенсьишку небольшую, а то ничего, никакого участия!..

— За что тебе дать пенсию, когда ты сам говоришь, что только и делал, что по женщинам ездил и в карты играл?

— Я про себя не говорю! — возразил граф.— А говорю вообще про дворянство; я же — слава богу! — вон у меня явилась способность писать проекты; я их более шести написал, один из них уже и утвержден, так что я недели через две пятьдесят тысяч за него получу; но комизм или, правильнее сказать, драматизм заключается в том, что через месяц я буду иметь капитал, которого, вероятно, хватит на всю остальную мою жизнь, но теперь сижу совершенно без денег, и взять их неоткуда: у дочери какой был маленький капиталец, перебрал весь; к этим же разным торгашам я обращаться не хочу, потому что люблю их держать в почтительном отдалении от себя, чтобы они мне были обязаны, а не я им!

Бегушеву было отвратительно и омерзительно слушать вранье графа Хвостикова. Он очень хорошо знал, что граф в ноги бы готов был каждодневно кланяться этим торгашам, если бы только они ему денег давали.

— Не можешь ли ты дать мне взаймы тысячи три на весьма короткое время? — хватил Хвостиков, желая сразу ошеломить Бегушева.

— Нет, не могу! — отвечал тот.

— Отчего?

— Много очень, сумма велика.

— В таком случае дай хоть две тысячи по крайней мере.

— И то много! — повторил Бегушев монотонным голосом.

— Ну тысячу, черт возьми,— произнес, как бы даже смеясь, граф.

— И это велика сумма! — как кукушка куковал Бегушев.

— Что ж за деньги тысяча... велики ли это? — воскликнул с удивлением граф.

Бегушев на это молчал.

— Но какою же, собственно, суммою, не стесняя себя, ты можешь ссудить меня? — продолжал граф с какою-то уже тоскою в голосе.

— Я не знаю! — отвечал с убийственным равнодушием Бегушев.

— Пятьсот рублей тебя не стеснит?

— Стеснит.

— А двести стеснит?

— Стеснит!

— Но неужели даже ста рублей ты не можешь мне дать?..— заключил граф.

Бегушев на это некоторое время молчал.

— Сто, пожалуй, могу! — умилостивился он, наконец.— Но только не взаймы, а так дам, без уплаты.

— Как без уплаты? — спросил граф, по-видимому совершенно счастливый тем, что ему и сто дают.— Это, знаешь, немного выйдет щекотливо!

— Как хочешь! У меня правило: взаймы никому не давать, а так помогать,— сколько могу, помогаю!

— Это, конечно, очень великодушно с твоей стороны, но все-таки согласись, что принять таким образом... хоть мы и товарищи старые... Обстоятельства мои, конечно, ужасны; я теперь тебе прямо скажу, что я нищий, ездящий в карете потому, что каретник мне верит еще, но в мелочных лавочках не дают ни на грош!

Бегушев на это молчал.

— Ну, дай хоть без уплаты, если не хочешь менять своего правила! — почти как-то выкрикнул граф Хвостиков.

Бегушев вынул бумажник и подал графу сторублевую бумажку.

— Merci, mon cher, merci!..[1] До конца дней моих не забуду твоего одолжения.

У графа даже слезы на глазах навернулись при этом.

— Не смею тебя больше беспокоить,— продолжал он, вставая и берясь за шляпу.— Еще раз тебя благодарю,— заключил он и, дружески пожав руку Бегушеву, пошел от него весьма гордой походкой.

По уходе графа Бегушев поднял кулак на небо и заскрежетал зубами.

— О негодяй! О мерзавец! — заревел он на весь дом, так что находившаяся в соседней комнате Домна Осиповна с испугом вбежала к нему.

— Что такое с тобой, Александр? — спросила она.

---

[1] Благодарю, мой дорогой, благодарю! *(франц.)*

— Мерзавец!.. Негодяй! — продолжал Бегушев свое, потрясая кулаками.

— Граф Хвостиков — это, вероятно, мерзавец? — говорила Домна Осиповна, видевшая в зеркале из соседней комнаты, кто был у Бегушева.

— Мне в глаза, каналья, говорит, что он три тысячи душ промотал, тогда как у него трех сот душонок никогда не бывало; на моих глазах всю молодость был на содержании у старых барынь; за лакейство и за целование ручек и ножек у начальства терпели его на какой-то службе, а теперь он оскорбляется, что ему еще пенсии не дали. До какой степени в людях нахальство и лживость могут доходить!.. За это убить его можно!

— Ах, Александр, как тебе не совестно сердиться на такие пустяки! — произнесла Домна Осиповна, действительно не понимавшая, что такое тут могло вывести Бегушева из себя.— Но зачем же, собственно, он приезжал к тебе?

— Затем, разумеется, чтобы денег просить,— отвечал скороговоркой Бегушев.

— И ты дал, конечно?

— Но это черт с ним, дал не взаймы только, а так! Главное, зачем это ломанье и коверканье пред мной! Это, наверное, изволил пустить его Прокофий! Ну, я, наконец, разделаюсь с ним! Эй!.. Прокофья ко мне!

— Саша, умоляю тебя не беспокоиться и плюнуть на все это!..— упрашивала его Домна Осиповна.

— Нет-с, нет, довольно этот господин надругался надо мной!.. Прокофья!..

Прокофий, наконец, явился. Лицо его было совершенно покойно.

— Кто принимал графа Хвостикова? — спросил почти страшным голосом Бегушев.

— Я-с,— отвечал мрачно и угрюмо Прокофий.

— Для чего ж ты это сделал? — продолжал Бегушев, едва сдерживая себя.— Ты, значит, окончательно решился не исполнять ни одного моего приказания?

— Никак нет-с; я все ваши приказания исполняю,— отвечал Прокофий и явно уже рассмеялся.

— А это вот недавнее мое приказание,— когда я сказал, чтобы ты никого не принимал, а ты принял графа.

— Я не принимал его.

— Как же сейчас сказал, что принял, а теперь — не принимал.

— Не принимал-с! — повторил Прокофий.— Он спрашивает: «Дома ли вы-с?» Я говорю: «Дома!» и хотел сказать, что вы не принимаете, а он и пошел сам!.. Не за волосы же мне его хватать и останавливать!

— Разве так следовало отвечать?.. Ты должен был прямо сказать, что дома нет, а то — дома и не принимает! Я не министр еще пока; этим могут обидеться.

Прокофий злобно усмехнулся.

— Обидятся!.. Как же!.. Мало еще их ездит! — произнес он.

Бегушев уж и не знал, сердиться ли ему на Прокофья, или нет.

— Ты был дурак, есть дурак и будешь им до смерти! — проговорил он.

У Прокофья еще больше перекосила злоба рот.

— У вас, известно, я во всем виноват; вот теперь горничная ихняя,— продолжал он, заметно возвышая голос и показывая на Домну Осиповну,— сидит у нас в кухне и просится сюда, я и в том виноват?

— Как горничная? — произнесли в один голос Бегушев и Домна Осиповна.

— Горничная-с!.. Супруг ихний приехал к ним и требуют их к себе,— продолжал Прокофий.

— Муж? — произнесла Домна Осиповна, как бы совершенно удивленная и потупляя в землю глаза.

— Это что такое значит? — спросил ее тоже удивленный и пораженный Бегушев.

— Не знаю, я сейчас пойду и расспрошу горничную,— проговорила Домна Осиповна и хотела было идти.

— Лучше позовите ее сюда: я тоже хочу узнать и расспросить ее,— остановил Домну Осиповну запальчиво Бегушев.— Позови сюда горничную! — приказал он затем Прокофью.

Тот пошел и почти громким голосом произнес:

— То вот зови у них, то нет!

Но Бегушев и Домна Осиповна, под влиянием услышанной новости, и не слыхали этого.

— Он писал вам, что будет и приедет сюда? — спрашивал Бегушев.

— Ничего не писал! — едва достало силы у Домны Осиповны ответить ему.

Пришла горничная.

Домна Осиповна поспешила расспрашивать ее.

— Михайло Сергеич приехал?

— Да-с! — отвечала та.

— Один?

Горничная несколько позамялась.

— Да говори, все говори... Не один? — настаивала Домна Осиповна.

— Не один-с!.. С этой дамой какой-то.

— Где ж они?.. У меня в доме?

— У нас внизу.

— И поэтому Михайло Сергеич тебя послал за мной?

— Никак нет-с; они только спросили, что могут ли вас видеть? Я им сказала, что вы уехали, а потом переговорила с кухаркой, та и говорит: «Съезди за барыней!»

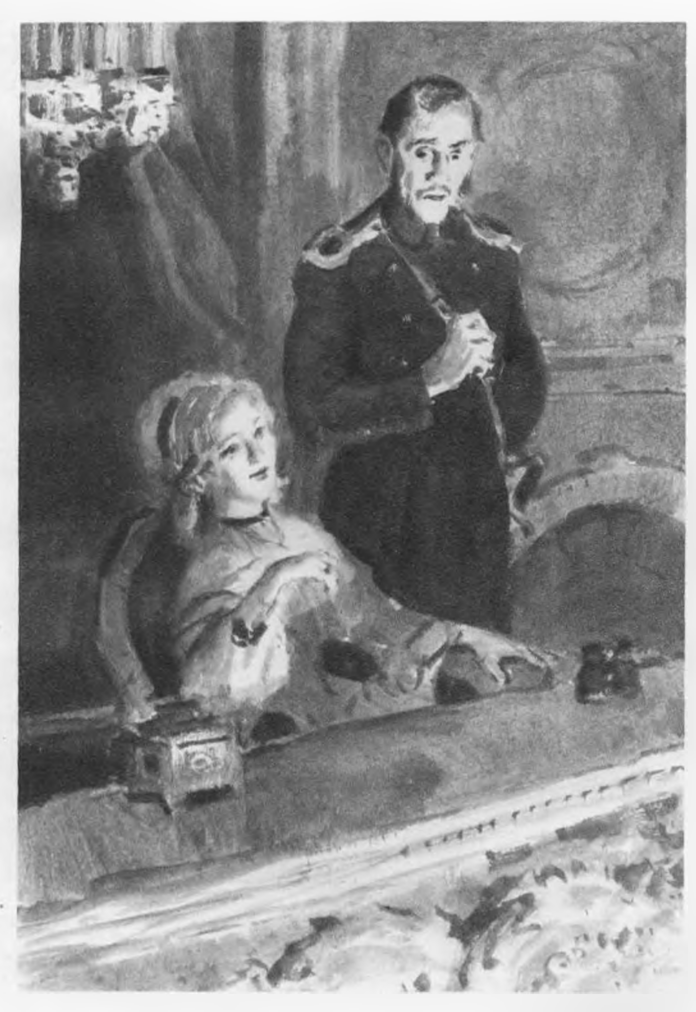
— Мне надобно ехать! — сказала Домна Осиповна.

— Если нужно, то конечно,— отвечал Бегушев.

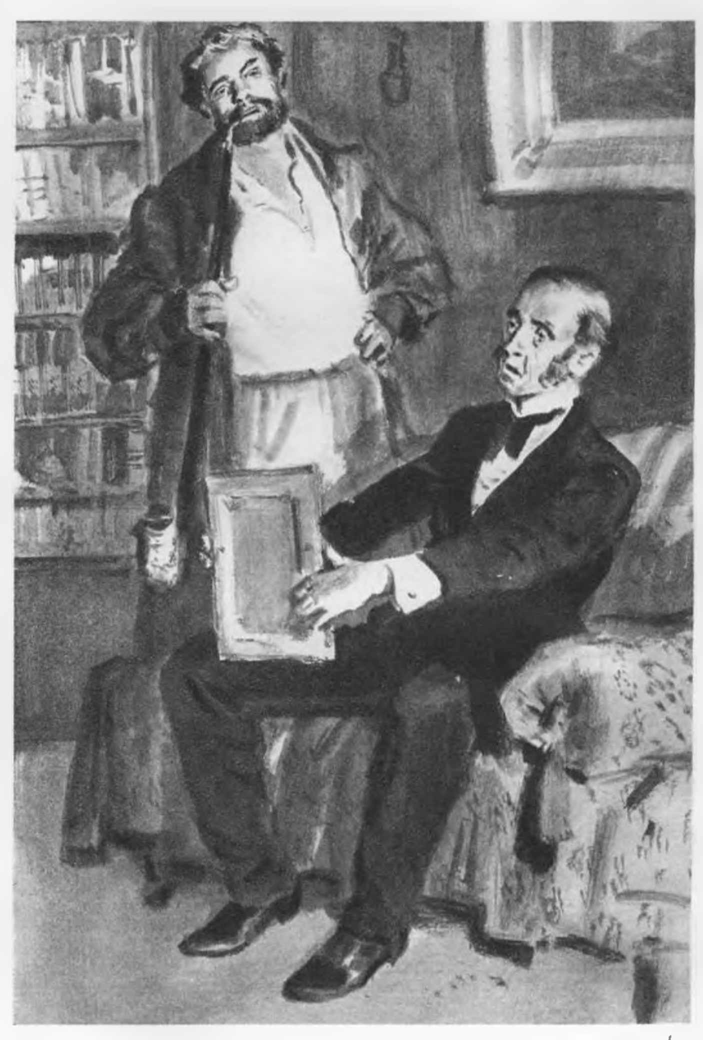
— Но вы вечером приезжайте — узнать эту загадку!.. Я вовсе не намерена стеснять себя для господина Олухова,— проговорила Домна Осиповна и, торопливо надев шляпку, уехала вместе с горничной.

Бегушев остался один, как громом пришибленный. Он все задавал себе вопрос: зачем приехал муж к Домне Осиповне? Она несколько раз, и особенно последнее время, говорила ему, что у ней с ее супругом прерваны всякие человеческие сношения! Но, может быть, по какому-нибудь совершенно случайному обстоятельству он заехал сюда на короткое время? Однако он приехал с какой-то госпожой своей — это что значит? Тут Бегушев терял всякую нить к объяснению.

Чтобы сократить время до вечера, он гулял по Тверскому бульвару, ранее обыкновенного отобедал, выпил больше вина, чтобы заснуть после обеда, и все-таки не заснул. Какой-то и на что-то мучительный гнев терзал его. Наконец, дождавшись вожделенных семи часов, Бегушев поехал к Домне Осиповне. Подъезжая к дому ее, он увидел, что верхний и нижний этажи его были освещены. На звонок Бегушева горничная сейчас же отворила ему дверь. Он прямо прошел в известный нам кабинет. Там сидела Домна Осиповна и была вся в слезах. Поняв всю тяжесть подвига, на который обрекала себя, она тоже страдала не менее Бегушева и тут только узнала, до какой степени любила его!.. Что если он оставит и покинет ее?.. Как и чем ей тогда будет наполнить жизнь! Очертя голову и не зная, чем все это разрешится, она ждала его.



«МЕЩАНЕ».



МЕЩАНЕ».

Бегушев, почти не поздоровавшись с ней, сел на свое обычное кресло.

— Что ж, объяснилось, что это такое? — спросил он.

— Объяснилось! — отвечала Домна Осиповна и утерла платком свои запекшиеся губы.

— Он надолго приехал?

— Да.

Бегушев, по обыкновению, побагровел в лице.

— С какой же целью?

— С целью, что...— начала Домна Осиповна, овладев несколько собой.— Я тебе говорила, кажется, что у мужа есть дед-сибиряк, богач?

— Говорила.

— Он там через кого-то узнал, что муж не живет со мной... Вдруг пишет ему, что он лишит его наследства пяти миллионов, если он не сойдется со мной.

— Да, вот какая причина!..

И Бегушев сердито постучал ногою.

— Причина очень важная,— произнесла с грустной усмешкой Домна Осиповна.

— Для кого как! — подхватил Бегушев.

— Мужа так это поразило, он умоляет теперь меня, чтобы я позволила ему это сделать! — продолжала Домна Осиповна.

Бегушев еще больше побагровел.

— И вы позволили ему? — спросил он.

— Я не сочла себя вправе не позволить,— отвечала Домна Осиповна.

Она была велика в эти минуты по степени той борьбы, которую переживала внутри, и той власти, какую обнаруживала над собой.

Бегушев провел рукой по своей довольно еще густой гриве волос.

— Наши отношения поэтому должны быть кончены? — спросил он с дрожанием в голосе.

— Зачем же кончены? — спросила с кроткой усмешкой Домна Осиповна.— Я схожусь с мужем для виду только; мы будем только жить с ним под одной кровлей... Я даже ему сказала, что люблю тебя!

Бегушев при этом поглядел ей пристально в лицо.

— Главное,— снова продолжала она,— что я мужу всем обязана: он взял меня из грязи, из ничтожества; все, что я имею теперь, он сделал; чувство благодарности,

которое даже животные имеют, заставляет меня не лишать его пяти миллионов наследства, тем более, что у него своего теперь ничего нет, кроме как на руках женщина, которую он любит... Будь я мужчина, я бы возненавидела такую женщину, которая бы на моем месте так жестоко отнеслась к человеку, когда-то близкому к ней.

Бегушев понимал, что в словах Домны Осиповны была, пожалуй, большая доля правды, только правда эта была из какого-то совершенно иного мира, ему чуждого, и при этом почему-то, неведомо для него самого, пронесся перед ним образ Натальи Сергеевны. Бегушев припомнил, как она приехала к нему на гауптвахту, когда он содержался там за дуэль с ее мужем, припомнил, как она жила с ним в лагере на Кавказе и питалась одними сухарями с водой. От окончательно прилившей крови к голове Бегушев встал и начал ходить по комнате. Домна Осиповна ожидала, что сейчас вот разразится над ней буря, и трепетала всеми нервами; но Бегушев только сел на довольно отдаленное кресло и понурил голову. Домна Осиповна видела, что он сильно страдает.

— Я не знаю, собственно, что тебя так сильно может тут тревожить? — спросила она тихим-тихим голосом.

— Меня? — переспросил Бегушев.

— Да.

— Ложь — всеобщая, круговая, на которой должна устроиться вся будущая жизнь наша! — проговорил он.

— Сходясь с замужней женщиной, надобно было быть готовым на это! — сказала Домна Осиповна опять тихим голосом.

— Но я полагал, что ты не имеешь к мужу никаких обязательств — ни нравственных, ни денежных!..

Разговор этот был прерван приходом горничной, которая доложила Домне Осиповне, что Михаил Сергеевич просит позволения прийти к ней.

— Хорошо, я тебе сейчас скажу! — ответила ей торопливо Домна Осиповна.

Горничная ушла.

— Муж может прийти ко мне? — спросила Домна Осиповна Бегушева.

— Конечно!..— разрешил тот.

Домна Осиповна вышла и что-то приказала горничной.

Супруг ее вскоре явился. Оказалось, что он почти еще

молодой человек (Олухов был ровесник жене своей), очень недурен собой, весьма приличный в манерах. Он вошел заметно сконфуженный. Домна Осиповна познакомила его с Бегушевым.

— Муж мой!.. Александр Иванович Бегушев,— сказала она.

Тот и другой поклонились друг другу.

— Как я вам благодарен,— начал Олухов первый,— жена рассказывала мне, что за границей вы были так добры к ней, приняли такое в ней участие, когда она была больна...

Бегушев на это молчал. В воображении его опять носилась сцена из прошлой жизни. Он припомнил старика-генерала, мужа Натальи Сергеевны, и его свирепое лицо, когда тот подходил к барьеру во время дуэли; припомнил его крик, который вырвался у него, когда он падал окровавленный: «Сожалею об одном, что я не убил тебя, злодея!»

Домна Осиповна видела необходимость уж с своей стороны поддержать разговор.

— Я и нынешнее лето непременно поеду за границу,— сказала она как будто бы мужу.

— Что ж, можно,— отвечал тот,— а я останусь по делам в Москве...

— Вы на постоянное жительство переехали в Москву? — спросил его Бегушев.

Олухов заметно растерялся.

— Не думаю, чтобы совсем! От обстоятельств это будет зависеть!..— проговорил он и затем обратился к жене: — Я пришел к тебе, чтобы ты приписала в письме моем к дедушке.

— Давай! — сказала Домна Осиповна и, взяв у мужа приготовленное им письмо к деду, подошла к своему столику и принялась писать.

Бегушев и Олухов сидели молча.

Домна Осиповна спешила дописать письмо, чтобы снова поддержать беседу; но когда она кончила, то Бегушев уже взялся за шляпу. Домна Осиповна обмерла.

— Куда же вы так рано? — сказала она, подавая небрежно письмо мужу.

— Я устал, и при том нездоровится,— произнес Бегушев сколько только мог ласковым голосом; потом он раскланялся с Олуховым и пошел.

Домна Осиповна пошла проводить его.

В гостиной она его остановила.

— Послушай, ты сердит на меня, ты взбешен? — спросила она задыхающимся голосом.

— Нет же! — отвечал Бегушев.

— Но отчего ты такой ужасный, страшный?..

— Оттого, что, как я тебе и говорил, ложь воцарится во всех нас, как это и было нынешний вечер! — отвечал ей знаменательно Бегушев.

— Это ничего, все устроится! — полувоскликнула Домна Осиповна.— Люби только меня, а я тебя безумно, страстно люблю! Приедешь завтра?..

— Приеду! — отвечал Бегушев и снова пошел.

Домна Осиповна закрыла себе сначала глаза рукой, провела потом этой рукой по лицу и, с свойственной ей силой характера овладев, наконец, собою, возвратилась в кабинет.

Бегушев, выйдя на улицу, не сел в экипаж свой, а пошел на противоположный тротуар и прямо заглянул в освещенные окна кабинета Домны Осиповны. Он увидел, что Олухов подошел к жене, сказал ей что-то и как будто бы хотел поцеловать у ней руку. Бегушев поспешил опустить глаза в землю и взглянул в нижний этаж; там он увидел молодую женщину, которая в домашнем костюме разбирала и раскладывала вещи. Бегушеву от всего этого сделалось невыносимо грустно, тошно и гадко!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Прошло четыре дня, а Бегушев не приезжал к Домне Осиповне. Напрасно она, пока было светло, сидела у окна и беспрестанно взглядывала в маленькое зеркальце, приделанное с улицы к косяку и обращенное в ту сторону, откуда Бегушев должен был прийти или приехать, напрасно прислушивалась к малейшему шуму в передней, в ожидании услышать его голос,— надежды ее не исполнялись. Терпения у Домны Осиповны более недостало. Она велела себе привести извозчика и сама поехала к Бегушеву с намерением сделать ему хорошенькую сцену, потому что так поступать, как он поступал, по ее мнению, было не только что жестоко с его стороны, но даже неблагородно!

Подъехав к крыльцу Бегушева, Домна Осиповна судорожно и громко позвонила. Ей неторопливо отворил дверь Прокофий, лицо которого было на этот раз еще мрачнее обыкновенного и какое-то даже исхудалое.

— Александр Иваныч дома? — спросила она.

— Они нездоровы-с очень,— отвечал ей Прокофий протяжно.

— Что ж вы мне не прислали сказать? — проговорила Домна Осиповна.

Прокофий не счел за нужное отвечать ей на это, и тайная мысль его была такова: «Ну да, как же, до вас было!»

— Он у себя в спальне?..— продолжала Домна Осиповна.

— У себя-с... Где же им быть? — говорил Прокофий, снимая с нее салоп.

Домна Осиповна прошла в спальню.

Бегушев лежал на своей кровати, отвернувшись к стене, и был с закрытыми глазами. Жар так и пылал от него на всю комнату.

«Господи, он умирает!» — пришло в голову Домне Осиповне, и она готова была разрыдаться, но удержалась, однако, и села в некотором отдалении от больного.

В спальню вошла тихими шагами Минодора, а вслед за ней в дверях выглянула и физиономия Прокофия.

— Минодорушка, что такое с Александром Иванычем? — отнеслась к ней Домна Осиповна.

— Приехали тогда от вас, всю ночь, должно быть, не почивали, а поутру стали мучиться... метаться...— объяснила ей та.

— Кто же его пользует?

— Никто... Прокофий хотел было сбегать за доктором,— не приказали!

— Но это невозможно! — полувоскликнула Домна Осиповна.

Бегушев при этом открыл глаза.

— Ах, это вы? — проговорил он.

Минодора поспешила выйти из комнаты.

Домна Осиповна подошла к Бегушеву, наклонилась к нему и стала его целовать.

— Друг мой, это я все виновата, что вы больны! — шептала она.

Бегушев чувствовал, как ее горячие слезы падали ему на лицо.

— Чем же вы? — сказал он.

Домне Осиповне показалось, что он едва говорит.

— Друг мой, как вы хотите, но я сейчас же поеду за доктором. Вы будете лечиться, не правда ли?

— Если это вас успокоит,— произнес Бегушев.

— О, да!.. Я очень скоро возвращусь.

С этими словами Домна Осиповна поспешно пошла в переднюю; Прокофий тоже пошел за ней.

— За доктором? — спросил он ее с несвойственным ему любопытством.

— Да, за доктором!..— отвечала Домна Осиповна, и, выйдя на улицу, она наняла извозчика, сказав ему, чтобы он взял, что хочет, только бы скорее ехал.

Извозчик поскакал благим матом.

Домна Осиповна проехала к своему доктору, Ивану Иванычу Перехватову, которого, к великому горю своему, не застала дома.

— Я этого ожидала...— произнесла она почти в отчаянии; но в этом случае ей помогла ее практическая сообразительность.

— Вероятно, он теперь в Английском клубе? — спросила она лакея, отворившего ей дверь.

— Надо быть, что там! — подтвердил тот.

Домна Осиповна поскакала в Английский клуб.

Старик-швейцар удивился даже, когда в его передней появилась дама.

— Доктор Перехватов, Иван Иваныч, здесь, в клубе? — спросила она его стремительно.

— Здесь-с, здесь!..— отвечал швейцар.

— Вызовите его, пожалуйста!.. Скажите, что его просит дама... Олухова.

— Олухова? — переспросил ее швейцар, привыкший к более аристократическим фамилиям.

Сам он, разумеется, не пошел, а послал одного из лакеев, и через несколько минут к Домне Осиповне вышел Перехватов, мужчина лет тридцати пяти, очень красивый из себя и, по случайному, конечно, стечению обстоятельств, в красоте его было нечто схожее с красотою Домны Осиповны: тоже что-то мазочное, хотя он вовсе не притирался, как делала это она. Одет доктор был безукоризненным франтом.

— Бога ради, поскорее к одному больному, самому близкому моему другу...— говорила стремительно Домна Осиповна, беря доктора за обе руки и пожимая их.

— К вашим услугам!.. Сию минуту... посажу только кого-нибудь за себя в карты играть! — сказал тот и ушел.

Домна Осиповна, оставшись в передней одна с швейцаром, была, видимо, под влиянием сильного беспокойства. Старик смотрел на нее с участием.

— Что же, это ваш сродственник или супруг заболел? — спросил он.

— Родственник! — отвечала отрывисто Домна Осиповна и, когда доктор возвратился, поспешно прибавила тому: — У меня экипаж есть, вы со мной и поедете.

— Если вам угодно! — согласился доктор.

Затем они сели на извозчика Домны Осиповны, который и поскакал с ними.

— Кто ж это друг ваш? — спросил доктор, не без удовольствия придерживая Домну Осиповну за ее стройный стан, чтобы она как-нибудь не упала от быстрой езды из саней.

— Бегушев,— отвечала она.

— Это известный Бегушев? — переспросил доктор.

— Он! — подтвердила Домна Осиповна.

— О, это очень приятно с ним познакомиться: по слухам, он очень умный человек!

— Умный и превосходный человек! — подхватила Домна Осиповна.

— А каких он лет?

— Около пятидесяти.

— Уже?.. А дамам, говорят, все-таки еще нравится? — заметил доктор: он совершенно догадался, в каких отношениях находилась Домна Осиповна с Бегушевым, и даже припомнил кой-какие городские рассказы об этом.

— Еще бы он не нравился,— произнесла она самодовольным тоном.

В это время они приехали. Домна Осиповна повела доктора прямо в спальню больного.

— Какой старинный барский дом! — говорил он, идя за ней.

Перехватов имел привычку прежде всего окинуть взглядом обстановку каждого своего нового пациента, чтобы судить, с каким субъектом он будет иметь дело. Вообще он был врач не столько ученый и кабинетный, сколько практический, и здесь я считаю нелишним сказать несколько более подробных слов о нем, так как он, подобно другим описываемым мною лицам, представлял собою истинного сына века.

Чтобы составить себе в Москве практику, врачу существует в настоящее время два пути: один, более верный,— это заслужить внимание и любовь кого-либо из университетских богов-врачей, обильно и щедро раздающих практику всем истинно верующим в них; второй же, более рискованный и трудный,— быть самому ловким и не брезговать никакими средствами... Перехватову не удалось заслужить любви никого из богов; значит, самому пришлось пробивать себе дорогу, и он употребил для этого довольно распространенные за последнее двадцатилетие

между врачами приемы. Родом из сибиряков, неизвестно как и на что существовавши в университете, Перехватов, тем не менее, однако, кончив курс, успел где-то добыть себе пять тысяч; может быть, занял их у кого-нибудь из добрых людей, или ему помогла в этом случае его красивая наружность... На деньги эти он нанял щегольскую квартиру, отлично меблировал ее; потом съездил за границу, добился там, чтобы в газетах было напечатано «О работах молодого русского врача Перехватова»; сделал затем в некоторых медицинских обществах рефераты; затем, возвратившись в Москву, завел себе карету, стал являться во всех почти клубах, где заметно старался заводить знакомства, и злые языки (из медиков, разумеется) к этому еще прибавляли, что Перехватов нарочно заезжал в московский трактир ужинать, дружился там с половыми и, оделив их карточками своими, поручал им, что если кто из публики спросит о докторе, так они на него бы указывали желающим и подавали бы эти вот именно карточки, на которых подробно было обозначено время, когда он у себя принимает и когда делает визиты.

К Домне Осиповне Перехватов попал в домашние врачи тоже довольно непонятным образом: она послала дворника за своим обычным старым доктором, и дворник, сказав, что того доктора не застал, пригласил к ней Перехватова, кучер которого, как оказалось впоследствии, был большой приятель этому дворнику. Домна Осиповна, впрочем, рада была такой замене. Перехватов ей очень понравился своею наружностью и тем, что говорил несколько витиевато, а она любила это свойство в людях и полагала, что сама не без красноречия!

В результате всей вышеизложенной деятельности молодого врача он с каждым годом начинал все более и более оперяться и в настоящее время имел уже маленький капиталец!

Когда Перехватов вошел в спальню Бегушева, то сей последний лежал вверх лицом, с совершенно открытыми и даже блистающими глазами, и своей внушительной фигурой произвел довольно сильное впечатление на доктора. Перехватов в первый еще раз видел Бегушева.

— Господин доктор! — сказала ему Домна Осиповна, показывая на Перехватова.

Бегушев слегка и молча мотнул головою, приподняв ее немного с подушки. Перехватов, в свою очередь, тоже не

без апломба уселся в кресла и первоначально стал тереть свои красивые руки, чтобы согреть их, а потом взял Бегушева за пульс.

— Жарок у вас довольно сильный! — проговорил он и, придав серьезнейшее выражение лицу своему, принялся тщательно считать удары артерии.

По лицу Бегушева пробежала насмешливая улыбка.

— Но что же вы еще, кроме жару, чувствуете? — заключил Перехватов.

— Злость! — отвечал Бегушев.

Такой ответ несколько озадачил доктора.

— Конечно, злость хоть и считают за чувство нравственное, но, пожалуй, оно настолько же и физическое! — произнес он, желая в одно и то же время явить из себя идеалиста и материалиста.— Печень у вас, вероятно, раздражена; вы позволите вас освидетельствовать?

Бегушев и на это только молча кивнул головой. Домна Осиповна поняла, что ей нельзя было оставаться в спальне, и вышла в другую комнату; она очень успокоилась, видя, что Бегушев болен не опасно, а скорее только нравственно потрясен.

В этой же комнате, прислонясь головой к косяку дверей, идущих в спальню Бегушева, стоял и Прокофий, с которым решительно случилась невероятная перемена: с самой болезни Бегушева он сделался ему вдруг очень услужлив, не спал почти все ночи и все прислушивался, что делается в спальне больного; на жену свою он беспрестанно кричал: «Ну ты, копытами-то своими завозилась!» и сам все ходил на цыпочках. Жаль ли ему было Бегушева, или он просто испугался за себя, смутно сознавая, что если Бегушев умрет, то кто же его, этакого скота, со столькими детьми, возьмет к себе в услужение. Стоя у дверей, он уха не отнимал и внимательнейшим образом прислушивался к тому, что говорил Бегушеву доктор; но вряд ли, однако, что-нибудь понял из их беседы.

— Вот теперь я совершенно диагностировал вас,— говорил Перехватов, выслушав и постукав у Бегушева во всевозможных местах.

— Какая же мне польза от того, что вы меня диагностировали? — спросил Бегушев.

— Такая, что я могу вас сознательно лечить.

Бегушев слегка усмехнулся.

— Лечить я знаю, что вы можете; но вылечить — другой вопрос!

На это уже доктор усмехнулся.

— Разумеется,— начал он,— в медицине бывает и так, что дважды два выходит пять; но в отношении вас я утвердительно могу сказать, что дважды два выйдет четыре и что я вас наверное вылечу!

— Чем?

— Пропишу вам курс довольно сильных вод.

Бегушев захохотал.

— Этим меня без всяких постукиваний лет тридцать лечат,— проговорил он.

— Вас лечили, вероятно, врачи, хорошо знающие ваш организм; мне же надобно было познакомиться: наука наша строжайшим образом предписывает нам делать подобные исследования!

— Наука!.. Нашли какую науку! — повторил насмешливо Бегушев.

Перехватов навострил уши.

— Значит, вы медицину не считаете за науку? — спросил он.

— Я считаю ее искусством, а еще более того — шарлатанством.

Доктора несколько передернуло, но он постарался скрыть это.

— Приговор очень резкий,— проговорил он, продолжая улыбаться.

У Перехватова было не в характере и не в привычках возражать своим пациентам и волновать их ни к чему не ведущими спорами!

— Неужели вы думаете,— продолжал Бегушев все более и более раздражительным тоном,— что медицина на крупицу может увеличить ту жизненную силу, которая дана мне при моем зарождении?

— Совершенно справедливо, что мы не можем увеличить этой силы,— начал уже серьезно возражать доктор,— но человек может уменьшить ее, и наша обязанность — предостерегать его от этого и уклонять от него всякого рода вредные влияния.

— Знаю я, как вы уклоняете: к вам приходит чиновничек, получающий рублей пятнадцать в месяц жалованья, и вы ему говорите: «Вам надобно жить в сухих квартирах, употреблять здоровую, питательную пищу!»,—

а у него едва хватает денег приютиться в конуре какой-нибудь и питаться протухлой колбасой. «Но всего полезнее для вас,— советуете вы,—поезжайте в теплый, благорастворенный климат!»

Доктор при этом расхохотался самым веселым смехом, как бы услыхав величайшую нелепость.

— Кто ж это говорит бедным чиновникам?.. Это обыкновенно говорят людям, у которых средства на то есть; вот, например, как врачу не сказать вам, что кухня и ваше питанье повредило вашему, по наружности гигантскому, здоровью,— проговорил он, показывая Бегушеву на два большие прыща, которые он заметил на груди его из-под распахнувшейся рубашки.

— Вы думаете, что я без кухни и питанья мог бы жить и существовать? — спросил тот.

— Питанье питанью рознь; позвольте вас спросить: вы пьете вино?

— Пью, и много!

— А сколько?

— Бутылки по три в день красного вина.

Лицо доктора исполнилось удивления.

— Теперь позвольте мне вам рассчитать,— начал он с знаменательным видом.— В год, значит, вы выпиваете около тысячи бутылок; разделите это число бутылок на ведра, и мы получим семьдесят ведер; это — целое море!

В глазах Бегушева отразилась досада.

— А вы не пьете ничего? — спросил он с своей стороны доктора.

— Ничего почти не пью! — отвечал тот.

— Ну, а мяса вы едите, и по скольку? — продолжал его допрашивать Бегушев.

— Мяса я ем фунта три в день,— отвечал доктор.

— Неправда: больше съедите — фунта четыре, а потому в год вы проглотите около пятидесяти пудов; это почти два быка!

— О, то совсем другое дело! — воскликнул Перехватов.

— Совершенно одно и то же; и как вы не понимаете, что все, что поглощается нами в течение времени, в течение этого же времени и растрачивается! Я убежден, что ваше остроумное исчисление пришло только сию минуту вам в голову, так что вы не успели хорошенько обдумать, как оно неосновательно...

Все эти слова Бегушев произнес почти строго — наставническим тоном.

Перехватов не знал, сердиться ли ему на своего нового пациента или внутренне смеяться над ним, и, сочтя последнее за лучшее, не выразил даже в лице никакого неудовольствия.

— Чрезвычайно вы строги в ваших приговорах,— проговорил он,— и, как видно, сильно не любите докторов.

— Настолько же, как и других людей, хоть убежден, что докторская профессия есть самая лживая из всех человеческих профессий!

— Мысль для меня совершенно новая! — сказал насмешливо доктор.

— Мысль весьма простая,— не унимался Бегушев.— Скажите, сколько раз в день вы солжете умышленно перед вашими больными?

Если бы Перехватов видел Бегушева в другой, более бедной, обстановке, то, может быть, наконец обиделся бы при таком вопросе; тут же опять успокоил себя тем, что на слова людей болеющих и раздражительных не стоит обращать внимания.

— Очень много,— отвечал он откровенно,— но мы это делаем для блага: ложь часто бывает во спасение!

— Согласен, что во спасение, только все-таки согласитесь, что каждый день лгать скучно!

— Да, скучно! — не оспаривал доктор и поднялся с кресел, чтобы закончить свой визит.— А рецептик вам позвольте прописать! — присовокупил он.

— Против чего? — спросил Бегушев.

— Против желчи!.. Очень ее у вас много накопилось!.. В брюшной полости вашей, должно быть, сильное раздражение!

— У меня там ад!

— Вот видите!..— проговорил доктор и прописал рецепт.— Угодно вам будет принимать или нет предлагаемое мною средство, это дело вашей воли, а я свой долг исполнил!.. Завтра прикажете вас проведать?

— Пожалуйста!..— произнес мрачно Бегушев.

Доктор раскланялся с ним и вышел. В следующей комнате к нему обратилась Домна Осиповна.

— У Александра Иваныча, значит, ничего нет серьезного? — спросила она с оттенком некоторого беспокойства.

Доктор пожал плечами.

— И есть, и нет!.. Мизантропия в высшей степени. Вы, я думаю, слышали наш разговор: каждое слово его дышало ядом.

— Но в этом ничего нет опасного?

— Опасного, конечно, нет; но ему самому, вероятно, очень тягостна жизнь.

Эти слова доктора нисколько не обеспокоили Домну Осиповну: она твердо была уверена, что вся мизантропия Бегушева (что такое, собственно, за болезнь мизантропия, Домна Осиповна хорошенько не понимала),— вся его мизантропия произошла оттого, что к ней приехал муж.

— От этой болезни я надеюсь вылечить его,— сказала она.

— Без сомнения!..— воскликнул Перехватов.— Женщины в этом случае гораздо полезнее докторов! Кто любит и любим, тот не может скучать и хандрить!

Домна Осиповна нисколько не оскорбилась на такое откровенное замечание доктора, который, все еще находясь под влиянием беседы с Бегушевым и как бы не удержавшись, присовокупил:

— Какой, однако, чудак господин Бегушев; я лечу во многих барских и купеческих домах, но и там, даже между людьми самыми отсталыми, не встречал таких оригиналов по мысли.

— Оттого, что он умнее этих людей,— заметила Домна Осиповна.

— Конечно, оттого! — подтвердил доктор, но вряд ли втайне думал это.

В передней Домна Осиповна, подавая ему на прощанье руку, вместе с тем передала и десятирублевую бумажку, ценность которой Перехватов очень точно определил по одному осязанию и мысленно остался не совсем доволен такой платой. «Хотя бы за массу ругательств на докторов, которую я от господина Бегушева выслушал, следовало бы мне заплатить пощедрее!» — подумал он.

— Барин скоро выздоровеет? — спросил вдруг каким-то диким голосом Прокофий, тоже провожавший доктора.

— Вероятно, скоро! — успокоил его тот.

Физиономия Прокофия просияла.

Когда Домна Осиповна возвращалась к Бегушеву, странная мысль мелькнула у нее в голове: что каким образом она возвратит от него сейчас только отданную ею

из собственных денег десятирублевую бумажку? Бегушев, впрочем, сам заговорил об этом:

— Что же вы не взяли денег дать доктору?

— Я дала ему десять рублей,— отвечала Домна Осиповна.

— Мало это!.. Они нынче очень жадны! — проговорил Бегушев.

— Совершенно довольно, а то вы его избалуете; он и с нас, грешных, будет того же требовать.

Домна Осиповна не любила ни своих, ни чужих денег тратить много.

— В таком случае возьмите со стола сторублевую и расплачивайтесь с ним, как знаете.

Домна Осиповна с удовольствием исполнила это приказание и, беря деньги, увидала рецепт.

— Послать надо это? — спросила она.

— Да! — произнес не совсем охотно Бегушев.

Домна Осиповна немедля отправила Прокофия в аптеку, а сама подошла к кровати Бегушева и даже встала перед ним на колени.

— Ты не сердишься теперь больше на меня? — говорила она нежным голосом и, поймав руку Бегушева, начала ее целовать.— Ах, как я люблю тебя! — шептала она.

Бегушев тоже умилился душой.

— Действительно,— сказал он,— надобно, чтобы женщина меня очень любила: я сознаю теперь, какой я злой и пустой человек.

— Ты не злой, но очень ты умен! — заметила Домна Осиповна.

— Поглупей — лучше бы было?

— Лучше! — отвечала Домна Осиповна.— А доктор, скажи, как тебе понравился?

— Пролаз, должно быть, великий!

— Но собой, не правда ли, как он хорош?

— Красота придворного лакея,— определил Бегушев.

— Ах да, это верно! — подхватила Домна Осиповна.

В самом деле доктор напоминал ей несколько придворного лакея, но, впрочем, она любила в мужчинах подобную красоту.

Бегушев между тем сделался опять серьезен.

— У меня просьба к тебе: напиши от меня, под мою диктовку, письмо к Тюменеву,— проговорил он.

— С удовольствием! — сказала Домна Осиповна и села за письменный стол.

Бегушев стал диктовать ей:

— Любезный друг! Я болен и это письмо пишу к тебе рукою Домны Осиповны. Приезжай ко мне на святках погостить; мне нужно поговорить и посоветоваться с тобою об очень серьезном для меня деле.— «О каком это серьезном деле?» — подумала Домна Осиповна, заканчивая письмо.

— А какие могут быть у вас серьезные дела с Тюменевым? Может быть, какая-нибудь старая любовь, про которую он знает? — спросила она Бегушева, как бы шутя.

— Вовсе не любовь, а хочу с ним посоветоваться о наследстве после себя,— объяснил Бегушев.

— О нет, не верю,— продолжала Домна Осиповна в том же шутливом тоне; а потом, когда она ехала от Бегушева в его карете домой, то опять довольно странная мысль промелькнула в ее голове: «Что, неужели же Бегушев, если он будет делать духовную, то обойдет ее и не завещает ей хоть этой, например, кареты с лошадьми!» Но мысль эту Домна Осиповна постаралась отогнать от себя.

— О господи, пусть он живет; он единственное сокровище мое,— прошептала она и несколько даже рассердилась на себя. Но что делать: «гони природу в дверь, она влетит в окно!»

Глава II

Тюменев был человек, по наружности, по крайней мере, чрезвычайно сухой и черствый — «прямолинейный», как называл его обыкновенно Бегушев,— и единственным нежным чувством сего государственного сановника до последнего времени можно было считать его дружбу к Бегушеву, который мог ему говорить всякие оскорбления и причинять беспокойства; видаться и беседовать с Бегушевым было наслаждением для Тюменева, и он, несмотря на свое большое самолюбие, прямо высказывал, что считает его решительно умнее себя. Откуда проистекало все это — определить трудно; может быть, в силу того, что сухие и завядшие растения любят влагу и только в ней

оживают. Получив письмо Бегушева, Тюменев, не дождавшись даже праздников, поехал к нему в Москву. Он очень встревожился, увидав, до какой степени Бегушев пожелтел и похудел.

— Что такое с тобой? — было первое его слово.

— Итог подводится — старею́сь!..— отвечал сначала уклончиво Бегушев; но потом вскоре же перешел к тому, что последнее время по преимуществу занимало и мучило его.— Ничего не может быть отвратительнее жизни стареющихся людей, подобных мне! — начал он.

Тюменев приподнял несколько свои брови от удивления.

Беседа эта между приятелями, по обыкновению, происходила в диванной, куда перебрался Бегушев из спальни, хотя и был еще не совсем здоров.

— Я такой же стареющийся человек и такой же холостяк, как и ты, однако не чувствую этого,— возразил ему Тюменев, полагая, что Бегушев намекал на свою холостую, бездетную жизнь.

— Ты гораздо лучше меня! — полувоскликнул Бегушев.— Ты имеешь право не презирать себя, а я нет.

— Как презирать себя!.. Что за вздор такой!..— тоже почти воскликнул Тюменев.— За что ты можешь презирать себя, и чем я лучше тебя?

— Всем: ты всю жизнь служил, и служил трудолюбиво, теперь ты занимаешь весьма важный пост; в массе дел, переделанных тобою, конечно, есть много пустяков, пожалуй, даже вредного; но есть и полезное... А что же я творил всю жизнь?— Ничего!!.

— Ты мыслил, говорил; слово — такое же дело, как и другое!

— Печатное — да!.. Может быть, и дело; но проболтанное только языком — ничего!.. Пыль... прах, разлетающийся в пространстве и перестающий существовать; и, что унизительнее всего, между нами, русскими, сотни таких болтунов, как я, которые никогда никакого настоящего дела не делали и только разговаривают и поучают, забывая, что если бы слова Христа не записали, так и христианства бы не существовало.

— Но почему же ты знаешь?.. Может быть, кто-нибудь из слушателей и записал твои слова!..

— Ну да, как же!.. Какие великие истины я изрекал!.. И хорош расчет: надеяться, что другие запишут!.. Нет!..

Попробуй-ка сам написать на бумаге, что за час только перед тем с величайшим успехом болтал, и увидишь, что половина мыслей твоих или пошлость, или бессмыслица; сверх того, и языком говорил неправильным и пустозвонным!

— Постой, однако! — возразил Тюменев.— В парламентах устные речи многих ораторов записываются слово в слово стенографами и представляют собой образец красноречия и правильности!

— Там другое дело! — перебил его с досадой Бегушев.— Тамошние ораторы хоть и плуты большие, но говорить и мыслить логически умеют... Кроме того, сама публика держит их в границах, как лошадь на узде; если он в сторону закинется, так ему сейчас закричат: «К делу!»; а мы обыкновенно пребываем в пустом пространстве — неси высокопарную чепуху о чем хочешь: о финансовом расстройстве, об актере, об общине, о православии; а тут еще барынь разных насажают в слушательницы... Те ахают, восхищаются и сами тоже говорят хорошие слова!

— В Петербурге этого меньше! — заметил Тюменев.

— Вероятно потому, что Петербург умней Москвы! — подхватил Бегушев.

— Ты думаешь? — спросил не без удовольствия Тюменев.

— Я всегда это думал!.. Одно чиновничество, которого в Петербурге так много и которое, конечно, составляет самое образованное сословие в России. Литература петербургская,— худа ли, хороша ли она,— но довольно уже распространенная и разнообразная,— все это дает ему перевес. А здесь что?.. Хорошего маленькие кусочки только, остальное же все — Замоскворечье наголо, что в переводе значит: малосольная белужина, принявшая на время форму людей.

— Малосольная белужина, принявшая на время форму человека! — повторил, усмехаясь, Тюменев, готовый наслаждаться всякой фразой Бегушева.— Меня, впрочем, очень заинтересовала твоя мысль о наших дебатах,— говорил он далее.— Мы действительно не умеем диспутировать, наши частные разговоры отличаются более отвлеченностью, чем знанием и умом... К несчастью, это свойство перешло и на наши общественные учреждения: мне случалось бывать на некоторых собраниях, и

какое столпотворение вавилонское я там встречал,— поверить трудно!.. Точно все говорят на разных языках, никто никого не хочет ни слушать, ни понимать!

Тюменев, как человек порядка, давным-давно терпеть не мог все наши общественные учреждения.

Бегушев слушал его мрачно.

— Но мне бы хотелось добраться до причины всего этого,— продолжал Тюменев.— Нельзя же все объяснять переходным временем, незрелостью нашею. Растем, растем и все вырасти не можем.

— Причин много...— сказал Бегушев.— Прежде всего — наше бестолковое образование: мы все знаем и ничего не знаем; потом непривычка к правильному, постоянному труду, отсутствие собственной изобретательности, вследствие того — всюду и во всем слепое подражание; а главное — сытый желудок и громаднейшее самолюбие: схвативши верхушки кой-каких знаний, мы считаем унижением для собственного достоинства делать какие-нибудь обыкновенные вещи, которые делают люди заурядные, а хотим создать восьмое чудо, но в результате явим,— как я, например,— пятидесятилетнюю жизнь тунеядца.

— Пятьдесят лет — не бог знает какие года; ты теперь можешь начать работать, если так ясно сознал свою ошибку, и которая действительно была твоею ошибкой.

— Что ты говоришь: теперь... Работать можно начинать лишь в молодости, когда человек верит в себя и во многое, а я уж не верю ничему!

Тюменев пожал плечами.

— По-моему, ты совершенно неправильно объясняешь сам себя,— начал он.— Ты ничего осязательного не сделал не по самолюбию своему, а потому, что идеал твой был всегда высок, и ты по натуре своей брезглив ко всякой пошлости. Наконец, черт возьми! — и при этом Тюменев как будто бы даже разгорячился.— Неужели всякий человек непременно обязан служить всему обществу? Достаточно, если он послужил в жизни двум — трем личностям: ты вот женщин всегда очень глубоко любил, не как мы — ветреники!

— Что же, я этим женщинам какое добро и пользу сделал?

— Ты им доставил несколько таких счастливых го-

дов, каких они, вероятно, не встретили бы с другими мужчинами!

Бегушев при этом злобно засмеялся.

— Однако одна из них от этих счастливых годов уж умерла,— сказал он.

— Это ты вообразил, что она умерла оттого...

— Нет, не я; она мне сама это сказала.

— Мало ли, что человек говорит в предсмертные минуты, когда он, может быть, и сознание потерял!

— Нет, она это в полном сознании говорила. И потом: любить женщин — что такое это за высокое качество? Конечно, все люди, большие и малые, начиная с идиота до гения первой величины, живут под влиянием двух главнейших инстинктов: это сохранение своей особы и сохранение своего рода,— из последнего чувства и вытекает любовь со всеми ее поэтическими подробностями. Но сохранить свой род — не все еще для человека: он обязан заботиться о целом обществе и даже будто бы о всем человечестве.

— Это слишком большие требования, и я опять повторяю, что, черт возьми, с этими далекими вехами, до которых, я думаю, никто еще не добегал!.. Скажи мне лучше, что твоя Домна Осиповна? — заключил Тюменев.

Этим переходом разговора на Домну Осиповну он полагал доставить Бегушеву приятный предмет для разговора и тем отвлечь его от мрачных мыслей.

— Мучится и страдает тоже благодаря моему характеру и недугам моим! — отвечал тот.

— Постой!.. Мне кто-то говорил... да, Хмурин этот... что она сошлась с мужем? — спросил неосторожно Тюменев.

Лицо Бегушева мгновенно и очень сильно омрачилось.

— Она сошлась только для виду! — проговорил он.— У мужа ее есть дед богатый, который написал им, что если они не сойдутся, то он лишит их пяти миллионов наследства! Они хоть и живут в одном доме, но у него существует другая женщина... Не сделать этого они нашли очень нерасчетливым!

Когда говорил это Бегушев, то у него лицо пылало: видно, что ему совестно было произносить эти слова. Тюменев же нашел совершенно рациональным такой поступок Олуховых.

— Конечно, было бы нерасчетливо! — подтвердил он.

— Летом, вероятно, я уеду с Домной Осиповной за границу, и уеду надолго! —добавил Бегушев.

— Отлично сделаешь! — одобрил его Тюменев.— А ты еще считаешь себя несчастным человеком и за что-то чувствуешь презрение к себе!.. Сравни мое положение с твоим... Меня ни одна молоденькая, хорошенькая женщина не любила искренно, каждый день я должен бывать на службе...

Послышался звонок.

Приехала Домна Осиповна. Она в продолжение всей болезни Бегушева приезжала к нему обедать и оставалась затем у него на весь день. Утро обыкновенно Домна Осиповна проводила, тщательно скрывая это от Бегушева, в беседе с своим мужем, расспрашивая того о всех делах его, даже об его возлюбленной, и по поводу взбалмошного характера последней давала ему разные благоразумные советы... О своих же отношениях к Бегушеву она хоть и сказала тому, что будто бы прямо объявила мужу, что любит его, но в сущности Домна Осиповна только намекнула, что в настоящее время она, может быть, в состоянии будет полюбить одного человека; словом, отношениям этим старалась придать в глазах Олухова характер нерешенности еще...

Встретив у Бегушева Тюменева, Домна Осиповна очень ему обрадовалась, предчувствуя, как оживительно беседы с другом подействуют на больного.

— Вот это очень хорошо, что вы приехали к нам в Москву! — сказала она, дружески и крепко пожимая руку Тюменеву.

— А с вашей стороны очень нехорошо, что вы допустили так расхвораться Александра Ивановича,— отвечал ей тот.

Домна Осиповна заметно сконфузилась; она подумала, что Бегушев рассказал Тюменеву о главной причине своей болезни.

— Что делать!.. Не в моей то воле...— сказала она неопределенно и потупляя глаза.

— Она одна и спасла меня!..— подхватил Бегушев, желая снять всякое подозрение с Домны Осиповны в своей болезни, и при этом опять покраснел, смутно сознавая, что он сказал неправду.

— Кушанье готово! — возвестил явившийся Прокофий

во фраке, белом галстуке, напомаженный, завитой и, видимо, хотевший торжествовать выздоровление барина.

Пошли в столовую. В конце обеда Домна Осиповна отнеслась к Бегушеву:

— Меня все граф Хвостиков умоляет, чтобы я позволила ему приехать и навестить тебя!

Домна Осиповна уже не стесняясь говорила Бегушеву при Тюменеве «ты».

— Пусть его приезжает; кто ему мешает! — отвечал Бегушев.

— Кроме того, madame Мерова желает у тебя быть, а может быть, даже и Янсутский,— присовокупила Домна Осиповна.

Последнему она хотела за его услугу по хмуринским акциям отплатить такой же услугой, то есть дать ему возможность встретиться с Тюменевым, чем тот, как она предполагала, очень дорожил.

— О, madame Мерову и я прошу принять! — воскликнул Тюменев.

— Я знала, что вам это приятно будет!.. — подхватила с ударением Домна Осиповна.

По своей житейской опытности она сразу же на обеде у Янсутского заметила, что m-me Мерова произвела приятное впечатление на Тюменева.

Когда встали из-за стола, Домна Осиповна собралась уехать.

— Куда вы? — спросил ее Бегушев с заметным неудовольствием.

— Мне мужа надобно проводить: он уезжает в Сибирь, к деду! — объяснила она.

— Уезжает? — спросил удивленным тоном Бегушев, и между тем удовольствие заметно выразилось на его лице.

— Да!

— И надолго?

— Конечно, надолго!.. Я сегодня же и извещу всех этих господ, что они могут к тебе приехать?

— Извести,— проговорил Бегушев.

— Непременно сегодня!..— подхватил Тюменев.

Домна Осиповна лукаво посмотрела на него.

— Для вас собственно я приглашу одну только madame Мерову,— сказала она ему.

— Почему же одну madame Мерову?

— Потому, что я знаю, почему!..

— Но, однако, мне начинают становиться очень любопытны ваши слова.

— Любопытство — смертный грех!

— Я готов даже идти на смертный грех ради того, чтобы вы разъяснили ваши намеки!

Тюменеву пришло в голову, что не открылась ли m-me Мерова Домне Осиповне в том, что он очень ей понравился.

— Никогда я вам не разъясню этих намеков! — объяснила Домна Осиповна. Затем она сказала Бегушеву, протягивая ему руку: — Прощай!

— А сама приедешь ужо? — спросил тот, целуя ее руку.

— Непременно! Ранешенько! — отвечала Домна Осиповна и, кивнув приветливо головой Тюменеву, ушла.

Всю эту сцену она вела весело и не без кокетства, желая несколько поконкурировать с m-me Меровой в глазах Тюменева, чего отчасти и достигнула, потому что, как только Домна Осиповна уехала, он не удержался и сказал Бегушеву:

— Домна Осиповна сегодня прелестна! Гораздо лучше, чем была на обеде у Янсутского, где она, в чем тебе я признаюсь теперь, была не того...

— Очень даже не того! — согласился Бегушев.

— Но вот еще маленький вопрос относительно madame Меровой,— продолжал Тюменев.— Она до сих пор еще en liaison[1] с Янсутским?

— Кажется!

— Что ей за охота любить такую дрянь?.. И я не думаю, чтобы она хранила ему верность!

— Не ведаю того: духовником ее не был!

Тюменев в это время зевнул во весь свой рот.

— Ты, может быть, уснуть хочешь, устал с дороги? — спросил его Бегушев.

— Желал бы: я не спал всю ночь, и, кроме того, после твоих затейливых обедов всегда едва дышишь!..

— Ступай, тебе все там готово!

— Знаю! — проговорил Тюменев и, зевнув еще раз, ушел к себе в комнату.

Бегушев, оставшись один, прикорнул тоже на диване к подушке головой и заснул крепчайшим сном. Его очень

[1] в связи (*франц.*).

успокоили и обрадовали слова Домны Осиповны, что Олухов уезжает надолго в Сибирь. Странное дело: Бегушев, не сознаваясь даже самому себе, ревновал Домну Осиповну к мужу, хотя не имел к тому никаких данных!

Глава III

Часов в восемь вечера Бегушев и Тюменев снова сидели в диванной.

— Я хочу посоветоваться с тобой о наследстве после меня,— говорил Бегушев. — Состояние мое не огромное, но совершенно ясное и не запутанное. Оно двух свойств: родовое и благоприобретенное... Родовое я желаю, чтобы шло в род и первоначально, разумеется, бездетной сестре моей Аделаиде Ивановне; а из благоприобретенного надо обеспечить Прокофья с семьей, дать по небольшой сумме молодым лакеям и тысячи три повару; он хоть и воровал, но довольно еще умеренно... Остальные все деньги Домне Осиповне...

— Велика сумма? — спросил Тюменев.

— Тысяч около ста.

Домна Осиповна, значит, напрасно думала, что Бегушев может забыть ее в своей духовной, и как бы радостно забилось ее сердце, если бы она слышала эти слова его, и как бы оценила их.

— Дом этот,— продолжал Бегушев,— который ты всегда любил, я, со всею мебелью, картинами, библиотекою, желаю оставить тебе.

— Зачем он мне, милый мой! — возразил Тюменев, даже весь вспыхнувший при последних словах приятеля.

— Может быть, когда-нибудь и поживешь в нем: как ни высоко твое служебное положение, но и Суворов жил в деревне.

— Наконец, этого сделать нельзя! Дом твой, я знаю, родовой; а потому вместе с родовым и должен идти...— продолжал возражать Тюменев.

— Испроси высочайшее повеление... Я просьбу готов написать об этом государю! — стоял на своем Бегушев.

Тюменев пожал плечами.

— Странный ты человек, Александр Иванович, от маленькой и ничтожной болезни вообразил, что можешь умереть и что должен спешить делать духовную,— проговорил он

О тайном намерении Бегушева закрепить за Домной Осиповной этой духовною часть своего состояния Тюменев не догадывался.

— Ничего я не вообразил,— сказал тот с досадой,— а хочу, если я в жизни не сделал ничего путного, так, по крайней мере, после смерти еще чего-нибудь не наглупить, и тебя, как великого юриста, прошу написать мне духовную на строгих законных основаниях.

— Это изволь,— я напишу, но насчет дома, пожалуйста, отмени твое желание завещать его мне,— произнес Тюменев с кислой гримасой.

Желание это в самом деле было очень ему неприятно; по своему замечательному бескорыстию Тюменев был известен всему Петербургу: он даже наград денежных никогда от правительства не брал.

— Ни за что не отменю, ни за что! — отрезал Бегушев.

Вскоре приехала Домна Осиповна, очень веселая и весьма к лицу одетая.

— Проводила мужа? — спросил ее Бегушев.

— Проводила!

— Плакала?

— Очень много!.. Изошла вся слезами!.. Madame Мерова будет непременно!.. Сама вышла к моей посланной и сказала ей это!.. — отнеслась Домна Осиповна к Тюменеву.

— Заранее восхищаюсь, что увижу ее!..— произнес он с улыбкой.

— Конечно, восхищаетесь! Что тут притворяться!

Следующий гость был доктор. Он постоянно в этот час приезжал к Бегушеву и на этот раз заметно был чем-то сконфужен, не в обычном своем спокойном расположении духа. Расспросив Бегушева о состоянии его здоровья и убедившись, что все идет к лучшему, доктор сел и как-то рассеянно задумался.

Домна Осиповна первая это заметила.

— Что вы такой грустный сегодня? — обратилась она к нему.

— Решительно ничего. На практике устал! — поспешил он ей ответить и потом, как бы не утерпев, вслед же за тем продолжал: — Москва — это удивительная сплетница: поутру я навещал одного моего больного биржевика, который с ужасом мне рассказал, что на бирже рас-

пространилась паника, может быть, совершенно ложная, а он между тем на волос от удара... Вот и лечи этих биржевиков!..

— Какая же паника и отчего? — спросила Домна Осиповна.

— Говорят... конечно, всего вероятнее, что это враки... что какой-то Хмурин обанкрутился, а вместе с ним и банк «Бескорыстная деятельность», который ему кредитовал.

Говоря это, доктор скрыл, что он очень хорошо знал, кто именно этот Хмурин, и даже мечтал в свободное время по ночам, когда не спалось, что как бы ему пробраться лечить к Хмурину.

— Это банкротство весьма вероятно: в Петербурге давно ходили об этом слухи,— подтвердил Тюменев.

— Не думаю, чтоб это была правда! — настаивал доктор, как бы стараясь насильственно отклонить от себя подобную мысль: у него у самого были скоплены восемь тысяч и положены в банк «Бескорыстная деятельность».

— Я всегда очень рад этого рода крахам,— произнес Бегушев,— потому что тут всегда наказывается какой-нибудь аферист и вместе с ним несколько дураков корыстолюбивых.

— Вкладчиков, вы хотите сказать?.. Отчего ж они корыстолюбивые? — спросил доктор.

— Оттого, что суют свои деньги разным банкам и торговым конторам для большого процента.

— Но что же тогда прикажете с деньгами делать? — воскликнул доктор.

— Устраивайте на них сами что-нибудь.

— А если человеку, по другим его обязанностям, некогда что-либо предпринимать?

— Тогда пользуйтесь маленьким, казенным процентом.

— Это совершенно все верно и справедливо, что говорит Александр Иванович,— подхватила Домна Осиповна,— но скажите: акции Хмурина, вероятно, упадут? — обратилась она к доктору.

— Они уж и упали с двухсот рублей на пятьдесят,— отвечал доктор с горькой усмешкой.

Домна Осиповна самодовольно улыбнулась.

«Какая же я умница, что продала эти акции!» — подумала она про себя.

— На бирже даже не могут понять, каким образом Хмурин мог обанкрутиться!..— говорил доктор.

— Очень понятно это!.. — вмешался опять в разговор Тюменев.— Он брал предприятие за предприятием, одно не успеет еще кончить — берется за другое, чтобы и там успеть захватить деньги; надобно же было этому кончиться когда-нибудь!

— Но по общей молве Хмурин,— извините вы меня,— никогда не был таким,— возразил довольно резко доктор.

Он не знал собственно, кто такой был Тюменев. Бегушев, знакомя их, назвал только фамилии, а не пояснил звания того и другого.

— Напротив, он никогда иным не был,— продолжал Тюменев.— Мне самому весьма часто приходилось обсуждать в совете самые нелепые, кривые и назойливые его ходатайства.

Тут Перехватов понял, с кем он беседует, и мгновенно исполнился уважения к Тюменеву.

В это время в диванную впорхнула m-me Мерова.

— Я непременно хотела быть у вас,— заговорила она своим детским голосом и крепко пожимая и потрясая своей маленькой ручкой могучую руку Бегушева.— Папа тоже непременно хотел ехать со мною, но сегодня с утра еще куда-то ушел и до сих пор нет. Я думаю: «Бог с ним»,— и поехала одна.

— Благодарю вас за участие,— говорил ей Бегушев.

Мерова, повернувшись, увидала Тюменева и почти вскрикнула от удивления.

— Вы никак, вероятно, не ожидали встретить меня? — проговорил тот, протягивая ей с заметною радостью руку.

— Никак! — отвечала она, пожимая его руку.

С Домной Осиповной Мерова дружески поцеловалась. Все уселись. Прокофий внес на серебряном подносе в старинном сервизе чай. Печенья от Бартольса было наложено масса. Принялись пить чай, но беседа была очень вяла, так что Домна Осиповна не удержалась и спросила:

— А что, мы сегодня в карты будем играть?

С тех пор как Бегушев стал поправляться, у него каждый вечер устраивались карты. Играли он сам, доктор и Домна Осиповна. Последняя находила, что больного это очень развлекало, развлекало также и ее, а отчасти и доктора Они обыкновенно всякий раз обыгрывали Бегушева рублей на двадцать, на тридцать.

— А вы будете тоже играть? — прибавила она Тюменеву, вспомнив об нем.

— Я не играю! — ответил тот.

— В таком случае и мы не будем играть! — проговорила Домна Осиповна, взглянув на Бегушева.

— Нет, отчего же, играйте!.. Пожалуйста, играйте! — упрашивал Тюменев.— Я даму буду иметь: вы, конечно, тоже не станете играть? — отнесся он к Меровой.

— Да, я не играю! — ответила та.

— В таком случае я буду занимать вас и буду вашим cavalier servant[1].

— Будьте!

— Вы позволите мне вашу руку?

Мерова подала ему руку и почувствовала, что рука самого Тюменева слегка дрожала,— все это начало ее немножко удивлять.

— Вы незнакомы с убранством дома Александра Ивановича? — продолжал он.

— Нет.

— Угодно вам взглянуть?.. Оно замечательно по своему вкусу.

— Хорошо! — согласилась Мерова.

Они пошли в зало.

— Тюменев, я вас понимаю!..— крикнула им вслед Домна Осиповна, усаживаясь с Бегушевым и доктором за карточный стол.

Тюменев на этот раз ничего ей не ответил и только усмехнулся.

— В чем Домна Осиповна понимает вас? — спросила его Мерова.

— О, она целый день надо мной подтрунивает и, может быть, права в этом случае! — произнес Тюменев с сентиментально-горькой усмешкой.

В это время они проходили уже гостиную.

— Посмотрите: это настоящий Калям! — говорил Тюменев, показывая на одну из картин и, видимо, желая привести свою даму в несколько поэтическое настроение.

— Калям? — повторила равнодушно Мерова.

— Да!..— протянул Тюменев и довольно сильно пожал локтем ее руку.

Мерова поспешила освободить от него свою руку.

---

[1] кавалером (*франц.*).

— А эта женская головка,— продолжал, не унывая, Тюменев и показывая на другую картину,— сколько в ней неги, грации... Как, вероятно, был счастлив тот, кто имел право целовать эту головку.

— А может быть, ее никто и не целовал! — возразила Мерова.

— Нет! Непременно целовал! — воскликнул Тюменев.— Я неисправимый поклонник женской красоты,— присовокупил он, и что-то вроде вздоха вылетело из его груди.

— Вы? — переспросила его Мерова.

— Я!.. И убежден, что человек, который имел бы право вас целовать... О! Он был бы счастлив бесконечно.

Тюменев, как мы видим, не совсем искусно и тонко любезничал и с Домной Осиповной и с Меровой; привычки не имел на то: все некогда было — служба!

— Не полагаю, чтобы был счастлив! — возразила Мерова.

В маленькой гостиной они уселись рядом на диване.

— Знаете что,— начал Тюменев, окончательно развернувшийся,— в молодости я ужасно был влюблен в одну женщину!.. (Никогда он во всю жизнь свою не был очень влюблен.) Эта женщина,— продолжал он, делая сладкие глазки и устремляя их на Мерову,— как две капли воды походила на вас.

— На меня?.. Но что же из этого? — спросила она.

— То, что вы поэтому — мой идеал! — больше как бы прошептал Тюменев.

— Вот как!.. Это очень лестно! — проговорила Мерова негромко.

— Лестно, но и только? — спросил Тюменев.

— Чего же вам еще? — отвечала Мерова.

— Маленького участия, маленького сожаления! — говорил Тюменев нежным голосом.

Сильно можно подозревать, что над всем этим объяснением Мерова в душе смеялась; но по наружности была совершенно серьезна.

— Фи!.. Сожаления!..— произнесла она с маленькой гримасой.

— В таком случае дайте мне чувство ваше,— шептал Тюменев.

— Если оно будет! — отвечала Мерова, пожимая своими плечиками.

Послышался звонок; Прокофий поспешил отворить дверь.

Мерова прислушалась, кто именно приехал.

— Это, должно быть, Петр Евстигнеевич,— проговорила она и, проворно встав с дивана, пошла к играющим в карты.

Мерова по опыту знала, что если бы ее Петр Евстигнеевич увидел, что она вдали от прочего общества сидит вдвоем с мужчиной, так не поблагодарил бы ее; разрешая себе всевозможные шалости, он не позволял ей малейшего кокетства с кем бы то ни было.

Опешенный таким быстрым уходом, Тюменев тоже последовал за ней.

Приехал действительно Янсутский, а вместе с ним и граф Хвостиков.

Все заметили, что на обоих лица не было, особенно на Янсутском, который позеленел даже.

— Извините, Александр Иванович,— начал он,— я несколько опоздал,— дела меня задержали, но я все-таки непременно желал навестить вас, а потом вот и за ней заехал!

На последних словах Янсутский указал головой на Мерову, которая смотрела на него с некоторым недоумением и вместе с тем принялась глазами отыскивать свою шляпку.

Тюменеву Янсутский сначала было издали поклонился; но тот на этот раз сам протянул ему руку. Янсутский объяснил эту благосклонность Тюменева тем, что он покормил его обедом.

Доктор, бывший тоже домашним врачом Янсутского, не выдержал и спросил его:

— Правда, что Хмурин обанкрутился?

— Совершенная правда!.. — отвечал Янсутский.— Мы сейчас от него.

— Что же он говорит?.. Как сам объясняет свое банкротство? — расспрашивал доктор.

— Как он объясняет? Добьешься толку от этого кулака и мошенника!..— бранился Янсутский.— По его, все от бога произошло: «Бог, говорит, дал, бог и взял!..» А у вас его акции еще на руках? — спросил он Домну Осиповну.

— Ни одной нет: я тогда же их отправила к мужу в Петербург, а он их там продал! — мгновенно придумала

та и вместе с тем делала аккуратнейший счет своему выигрышу, так как пулька кончилась.

— Счастливица! — произнес Янсутский.

— А вас Хмурин зацепил немножко? — спросил Бегушев.

— Не немножко!.. Напротив, очень множко... Россия — это такая подлая страна, что...— Янсутский, не докончив своей мысли, обернулся к Меровой: — Если вы хотите, так поедемте!

— Да, я поеду! — отвечала та, надевая шляпку, которую уже держала в руках.

Несмотря на свою непрактичность, Мерова, однако, поняла, что с Янсутским что-то такое очень нехорошее случилось.

— Вам лучше в Петербург ехать... Там главные операции Хмурина... Очень может быть, что он фальшивый банкрот! — посоветовал Тюменев Янсутскому.

— Это даже наверное можно сказать! — подхватил тот с окончательно искаженным лицом.— Я на днях же переезжаю совсем туда!

— А вы? — обратился Тюменев к Меровой.

— Не знаю! — отвечала она.

— Конечно, переедет! Нельзя при таком положении дел жить на двух квартирах,— объяснил откровенно Янсутский и через несколько минут уехал вместе с Меровой.

Вслед за ним поднялся и доктор, получивший, по обыкновению, от Домны Осиповны десять рублей за визит, каковой платой он остался более чем когда-либо недоволен.

— Там банки лопаются, в которых теряешь последнее, а они платят всё по десяти рублей! — проговорил он, садясь в карету и с досадою засовывая бумажку в карман.

Остаток вечера у Бегушева провели в разговорах о Хмурине.

— Его крах вас тоже, кажется, поразил? — спросил Тюменев графа Хвостикова.

— Очень!.. Я с ним большие дела имел! — отвечал тот, хотя в сущности он никаких с Хмуриным дел не имел, а получал от него иногда небольшие поручения, за которые и попадало ему рублей пятьдесят — сто.

Граф Хвостиков сидел после того около часа. Он все дожидался, не оставят ли его ужинать, но Бегушев не ос-

тавил, и граф, делать нечего, невесело простился и невесело побрел пешком на свою скудную квартиру.

По уходе его Домна Осиповна тоже начала собираться и сказала Бегушеву, что она забыла в его кабинете одну вещь. Бегушев понял ее и провел в свой кабинет. Там Домна Осиповна объявила ему, что ей целый вечер ужасно хотелось поцеловать его, что она и намерена исполнить, и действительно исполнила, начав целовать Бегушева в губы, щеки, глаза, лоб. Он никогда почти не видал ее такою страстною.

Домна Осиповна очень счастлива была, во-первых, тем, что муж уехал, а потом оттого, что она не попалась на хмуринских акциях.

Глава IV

Бегушев хоть и выздоровел совершенно, но сделался окончательно мрачен и угрюм характером: не говоря уже о постоянно и тайно питаемом презрении к самому себе, он стал к другим людям еще более подозрителен. Домна Осиповна в этом случае тоже не избегнула его взгляда, или, лучше сказать, этот взгляд Бегушев по преимуществу устремил на нее. Раз они ехали вместе в город. Проезжая мимо Иверской, Бегушев сказал Домне Осиповне:

— Заедемте помолиться!

— Что за пустяки? — возразила она, будучи вполне убеждена, что Бегушев — совершеннейший богоотступник.

Тот посмотрел на нее сурово и вечером, когда Домна Осиповна приехала к нему, он ее спросил, почему она не хотела заехать помолиться.

— А разве ты желал этого?

— Желал.

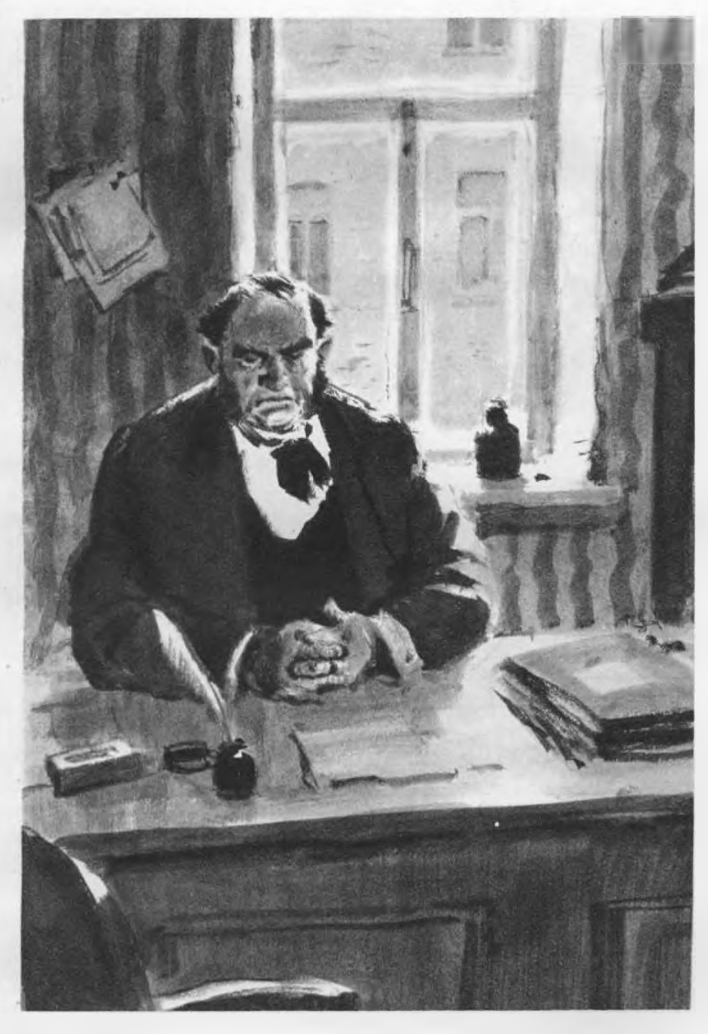
— Для чего?

— Для того, что слез и горя там излито много, много горячих молитв вознесено к богу. В таких местах мне представляется, что самый воздух пропитан святыней и благочестием.

Домна Осиповна ничего не поняла из этих слов Бегушева.

— А в церковь вы иногда ходите? — выведывал он ее.

Домна Осиповна заметила это и сделалась осторожнее в ответах.



«МЕЩАНЕ».



«МЕЩАНЕ»

— Конечно, хожу! — отвечала она.

— Почему же вы церковь предпочитаете часовне?

— Ах, боже мой, в церкви нас венчают, причащают, крестят, отпевают...

Из такого мнения Домны Осиповны Бегушев заключил, что настоящего религиозного чувства в ней совсем не было и что она, не отдавая себе отчета, признавала религию только с формальной и утилитарной стороны, а это, по его мнению, было хуже даже, чем безверие нигилистов: те, по крайней мере, веруют в самый принцип безверия. Сам Бегушев, не признавая большой разницы в религиях, в сущности был пантеист, но вместе с тем в бога живого, вездесущего и даже в громах и славе царствующего любил верить. Представление это он вынес еще из детства: Бегушев вырос и воспитывался в благочестивом и нравственном семействе.

— А когда умирать придется, тут как? — вздумал он попугать Домну Осиповну.

— Умру, как и другие умирают,— отвечала она, даже рассмеявшись.

— А страх, что будет там, «в безвестной стороне, откуда нет возврата, нет пришлецов»?..— прочитал ей Бегушев тираду из «Гамлета».

— Я никогда не думаю, что будет там,— объяснила с своей стороны Домна Осиповна,— скорее всего, что ничего! Я желаю одного: чтобы меня в жизни любили те люди, которых я люблю, и уважали бы в обществе.

«Идеал не высоконький!» — сказал сам себе Бегушев и в то же время решил в своих мыслях, что у Домны Осиповны ни на копейку не было фантазии и что она, по теории Бенеке, могла идти только до той черты, до которой способен достигать ум, а что за этой линией было,— для нее ничего не существовало.

Невдолге после этого разговора Домна Осиповна привезла Бегушеву довольно странную новость.

— Ты слышал,— начала она, едва успев усесться,— Янсутский бросил Мерову.

Бегушев первоначально выслушал это известие весьма равнодушно.

— Откуда ты это знаешь? — спросил он.

— Граф Хвостиков приезжал ко мне... Он в отчаянии и рассказывает про Янсутского такие вещи, что поверить трудно: конечно, Янсутский потерял много состояния в де-

лах у Хмурина, но не разорился же совершенно, а между тем он до такой степени стал мало выдавать Лизе денег, что у нее каких-нибудь шести целковых не было, чтобы купить себе ботинки... Кормил ее бог знает какой дрянью... Она не выдержала наконец, переехала от него и будет существовать в номерах...

— Поделом! Не торгуй собой!..— заметил Бегушев.

— Она не торговала собой... Янсутского Лиза любила,— это я наверное знаю!..— возразила Домна Осиповна.

Бегушев молчал: ему казалось невозможным, чтобы какая-нибудь женщина могла любить Янсутского.

— Но тут интереснее всего то,— продолжала Домна Осиповна,— граф Хвостиков мне по секрету сказал, что Лизе теперь очень покровительствует Тюменев.

Бегушев встрепенулся.

— Как Тюменев? — воскликнул он.— С какой стати ему покровительствовать ей и в каком отношении?

— Деньгами, конечно, ей помогает!

— Но у него их вовсе не так много, чтобы он мог поддерживать постороннюю ему женщину!

— Может быть, она уж не совсем посторонняя ему женщина! Он давно влюблен в нее — с первой же встречи на обеде у Янсутского.

— Что вы такое говорите! Тюменев влюблен...

— По крайней мере, он здесь, в вашем доме, в маленькой гостиной, объяснялся Лизе в любви. Она перед отъездом в Петербург рассказала мне это.

Бегушев был окончательно сбит с толку.

— Что ж, и она ответила на его чувство? — спросил он.

— О, тогда, конечно, нет! Но теперь — вероятно! Разумеется, не в смысле любви: кто же этого безобразного и сладчавого старика полюбит!.. А уступила его исканиям потому, что...

— Но неужели же она такая ветреная и пустая? — перебил Домну Осиповну Бегушев.

— Отчасти и ветрена!.. Собственно говоря, я, при всей пустоте Лизы, очень ее люблю и чрезвычайно буду рада, если все это так устроится, как я предполагаю!..

— А как вы предполагаете, что это устроится? — спросил Бегушев; в его голосе слышалась ирония.

— А так,— отвечала Домна Осиповна.— Тюменев, конечно, не такой эгоист и не с таким дурным характером,

как Янсутский; по всему вероятию, он привяжется к Лизе, обеспечит ее совершенно, и она хоть немного успокоится; ей надобно подумать и об здоровье своем: у ней, говорят, чахотка!

Бегушев много бы мог возразить Домне Осиповне — начиная с того, что приятеля своего Тюменева он издавна знал за весьма непостоянного человека в отношении женщин, а потому жалел в этом случае дурочку Мерову, предчувствуя, что вряд ли ей приведется надолго успокоиться; кроме того, самое мнение Домны Осиповны, касательно успокоения Меровой подобным способом, коробило Бегушева. «Как эта городская, столичная жизнь,— подумал он с досадой,— понижает нравственное чутье в женщинах и делает их всех какими-то практическими набойками!..»

Домна Осиповна, в свою очередь, тоже втайне сердилась на Бегушева. Поводом к ее гневу было такое обстоятельство, которого Бегушев во всю бы жизнь не отгадал.

Раз как-то в разговоре он проговорился Домне Осиповне, что на днях ему прислали десять тысяч выкупной ссуды и что он не знает даже, что ему делать с этими деньгами. Домна Осиповна ничего на это не сказала; но досада шевельнулась в ее душе. С самого начала любви своей к Бегушеву она все ожидала, что он сделает ей какой-нибудь ценный подарок: простая вежливость этого требовала!.. И, чтобы навести его на эту мысль, Домна Осиповна неоднократно высказывала ему, что ей очень бы хотелось иметь свою дачу. Бегушев как будто бы мимо ушей это пропускал.

При рассказе его о выкупной ссуде Домне Осиповне невольно подумалось, что чего бы лучше ему подарить ей эти лишние для него десять тысяч... Может быть,— утешала она себя,— он ждет дня ее рождения, который должен был наступить через неделю и на который она заранее его пригласила. Но день рождения пришел, а от Бегушева никакого подарка не было!.. В продолжение всего обеда Домна Осиповна употребляла над собой большое усилие, чтобы не сидеть надутой. Она несколько раз порывалась, особенно когда Бегушев немного подвыпил, прямо сказать ему, чтобы он купил ей дачу, и, будь на его месте другой обожатель, тому бы она сказала или даже приказала. Бегушев же, она знала это наперед, подарить ей дачу — сейчас подарит, но при этом, пожалуй, ввернет такую ядо-

витую фразу, что и не проглотишь ее, а Домна Осиповна все еще хотела высоко стоять в его глазах.

Раздор, как и любовь растут быстро; между Домной Осиповной и Бегушевым произошла, наконец, до некоторой степени явная ссора. Однажды Домна Осиповна приехала к Бегушеву с лицом сильно рассерженным.

— Научи меня, что мне делать с этой госпожой... («госпожой этой» Домна Осиповна обыкновенно называла возлюбленную мужа). Она живет еще в моем доме...

— Но вы мне говорили, что она будет жить на другой квартире,— заметил мрачно Бегушев.

— Она и жила бы, но муж не успел ее пристроить и уехал к деду, а теперь она... я решительно начинаю понимать мужчин, что они презирают женщин... она каждый вечер задает у себя оргии... Муж, рассказывают, беспрестанно присылает ей деньги, она на них пьянствует и даже завела себе другого поклонника.

Бегушев еще более нахмурился: эта возня Домны Осиповны с своим супругом была ему противнее всего.

— Но вам какое до всего этого дело? — возразил он с тоскою в голосе.

— То, что она сожжет мой дом: она кутит до пяти, до шести часов утра... Наконец, она профанирует человека, который ей всем пожертвовал! — воскликнула Домна Осиповна.

— Какого человека профанирует и чем? — проговорил Бегушев, которого слово «профанирует», по обыкновению, ударило, как плетью по уху.

— Мужа моего изменой своей ему! — отвечала с резкостью Домна Осиповна.

Бегушев еще более обозлился.

— Откровенно говоря,— начал он с расстановкой,— я никогда не воображал встретить такую женщину, которая бы говорила, что она *не любит мужа* и, по ее словам, *любит другого,* и в то же время так заботилась бы об муже, как, я думаю, немного нежных матерей заботятся о своих *балованных сыновьях!*

Все подчеркнутые слова Бегушев подчеркивал тоном своего голоса.

— Я забочусь потому, что муж мне — я уж вам это говорила — дал все: положение в свете и возможность существовать, а другие — ничего!

Бегушев понял ее намек; гневу его пределов не бы-

ло — до того слова Домны Осиповны показались ему несправедливыми и оскорбительными.

— Другим нечего было и делать, когда вы все получили от мужа! — произнес он, сдерживая себя сколько только мог.— И по мне совсем другая причина вашего внимания к мужу: вы еще любите его до сих пор!

— Нисколько!.. Нисколько!..— воскликнула Домна Осиповна совершенно искренно.

— Нет, вы любите его! — повторил Бегушев.— Не помню, какой-то французский романист доказывал, что женщины сохраняют на всю жизнь любовь к тем, кого они первого полюбили, а ко второй любви вы отнеслись *так себе!*

— Эта вторая любовь тоже отнеслась ко мне *так себе!*

— А какие факты на это? — спросил Бегушев.

— О, их много! — произнесла Домна Осиповна, хоть сама сознавала, что у ней всего один был факт: то, что Бегушев, имея средства, не дарил ей дачи; но как это было высказать?! Кроме того, она видела, что очень его рассердила, а потому поспешила переменить свой тон.— Пощади меня, Александр, ты видишь, как я сегодня раздражена! — произнесла она умоляющим голосом.— Ты знаешь ли, что возлюбленная мужа способна отравить меня, потому что это очень выгодно для нее будет!

Последними словами Домна Осиповна сильно подействовала на Бегушева. Подозрительность его немедленно подшепнула ему, что это весьма возможно и что подобные негодяйки из-за денег способны на все решительно!

— Тогда прогоните ее сейчас же, сию секунду! — начал он настойчиво.— Или, лучше всего, переезжайте ко мне, и мы уедем совсем за границу! Я могу, без всяких ваших средств, жить с вами совершенно обеспеченно!

Бегушев в первый еще раз произнес эти страшные в настоящем положении дела для Домны Осиповны слова: «Уедем за границу!» Она уехать бы, конечно, желала; но как было оставить ей без ближайшего наблюдения пять миллионов, находящиеся почти в руках ее мужа? Это до такой степени было близко ее сердцу, что она не удержалась и сказала об этом Бегушеву.

— Я много раз тебе говорила, что пока я не могу кинуть мужа без надзора; ты должен понимать, что он ребенок, а у него дед умирает, оставляя ему в наследство громадное состояние, которое без меня все прахом разле-

тится! А вот, бог даст, я все это устрою, и пусть тогда он живет как знает; я весь свой нравственный долг исполню тогда в отношении его!

— «Славься сим, Максим Петрович, славься, нежная к нам мать!» — продекламировал насмешливо Бегушев.

— Я буду такой же нежной матерью и в отношении вас, если только обстоятельства потребуют того! Вспомните вашу недавнюю болезнь: я тут мало думала о себе,— такой уж глупый нрав мой!..

Бегушев, вспомнив свою болезнь и то, с какою горячностью за ним ухаживала Домна Осиповна, постих несколько: ему совестно сделалось очень язвить ее... У Домны Осиповны не свернулось это с глазу, и она очень была довольна, что поуспокоила *своего тигра,* как называла Домна Осиповна иногда в шутку Бегушева.

— Я только теперь не знаю,— продолжала она, как бы опять спрашивая его совета,— писать ли моему безалаберному супругу о проделках его Глаши... (Слово *безалаберный* Домна Осиповна с умыслом присоединила к имени *мужа,* чтобы доставить тем удовольствие Бегушеву.)

— Ни слова!.. Ни звука!..— воскликнул тот.— Это их дело: свои люди — разберутся. Но сама переезжай ко мне, если боишься, что она отравит тебя!

— О, отравы ее я нисколько не боюсь! — произнесла Домна Осиповна (она в самом деле нисколько этого не боялась, а сказала затем только, чтобы напугать Бегушева, и напугала, как мы видели).— Но я не могу оставить дома, потому что она наверное его обокрадет! (Последнего обстоятельства Домна Осиповна действительно боялась.)

По отъезде ее Бегушев впал в мрачное раздумье. Мечты его о поездке за границу и о полном обладании Домною Осиповною рушились: жди, пока она покончит все дела мужа! Как ему ничтожно показалось бытие человека! «О, хоть бы умереть поскорей!» — сказал он и прослезился.

В то время как Бегушев страдал от каких-то чисто вымышленных, по мнению Домны Осиповны, страданий, на нее сыпались дела самого серьезного свойства, вызывающие на серьезные беспокойства: мужу она, несмотря на запрещение Бегушева, все-таки написала довольно подробно о поведении его возлюбленной, потому что Глаша действительно последнее время допивалась почти до черти-

ков; любовников у нее был уж не один, а скольким только угодно было: натура чухонско-петербургской кокотки в ней проснулась во всей своей прелести!!

От мужа Домна Осиповна наверное ожидала получить бранчивый ответ и нисколько этого не боялась, так как считала для себя священным долгом говорить ему во всех случаях жизни правду. Присланный ответ, однако, оказался нежным: «Бесценный друг мой Додоша,— писал Олухов,— несказанно благодарю тебя за уведомление о поведении моей прелестной Глашки; я заранее это предчувствовал: она при мне еще пила и прочее другое. Церемониться с ней нечего, потрудись ее немедленно вытурить с квартиры; пусть существует как ей угодно!» И в конце письма он прибавлял, что дед. не сегодня так завтра издохнет.

Прочитав все это, Домна Осиповна подумала: приказать так сделать, конечно, легко, но исполнить это приказание — дело иное!.. Надобно было посоветоваться с настоящим умным человеком. Бегушева она на подобного рода дела считала совершенно непригодным; лучше бы всех, конечно, был Янсутский, но того в Москве не было, оставался поэтому один Грохов; но тут Домна Осиповна невольно вспомнила, до какой степени этот человек был жаден на деньги. Рассудив, впрочем, она решилась заранее назначить ему цену, выше которой он потом не будет сметь требовать; с этою целью она в тот же день послала ему записку, написанную несколько свысока: «Я вам заплачу две тысячи рублей, если вы поможете мне по двум моим делам, которые я объясню вам при личном свидании. Приезжайте ко мне завтра, как можно пораньше, часов в десять!»

В назначенный срок Грохов явился. Домна Осиповна немедленно приняла его, сохраняя важный вид, дабы выбить из корыстолюбивой головы адвоката всякую мысль о том, что он ей очень необходим.

— Муж мой,— начала она небрежным тоном,— дал мне странное поручение! Госпожа его все еще продолжает жить в моем доме... дурит бог знает как... Михаилу Сергеичу написали об этом... (На последних словах Грохов на мгновение вскинул глаза на Домну Осиповну.) Он меня просит теперь вытурить ее из моей квартиры; я очень рада этому, но каким способом — недоумеваю: чрез квартального, что ли?

Грохов некоторое время подумал.

— Как она у вас живет: по найму, по контракту?..— спросил он.

— Никакого нет ни найма, ни контракта,— отвечала Домна Осиповна.

Грохов еще немного подумал.

— В таком случае не сочтете ли вы более удобным, чтобы я сходил и переговорил с ней предварительно? — произнес он своим деловым тоном.

— Пожалуй! — согласилась Домна Осиповна.

— Это лучше будет!.. Я схожу к ней и переговорю,— сказал Грохов и поднялся было.

— О, нет, нет, это еще не все!.. Я, как писала вам, пригласила вас по двум делам, за которые и заплачу вам с удовольствием две тысячи рублей, если только вы устроите их в мою пользу,— а если нет, так ничего!.. Дед умирает и оставляет мужу все наследство, то как же мне от мужа получить пятьсот тысяч?

— О, вы получите с Михаила Сергеевича даже больше! Вы видите, как все идет в вашу пользу...— сказал Грохов: он понимал хорошо людей!

— Но вы все-таки будете требовать с меня только две тысячи?

— Только-с!.. Какие вы нынче мнительные стали!

— Будешь мнительна — по пословице: кто обжегся на молоке, станет дуть и на воду,— кольнула его Домна Осиповна; но Грохов, как будто бы совершенно не поняв ее, раскланялся и ушел.

Через весьма короткое время Домна Осиповна получила от него визитную карточку с надписью: «Все устроено благополучно!» А к вечеру она увидела подъехавшую фуру Шиперки для перевозки мебели из квартиры Глаши. Когда Домна Осиповна спросила дворника, куда эта госпожа переезжает, тот отвечал ей, что в Грузины, в дом господина Грохова, незадолго перед тем им купленный. Глашу он, по обыкновенной своей методе, пугнул, сказав ей, чтобы она немедленно съезжала с квартиры Олуховой, тогда он обещался помирить ее с Михайлом Сергеичем, от которого Глаша тоже получила письмо понятного содержания; но когда она не послушается его,— объяснял ей Грохов,— так он плюнет на нее, и ее выгонят через мирового!

Глава V

В подтверждение петербургских слухов касательно Меровой и Тюменева, Бегушев получил от сего последнего письмо такого пылкого содержания, что развел от удивления руками.

«Любезный друг,— писал Тюменев своим красивым, но заметно взволнованным почерком,— не могу удержаться, чтобы не передать тебе о моем счастии: я полюбил одну женщину и ею любим. Предчувствую заранее, что ты, по своей беспощадной откровенности, скажешь мне, что это ложь, старческая сентиментальность, но ошибаешься!.. Прежде, действительно, я покупал женскую любовь, но теперь мне ее дали за то, что я сам люблю! Кто эта особа, ты, вероятно, догадываешься: это прелестная madame Мерова, которая для меня бросила Янсутского».

На этом месте Бегушев от досады приостановился читать письмо.

— Мерова для него бросила Янсутского?.. Полно, не Янсутский ли бросил ее?..— воскликнул он и хотел с этой мысли начать ответ приятелю, но передумал: «Пускай его обманывается, разве я не так же обманывался, да обманываюсь еще и до сих пор»,— сказал он сам себе и решился лучше ничего не писать Тюменеву.

Вечером Бегушев поехал к Домне Осиповне, чтобы похвалить ее за проницательность. Он целые три дня не был у ней. Последнее время они заметно реже видались. Домну Осиповну Бегушев застал дома и, так как были сумерки, то сначала и не заметил, что она сидела непричесанная, неодетая и вообще сама на себя не походила. Усевшись, Бегушев не замедлил рассказать ей содержание письма Тюменева. Домна Осиповна слегка улыбнулась.

— Я вам говорила это! — сказала она.

— А что же, мечты моего друга о том, что ему подарили чувство, справедливы? — начал ее выведывать Бегушев.

Домна Осиповна отрицательно покачала головой.

— Не думаю! — проговорила она.— По крайней мере Лиза, рассказывая мне об объяснении в любви Тюменева, смеялась над ним.

— Однако он лгуном никогда не был и если пишет, что ему дали любовь, так его, конечно, уверяли в этом.

— Будешь уверять во всем, как нужда заставит,— ска-

зала невеселым голосом Домна Осиповна.— Мы, женщины, такие несчастные существа, что нам ничего не позволяют делать, и, если мы хлопочем немножко сами о себе, нас называют прозаичными, бессердечными, а если очень понадеемся на мужчин, нами тяготятся!

Бегушев понял, что в этих словах и ему поставлена была шпилька, но прямо на нее он ничего не возразил, видя, что Домна Осиповна и без того была чем-то расстроена, и только, улыбаясь, заметил ей, что она сама очень еще недавно говорила, что ей понятно, почему мужчины не уважают женщин.

— Да, дрянных женщин!.. Но не все же они такие!..— возразила она и затем, без всякой паузы, объявила, что муж ее вернулся из Сибири.

Лицо Бегушева мгновенно омрачилось.

— Когда? — спросил он глухим голосом.

— Третьего дня! — отвечала Домна Осиповна.

— Что же, дед простил его? — продолжал Бегушев.

— Дед умер!

— И господин Олухов поэтому сделался наследником пяти миллионов?

— Не знаю, собственно пяти ли миллионов, но состояние огромное, хоть и в делах все.

— По которым хлопотать вам придется?

— Конечно, и мне будут хлопоты.

Далее Бегушев не расспрашивал и перенес разговор на другое.

— А с своей привязанностью господин Олухов помирился?

— Нет, кажется!

— И она не живет больше в вашем доме?

— Давно!.. Я тогда же через полицию почти просила ее удалиться!..

И об этом Бегушев не стал более расспрашивать.

Вскоре раздался звонок.

— Это муж ваш, конечно? — проговорил Бегушев и взглянул мельком на свою шляпу, как бы затем, чтобы взять ее и убраться восвояси.

— Не думаю!.. Скорей, это доктор; муж уехал к нашему адвокату и не скоро вернется,— отвечала Домна Осиповна.

Приехал в самом деле доктор Перехватов. От потери восьми тысяч в банке «Бескорыстная деятельность» он

несколько утратил свежесть своего превосходного румянца.

Войдя в кабинет, Перехватов первоначально поклонился почтительно Бегушеву, а потом отнесся к самой хозяйке.

— Как сегодня ваше здоровье? — говорил он, беря ее за руку и, по обыкновению, щупая пульс.— Сегодня поспокойнее!.. Гораздо поспокойнее!..

— Разве вы были больны? — спросил Бегушев Домну Осиповну.

— Так, не особенно,— отвечала та.

— Какое не особенно,— обличил ее доктор,— я десять лет практикую, а таких истерик не встречал!

— Они у меня часто бывают,— объяснила Домна Осиповна.

— Не верю...— возразил доктор,— если бы они у вас в такой степени часто повторялись, вы давно бы с ума сошли!

— Фантазия какая! С ума сошла! — произнесла Домна Осиповна.

Бегушев внимательно прислушивался к этому разговору. Ему странным казалось, что Домна Осиповна не прислала ему сказать, что она больна. «И отчего с ней могла случиться такая сильная истерика?.. Уж не произошло ли у ней что-нибудь неприятное с мужем?» — пришло ему в голову.

— Когда же вы именно захворали? — спросил он ее.

— Вчера только! — отвечала Домна Осиповна и постаралась весело улыбнуться.

Бегушев не ошибался в своем предположении: у Домны Осиповны действительно была неприятность с мужем! Дело в том, что Олухову его Глаша своей выпивкой, от которой она и дурнела с каждым днем, все более и более делалась противна, а вместе с тем, видя, что Домна Осиповна к нему добра, ласкова, и при этом узнав от людей, что она находится с Бегушевым вовсе не в идеальных отношениях, он начал завидовать тому и мало-помалу снова влюбляться в свою жену. Домна Осиповна, еще до поездки его в Сибирь, видела, что он все как-то ласкался к ней, целовал без всякого повода ее руки; тогда это не смущало ее; она даже была отчасти довольна такого рода его вниманием, рассчитывая через то сохранить на него более сильное влияние.

Возвратясь же из Сибири и сделавшись обладателем пяти миллионов, Олухов, несмотря на ничтожность своего характера, уверовал, однако, в одно: что когда у него денег много, так он может командовать людьми как хочет! Первоначальное и главное его намерение было заставить Домну Осиповну бросить Бегушева, которого Олухов начал считать единственным разрушителем его семейного счастья.

В первый день приезда мужа Домна Осиповна успела только заметить, что он был сверх обыкновения важен и гораздо солиднее, чем прежде, держал себя, чему она и порадовалась; но на другой день Олухов приехал домой к обеду после завтрака в «Славянском Базаре» и был сильно выпивши. Усевшись с прежнею важностью за стол, он прямо объявил Домне Осиповне, что желает с ней жить, как муж с женой.

— Будет уж,— присовокупил Олухов,— довольно подурачились и вы и я.

Слова эти, точно стрелы, пропитанные ядом, пронзили все существо Домны Осиповны. Олухов ей был противен до омерзения.

— Нет, это невозможно...— произнесла она тихо, и перед ней мелькнули пятьсот тысяч, которые Домна Осиповна, впрочем, надеялась получить от мужа и через суд, если бы он не стал их отдавать; а из прочего его состояния ей ничего не надо было,— так, по крайней мере, она думала в настоящую минуту.

Озадаченный ответом жены, Олухов, в свою очередь, побледнел: самодур-дед в нем отчасти жил еще!

— В таком случае я увезу вас с собою в Сибирь: нам там надобно быть у наших дел!..— проговорил он с дрожащими губами.

— Я не поеду с вами! — возразила ему твердо Домна Осиповна.— У меня есть от вас бумага, по которой я могу жить, где хочу.

— Я бумагу эту уничтожу! — воскликнул Олухов и ударил кулаком по столу.

— А когда вы так,— начала Домна Осиповна (она с своими раздувшимися ноздрями и горящими глазами была в гневе пострашней мужа),— то убирайтесь совсем от меня!.. Дом мой!.. Заплатите мне пятьсот тысяч и ни ногой ко мне!

— Пятисот копеек вы от меня не получите!..— кричал Олухов и, встав из-за стола, ушел к себе вниз.

После этого разговора с Домной Осиповной и сделался припадок истерики.

Олухов между тем, выспавшись, почувствовал робость в отношении жены, очень хорошо сознавая, что без ее участия в делах ему одному ничего не сделать. Придя к ней вечером, как только с ней кончилась истерика и она, совершенно еще ослабевшая, лежала в постели, он стал просить у ней прощения. На это ему Домна Осиповна сказала:

— Оставь меня совершенно на свободе и слушайся только, что я тебе буду советовать.

Олухов на все согласился и уехал в «Эрмитаж», чтобы хоть там рассеяться после сибирской скуки.

Покорность мужа не очень успокоила Домну Осиповну. Она знала, какие экспромты от него бывают, по прежней своей жизни с ним. Что касается Бегушева, так она и подумать об нем боялась, зная наперед, что с ним бороться ей гораздо будет труднее, чем с мужем... Словом, она находила себя очень похожей на слабый челн, на который со всех сторон напирают волны и которому единственное спасение — скользить как-нибудь посреди этого и не падать духом.

— Муж мне сказывал,— продолжала она занимать своих гостей и обращаясь более к доктору,— что в деле Хмурина открылись уголовные преступления и что будто бы он арестован!

— Об этом в газетах есть!..— сказал Перехватов.— Хоть бы что-нибудь с этими господами делали!..— продолжал он с несвойственным ему озлоблением.— Нельзя же им позволять грабить людей, честно добывающих себе копейку и сберегших ее.

В это время вдруг вошел Олухов, а за ним и Грохов.

— Это откуда ты и отчего не звонил?..— спросила не совсем дружелюбно мужа Домна Осиповна.

— Мы прямо снизу, с моей половины, по черной лестнице прошли,— отвечал ей Олухов тоже довольно сурово и поместился на самое отдаленное кресло. С Бегушевым он почти не поклонился!

— Как это приятно ходить по грязным черным лестницам!..— сказала Домна Осиповна.

Ей очень не понравилось такое нечаянное появление мужа, которое потом он и повторять, пожалуй, будет!

Грохова она представила Бегушеву и доктору, назвав его: «Адвокат Грохов».

— Он хлопочет и по вашим делам? — спросил ее доктор тихо.

— Да!

Доктор сделал знаменательную мину и неодобрительно качнул головой.

Грохов неуклюже раскланялся Бегушеву и доктору.

Домна Осиповна пригласила его садиться.

Грохов сел. Выражение лица его и вообще вся посадка его были исполнены самодовольства. Домна Осиповна очень хорошо понимала причину этого самодовольства и заранее предчувствовала, что за дело, которое думала она предложить ему, он страшную цену заломит; но она дала себе слово не очень ему поддаваться.

Начавшийся затем разговор опять перешел на Хмурина.

— Не известно ли вам, как человеку, ближе нас стоящему к судебному ведомству, за что арестован Хмурин? — спросил доктор Грохова.

На лице того появилась насмешливая улыбка.

— Арестовал его еще пока только прокурорский надзор! — проговорил он.

— Но прокурорский надзор, конечно, сделал это на основании каких-нибудь фактов!.. Факты эти вы знаете?

— Знаю! — отвечал, ядовито усмехаясь, Грохов.

— Какие же они? — допрашивал доктор.

— А такие,— продолжал Грохов,— что будто бы найдены в банковском портфеле господина Хмурина векселя с фальшивыми подписями от людей уже умерших, и фальшивыми, заметьте, по мнению только экспертизы, а какова наша экспертиза, это знает все русское общество!.. Далее, прокурорский надзор рассказывает, что существуют подложные накладные от фирмы господина Хмурина, подложные счеты для залога товаров... Спрашивается: стоило ли такому богачу, как Селивестр Кузьмич, заниматься подобным вздором!.. Вот-с вам факты прокурорского надзора!..

На прокурорский надзор Грохов главным образом был сердит за то, что сам его очень побаивался — по случаю своей собственной деятельности.

— Но какой же богач ваш Селивестр Кузьмич, когда он банкротом сделался!— воскликнул доктор.— Разорил целый банк, а с ним и тысячи людей!

— Банкротом он сделался последнее время, и то по политическим причинам, а векселя и накладные гораздо раньше существовали, и наконец... Это невероятно даже... прокурорский надзор дошел до того, что обвиняет господина Хмурина,— как бы вы думали, в чем? В убийстве-с, ни больше ни меньше, как в убийстве одного из своих кредиторов, с которым он случайно пообедал в трактире, и тот вскоре после того помер!.. Значит, господин Хмурин убил его?

— Эта история была вовсе не так! — продолжал горячиться доктор.— Вовсе!.. Я ее слышал подробно: господин Хмурин несколько времени и весьма усердно упрашивал этого кредитора своего отобедать с ним, говоря, что тут он и получит от него расчет... взял для этого обеда самый отдаленный номер... В номере этом некоторые из публики слышали крик и, когда спрашивали половых: «Что такое там?», им отвечали, что купцы одни разгулялись; а после этого кредитор этот, не выходя из трактира, умер, и при нем ни векселя, ни денег не найдено!

На такой рассказ Грохов громко расхохотался.

— Роман-с!.. Роман! — сказал он.— И как это правдоподобно: убить или отравить, что ли там, человека средь белого дня... в трактире... при стечении публики.

— Мне самой это кажется невероятным! — поддержала Грохова и Домна Осиповна.— Впрочем, что мы всё говорим о чужих делах; пора нам о своем деле потолковать,— прибавила она, взглянув на Бегушева, который все время сидел, потупя голову.

— Именно-с, лучше о своих делах нам толковать! — согласился с ней Грохов.

Доктор при этом встал.

— До свиданья! — сказал он, протягивая ей руку.

— До свиданья! — проговорила Домна Осиповна, всовывая ему в руку пятирублевку.

Она очень рада была, что доктор уезжает, рассчитывая, что совещание ее с Гроховым и мужем недолго продолжится, что те тоже уедут скоро, и она останется с Бегушевым вдвоем.

— Извините, Александр Иванович, я через минуту вернусь к вам,— отнеслась Домна Осиповна к тому.

Бегушев ни слова ей не ответил и, когда Домна Осиповна, Олухов и Грохов ушли, он стал с понуренной головой и мрачным выражением в лице прислушиваться к довольно оживленному разговору, начавшемуся между ними в соседней комнате.

Грохов говорил:

— Прежде всего-с надобно, чтобы духовная была утверждена, а потом ходатайствовать о вводе во владение!

— Но кто же это сделает?.. Кто?..— настойчиво спрашивала Домна Осиповна.

— Я-с, если это вам угодно!..— отвечал Грохов.

— А что же это будет стоить со всеми казенными расходами и с платой вам? — любопытствовала Домна Осиповна.

— Стоить будет порядочно, но, слава богу, найдется потом из чего заплатить!..— объяснял Грохов.

— Да, но эта неопределенность хуже всего!..— произнесла Домна Осиповна.— И потом как же и от кого я получу следующие мне собственно пятьсот тысяч?

— В таком случае,— возразил ей Грохов,— возьмите вы доверенность от Михаила Сергеевича и хлопочите сами, тогда не будет для вас никакой *неопределенности.*

Домна Осиповна видела, что он обиделся, и сочла за лучшее несколько уступить ему.

— Сама хлопотать я не могу, вы это знаете... Хлопотать вы будете, и только возьмите за это к тем двум тысячам, которые я вам должна, еще три, и выйдет пять! — проговорила она.

— А дорога в Сибирь ваша? — спросил Грохов.

— Нет уж, все ваше! — отвечала Домна Осиповна.

— Как это можно: дорога должна быть наша! — произнес еще первое слово Олухов, припомнивший, сколько он сам просадил денег по дороге в Сибирь и оттуда и напиваясь на каждой станции шампанским.

— Вот поди ты и разговаривай с барынями! — сказал, усмехнувшись и мотнув ему головой, Грохов.

— Что ж с барынями?.. Адвокатов нынче много, не первое время...— заметила Домна Осиповна.

— Но много ли добросовестных?..— спросил Грохов.

— Есть и добросовестные! Извольте: дорога наша...— раскошелилась, наконец, Домна Осиповна.

— Слушаю-с! — произнес не без удовольствия в голосе Грохов.

— Итак, по рукам, значит? — сказала Домна Осиповна.

— Да-с, по рукам!..— подхватил Грохов, и они в самом деле ударили рука в руку.

После этого Грохов и Олухов стали собираться уезжать... Последнему смертельно хотелось в «Эрмитаж», чтобы там так же рассеяться, как и вчера; но только у него в кармане денег не было ни копейки.

— Дай мне, пожалуйста, рублей двести! — шепнул он жене.

Та с удовольствием подала ему из своего портмоне просимую им сумму и при этом тоже очень тихо сказала ему:

— Вы, пожалуйста, когда возвратитесь, то проходите к себе вниз, я знаю, какие вы явитесь!

— Понимаю я это! — отвечал тот и не замедлил уехать вместе с Гроховым.

Бегушев из всего предыдущего разговора, конечно, слышал только половину, но и того было очень достаточно!

Домна Осиповна возвратилась к нему с лицом добрым, любящим и, по-видимому, совершенно покойным. По ее мнению, что ей было скрывать перед ним?.. То, что она хлопотала по своим делам? Но это очень натурально; а что в отношении его она была совершенно чиста, в этом он не должен был бы сомневаться!

Бегушев, когда она уселась около него, все еще не поднимал головы. Домна Осиповна сама уже взяла и поцеловала его руку, тогда только он взмахнул на нее глазами.

— Ну вот, наконец начинает все понемногу устраиваться,— сказала она.— Через какие-нибудь полгода я уеду с вами надолго... надолго...

— Никогда ты не уедешь со мной надолго!..— проговорил Бегушев.— Полгода еще ждать! — воскликнул он.— Но как же я эти полгода буду существовать посреди того общества, в которое вы меня поставили?

— В какое я тебя общество поставила? — спросила с удивлением Домна Осиповна.

— А в такое, какое сегодня у вас было!

— Ах, боже мой, ты можешь совсем не видать этого общества; я к тебе буду ездить, а ты ко мне и не заглядывай.

У Бегушева на языке вертелось сказать ей: «А сама ты разве не такая, как окружающее тебя общество?»

— Но как же ты хочешь, чтобы мы устроили жизнь нашу? — спросила его Домна Осиповна.

— Не знаю как!..— отвечал Бегушев.— Я захочу устроить так, а твои дела потребуют другого!

Домне Осиповне показалось, что Бегушев отбояривается от нее и что она ему надоела; но, взглянув на мученическое выражение лица его, она убедилась, что он любит ее, и глубоко любит!

— Ты сегодня не в духе, и я не в духе; не будем больше об этом говорить; дай, я тебя поцелую!..

И она начала его целовать, но Бегушев сидел, как истукан, и потом, вдруг поднявшись, сказал:

— Прощай!

Домна Осиповна начала было умолять его, чтобы он посидел, но Бегушев, отрицательно мотнув головой, поцеловал ее, и она заметила при этом, что глаза его были полны слез.

Домна Осиповна хотела было проводить его, по обыкновению, до передней, но Бегушев не позволил ей того.

— Не провожайте меня!.. Для чего это?—проговорил он досадливым голосом и быстро ушел.

Домна Осиповна опустилась тогда на свое кресло и, услыхав, что за Бегушевым горничная заперла дверь, она взяла себя за голову и произнесла с рыданием в голосе: «Несчастная, несчастная я женщина, никто меня не понимает!» Ночь Домна Осиповна всю не спала, а на другой день ее ожидала еще новая радость: она получила от Бегушева письмо, в котором он писал ей: «Прощайте, я уезжаю!.. Я ли вас мучил, вы ли меня,— не знаю!.. Но нам вместе жить нельзя! Всякие человеческие отношения между нами должны быть покончены навсегда!» Домна Осиповна затрепетала от ужаса и сейчас же поехала к Бегушеву; но там ее Прокофий не принял и сказал, что барин уехал или в Петербург, или за границу — неизвестно! У Домны Осиповны едва достало силы возвратиться домой, где с ней опять сделалась истерика. Олухов, бывший в это время дома, поспешил послать за Перехватовым, который незамедля приехал и оставался у Домны Осиповны до глубокой ночи; постигший ее на этот раз припадок был еще сильнее прежнего.

Бегушев, когда приезжала к нему Домна Осиповна,

был дома и только заранее еще велел всем говорить, что он уехал из Москвы. После ее звонка и когда Прокофий не принял ее, Бегушев усмехнулся, но так усмехаться не дай бог никому! Через неделю он в самом деле уехал за границу.

Глава VI

Париж, освещенный полдневным солнцем, блистал белизною своих зданий. К театру Большой Оперы подходили с противоположных сторон два человека и, сойдясь у переднего фаса, они оба произнесли на русском языке довольно радостные восклицания.

— Кузен!..— сказал один из них.

— Ваше превосходительство! — отвечал другой.

Это были Бегушев и тот широкоплечий генерал, которого мы некогда встретили в Москве. Они были несколько сродни и считались кузенами.

Генерал на этот раз был, по заграничному обычаю, в штатском платье и от этого много утратил своей воинственности. Оказалось, что плечи его в мундире были ваточные, грудь — тоже понастегана. Коротенькое пальто совершенно не шло к нему и неловко на нем сидело, но при всем том маленькая рука генерала и с высоким подъемом нога, а более всего мягкие манеры — говорили об его чистокровном аристократическом происхождении. Фамилия генерала была Трахов.

— Не правда ли, как хорош этот театр! — говорил он Бегушеву.

— Нет, нехорош! — отвечал тот.

Генерал был удивлен таким мнением.

— Чем? — спросил он.

— Пестро и линий ломаных много!

— Да, но согласитесь, что и вид сундука, как у наших театров, не очень приятен!

Бегушев на это ничего не ответил и пошел еще раз обходить кругом театр. Генерал тоже последовал за ним, но ему скоро сделалось это скучно.

— Где вы завтракаете? — спросил он Бегушева.

— Где придется! — отвечал тот.

— В таком случае пойдемте вот тут недалеко к Адольфу Пеле, в недавно открытый ресторанчик — прелесть что такое!

Бегушев согласился.

В ресторанчике Адольфа Пеле, должно быть, очень хорошо знали генерала и бесконечно его уважали, потому что сейчас же отвели ему маленькое, но особое отделение. Усевшись там с Бегушевым, он произнес, с удовольствием потирая руки:

— Вы, конечно, ничего не будете иметь против спинки молодого барашка? — сказал он Бегушеву.

— Напротив, я всегда за это блюдо!

Генерал приказал приготовить сказанную спинку, пояснив при этом главному гарсону, что друг его, Бегушев, такой же, если не больший, гастроном, как и сам генерал.

— О, один вид monsieur... (фамилию Бегушева француз не запомнил сразу)... вид monsieur говорит это.

Баранья спинка скоро была подана. Генерал с классическим мастерством разрезал ее и одну половинку положил Бегушеву на тарелку, а другую себе.

— Вы согласны, что парижская баранина — лучшая в мире? — говорил он.

— Кавказская, по-моему, лучше!..— сказал Бегушев.

— Так!.. Так!.. Виноват, я и забыл это! — воскликнул генерал.— Вообще, mon cher, я очень счастлив, что встретил вас,— продолжал он, удовлетворив первое чувство голода.

Бегушев поблагодарил его.

— Я чрезвычайно люблю всех москвичей, даже самую Москву — грязноватую, конечно, но в которой в то же время есть что-то родное, близкое сердцу каждого русского человека!

— Может быть, эта самая грязь и есть нам родное! — произнес, усмехаясь, Бегушев.

— Может быть,— согласился генерал,— но, как бы то ни было, я Москву люблю!

— А я, напротив, всегда считал вас заклятым петербуржцем,— продолжал Бегушев с прежней усмешкой.

— Нет!.. Нет!..— возразил генерал.— Особенно последнее время, особенно!.. Когда все там как-то перессорились...

Бегушев вопросительно взглянул на него.

— Чего лучше было наших отношений с вашим другом Ефимом Федоровичем Тюменевым,— объяснил генерал, разводя своими небольшими руками.— Он каждую

неделю у нас обедал... Жена моя, вы знаете, была в постоянном восторге от него и говорила, что это лучший человек, какого она когда-либо знала,— а теперь мы не кланяемся!

Бегушев усмехнулся.

— Из-за службы, вероятно, что-нибудь вышло? — спросил он.

Генерал пожал плечами.

— Из-за службы, если хотите... Впрочем, прежде надобно рыбу заказать: барбю, конечно?

— Хорошо,— одобрил Бегушев.

— Барбю с этим... моим соусом! — сказал генерал гарсону.

— Oui, monsieur![1] — отвечал тот.

Генерал снова приступил к своему рассказу.

— Прошлой зимой с письмом от Ефима Федоровича вдруг является ко мне... вы непременно знаете его... является граф Хвостиков.

— Хвостиков с письмом от Тюменева? — переспросил Бегушев.

— Да!.. С письмом, где Ефим Федорович просит меня определить графа Хвостикова на одно вакантное место. Я давным-давно знаю графа лично... всегда разумел его за остроумного бонмотиста и человека очень приятного в обществе; но тут вышел такой случай, что лет пятнадцать тому назад он уже служил у меня и занимал именно это место, которого теперь искал, и я вынужденным был... хоть никогда не слыл за жестокого и бессердечного начальника... был принужден заставить графа выйти в отставку.

— За что? — спросил Бегушев.

Генерал пожал плечами.

— Он растратил у меня казенные деньги!..

Последние слова генерал хотя и говорил по-русски во французском ресторане, но все-таки счел за лучшее сказать почти шепотом Бегушеву.

— Так что я, спасая уже честь моего ведомства, внес за него, и внес довольно значительную сумму — понимаете?

— Понимаю,— проговорил Бегушев.

— Графу я, конечно, не напомнил об этом и только сухо и холодно объявил ему, что место это обещано дру-

---

[1] Да, сударь! *(франц.)*

гому лицу; но в то же время, дорожа дружбой Ефима Федоровича, я решился тому прямо написать, и вот вам слово в слово мое письмо: «Ефим Федорович,— пишу я ему,— зная ваше строгое и никогда ни перед чем не склоняющееся беспристрастие в службе, я представляю вам факты...— и подробно описал ему самый факт,— и спрашиваю вас: быв в моем положении, взяли ли бы вы опять к себе на службу подобного человека?»

— Очень хорошо сделали, что так прямо поставили Тюменеву вопрос; он, вероятно, и не знал этой проделки Хвостикова,— сказал Бегушев.

— А вышло, cher cousin[1], нехорошо!..— продолжал генерал грустным голосом.— Ефим Федорович страшно на меня обиделся и, встретясь вскоре после того со мной в Английском клубе, он повернулся ко мне спиной и даже ушел из той комнаты, где я сел обедать; а потом, как водится, это стало отражаться и на самой службе: теперь, какое бы то ни было представление от моего ведомства,— Ефим Федорович всегда против и своей неумолимой логикой разбивает все в пух...

На этом месте генерал был отвлечен от своего разговора: принесли барбю с дымящимся соусом. При виде этого блага нечто вроде легкого радостного ржания послышалось из груди генерала. Он забыл в одно мгновение Тюменева, все служебные дрязги и принялся есть.

— Эта рыба, я вам говорю, как бархат мягкий, щекотит приятно во рту. А соус как вы находите?

— Хорош! — одобрил Бегушев.

— Изобретатель его я! — произнес генерал с гордостью, указывая на себя.

— Виват вам! — сказал Бегушев, улыбаясь.

Генерал потом обратился к стоявшему невдалеке гарсону.

— Французской публике нравится мой соус? — спросил он.

— Oui, monsieur! — воскликнул тот и с свойственной французам льстивостью объяснил, что весь Париж в восторге от этого соуса.

Генерал самодовольно улыбнулся.

— Но почему вы,— сказал ему Бегушев,— еще раз не написали Тюменеву или даже просто не подошли к

---

[1] дорогой кузен, *(франц.)*

нему и не спросили у него, за что он так сильно на вас рассердился?

— Ну, cher cousin, согласитесь, что это было бы очень щекотливо для моего самолюбия; кроме того, оказалось бы, вероятно, и бесполезно... мне вскоре потом рассказали...— Тут генерал приостановился как бы в нерешительности, говорить ли то, что он хотел говорить.— Но только, пожалуйста, чтобы это было entre nous[1], и не проговоритесь как-нибудь Тюменеву,— начал он.— Мне рассказали... вот уж именно, как справедливо говорят, что если где выйдет неприятность, так прежде всего надо спрашивать: какую тут роль женщина играла?.. Рассказали, что madame Мерова, дочь графа Хвостикова, которую, может быть, вы видали?..

— Видал! — проговорил Бегушев.

— Она очень хорошенькая и, главное, чрезвычайно пикантная, что весьма редко между русскими женщинами: они или совсем больные, или толстые... madame Мерова прежде была в интимных отношениях с Янсутским, которого вы тоже, вероятно, встречали в обществе?

— Встречал,— отвечал с презрительною улыбкою Бегушев.

— А кстати, он здесь, в Париже, и хотел сюда прийти завтракать со мной.

Бегушев нахмурился.

— Я не охотник до него! — произнес он.

— Я сам имел его прежде на очень худом счету; но вот, встретясь в Париже с ним, убедился, что он человек очень услужливый, расторопный... и все мне жаловался на madame Мерову — говорил, что она такая мотовка, что невозможно!.. Последнее время сотни тысяч она стала из него тянуть!

— Врет он все, негодяй! — воскликнул Бегушев.— Последнее время он не кормил ее даже!

Генерал был поражен.

— Pourquoi[2] — спросил уж он по-французски.

— Черт его знает, pourquoi! Отделаться, видно, хотел от нее,— отвечал Бегушев.

— Скажите! — произнес генерал.— Но мне потом рассказывали,— прибавил он негромко,— что madame

---

[1] между нами, *(франц.)*

[2] Почему? *(франц.)*

Мерова составляет предмет страсти Тюменева; вы слышали это?

— Слышал что-то такое,— проговорил Бегушев.

— И вы не придаете этому никакого значения большого?

— Совершенно никакого!

— Ну-с, а я вам на это скажу, что Ефим Федорович влюблен в эту дамочку до безумия, до сумасшествия!.. До дурачества... Это в Петербурге все знают и все говорят!

— До каких дурачеств? — спросил Бегушев.

— До разных!.. Делать можно многое; но, понимаете, приличие во всем! Еще Пушкин сказал: «Свет не карает заблуждений, но тайны требует для них!» А Ефим Федорович сделался очень неосторожен... причину его ссоры со мной, конечно, все очень скоро отгадали, и это бросило на него сильную тень... Потом... только опять умоляю, чтобы все это осталось между нами!.. Он живет теперь в Петергофе на одной даче с madame Меровой; их постоянно видят вместе на пароходе и на железной дороге; они катаются, гуляют вдвоем, а в Петергофе, как нарочно, нынешнее лето очень много поселилось сенаторов, членов государственного совета... все они знакомы с Ефимом Федоровичем и, встречая его с этой авантюристкой, удивляются, шокируются!.. Жена моя, которая тоже живет в Петергофе, просто в отчаянии и не знает, принимать ли ей Ефима Федоровича, или нет, когда он приедет к ней.

— Фу ты, боже мой, какая строгость! — воскликнул Бегушев.— Мало у вас этого в Петербурге!

— Без сомнения!.. Но Ефиму Федоровичу не следовало бы это делать; к нему как-то это нейдет! Жена моя, понимаете, никак не может помириться с этой мыслью и прямо мне пишет, что она ото всех людей ожидала подобного рода жизни, но не от Тюменева.

— Мало ли чего женщины ожидают и не ожидают от мужчин!..— заметил не без намека Бегушев.

— Разумеется!.. Особенно жена моя, которая чересчур уж prude!..[1] — подхватил генерал и потом, после короткого молчания, присовокупил: — А что, мы не выпьем ли с вами бутылку шампанского? Я — русский человек, не могу без шампанского!

---

[1] строга!.. *(франц.)*

Бегушев не отказался.

— Шампанского! — приказал генерал гарсону.

— Frappé à la glace? [1] — спросил тот.

— Un tout petit peu! [2] — отвечал генерал.

Шампанское подали, которое оказалось не frappé à la glace и очень плоховатого качества; но как бы то ни было, выпив его стакана два, генерал решительно пришел в умиленное состояние.

— Какие иногда странные мысли приходят в голову человека! Мне вот, сидя в этом маленьком кабачке, припомнилось, как мы с вами, cousin, служили на Кавказе и стаивали на бивуаках... Для вас, конечно, это было очень тяжелое время!

— Напротив, я никогда не был так счастлив, как тогда! — возразил Бегушев.

— И это возможно!.. Очень возможно!..— согласился генерал.— Одна молодость сама по себе — и то уже счастье!.. Я после вас долго оставался на Кавказе, и вы оставили там по себе очень хорошую память; главное, как об храбром офицере!

— Что за особенно храбрый я был! — возразил Бегушев скромно.

— Очень храбрый!.. Товарищи и начальники ваши тогда искренно сожалели, что вы оставили военную службу, для которой положительно были рождены; даже покойный государь Николай Павлович,— эти слова генерал начал опять говорить потише,— который, надо говорить правду, не любил вас, но нашему полковому командиру, который приходился мне и вам дядей, говорил несколько раз: «Какой бы из этого лентяя Бегушева (извините за выражение!) вышел боевой генерал!..» Потому что действительно, когда вы на вашем десятитысячном коне ехали впереди вашего эскадрона, которым вы, заметьте, командовали в чине корнета, что было тогда очень редко, то мне одна из grandes dames... не Наталья Сергеевна, нет, другая... говорила, что вы ей напоминаете рыцаря средневекового!

Бегушев при этом поднялся.

— Куда же вы?.. Подождите Янсутского, все бы вместе день и провели,— останавливал его генерал.

— Нет, я имею дело! — сказал ему решительно Бегу-

---

[1] Замороженного во льду? *(франц.)*

[2] Чуть-чуть! *(франц.)*

шев, главным образом спешивший оставить ресторан, чтобы не встретиться с Янсутским.

— Еще одно слово, cher cousin! — воскликнул генерал.— Напишите, пожалуйста, если можно, завтра же Тюменеву, что я ни в чем перед ним не виноват, что я не знал даже ничего, отказывая графу Хвостикову.

Генерал главным образом боялся Тюменева по службе!

— Хорошо, напишу,— отвечал ему с улыбкой Бегушев и, расплатившись за завтрак, ушел.

Генерал дожидался Янсутского часов до трех, наконец тот явился — тоже в штатском платье, с окончательно пожелтелой, перекошенной и как бы оглоданной рожей.

— Где вы были это? — спросил его генерал.

— В разных местах!..— отвечал Янсутский.— Дюжину устриц!..— прибавил он гарсону.

— Как можно в мае месяце есть устрицы! — остановил его генерал.

— Отчего не есть? — спросил Янсутский.

— Устрицы в мае любят, а у них четыре сердца, и вообразите, какие они должны быть исхудалые,— разъяснил генерал.

— В таком случае я ничего не хочу... Дайте мне кофе и коньяку! — сказал Янсутский гарсону.

Тот подал ему требуемое.

Янсутский, прилив значительное количество коньяку в кофе, начал прихлебывать его: видимо, что он чем-то был очень встревожен и расстроен.

— Я завтра уезжаю в Петербург,— объявил он генералу.

— Зачем? — спросил тот с удивлением и некоторым сожалением.

— Вызывают по делу Хмурина,— отвечал Янсутский с окончательно перекошенным ртом.

— Хмурина?..— повторил генерал еще с большим удивлением.

— В качестве свидетеля, не больше! — поспешил сказать Янсутский; но втайне он думал, что не в качестве свидетеля, а ожидал чего-нибудь похуже.— Это в одной только России могут так распоряжаться... вдруг вызывают человека через посольство, чтобы непременно приехал... Спроси бумагой, если что нужно,— я им отвечу, а они меня отрывают от всех моих дел, когда у меня

здесь, в Париже, и заказов пропасть по моим делам, и многое другое!

— Но что ж было общего между вами и Хмуриным? — спросил генерал.

— Между нами, крупными деятелями, всегда очень много общего! Офонькина вон тоже тянут, того даже из Египта, с его виллы, где он проживал.

— Это жида этого Офонькина? — сказал презрительно генерал.

— Положим, он жид, но он человек очень богатый и чрезвычайно честный!..— возразил Янсутский.— Не чета этому подлецу Хмурину.— Прежде, когда Янсутский обделывал дела с Хмуриным, то всегда того хвалил больше, чем Офонькина, а теперь, начав с Офонькиным оперировать, превозносил его до небес!

— Так наша поездка в Елисейские поля, может быть, не состоится? — произнес генерал невеселым голосом.

— Отчего же не состоится?.. Нисколько!..— воскликнул повеселевшим голосом Янсутский; он в это время выпил еще чашку кофе с коньяком.— Я, что касается до удовольствий, особенно парижских, перед смертной казнью готов идти на них.

— В таком случае жаль, что я Бегушева не пригласил на нашу прогулку,— продолжал генерал.— Он сейчас здесь со мной завтракал!..

— С Бегушевым,— слуга покорный! — я никуда не поеду!

— Но что такое у вас с ним? — спросил генерал с любопытством.— Он как-то этак... да и вы тоже!..

— Решительно ничего!.. Просто не любим друг друга, взаимные антипатии! — сказал Янсутский, начавший окончательно ненавидеть Бегушева потому, что Домна Осиповна, после разрыва с последним, в порыве досады на него, рассказала Янсутскому, как Бегушев бранил ее за обед у него и как даже бранил самого Янсутского!

— Между прочим, Бегушев мне сказал, что он знал madame Мерову? — продолжал расспрашивать генерал. Он очень любил разговаривать о молоденьких и хорошеньких женщинах, чего дома ему решительно не позволялось делать.

— Как ему не знать... она близкая приятельница его бывшей приятельницы.

— Это madame Олуховой, если я не ошибаюсь?..

— Сей самой-с! — подхватил Янсутский.

— Но она уж больше не приятельница Бегушева? — спросил генерал.

— Нет!.. Напротив — враг его!.. Историю эту вашему превосходительству так надо рассказать... Существовали в Москве два гражданские брака: мой с Меровой и Бегушева с Олуховой, и оба в очень недолгом времени один после другого расторглись — по причинам далеко не схожим.

— А именно? — любопытствовал генерал.

— Я-с должен был расстаться потому, что, как говорил вам, когда прилив денег был большой, тогда можно еще было удовлетворять желания госпожи Меровой, но когда их уменьшилось, так что же тут сделаешь?..

— Гм! — произнес генерал, припомня слова Бегушева по этому поводу.— А какая же причина у Бегушева?..— спросил он.

— Несколько иная!.. Домна Осиповна главным образом возмущалась тем, что Бегушев оказался скупцом великим!

— Бегушев! — даже воскликнул генерал, зная всегда кузена за человека весьма тороватого.

— То есть, не в смысле жизни для себя, нет, а для других!

— И то неправда! — сказал генерал.— Он мне кузен, его щедрость известна в нашем родственном кругу!

Янсутский, по обыкновению, ненадолго опешил: он не знал, что Бегушев был родня генералу.

— По крайней мере в отношении Домны Осиповны Александр Иванович был таков. Он ей, в продолжение всей их любви, не подарил даже какой-нибудь ленты рублевой,— проговорил он.

Генерал сделал небольшую гримасу. Он решительно недоумевал, зачем Домне Осиповне была нужна рублевая лента.

Янсутский, как бы поняв его, выразился точнее.

— Конечно, дело не в ленте рублевой, но Домна Осиповна, что очень натурально и свойственно женщинам, желала, чтобы Александр Иванович подарил ей что-нибудь: ну, хоть какую-нибудь дачку тысяч в пять, в шесть!

— Она сама богата! Сама бы могла купить себе дачу! — заметил генерал.

— Но Домна Осиповна желала получить от него, потому что кто же к богатству не стремится присоединить еще большего богатства,— это общее свойство людей! Кроме того, в подарке Бегушева Домна Осиповна увидела бы доказательство любви его.

Генерал понимал, что женщину, не имеющую средств, мужчина должен на последние средства поддерживать, понимал, что женщина может разорить мужчину: его самого в молодости одна танцовщица так завертела, что он только женитьбой поправил состояние; но чтобы достаточной женщине ждать подарков от своего ami de coeur[1]... это казалось генералу чувством горничных.

— За то, что Бегушев не подарил madame Олуховой дешевенькой дачки, она и подала ему карету? — спросил он с несвойственной ему ядовитостью.

— За то,— отвечал Янсутский, которому вовсе это было не удивительно в Домне Осиповне.— По крайней мере, она сама мне говорила, что это одна из главных причин! — присовокупил он.

Хорошо, что седовласый герой мой не слыхал, что рассказывал Янсутский в настояшие минуты о нем и о Домне Осиповне. О, как бы возненавидел он ее, а еще более — самого себя, за то, что любил подобную женщину!

Вечером Бегушев еще раз встретил генерала. Томимый скукою, он шел с понуренной головой по бульварам, среди многолюдной толпы — идущей, разговаривающей, смеющейся, евшей, пившей в открытых кофейнях,— и, совершенно случайно, взмахнув глазами в сторону, увидал небыстро едущее ландо, в котором на задней скамейке сидели две молодые дамы, а на передней — Янсутский и генерал. Оба кавалера разговаривали с своими дамами самым развязным и веселым образом. О том, какого сорта были эти особы, сомневаться нечего!.. Бегушев, попав в луч зрения кузена и вспомнив суждения его о Тюменеве, погрозил ему пальцем.

Генерал довольно громко крикнул ему по-русски:

— Я в Париже, а не в Петербурге,— и затем приложил пальцы своей руки к губам, давая тем знать Бегушеву, что он касательно этой встречи должен всю жизнь носить замок на устах своих!

---

[1] друга сердца... *(франц.)*

Глава VII

Все, что ни говорил генерал Трахов о Тюменеве, была правда. Ефим Федорович, как бы забыв все в мире, предавался идиллии и жил на прелестнейшей даче в Петергофе вместе с m-me Меровой; при них также обитал и папаша ее, граф Хвостиков. С Ефимом Федоровичем случилось явление, весьма часто повторяющееся между грубой половиной человеческого рода — мужчинами. Вначале он предполагал войти в легкие и кратковременные отношения с m-me Меровой. Ефим Федорович, как мы знаем, не испытывал ни разу еще так называемых благородных интриг и не ведал ни роз, ни терниев оных; на первых порах m-me Мерова совершенно его очаровала, и только благодаря своему благоразумному темпераменту он не наделал окончательных дурачеств.

В одно утро Тюменев сидел на широкой террасе своей дачи и пил кофе, который наливала ему Мерова. Тюменев решительно являл из себя молодого человека: на нем была соломенная шляпа, летний пиджак и узенькие брючки. Что касается до m-me Меровой, то она была одета небрежно и нельзя сказать, чтобы похорошела: напротив — похудела и постарела. Напившись кофе, Тюменев стал просматривать газету, а m-me Мерова начала глядеть задумчиво вдаль. Вдруг она увидела подъехавшую к их даче пролетку, в которой сидел Бегушев.

— Боже мой, кого я вижу! — воскликнула Мерова с неподдельным удовольствием и, соскочив с террасы, бросилась навстречу Бегушеву, обняла и даже поцеловала его.

За ней следовал и Тюменев. Он был очень доволен этою искреннею радостью Меровой приезду его друга.

— Откуда? — спрашивал он, тоже обнимая и целуя Бегушева.

— Из-за границы! — отвечал тот.

— Но как же тебе не грех было не ответить мне на мое весьма важное для меня письмо, да и потом ни строчки!

— Я к тебе и прежде не часто писал! — произнес себе под нос Бегушев и при этом потупился.

— Знаю я... этим только и успокоивал себя... Но где же Домна Осиповна?.. Отчего ты не привез ее к нам?

Мерова взглянула при этом на Бегушева.

Домна Осиповна давно уведомила ее о разрыве своем с ним и при этом описала его в самых черных красках, называя его эгоистом, скупцом, злецом. Мерова об этом письме ничего не говорила Тюменеву.

— Домны Осиповны, вероятно, здесь нет! Я не знаю даже, где она,— объяснил ему Бегушев.

Тюменев исполнился удивления.

— Даже не знаешь!..— проговорил он.

— Даже не знаю! — отвечал Бегушев с ударением.

Во все это время Мерова чрезвычайно внимательно смотрела на него.

— А за границей вы лечились? — спросила она его.

— Нет,— отвечал Бегушев.

— Но ты, однако, очень переменился... Совсем поседел... похудел!..— сказал ему Тюменев.

— Ужасно!.. Невероятно!..— подхватила с участием Мерова.

Бегушев при этом улыбнулся.

— В природе все меняется — таков ее закон! — сказал он.

Затем Тюменев начал было его расспрашивать об Европе, об ее литературных, художественных, политических новостях, и при этом, к удивлению своему, заметил, что Бегушев как бы никого там не видал и ничего не читал.

— Но где же ты, собственно, был? — спросил он его в заключение.

— В Париже.

— И что ж там делал?

— Спал.

Тюменев расхохотался.

— Господи!.. В Париже спать?..— воскликнула Мерова, припоминая, как она, бывши там с Янсутским, бегала по красивым парижским улицам в каком-то раже, почти в сумасшествии.

Вслед за тем она, так как ей пора было делать туалет, оставила террасу, взяв наперед слово с Бегушева, чтобы он никуда-никуда не смел от них уезжать!

Когда приятели остались вдвоем, между ними сейчас же начался более откровенный разговор.

— Я все-таки, любезный друг, желаю знать определительно, что неужели же между тобой и Домной Осиповной совершенно и навсегда все кончено?

— Совершенно и навсегда!

— По какому поводу?

— По какому...— отвечал Бегушев неторопливо,— не скрываю, что я, может быть, неправ: по поводу того, что она пошлянка и мещанка!

Тюменев махнул рукою.

— Ну да, понимаю! — сказал он.— А с ее стороны?

— С ее стороны — я не знаю! Впрочем, она меня не оставляла, а я ее оставил.

Тюменев покачал неодобрительно головою.

— Капризник ты величайший, вот что я тебе скажу.

— Не спорю!..— согласился Бегушев.— Но сам ты счастлив вполне с madame Меровой? — добавил он.

Что-то вроде кислой улыбки проскользнуло на губах Тюменева.

— Полного счастья в жизни нет; но насколько оно возможно, я счастлив,— отвечал он.

— А против тебя тут вопиет все общество за твою любовь,— продолжал Бегушев.

— Кто тебе это говорил?

— Кузен мой, Трахов.

— А, генерал от кухни!.. — произнес Тюменев с явным озлоблением.

— Он умоляет тебя простить его за то, что им не был принят на службу граф Хвостиков, хоть ты и ходатайствовал за него,— говорил Бегушев с полуулыбкой.

— Твой кузен этот — такой дурак,— начал Тюменев, все более и более разгорячаясь,— и дурак неблагодарный: я делал ему тысячи одолжений, а он не захотел взять к себе больного, голодающего старика на какое-то пустейшее место, которое тот уж и занимал прежде.

— Но граф на этом месте проворовался! — заметил Бегушев.

— Вздор-с, выдумки все это! — воскликнул Тюменев. Хвостиков с божбой и клятвой успел его уверить, что он никогда ничего подобного не делал.

— Тут, главное, то досадно,— продолжал Тюменев,— что у этого кухонного генерала половина чиновников хуже графа, а он еще ломается, благородничает!.. Впрочем, будем говорить о чем-нибудь более приятном... Скажи, madame Мерову ты хорошо знаешь? — заключил он.

— Нет; слыхал только, что она добрая.

— Ну, а еще что слышал? Пожалуйста, говори откровенно.

— Слышал еще, что мотовка великая!

Об этом свойстве Меровой Бегушеву натвердила Домна Осиповна и очень всегда обвиняла за то приятельницу.

— Это есть отчасти, мотовата! — подтвердил Тюменев.— Но полагаю, что от этого недостатка всякую женщину можно отучить убеждениями и разъяснениями!

Бегушев на лице своем как будто бы выразил, что «пожалуй, можно, а пожалуй, и нельзя!»

— Ты не предполагаешь жениться на Меровой?.. Она вдова! — сказал он.

При этом вопросе Тюменева даже всего подернуло.

— Что за странная мысль пришла тебе в голову; разве это возможно! — проговорил он.

— Отчего же невозможно?

Тюменев пожал плечами.

— Жена моя,— сказал он,— должна бывать во дворце, но Елизавету Николаевну туда не пригласят, потому что прошедшее ее слишком небезупречно; сверх того и характер ее!.. Характер ее во всяком случае меня остановил бы.

— Что ж, она капризна, зла?

— Не то что зла,— взбалмошна! — отвечал Тюменев и, встав, притворил дверь с террасы на дачу.— Нагляднее всего это можно видеть из наших сердечных отношений,— продолжал он.— То иногда она сама начнет теребить, тормошить меня, спрашивать: «Люблю ли я ее?» Я, конечно, в восторге, а потом, когда я спрошу ее: «Лиза, любишь ты меня?», она тò проговорит: «Да, немножко!», или комическим образом продекламирует: «Люблю, люблю безумно! Пламенно!» А вот на днях так уж прямо, не церемонясь, объявила мне, что я, по моим летам, ничего от нее не имею права требовать, кроме уважения, а потом задумалась и сделалась мрачна, как я не знаю что! Разумеется, я очень хорошо понимаю, что все это какое-то школьничество, резвость, но все-таки, при отсутствии других данных, необходимых для семейной жизни, жениться мне на Лизе страшновато!

M-me Мерова возвратилась и была, как следует на даче, очень мило и просто одета. Бегушев, взглянув на часы, предложил было ехать в Петербург обедать к Донону, но Тюменев, под влиянием своего идиллического настроения, не согласился.

— Нет, отобедаемте здесь, на чистом воздухе; у нас есть превосходная зелень, свежее молоко, грибы, вообще

ты встретишь, благодаря хозяйству Елизаветы Николаевны, обед недурной,— проговорил он.

Но — увы! — обед оказался очень плох, так что Тюменев принужден был объяснить Бегушеву, что кухарка у них очень плохая.

— Да и хозяйка такая же!.. — созналась откровенно Мерова.

— О, нет! — хотел возразить ей Тюменев, но в это время проходивший мимо дачи почтальон подал Елизавете Николаевне письмо, прочитав которое она побледнела.

— От кого это и что такое? — спросил ее Тюменев, обеспокоенный ее видом.

— Я не знаю, что такое?.. Ничего не понимаю!.. Прочтите!.. — говорила она трепетным голосом и подала письмо Тюменеву; глаза ее были полны слез.

Тюменев, пробежав бегло письмо, тоже, как видно, был поражен. Мерова между тем начала уже рыдать.

— Папа, мой бедный папа! — восклицала она.

— Помер, что ли, граф? — спросил Бегушев.

— Нет, это бы еще было в порядке вещей; но он сегодня уехал в Петербург и пишет теперь, что арестован.

Бегушев тоже удивился.

— За что?

— Будто бы за знакомство с Хмуриным, но за знакомство по политическим только делам арестуют... Боюсь, чтобы со стороны графа не было более серьезного проступка!

— Какой у него может быть серьезный проступок! — воскликнула m-me Мерова, продолжая рыдать.— Вероятно, взял чьи-нибудь чужие деньги и прожил их... Это все я, гадкая, скверная, виновата... Я мало ему помогала последнее время. В Москве он мне сам говорил, что по нескольку дней ему есть было нечего! Я сейчас поеду к нему в Петербург!

— Что ж вы поедете,— остановил ее Тюменев,— себя еще больше расстроите и никакой пользы не принесете. Лучше я поеду, все там узнаю и поправлю, сколько возможно!

— Ничего вы не поправите!.. Очень нужен вам мой отец! — капризничала Мерова.

— Не отец ваш, но ваше спокойствие мне нужно! — заметил ей тот с некоторою строгостью.

— Что же вы сделаете? Попросите ли, чтобы его выпустили?

— Может быть, выпрошу, что и выпустят. Я поеду прямо к прокурору!..— говорил Тюменев, беря шляпу и пальто.— Ты, пожалуйста, останься с Елизаветой Николаевной, а то она одна тут истерзается!..— сказал он Бегушеву.

— Да, душенька, Александр Иванович, останьтесь со мной! — умоляла Мерова, беря его за руку.

— Останусь! — отвечал тот.

Тюменев после того остановил ехавшего порожняком извозчика, нанял его и уехал.

— Бедный папа, бедный! — начала было снова восклицать Мерова и рыдать при этом.

— Зачем вы заранее так себя тревожите? Весьма вероятно, что все это кончится ничем, пустяками! — сказал ей Бегушев.

— Вы думаете, что пустяками? — переспросила его Елизавета Николаевна, сразу успокоенная немного этими словами его.

— Конечно, пустяками! — повторил Бегушев.— Что вы такая нежная дочь, это, разумеется, хорошо!

— Ах нет, я дурная дочь!.. — перебила его Мерова.

В это время к террасе подошел молодой человек и приподнял свою шляпу.

— Здравствуйте, Мильшинский!..— сказала ему еще сквозь слезы Мерова.

Мильшинский приподнял свою шляпу также и Бегушеву; тот ему ответил тем же.

— А вы за нами, вероятно? Думаете, что мы пойдем гулять...— сказала плачевным голосом Мерова.

— Вы вчера это изволили говорить! — произнес вежливо молодой человек.

— Ах да, вчера — другое дело; но сегодня со мной несчастье случилось — страшное, ужасное!

— Какое? — спросил молодой человек с заметным участием.

— После скажу! — отвечала скороговоркой Мерова.

Молодой человек постоял еще несколько времени около решетки.

— А Ефим Федорович? — спросил он.

— Он уехал в Петербург! — отвечала Мерова.

Молодой человек все-таки не отходил от решетки, и Бегушеву показалось, что как будто бы сей юноша и Мерова кидали друг на друга какие-то робкие взгляды, и ко-

гда тот, сказав: — До свиданья! — пошел, то Елизавета Николаевна крикнула ему:

— Вы куда теперь?

— В Петергоф иду пешком! — отвечал ей молодой человек с доброй улыбкой, и Мерова долго-долго следила за ним, пока он совсем не скрылся из виду. Все эти мелочи породили много мыслей в проницательном уме Бегушева.

— Кто этот молодой человек? — спросил он.

— Это Мильшинский, он служит у Ефима Федоровича,— отвечала небрежно Елизавета Николаевна; потом, помолчав, присовокупила несколько нерешительным голосом: — Александр Иванович, вы не рассердитесь на меня, если я вас спрошу, как вы расстались с Домной Осиповной?

— В каком смысле вы хотите знать, как я с ней расстался? — спросил тот.

— В таком, что много она плакала?

— Не знаю, я ее потом не видал.

— И объяснения между вами никакого не было?

— Никакого.

— Это, впрочем, лучше! — произнесла Мерова и взяла себя за голову.— Что тут объясняться? Зачем?

Бегушев молчал.

— А вы ее очень любили? — продолжала она.

— Любил!

— Может быть, и теперь ее любите?

— Не знаю! — отвечал Бегушев.

— Но тогда для чего же вы ее покинули? Она вас любила, вы ее любили,— из-за чего все это произошло?

— Из-за многого! — сказал Бегушев, не хотевший Елизавете Николаевне объяснять поводы к разлуке с Домной Осиповной и полагавший, что она не поймет их.

— Домна Осиповна больна была очень после того и писала мне отчаянное письмо, где она называла ваш поступок *бесчелозечным;* я тоже согласна с ней,— вот другое дело, если бы вы не любили ее!..— заключила или, лучше сказать, как-то оборвала свои слова Мерова.

— Госпожа Олухова и до сих пор больна? — спросил протяжно Бегушев.

— О, нет...— воскликнула Мерова,— теперь она совершенно здорова и весела. Папа недавно был в Москве и заезжал к ней. Он говорит, что она опять сошлась с мужем, формально сошлась: живет в одном доме с ним, у

него нет никаких привязанностей... она заправляет всеми его делами... разъезжает с ним по городу в щегольской коляске... Янсутский строит им дом огромный, тысяч в пятьсот... Каждую неделю у них обеды и балы!

Склад губ Бегушева при этом рассказе выразил чувство гадливости.

— И папа еще сказывал (у него обыкновенно ничего не сорвется с глазу),— продолжала Мерова,— что за Домной Осиповной доктор ее очень ухаживает.

— Перехватов? — спросил Бегушев.

— Да... Красавец московский, херувим с вербы,— разве тут что-нибудь не произойдет ли? — проговорила Мерова.

Начав разговаривать о приятельнице, она, кажется, совсем позабыла об отце.

Гадливость все более и более отражалась на лице Бегушева.

— А сами вы ни в кого не влюбились? — полюбопытствовала Мерова.

— Зачем же влюбляться?.. Разве это непременная обязанность!.. — произнес он.

— Не обязанность, но вы, я убеждена, можете еще полюбить, если только какая-нибудь счастливица удостоится чести понравиться вам...

Бегушев при этих словах взглянул на Елизавету Николаевну: у ней что-то странное выражалось в глазах.

— Нет, не могу! — сказал он.

— Решительно не можете? — переспросила его еще раз Мерова.

— Решительно!

Странное выражение глаз оставалось у Елизаветы Николаевны.

— А как вы сблизились с моим другом, Ефимом Федоровичем? — спросил ее, в свою очередь, Бегушев.

Вопрос этот на первых порах смутил несколько Елизавету Николаевну.

— Сблизились...— начала она с маленькой гримаской.— Он мне сделал признание в любви... стал принимать во мне большое участие... С Янсутским я тогда уже рассорилась и жила в номерах.

— Но сами вы его любите теперь? — допытывался Бегушев.

Мерова еще более смутилась и потом, вдруг подняв свои глазки на Бегушева, пристально посмотрела на него.

— Я бы вам призналась; но вы расскажете Ефиму Федоровичу,— произнесла она каким-то почти детским голосом.

— Нет, не расскажу! — успокоил ее Бегушев.

— Поклянитесь, что не расскажете...

— Зачем же клясться? Если я говорю, что не скажу, то и не скажу.

— Ну хорошо: Ефима Федоровича я уважаю только; любить его нельзя, он очень стар, какой-то невеселый и при этом нежничает еще — фи!..

«Бедный друг мой!» — подумал про себя Бегушев.

— Моя жизнь очень тяжела,— продолжала Мерова,— я по наружности только смеюсь и болтаю, а спросили бы меня, что я чувствую... Доктора вон говорят, что у меня чахотка; а я все не могу умереть!

При этих ее словах Бегушеву сделалось уж ее жаль. Понятно, что Елизавета Николаевна нисколько не любила Тюменева.

— Неужели же Янсутский лучше Ефима Федоровича? — сказал он.

— Я не говорю этого; но Янсутский больше развлекал меня: мы почти каждый вечер ездили то в театр, то в собрание, то в гости, а Ефим Федорович все сидит дома и читает мне стихи Лермонтова!

Последнее занятие, по-видимому, было более всего неприятно Меровой.

Бегушев при этом невольно улыбнулся, воображая, как его высокопочтенный друг перед своей юной подругой читал с чувством и ударением: «Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад!»

Елизавета Николаевна, наконец, встала: беспокойство и досада виднелись в ее хорошеньких глазках.

— Какой досадный этот Тюменев, до сих пор не едет! — произнесла она раздраженным голосом.— Пойдемте, пожалуйста, в Петергоф пешком ему навстречу, чтобы мне поскорее узнать о папа!

Бегушев согласился, но вместе с тем заподозрил, что не одно желание узнать поскорее об участи отца заставляло Мерову придумать эту прогулку и что в этом скорее таилась надежда встретиться с молодым человеком, ушедшим именно по этой дороге.

Предположение его вряд ли было несправедливо, потому что Мерова, как только издалека еще видела идущего им навстречу мужчину, то сейчас же, прищурив глазки, начинала смотреть на него, и когда оказывалось, что это был совсем незнакомый ей, она делала досадливую мину и обращалась с разговором к Бегушеву. В Петергофе им пришлось ожидать поезда целый час. Чтобы занять себя чем-нибудь, они ходили по Петергофскому саду, взбирались на его горы, глядели на фонтан Самсон. Бегушевым от всех этих далеко не новых ему видов овладела невыносимая скука, m-me Мерова была озабочена своими собственными мыслями. Наконец, в половине восьмого они направились к вокзалу и едва успели войти в него, как m-me Мерова, шедшая под руку с Бегушевым, явно радостным голосом воскликнула: «Ах, и вы тут!..» Бегушев обернулся и увидел, что около них стоял Мильшинский. Подозрения его окончательно утвердились. «Бедный друг мой!» — повторил он еще раз и хотел заняться внимательным наблюдением за Меровой и ее знакомым, но в это время раздался свист подходящего поезда. Елизавета Николаевна стремглав бросилась на платформу, так что Бегушев едва поспел за нею, и через несколько минут из вагона первого класса показался Тюменев, а за ним шел и граф Хвостиков. Мерова с рыданьями бросилась отцу на шею. У графа Хвостикова тоже появились слезы на глазах.

— Тебя выпустили, папа! — говорила она.

— После!.. После!..— перебил ее тот и обратился к Бегушеву.

— Вы видите перед собой преступника и арестанта!..

И при этом граф с горечью показал на себя.

Когда все вошли в залу, то Мильшинский был еще там и, при проходе мимо него Тюменева, почтительно ему поклонился, а тот ему на его поклон едва склонил голову: очень уж Мильшинский был ничтожен по своему служебному положению перед Тюменевым! На дачу согласились идти пешком. Тюменев пошел под руку с Меровой, а граф Хвостиков с Бегушевым. Граф шел с наклоненной головой и очень печальный. Бегушеву казалось неделикатным начать его расспрашивать о причине ареста, но тот, впрочем, сам заговорил об этом.

— Блажен, блажен, кто не ходит на совет нечестивых! — начал он мелодраматическим голосом.— Пока я

не водился с мошенниками, было все хорошо; а повелся — сам оказался мошенником.

— В чем же вас обвиняют?.. Неужели в знакомстве только?

— Обвиняют меня в ужасной вещи, в гадкой... Вы знаете, я занимался у Хмурина делами — главным образом в том смысле, что в трудных случаях, когда его собственной башки не хватало, помогал ему советами. Раз он мне поручил продать на бирже несколько векселей с его бланковыми надписями, которые потом оказались фальшивыми; спрашивается, мог я знать, что они фальшивые?

— Конечно, могли и не знать! — сказал Бегушев, думая про себя, что «если бы ты, голубчик, и знал это, так все-таки продал бы векселя из угождения Хмурину!» — Однако вас выпустили: доказательство, что в поступке вашем не видят ничего важного! — прибавил он вслух.

— Пока выпустили!.. Я не знаю, как Тюменев это устроил!..— проговорил граф Хвостиков несколько странным голосом.— Меня тут больше всего беспокоит, что Лизу, говорил мне Ефим Федорович, очень это огорчило?

— Очень! — подтвердил Бегушев.

— О, она любит меня... Я видел много тому доказательств,— произнес с чувством граф, и слезы у него снова навернулись на глазах.

От старости и от разного рода житейских передряг Хвостиков становился, наконец, слезлив.

— Как я тебе благодарна, что ты спас отца,— говорила в это время Мерова.

Тюменев ничего ей на это не ответил.

— Ты, я думаю, как только приехал и попросил там, его сейчас же и выпустили.

— Да, я съездил к прокурору!..— проговорил протяжно Тюменев и с несколько кислой улыбкой на губах; в сущности, он обязался внести залогу пять тысяч рублей за графа Хвостикова.— Только чтобы родитель ваш не улизнул куда-нибудь, тогда я за него в ответе буду! — объяснил он.

— Куда ж ему улизнуть? — воскликнула Мерова.— У него денег нет доехать даже до Петербурга!

— И не давайте, пожалуйста, ему теперь денег! — объявил Тюменев.

Проводя друзей своих до дачи, Бегушев распрощался

с ними и отправился обратно в Петербург. Невозможно описать, какая тоска им владела. Отчего это происходило: от расстройства ли брюшных органов, или от встречаемого всюду и везде безобразия,— он сам бы не мог ответить.

Войдя в свой просторный номер, Бегушев торопливо спросил себе бутылку хереса и почти залпом выпил ее. Последнее время он довольно часто стал прибегать к подобному развлечению.

Глава VIII

В обвинительном акте по делу Хмурина граф Хвостиков не был обозначен. Тюменев успел кому следует растолковать, до какой степени граф глуп и какой он нищий. Сей последний, конечно, не знал этого и был в восторге, что спасся от беды. По наружности, впрочем, граф Хвостиков сохранил довольно гордый и спокойный вид и всем говорил: «Я знал это! Совершенно уверен был в том!..» А между тем, скрывая от всех, он ходил в Казанский собор, когда там никого не было народу, становился на колени перед образом Казанской божьей матери и горячо молился: «Богородица, богородица, я в тебя не верил прежде, а теперь верую и исповедаю тя! — говорил он, колотя себя в грудь и сворачивая несколько в «славянский тон».— Дай мне только прокормиться в жизни и не умереть с голоду, заступница и хранительница всех неимущих!..» — шептал он далее.

Когда начался суд по делу Хмурина, граф, выпросив позволение у Тюменева переехать в город на его квартиру, являлся на каждое заседание, а потом забегал к Бегушеву в гостиницу и питался у него. По самой пустоте своей, Хвостиков не был злой человек, но и он в неистовство приходил, рассказывая Бегушеву, как Янсутский и Офонькин вывертывались у следователя на судебном следствии.

— Это такие, я тебе скажу, мошенники,— говорил он, ходя с азартом по комнате, в то время как Бегушев полулежал на диване и с любопытством слушал его,— такие, что... особенно Янсутский. (На последнего граф очень злился за дочь.) Все знают, что он вместе обделывал разные штуки с Хмуриным, а выходит чист, как новорожден-

ный младенец... Следователь, надобно отдать ему честь, умел читать душу у всех нас; но Янсутский и тому отводил глаза: на все у него нашлось или расписочка от Хмурина, или приказ Хмурина!

— Он поляк, должно быть! — заметил Бегушев, не меняя своей позы.

— Верное замечание!.. Непременно поляк!..— согласился Хвостиков.— Но это бы еще не беда!.. Я сам человек французского воспитания... Даже более того: француз по происхождению.

— Это с какой стати? — воскликнул Бегушев.

Граф Хвостиков немного позамялся.

— Эта история, я думаю, известна всем: я сын не графа Хвостикова, а эмигранта французского, бежавшего в Россию после первой революции, который был гувернером моих старших братьев и вместе с тем le bien aimé [1] моей матери...

«Эдакой болван! — подумал Бегушев.— Для вздорной болтовни не щадит и матери».

— Но я все-таки русак,— продолжал Хвостиков.

По какому-то отдаленному чутью он предугадывал, что в последнее время бить в эту сторону стало недурно!

— Офонькин тоже, должно быть, на следствии красив: перепугался, вероятно, донельзя!..— сказал Бегушев.

— Вначале очень, а теперь нет. Отлично отлынивает; у него все дела вот как переплетены были с делами Хмурина!..— говорил граф и при этом пальцы одной руки вложил между пальцами другой.— Но по делу выходит, что ничего, никакой связи не было.

— Он жид! — заметил Бегушев.

— Чистейший!.. Без отметины!..— продолжал Хвостиков.— Так что, я вижу, присяжные даже злятся, что отчего же эти господа не на скамье подсудимых; потому что они хуже тех, которых судят!.. О, я тебе скажу, у нас везде матери Митрофании: какое дело ни копни,— мать Митрофания номер первый, мать Митрофания номер второй и третий!

Бегушев расхохотался: последняя мысль графа ему очень понравилась. Тот это подметил и продолжал:

— Сатириком уж я сделался!.. Впрочем, говорят, что я давно на Вольтера походил.

---

[1] возлюбленным *(франц.)*

— Только на беззубого,— поумерил его Бегушев.

— Это так! — согласился Хвостиков.— Ни одного своего зуба нет — все вставленные.

— А как Хмурин себя держит на суде? — полюбопытствовал Бегушев.

— Великолепно: гордо, спокойно, осанисто, и когда эти шавки Янсутский и Офонькин начнут его щипать, он только им возражает: «Попомните бога, господа, так ли это было? Не вы ли мне это советовали, не вы ли меня на то и на другое науськивали!» — словом, как истинный русский человек!

Граф Хвостиков по преимуществу за то был доволен Хмуриным, что тот, как только его что-либо при следствии спрашивали относительно участия графа в деле, махал рукой, усмехался и говорил: «Граф тут ни при чем! Мы ему ничего серьезного никогда не объясняли!» И Хвостиков простодушно воображал, что Хмурин его хвалил в этом случае.

В одно утро граф вошел в номер Бегушева в сильных попыхах и задыхаясь.

— Я за тобой,— сказал он,— Тюменев и Елизавета Николаевна стоят у подъезда, они едут в суд; поедем и ты с нами — сегодня присяжные выносят вердикт.

Бегушев сначала было не хотел, но потом надумал: очень уж ему скучно было! Сойдя вместе с графом на улицу, Бегушев увидел, что Елизавета Николаевна и Тюменев сидели в коляске, и при этом ему невольно кинулось в глаза, что оба они были с очень сердитыми лицами. Бегушев сказал им, чтобы они ехали и что он приедет один. Граф Хвостиков проворно вскочил в коляску и захлопнул дверцы ее. Бегушев последовал за ними на извозчике. В суде начальство хотело было провести и посадить Тюменева на одно из почетных мест, но он просил позволить ему сесть где приведется, вместе с своими знакомыми; таким образом, он и все прочее его общество очутились на самой задней и высокой скамейке... Публики было — яблоку упасть негде... Перед глазами наших посетителей виднелись всюду мундиры, а местами и звезды, фраки, пиджаки; головы — плешивые, седые, рыжие, черные, белокурые; дамские уборы — красивые и безобразные. Момент этот был величественный. Хмурин, по-прежнему щеголевато одетый в длинный сюртук и с напомаженной головой, начал говорить свое последнее

оправдательное слово. Более мелкие подсудимые — всё почти приказчики (было, впрочем, два—три жидка и один заштатный чиновник),— все они еще ранее сказали свое слово. Тишина в зале царствовала полнейшая!

— Господа присяжные! — говорил Хмурин звучным и ясным голосом.— Я человек простой, лыком, как говорится, шитый; всяк меня опутывал и обманывал, не погубите и вы меня вдосталь, оправдайте и отпустите на вольную волюшку, дайте мне еще послужить нашей матушке России!

Слова эти в некоторой части публики вызвали слезы, а в другой усмешку, и даже раздалось довольно громкое восклицание: «Ванька Каин в тюрьме точно так же причитывал!»

Председатель обратил было глаза в ту сторону, откуда это послышалось, но узнать, кто именно сказал, было невозможно.

— Я старик старый,— продолжал подсудимый,— и не от мира сего жить желаю, а чтобы в добре и чести,— как жил я до окаянного моего разорения,— покончить дни мои!..

Проговорив это, Хмурин вдруг за своей решеткой поклонился в землю, явно желая тем выразить, что он кланяется в ноги присяжным.

Это всем не понравилось, а больше всех графу Хвостикову.

— Oh, diable! [1]. Я бы никогда этого не сделал! — произнес он с благородным негодованием.

Председатель затем объявил, что присяжные могут удалиться. Те пошли в комнату. Судебный пристав запер их там. В публике поднялся легкий шум: стали приходить, уходить, негромко разговаривать. «Обвинят, непременно обвинят!..» — бормотал адвокат Хмурина, с русской физиономией и с выпученными испуганными глазами.— «Но почему вы думаете это?» — спросил его другой адвокат с сильным польским акцентом.— «Присяжные всё немцы и чиновники»,— объяснил адвокат Хмурина.— «А отчего же вы не отвели их?» — возразил ему третий адвокат с жидовскою физиономией.— «А кого мне было предпочесть им? Нынче весь состав их таков!..» — воскликнул уже до-

[1] О, черт! (*франц.*)

вольно громко хмуринский адвокат. При этом стоявший невдалеке от него судебный пристав взглянул на него, а потом, подойдя к одному из своих товарищей, шепнул ему, показывая головой на адвоката:

— Как боится, что обвинят: тогда половина только гонорара попадет ему в карман!

— Доберет еще за кассационную жалобу,— тогда не помилует!..— отвечал тот с грустью.

Янсутский и Офонькин были тоже в зале и вели себя омерзительно. Они смеялись, переглядывались с какими-то весьма подозрительного тона дамами. Граф Хвостиков видел все это и старался смотреть на них тигром. К довершению картины, из открытых окон залы слышался то гул проезжавшего экипажа, то крик: «Говяжий студень! Говяжий студень!», то перебранка жандарма с извозчиками: «Я те, черт, дам! Куда лезешь!»— «Я не лезус-с!»— отвечал извозчик и все-таки ехал. Наконец жандарм трах его по спине ножнами сабли; извозчик тогда уразумел, что ехать нельзя тут, и повернул лошадь назад. Прошел таким образом час, два, три; все начали чувствовать сильное утомление; наконец раздался звонок из комнаты присяжных. Хмурин, сидевший все время неподвижно и с опущенною головою, вздрогнул всем телом.

Присяжные начали выходить. Впереди шел председатель их, человек пожилой и строгой наружности.

— Этот, кажется, не помилует! — заметил Бегушев тихо Тюменеву.

— Вероятно!.. Я его знаю, он очень умный и честный человек! — отвечал тот.

На все вопросы: «Виновен ли Хмурин в том-то и в том-то?» — было отвечено: «Да, виновен!»

Хмурин опустился на спинку своего стула. Граф Хвостиков заплакал и поспешил утереть глаза платком, который оказался весь дырявый.

Бегушев, более не вытерпев, встал с своего места и сказал Тюменеву вслух:

— Суд хоть и необходимая вещь, но присутствовать на нем из простого любопытства — безнравственно.

Затем он пошел.

— Ты уже уходишь? — спросил его Тюменев.

— Да.

— Домой?

— Домой!

При выходе к Бегушеву отнесся адвокат Хмурина, весь даже дрожавший.

— Я слышал, что вы сказали; благодарю! — проговорил он.

Бегушев, не совсем хорошо понявши, за что, собственно, тот его благодарил, ответил ему молчаливым поклоном и, выйдя из здания суда, почувствовал, что как будто бы он из ада вырвался.

«Люди — те же шакалы, те же!» — повторял он мысленно, идя к своей гостинице, хотя перед тем только еще поутру думал: «Хорошо, если бы кого-нибудь из этих каналий, в пример прочим, на каторгу закатали!» А теперь что он говорил?.. По уму он был очень строгий человек, а сердцем — добрый и чувствительный.

Перед самым обедом, когда Бегушев хотел было сходить вниз, в залу за табльдот, к нему вошли в номер Тюменев и граф Хвостиков.

— Мы к тебе наяном! — сказал первый.— Как хочешь, накорми нас обедом!

— Отлично сделали! — сказал Бегушев с удовольствием и немедля распорядился, чтобы обед на три прибора подали к нему в номер, и к оному приличное число красного вина и шампанского.

— Виновница тому,— начал Тюменев,— что мы у тебя так нечаянно обедаем, Елизавета Николаевна, которая, выходя из суда, объявила, что на даче у нас ничего не готовлено, что сама она поедет к своей модистке и только к вечеру вернется в Петергоф; зачем ей угодно было предпринять подобное распоряжение, я не ведаю! — заключил он и сделал злую гримасу. Видимо, что эта выходка Меровой ему очень была неприятна.

— Когда женщины думают о нарядах, они забывают все другое и теряют всякую логику! — сказал граф Хвостиков, желая оправдать дочь свою в глазах Тюменева.

Обед хоть и был очень хороший и с достаточным количеством вина, однако не развеселил ни Тюменева, ни Бегушева, и только граф Хвостиков, выпивший стаканов шесть шампанского, принялся врать на чем свет стоит: он рассказывал, что отец его, то есть гувернер-француз, по боковой линии происходил от Бурбонов и что поэтому у него в гербе белая лилия — вместо черной собаки, рисуемой обыкновенно в гербе графов Хвостиковых.

Собеседники графа, конечно, не слушали его, а Бегу-

шев все продолжал взглядывать на Тюменева внимательно, который начинал уж беспокоить его своим озлобленным видом.

— А когда ты в Москву уезжаешь? — спросил между тем тот.

— На днях! — отвечал Бегушев.

— На днях! — воскликнул почти с испугом граф Хвостиков: с отъездом Бегушева из Петербурга ему прекращалась всякая возможность перекусить где-нибудь и что-нибудь, когда он приезжал с дачи в город.

— Зачем так скоро? — проговорил Тюменев.

— Номерная жизнь надоела! — отвечал Бегушев.

Ему в самом деле прискучили, особенно в последнюю поездку за границу, отели — с их табльдотами, кельнерами! Ему даже начинала улыбаться мысль, как он войдет в свой московский прохладный дом, как его встретит глупый Прокофий и как повар его, вместо фабрикованного трактирного обеда, изготовит ему что-нибудь пооригинальнее,—хоть при этом он не мог не подумать: «А что же сверх того ему делать в Москве?» — «То же, что и везде: страдать!» — отвечал себе Бегушев.

Тюменев, отобедав, вскоре собрался ехать на дачу: должно быть, его там что-то такое очень беспокоило. При прощании он взял с Бегушева честное слово завтра приехать к нему в Петергоф на целый день. Бегушев обещал. Когда граф Хвостиков, уезжавший тоже с Тюменевым вместе, садясь в коляску, пошатнулся немного — благодаря выпитому шампанскому, то Тюменев при этом толкнул еще его ногой: злясь на дочь, он вымещал свой гнев и на отце.

Утро на другой день оказалось довольно свежее и сероватое. Бегушев для своей поездки в Петергоф велел себе привести парную коляску: он решил ехать по шоссе, а не по железной дороге, которая ему не менее отелей надоела; в продолжение своей жизни он проехал по ним десятки тысяч верст, и с тех пор, как они вошли в общее употребление, для него вся прелесть путешествия пропала. «Так птиц только можно возить, а не людей!» — говорил он почти каждый раз, входя в узенькое отделение вагона.

Выбравшись с петербургской мостовой, извозчик поехал довольно быстрой рысью. Бегушев не без удовольствия покачивался в спокойном фаэтоне: в настоящие ми-

нуты он был хоть и не в веселом, то, по крайней мере, в довольно покойном расположении духа, и мысли его мало-помалу устремились на воспоминание о Домне Осиповне: то, что она теперь делала и какого рода жизнь вела, ему и вообразить было противно, но у него существовало прошедшее с Домной Осиповной, и хорошее прошедшее. Если бы эта прежняя Домна Осиповна в настоящую минуту сидела около него в экипаже — пусть бы даже так же глупо, как сидела она некогда, ехавши с ним по Москве на обед к Янсутскому,— то Бегушеву и тогда было бы приятно. До ссоры с Домной Осиповной он видел в ней единственную цель всей своей жизни, а теперь что же у него осталось? — Ничего!..

Когда Бегушев подъехал к даче Тюменева, то был немного удивлен, что на террасе никого не было. Обыкновенно в этот час Тюменев и Мерова всегда сидели на ней. Он хотел через дверь террасы пройти во внутренние комнаты, но она оказалась запертою. Бегушев пошел через двор.

— Господа дома? — крикнул он мывшей там посуду кухарке, должно быть, чухонке и безобразнейшей на вид.

— Не знаю, спросите курьера — он там! — отвечала она, показывая мочалкой на вход с крыльца.

Бегушев вошел в эту дверь. Там его действительно встретил курьер.

— Ефим Федорович у себя? — спросил Бегушев.

— Сейчас доложу-с!.. Потрудитесь пожаловать в гостиную! — отвечал курьер и указал на смежную комнату. Бегушев вошел туда. Это была приемная комната, какие обыкновенно бывают на дачах. Курьер скоро возвратился и просил Бегушева пожаловать к Ефиму Федоровичу наверх. Тот пошел за ним и застал приятеля сидящим около своего письменного стола в халате, что весьма редко было с Тюменевым. К озлобленному выражению лица своего Тюменев на этот раз присоединил важничанье и обычное ему топорщенье.

— Очень рад, что ты приехал! — сказал он, с заметным чувством пожимая руку Бегушеву.

Тот сел напротив него.

— Ты один на даче? — спросил он.

— Один!

— А где же Елизавета Николаевна?

— Елизавета Николаевна сбежала от меня,— отвечал с презрительной улыбкой Тюменев.

— Куда?

— Не знаю!

— Но жива ли она? Не случилось ли с ней чего-нибудь? — проговорил с беспокойством Бегушев.

— Ничего не случилось! — произнес Тюменев.

Презрительная и злая усмешка не сходила с его рта.

— Стало быть, она и ночевать не приезжала? — расспрашивал Бегушев.

— Нет, я ее ждал в одиннадцать часов, в двенадцать, в два часа, в четыре часа!.. Можешь себе представить, что я перечувствовал... Наконец, утомленный, только что задремал, как получил от нее телеграмму.

При этих словах Тюменев пододвинул к Бегушеву лежавшую на столе телеграмму.

Тот прочел.

Мерова коротко телеграфировала: «Не ищите меня,— я полюбила другого».

— Во-первых, какое бесстыдство телеграфировать о себе подобные известия,— продолжал Тюменев,— и потом, кого она могла полюбить другого?.. Кого!

— Может быть, и полюбила кого-нибудь!..— сказал Бегушев.— У тебя кто часто бывал на даче?

— Кроме тебя — никого!

— А молодой человек Мильшинский бывал у вас?

— Мильшинский?..— переспросил Тюменев, и мозг его как бы осветился уразумением.— Он тут часто торчал у решетки, но на дачу я его не принимал. К чему, однако, ты сделал этот вопрос?

— Так, ни к чему! — отвечал Бегушев; ему стало совестно,— точно он сплетничает.

— Постой, однако,— ты дал мне путеводную нить! — сказал Тюменев и позвонил.

Вошел курьер.

— Сходи на дачу восьмой номер и спроси: там ли еще живет Мильшинский?..— приказал Тюменев.

Курьер пошел. Тюменев с заметным нетерпением поджидал его. Курьер, впрочем, очень скоро воротился и доложил, что Мильшинский переехал с дачи в Петербург.

Тюменев злобно засмеялся и махнул курьеру рукой, чтобы он уходил.

Курьер скрылся.

— Как вам это покажется, а?.. Хороша?..— обратился Тюменев к Бегушеву.— На днях только я выпустил этого негодяя из службы и очень рад был тому, так как он был никуда и ни на что не годный чиновник; но, признаюсь, теперь жалею: останься он у меня, я давнул бы его порядком за эту проделку!

Последние слова Тюменева очень не понравились Бегушеву.

— Что это, какая мелочность! — произнес он.

— Будешь мелочен! — воскликнул Тюменев, и у него при этом маленькая белая пенка показалась по краям губ.— Но он еще черт с ним! Я его меньше виню... Главное — Мерова!.. Чего я для нее ни делал?.. Я жертвовал для нее всеми приличиями, деньгами, временем, хлопотал о ее негодяе-родителе... она ничего этого не оценила и предпочла мне — кого же?.. Дрянь какую-то, ничтожество... Говоря откровенно, я очень рад, что она избавила меня от себя, потому что, кроме того что нравственно, но она физически меня мучила: готова была швырнуть в меня чем ни попало... царапала меня!.. Последнее время я целые ночи не спал и должен был или препираться с ней, или успокоивать ее!

Бегушев слушал приятеля молча: он очень хорошо понимал, что в Тюменеве не столько было огорчено чувство любви, сколько уязвлено самолюбие.

— А где же отец ее, граф Хвостиков? — спросил он.

— Уехал отыскивать ее в Петербург!.. Любопытно, где он ее найдет? В доме терпимости, может быть, каком-нибудь!.. Скоро, вероятно, вернется и разрешит наши сомнения! — проговорил Тюменев и потом вдруг переменил разговор: — Ты знаешь, я уезжаю за границу — на воды!

— Но не поздно ли теперь на воды? — заметил Бегушев.

— Может быть, и поздно; но мне неловко оставаться здесь, а особенно если Мерова убежала с Мильшинским!.. Это, конечно, известно во всем министерстве, и я в глазах всех являюсь каким-то дураком!.. Пускай хоть время немного попройдет!

— Не стариком ли скорей, чем дураком!..— заметил Бегушев.

— Но и то нелестно!.. — отвечал Тюменев.

К обеду возвратился граф Хвостиков. На него жаль было смотреть: он как сел на поставленный ему стул перед

прибором на столе, так сейчас же склонил свою голову на руки и заплакал.

— Разыскали? — спросил Тюменев безжалостным и грубым тоном.

— Да!

— В Петербурге она?

— Нет!.. Уехала!

— Одна?

— С этим чиновничком, Мильшинским.

— Куда?

— Не знаю.

— Прелестнейшая женщина!.. Превосходная!.. — говорил Тюменев. Гнев снова воскрес в его душе.

Граф Хвостиков ничего уж не говорил на этот раз в защиту дочери.

Тюменев после того отнесся к Бегушеву:

— Значит, мы в одно время уедем из Петербурга: ты покатишь в Москву, а я за границу!

Слова эти граф Хвостиков прослушал, как бы приговоренный к смертной казни, и когда Бегушев взялся за шляпу, чтобы уезжать, он, с заметным усилием над собой, подошел к нему и робко спросил его:

— Не довезете ли вы меня, Александр Иванович, до Петербурга?.. Мне надобно там сделать распоряжение об оставленном по разным местам гардеробе дочери!

Тот, конечно, не отказал ему. При прощанье Тюменев с Бегушевым нежно расцеловался, а графу протянул только руку и даже не сказал ему: «До свиданья!» По отъезде их он немедленно ушел в свой кабинет и стал внимательно разбирать свои бумаги и вещи: «прямолинейность» и плотный мозг Ефима Федоровича совершенно уже восторжествовали над всеми ощущениями. Граф Хвостиков, едучи в это время с Бегушевым, опять принялся плакать.

— Перестаньте! Что за малодушие! — сказал тот не без досады.

— Но вы поймите мое положение,— начал граф.— Тюменев уезжает за границу, да если бы и не уезжал, так мне оставаться у него нельзя!.. Это не человек, а вот что!..— И Хвостиков постучал при этом по железной пластинке коляски.— Я вполне понимаю дочь мою, что она оставила его, и не укоряю ее нисколько за то; однако что

же мне с собой осталось делать?.. Приехать вот с вами в Петербург и прямо в Неву!

Бегушеву сделалось жаль его.

— Зачем же в Неву?.. Поезжайте лучше со мной в Москву и поживите у меня!.. — проговорил он.

— Неужели?.. Нет... Не может быть!..— воскликнул граф, и у него голос даже захлебывался от радости.

— Только вы на меня не претендуйте, я сам тоже старик и капризен! — прибавил ему Бегушев.

— Ах, боже мой!.. Мне быть на вас в претензии за все ваши благодеяния, когда все меня кинули, все!..

И слезы, как их ни старался удержать граф, снова заискрились на его глазах, и он только старался поскорее их смигнуть, чтобы не сердить ими Бегушева. Собственно, под распоряжением по гардеробу дочери Хвостиков разумел то, что, собрав оставленные ею вещи и платья в городской квартире Тюменева, продал их за бесценок!

Глава IX

Через несколько дней на станцию Московской железной дороги к вечернему экстренному поезду приехал Бегушев вместе с графом Хвостиковым, и когда он стал было брать два билета, граф вдруг воскликнул:

— Пожалуйста, берите один билет, а я возьму себе!

— Что за вздор! — возразил тот.

— Ну, если непременно хотите, так возьмите мне, по крайней мере, во втором классе; в нем едет один мой знакомый, и мне с ним переговорить нужно!

Бегушев взял графу во втором классе, не понимая, отчего в том вдруг такая расчетливость явилась. Граф Хвостиков, получив билет, мгновенно скрылся из вокзала.

Все это скоро объяснилось: когда Бегушев после второго звонка вошел в вагон, то на самых первых шагах увидал кузена своего — генерала Трахова. Понятно, что граф Хвостиков, сообразивший, что Трахов непременно поедет в первом классе, от него удирал, считая генерала злейшим врагом себе за то, что тот откровенно написал о нем Тюменеву. Встретя кузена, Бегушев сначала сделал довольную мину, но потом переменил ее на сердитую, вследствие того, что вместе с генералом ехала и супруга его, m-me Трахова... Здесь я должен оговориться, что этим именем сию даму никто никогда не называл, и все

именовали ее Татьяной Васильевной, даже мужу ее давали иногда титул не генерала Трахова, а мужа Татьяны Васильевны,— до такой степени она была лицо распространенное.

Как ни было неприятно Бегушеву, однако он уселся рядом с своими родственниками. Татьяна Васильевна сначала осмотрела его с головы до ног, а затем не преминула обратиться к нему с упреком:

— Я вас тысячу лет не видала и только мельком иногда слышу об вас!

— Уж не тысячу же лет,— возразил Бегушев.

— Немного меньше!.. Впрочем, нынешний год мы не видимся даже и с вашим другом, Ефимом Федоровичем Тюменевым.

— Теперь, вероятно, вы будете опять скоро видаться с ним,— проговорил с улыбкой Бегушев.

— Вы думаете?..— спросил с радостью генерал.— Поэтому вы говорили ему, убедили его?

— Нет, но по другим обстоятельствам я это предполагаю.

Татьяна Васильевна внимательно прислушивалась к их разговору.

Если бы Бегушева спросили, чтобы он сказал, какая, по его мнению, самая противная и несносная женщина в России, то он, конечно бы, не задумавшись, указал на свою кузину, которая тоже, в свою очередь, не прилюбливала его. По происхождению своему Татьяна Васильевна была дочь некогда известного масона, богача и скупца, и в молодости она до приторности сладким языком писала сентиментально-нравственные повести. Сделавшись дамою, Татьяна Васильевна пыталась было играть роль в наших государственных и дипломатических кружках, но тут у ней не вытанцовывалось, и она, перейдя в оппозицию, устремилась в православие: устроила у себя домовую церковь, наняла священника и ежедневно выстаивала заутреню, обедню и даже вечерню. Последнее время Татьяна Васильевна, по преимуществу, витала в области спиритизма. Благодаря всем этим штучкам она слыла в обществе за женщину очень умную и в высокой степени нравственную, хотя в этом отношении, кажется, никогда не могло и быть ей опасности, так как Татьяна Васильевна с самых юных лет одновременно походила на лягушку и на сову, вечно была с флюсом то на одной щеке, то на другой, вечно

пахнула какими-то аптекарскими травами, мазями и вообще, как говорил про нее Бегушев, она принадлежала не к женщинам, а к каким-то бесполым существам, потому что не представляла в себе никаких женских признаков. Будь на месте генерала другой человек, он давно бы убежал от Татьяны Васильевны на край света, утопился бы, удавился; но он, в силу своего превосходного пищеварения, как будто бы не видел ее безобразия, не чувствовал ее злого характера, и только одно его очень уедало: это ее философствование. Что касается до Тюменева, то почти положительно можно сказать, что Татьяна Васильевна была влюблена в него или, по крайней мере, она долгое время и с большим увлечением считала его идеалом всех мужчин. Тюменев же, действительно весьма часто бывавший у Траховых, делал это вначале чисто по служебному расчету, чтобы показывать себя в известном, высшем слое общества, а потом у него это обратилось в привычку; кроме того, Татьяна Васильевна очень уж ему и льстила.

— Вы, кузен, предполагаете, что Тюменев опять будет посещать нас; но он сказал вам, *за что* я на него сердита? — спросила Татьяна Васильевна, сделав сильное ударение на слове *за что.*

— Муж ваш мне говорил, что вы сердитесь на Тюменева за его дурное поведение.

— Более чем дурное,— ужасное, совершенно непонятное для меня в нем; но, без сомнения, вы в этом случае не будете со мной согласны!

— Совершенно не согласен,— отвечал Бегушев и, видя, что кузина начинает посерживаться, решился еще более ее разозлить: — А мы тогда, кузен, с вами в Париже очень недурно позавтракали у Адольфа Пеле!..— отнесся он вдруг к генералу.

— Отлично!.. Превосходно!..— подхватил было тот с одушевлением, но, вспомнив о присутствии супруги, мгновенно смолк.

Татьяна Васильевна терпеть не могла гастрономических восторгов мужа и с отвращением всегда говорила, что он не для того ест, чтобы жить, но для того живет, чтобы есть. С приближением к Любаньской станции генерал, впрочем, не вытерпел и, как-то особенным образом встрепенувшись и взяв Бегушева за руку, проговорил ему почти нежным голосом:

— Вы пойдете со мной поужинать?

— Непременно! — утешил его тот.

Когда поезд остановился, они отправились в вокзал.

— Пришли мне чаю! — приказала Татьяна Васильевна мужу.

— А хлеба белого хотите?..— спросил он ее.

— Нет, я с просфорой буду пить!

Войдя в вокзал, генерал прежде всего исполнил приказание супруги и отправил к ней в вагон огромный чайник чая с приличным количеством сахара.

— Татьяна Васильевна по-прежнему любит чай? — спросил его Бегушев.

— Целые ведра его выпивает с своими монахами, — отвечал генерал, махнув рукой, и быстро устремился к главному буфетчику.

— Готово? — спросил он.

— Готово-с! — отвечал тот, показывая на стоявшее особняком закрытое блюдо.

Генерал и Бегушев сели около этого блюда. Оказалось, что там была мерная, жирная разварная стерлядь.

— Когда вы успели заказать это? — поинтересовался Бегушев.

— По телеграфу!.. Выезжая, дал знать, чтобы заранее приготовили: нельзя же есть эту дрянь, которая стоит у них на столах! — отвечал генерал.

По возвращении в вагон они нашли Татьяну Васильевну выпившую чашки четыре крепчайшего чая и потому пришедшую несколько в экзальтированное состояние.

— Александр Иванович, сядьте со мной рядом, а муж пусть пересядет к окну! — распорядилась она.

Бегушев поуперся было, но генерал, согласно приказанию супруги, занял его место, так что Бегушев по необходимости должен был сесть рядом с Татьяной Васильевной и при этом тщательно старался, чтобы ни одной точкой своего платья не прикоснуться к ней. Татьяна Васильевна хотела серьезно побеседовать с Бегушевым, потому что хоть и не любила его, но все-таки считала за человека далеко не дюжинного,— напротив, за очень даже умного, много видевшего, но, к сожалению, не просвещенного истинно; и с каким бы удовольствием она внесла в его душу луч истинного просвещения, если бы только он сам захотел того!

Прежде всего она начала с ним разговаривать об Европе.

— А вы и нынешний год не утерпели и были в этой Европе?

Татьяна Васильевна обыкновенно никогда не говорила: Париж, Лондон, Франция, Германия,— все это было для нее безразлично, и она, совершенно соглашаясь с довольно ходячим мнением, считала, что весь Запад гниет или даже уже сгнил!

— Был в этой Европе,— отвечал ей насмешливо Бегушев.

Он, как мы знаем, далеко не был большим поклонником Европы, но перед Татьяной Васильевной, назло ей, хвалил безусловно все существующее там.

— Удивляюсь вам! — сказала она.

— Отчего ж вы мужу вашему не удивляетесь? — заметил Бегушев.— Он тоже был за границей, и еще дольше меня!

Генерал сделал Бегушеву легонький знак рукою и глазами, но тот как будто бы этого не видел.

— Я на мужа давно махнула рукой! — произнесла Татьяна Васильевна.

Она, в самом деле, давно считала генерала за дурака набитого и безвозвратно падшего нравственно.

— Но неужели же Москва, куда мы теперь едем, лучше больших европейских городов? — поддразнивал ее Бегушев.

— Москва!.. Наша Москва? — воскликнула Татьяна Васильевна.— Это город святыни нашей!.. Город народа!..

— Но таких святых и народных городов, по-своему, конечно, и в Европе много!

— И вы полагаете, что мы и европейцы — одно и то же?

— Полагаю!.. С тою только разницей, что те племена постарше нас, поумней и больше нашего сделали!

— Те?..— произнесла Татьяна Васильевна и далее говорить не могла: у ней прервался голос.

— Те!..— повторил Бегушев, и хоть в это время генерал уж толкал его ногой, умоляя не сердить больше Татьяны Васильевны, он, однако, продолжал: — Насчет этого существуют довольно меткие афоризмы.

— Какие? — спросила Татьяна Васильевна.

— Такие, что... Где немец, там интрига...

Татьяна Васильевна в знак согласия мотнула головой.

— Где француз, там фраза!

Татьяна Васильевна и на это одобрительно кивнула головой.

— Где поляк, там лесть!

Татьяна Васильевна и это выслушала благосклонно.

— Где англичанин, там лукавство и корысть!

— Так!.. Так!..— произнесла она с восторгом.— И послушайте, вот что мне рассказывал один священник,— продолжала она с одушевлением.— Раз его призвали к умирающему человеку — очень хорошему, честному, самобытному, но, к несчастью, неверующему!..— Тут Татьяна Васильевна сделала на груди небольшое крестное знамение.— Священник стал увещевать его и говорить ему: «Причаститесь, иначе вы лишитесь царствия небесного!»— «Царствия небесного нет!» — закричал несчастный.— Татьяна Васильевна снова слегка перекрестилась.— «А если бы оно было, так англичане давно бы туда пробрались и заняли бы все места!» — Не правда ли, что как ни безумны эти слова, но они ярко и верно характеризуют англичан?

— Да, конечно! — отвечал вежливо Бегушев.— Но вы позволите, однако, мне продолжать мои афоризмы?

— Даже прошу вас о том! — разрешила ему Татьяна Васильевна.

— Где итальянец, там le soleil и far niente![1].

— Так!..— согласилась и с этим Татьяна Васильевна.

— Где русский...

— Слушаю!.. Слушаю!..— произнесла Татьяна Васильевна, навастривая уши.

— Где русский, там либо «терпи», либо «авось»!

Татьяна Васильевна задумалась над ответом Бегушева; главным образом она недоумевала, что это такое: порицание или сожаление?

— Что вы хотели сказать последним афоризмом? — спросила она.

— Право, не знаю, не я автор этих изречений,— отвечал Бегушев.

— Ну, это неправда,— вы автор; во всяком случае я все-таки вижу, что Россия, по-вашему, лучше Европы!

— Нет, хуже! — возразил Бегушев.

— Чем?

— Хоть бы тем, что тот же спиритизм,— это великое открытие последнего времени... (Бегушев прежде еще

[1] солнце и ничегонеделание! *(франц.* и *итал.)*

слышал, что Татьяна Васильевна сильно ударилась на эту сторону),— разве Россия, а не Европа выдумала его?

— Но и не Европа, а Америка! — воскликнула Татьяна Васильевна; к Америке она была еще несколько благосклонна и даже называла американцев, по примеру своих единомышленников: «Наши заатлантические друзья!»

— Но Америка — та же Европа. Это все переселенцы европейские! — заметил Бегушев.

— Да, но какие переселенцы! — произнесла Татьяна Васильевна, прищуривая свои золотушные глаза.— Это все сектанты, не хотевшие, чтобы церковь была подчинена государству, не признававшие ни папы, ни Лютера!

— Я скорее полагаю, что это просто были люди беспорядка — антигосударственники.

— А вы думаете, что я за государство? Что я государственница? — спросила Татьяна Васильевна каким-то уж торжественным тоном.— Впрочем, об этом не время и не место говорить!

— Кажется! — произнес, грустно усмехаясь, генерал.

— Но зато, вот видите, муж ваш — чистейший государственник! — указал на генерала Бегушев.

— Он, я думаю, ни то, ни другое! — отозвалась с презрительной гримасой Татьяна Васильевна.

— Нет, я — государственник! — возразил генерал, начинавший не на шутку сердиться на Бегушева, что тот болтал всю эту чепуху с его супругой, которую Трахов, в свою очередь, тоже считал дурой, но только ученой и начитанной. В настоящий момент, когда разговор коснулся государства, генерал более всего боялся, чтобы речь как-нибудь не зашла о Петре Великом,— пункт, на котором Татьяна Васильевна была почти помешана и обыкновенно во всеуслышание объявляла, что она с детских лет все, что писалось о Петре Великом, обыкновенно закалывала булавкою и не читала! «Поэтому вы не знаете деяний Петра?»— осмеливались ей замечать некоторые.— «Знаю!»— восклицала Татьяна Васильевна и затем начинала говорить часа два — три... На этот раз она, слава богу, о Петре не вспомнила, может быть потому, что в голове ее вдруг мелькнула мысль, что нельзя ли Бегушева обратить к спиритизму, так как он перед тем только сказал, что это учение есть великое открытие нашего времени!

— А что, скажите, как поживает спиритизм в Париже? — спросила она сначала издалека и как бы в шутку.

— Не знаю, я что-то там с ним не встречался! — отвечал Бегушев.— Не правда ли, кузен, мы не встречались в Париже с спиритизмом! — обратился он к генералу.

Тот обмер.

— Нет, я там бывал на нескольких сеансах спиритов,— пробормотал он.

— Он бывал на сеансах...— повторила за мужем Татьяна Васильевна.— Расскажи, что ты там видел?

Генерал поставлен был в отчаянное положение: он, как справедливо говорил Бегушев, нигде не встречался с спиритизмом; но, возвратясь в Россию и желая угодить жене, рассказал ей все, что пробегал в газетах о спиритических опытах, и, разумеется, только то, что говорилось в пользу их.

— Что ты видел, рассказывай! — повторила Татьяна Васильевна.

— Видел я женскую руку и плечи,— начал он.

— Женских рук и плеч мы с вами, кузен, много видели; но, сколько помнится, все это были живые и на земле существующие! — заметил Бегушев.

Генерал чуть не провалился на месте.

— Бегушев, не забывайтесь,— вы знаете, что я терпеть не могу этого! — сказала строго Татьяна Васильевна.

— Чего этого? — спросил Бегушев.

— Ну, будет! Пожалуйста, не развивайте далее. Говори, что ты еще видел! — повторила она снова мужу.

— Еще видел я... видел летающие гитары! — бухнул тот на авось.

— Нет, постойте, этого вы не могли, кузен, видеть: это было в Лондоне! — остановил его Бегушев.

— Точно то же было и в Париже! — вздумал было возразить генерал.

— Не говори неправду: это было только в Лондоне! — объявила ему супруга.

— Я, наконец, перезабыл, где и что видел,— этому столько времени прошло! — произнес генерал с досадой.

— И подобные вещи можно забывать!.. Забывать могут!..— воскликнула Татьяна Васильевна.— Стыдись!.. Это простительно такому неверующему ни во что, как Бегушев, а не тебе!

Генерал постоянно притворялся перед женой и выдавал себя за искреннего последователя спиритизма.

— Почему же вы меня считаете совершенно неверующим? — спросил Бегушев по наружности смиренным и покорным голосом.

— Потому что спиритизм отыскивает сердца простые, а не такие, как ваше!

— Мое сердце точно такое же, как у Тюменева! — возразил Бегушев.

— Теперь — да! — оно такое же, но прежде сердца ваши были разные! — произнесла знаменательно Татьяна Васильевна.— Ефим Федорович верит искренне в спиритизм!

Тюменев, в самом деле, всегда очень терпеливо выслушивал Татьяну Васильевну, когда она по целым часам развивала перед ним всевозможные объяснения спиритических явлений.

— Если бы я и неверующий был, то согласитесь, что могу сделаться и верующим: уверовал же Савл во Христа,— говорил Бегушев, как бы угадывая тайное намерение Татьяны Васильевны посвятить его в адепты спиритизма.

Золотушные глаза той при этом заблистали.

— Вы правду это говорите или нет? — спросила она.

— Как кажется мне, что правду,— отвечал Бегушев уже уклончиво.

— В таком случае вот видите что,— произнесла Татьяна Васильевна, энергически повертываясь лицом к Бегушеву на своем длинном кресле, на котором она до того полулежала, вся обернутая пледами, и при этом ее повороте от нее распространился запах камфары на весь вагон.— Поедемте вместе со мной на будущее лето по этой ненавистной мне Европе: я вас введу во все спиритические общества, и вы, может быть, в самом деле уверуете!..

— Пожалуй!.. — согласился Бегушев, бывший, как мы видели, в этот вечер в давно уже небывалом у него веселом настроении и даже не на шутку подумавший, что было бы очень забавно прокатиться по Европе с смешной кузиной и поближе посмотреть спиритов. Он этого нового шарлатанства человечества не знал еще в подробностях.

— Не верь, ma chère, не поедет!.. Он в Париже даже скучал, а поедет он с тобой!..— неосторожно проговорился генерал: он по опыту знал, каково было путешествовать с его супругой.

— С тобой он скучал, а со мной не будет! Не правда ли? — спросила Татьяна Васильевна Бегушева.

— Конечно,— подтвердил тот и потом вдруг встал: ему уж надоело дурачиться.

— До свиданья! — сказал он.

— Куда же вы? — спросила Татьяна Васильевна почти с испугом.

— Спать хочу!

— При таком интересном разговоре... спать идти,— возразила обиженным голосом Татьяна Васильевна.

— Разговор очень интересен, но спать все-таки надо.

— А если вы такой любитель сна, то я вас не возьму с собой в Европу!

— Очень жаль! — сказал Бегушев и перешел на самое отдаленное кресло.

Генерал в душе благодарил бога, что разговор между Бегушевым и его супругой кончился, не приняв чересчур острого характера.

Бегушев, улегшись на кресло, притворился, что заснул, а Татьяна Васильевна начала читать духовный журнал, чем она постоянно утешала себя, встречая в людях или неблагодарность, или непонимание.

Поутру генерал, отличным образом проспавши всю ночь и видя, что Татьяна Васильевна, измученная чтением, наконец, заснула, пошел пить кофе и даже разбудил для этого Бегушева.

Тот пошел с ним.

— Вы до Москвы только едете? — спросил Бегушев генерала, когда они уселись за стол.

— Нет, до Троицы,— жена там говеть будет.

— И вы будете говеть?

— Буду, конечно!

Все это генерал говорил очень невеселым голосом.

В московском вокзале Татьяну Васильевну встретили: грязный монах с трясущейся головой, к которому она подошла к благословению и потом поцеловала его руку, квартальный надзиратель, почтительно приложивший руку к фуражке, и толстый мужик — вероятно деревенский староста; все они сообща ее и генерала усадили в карету. С кузеном своим Татьяна Васильевна даже не простилась — до того она рассердилась на него за быстро прерванный им накануне разговор.

Глава X

Вскоре по возвращении Бегушева в Москву у него в доме, сверх графа Хвостикова, появилась еще новая жилица. В самый первый день, как он приехал и едва только успел немного отдохнуть с дороги, к нему вошел Прокофий и с глупо-глубокомысленным видом проговорил:

— Ваша сестрица Аделаида Ивановна здесь!

— Ты почему знаешь?

— Они с месяц еще тому назад заезжали и приказывали, чтобы когда вы приедете, прислать им сказать.

— Где ж она живет? — спросил Бегушев.

— Да тут... так... в каких-то комнатках, у дьячка.

— У какого дьячка?

— Как этот приход, не помню... недалеко от нас!.. Зеленая этакая церковь...— бестолково объяснил Прокофий.

— Но зачем сестра приехала сюда?

Прокофий придал еще более глубокомысленное выражение своему лицу.

— Надо быть, для свиданья с вами, и там тоже... Мало ли что они говорили, разве их разберешь!

— Поздравляю!.. Слов человеческих начинаешь уж не понимать!..— сказал Бегушев.— Поди, позови ко мне Минодору, она толковей тебя расскажет.

Прокофий, по обыкновению, обиделся.

— Что ж толковей!.. Разве женщина может быть супротив мужчины,— проговорил он недовольным тоном.

— Позови,— повторил свое приказание Бегушев.

Прокофий нехотя пошел.

— Поди, барин тебя зовет,— сказал он жене, и когда та пошла, произнес ей насмешливо вслед: — Докладчицу какую нашел себе, ишь ты!

Минодора объяснила Бегушеву, что Аделаида Ивановна приехала в Москву по делам своим.

— Я недавно у них была,— рассказывала она,— и Аделаида Ивановна сами мне говорили, что они в хозяйстве своем очень расстроились: запашку, какая у них была,— мужики не слушаются, не запахивают; дом тоже очень ветх... боятся, чтобы пол или потолок не провалился.

— Отчего она в мою усадьбу не переедет... там все новое.

— Церемонятся!.. Не желают вас стеснить... Окромя того,— это уж их Маремьяша по секрету мне сказала,—

что Аделаида Ивановна приехала сюда долги собирать: им очень многие должны!

— Ох, уж мне эти долги ей! — произнес с досадой Бегушев и застучал ногой.

— И, здесь живя, очень нуждаются,— заключила Минодора.

Бегушев продолжал стучать ногою.

— Так как ты знаешь, где сестра живет, то после обеда вели заложить карету и поезжай за ней.

— Слушаю-с! — сказала Минодора и ушла.

Аделаида Ивановна — родная сестра Бегушева—была лет на десять старше его. Он ее очень любил, но в то же время она выводила его иногда совершенно из терпения: из очень значительного родительского наследства Бегушев отделил Аделаиде Ивановне втрое более, чем ей следовало, и впоследствии благодарил бога, что не отдал ей половины, как он думал вначале,— Аделаиде Ивановне нисколько бы это не послужило в пользу! По всему существу своему Аделаида Ивановна была кротчайшее и добрейшее существо в мире: хорошо для своего времени образованная, чувствительная, сентиментальная, превосходная музыкантша — и не по ученью, а по природному дарованию,— она очень также любила поля, луга, цветы, ручейки и всех почти животных. Замуж Аделаида Ивановна не пошла, хоть и были у ней женихи, не потому, чтобы она ненавидела мужчин,— о, нет! — она многих из них уважала, с большим удовольствием и не без некоторого кокетства беседовала с ними, но в то же время как-то побаивалась, а еще более того стыдилась их. Главною же страстью Аделаиды Ивановны было ее стремление к знакомству и даже к дружбе хоть и с захудалыми, но всетаки аристократическими семействами. Это более всего бесило Бегушева. «Какой ты интерес видишь в этой затхлой среде?» — восклицал он, когда она начинала бесконечно длинное повествование о ком-нибудь из своих друзей.

При таком восклицании брата Аделаида Ивановна вспыхивала, конфузилась очень... «Il était hors de lui dans ce moment» [1],— говорила она потом по секрету некоторым своим подругам. Собственно для этих знакомых Аделаида Ивановна жила по зимам в Москве, сама их посе-

[1] Он был вне себя в этот момент, *(франц.)*

щала, они ее посещали, уверяли в уважении и любви и вместе с тем занимали у ней деньги. Аделаида Ивановна с наслаждением отсыпала им все, сколько у нее было, и в прежнее время некоторые из этих знакомых возвращали ей вполне всю сумму, а другие аккуратно платили проценты, причем Аделаида Ивановна отнекивалась, зажимала себе уши, и ее почти силою надо было заставить взять деньги. Но с отменою крепостного права, этого единственного источника благосостояния для многих дворян, она не стала получать от своих высокоблагородных знакомых ни капиталов, ни процентов, а между тем в этих розданных ею деньгах заключалось почти все ее состояние, так что Аделаида Ивановна вынужденною нашлась на безукоризненно правильном французском языке и в самых мягких выражениях напомнить своим должникам об уплате ей хотя частички; но ни от кого из них она и ответа даже не получила. Брату Аделаида Ивановна долго не объясняла своего положения, наконец, решилась и написала ему все откровенно. Бегушев, заранее это предчувствовавший, выслал ей денег, присовокупив к тому, что если и впредь она будет нуждаться, так не стеснялась бы и относилась к нему; но Аделаида Ивановна редко его обременяла и перебивалась кое-как!.. Из слов Минодоры Бегушев понял, что у сестры очень тонко, и ему пришло в голову взять к себе Аделаиду Ивановну и поселить ее в своем московском доме до конца дней. Графа Хвостикова он тоже решился держать до конца дней.

Часов в восемь Минодора привезла в карете Аделаиду Ивановну, которая после езды на тряских извозчичьих пролетках с удовольствием проехалась в покойном экипаже. Минодора, выскочив первая, почтительно высадила ее из кареты. Аделаида Ивановна хоть и совершенно уже была старушка, но еще довольно свежая, благообразная, несколько похожая на брата,— росту небольшого, кругленькая, с белыми пухленькими ручками, которые все унизаны были на пальцах кольцами, носимыми по разным дорогим для нее воспоминаниям: одно кольцо было покойной матери, другое тетки, третье подруги, четвертое — с раки Митрофания. Одета Аделаида Ивановна была несколько по-старинному, но чопорно и со вкусом. Минодора хотела было вести ее под руку на лестницу.

— Нет, нет, голубушка, не трудись! — сказала кротким голосом Аделаида Ивановна.



«МЕЩАНЕ».



«МЕЩАНЕ».

То, что она становится стара и слаба, Аделаида Ивановна тщательно скрывала от всех, не желая никому быть в тягость.

Встреченная Бегушевым в гостиной, она бросилась ему на шею и начала целовать его.

— Брат и друг, как я счастлива, что вижу тебя! — повторяла она неоднократно.

Бегушев поспешил ее усадить в покойное кресло.

— Ну что, здоров ли ты? — говорила старушка, ласково-ласково смотря на него.

— Здоров! — отвечал Бегушев.

— Но похудел, и, знаешь, значительно похудел, но это хорошо, поверь мне!.. Полнота не здоровье!.. Я это чувствую по себе!.. Но ты еще молодец — смотри, какой молодец!.. Чудо что такое!

Брата своего Аделаида Ивановна находила полнейшим совершенством по уму, по благородству чувств и по наружности... О, наружность его была неотразима!.. По этому поводу она многое видела и слышала.

— Отчего ты не остановилась у меня в доме, а где-то у дьячка? — спросил ее Бегушев.

Аделаида Ивановна при этом слегка покраснела.

— Как же у тебя?.. Тебя не было!.. Ты человек холостой!.. Приехал бы, и я могла стеснить тебя.

— Никогда ты не можешь меня стеснить ни в чем! Завтра же извольте переезжать ко мне. Я тебе отведу твою прежнюю половину.

— Ах, помню я ее,— сказала Аделаида Ивановна и приостановилась ненадолго, как бы не решаясь докончить то, что ей хотелось сказать.— У меня со мной горничная здесь, Маремьяша, и ты, я думаю, знаешь, что мы не можем жить ни я без нее, ни она без меня,— объяснила она, наконец.

— Переезжай, конечно, и с Маремьяшей! — разрешил ей Бегушев, всегда, впрочем, терпеть не могший эту Маремьяшу и хорошо знавший, что это за птица.

— Вот за это merci, grand merci! [1] — произнесла старушка.— Но это еще не все,— продолжала она и при этом уж засмеялась добродушнейшим смехом,— со мной также и мои болонки... их целый десяток... прехорошенькие всё!.. Я боюсь, что они тебя будут беспокоить!

---

[1] спасибо, большое спасибо! *(франц.)*

— Чем они могут меня беспокоить,— вели только их держать на твоей половине!

— Конечно, на моей,— подхватила Аделаида Ивановна,— куда ж их, дурочек, сюда пускать, хоть я уверена, что когда ты их увидишь, особенно Партушку, ты полюбишь ее... она всеобщая любимица... я ее потому Парту и прозвала... comprenes vous? [1] Всюду и везде...

Бегушеву отчасти становилось уж и скучно слушать сестру, но та, ободренная его ласковым приемом, разболталась до бесконечности.

— А Натали-то, Натали! — говорила она, грустно покачивая головой.— Кто бы мог подумать: какая цветущая, здоровая... у меня до сих пор сохранился ее портрет.— Аделаида Ивановна некогда принимала самое живое и искреннее участие в первой любви брата.— Если ты так добр,— продолжала она далее,— что приглашаешь меня жить у тебя, то я буду с тобой совершенно откровенна: я приехала сюда, чтобы попугать некоторых господ и госпож! — Лицо старушки приняло при этом несколько лукавое выражение.— И теперь вот именно, в сию минуту, мне пришла мысль... Не знаю, одобришь ли ты ее!..— рассуждала она.— Я думаю пригласить их сюда, к тебе в дом, и в присутствии твоем спрошу их, что когда же они мне заплатят?.. Что они тогда ответят, любопытно будет!..

Лицо Аделаиды Ивановны при этом дышало окончательным лукавством; она сама в себе, в совести своей, считала себя очень лукавою, в чем и каялась даже священнику, который каждый раз ее успокоивал, говоря: «Какие-с вы лукавые, не подобает вам думать того!»

— Ответят то же, что и не в моем присутствии, то есть обманут тебя! — возразил ей Бегушев.

— О, нет, это не такие люди!.. В них point d' honneur [2] очень силен; кроме того, тебя побоятся... Они очень тебя уважают и всё рассказывали мне, что часто встречали тебя за границей и что на водах, где они видели тебя, ты будто бы постоянно гулял с какой-то прехорошенькой дамой!

И старушка засмеялась стыдливым смехом.

На этих словах Аделаиды Ивановны вдруг точно из-под земли вырос граф Хвостиков, который с самого еще

---

[1] вы понимаете? (*франц.*)
[2] чувство чести (*франц.*).

утра, как только успел умыться и переодеться с дороги, отправился гулять по Москве.

В этом отношении граф Хвостиков представлял собою весьма любопытное психическое явление: где бы он ни поселялся или, точнее сказать, где бы ни поставлена была для него кровать — в собственной ли квартире, в гостинице ли, или в каком постороннем приютившем его доме,— он немедля начинал в этом месте чувствовать скуку непреодолимую и нестерпимое желание уйти куда-нибудь в гости!

В настоящем случае Хвостиков прямо продрал на Кузнецкий мост, где купил себе дюжину фуляровых платков с напечатанными на них нимфами, поглазел в окна магазинов живописи, зашел потом в кондитерскую к Трамбле, выпил там чашку шоколада, пробежал наскоро две — три газеты и начал ломать голову, куда бы ему пробраться с визитом. Зайти к кому-нибудь из мужчин он несколько стеснялся, заранее предчувствуя, что те, вероятно, слышавшие о его все-таки прикосновенности к делу Хмурина, будут сухи с ним. Гораздо приятнее было бы к даме какой-нибудь! «К Домне Осиповне,— чего же лучше!» — пришла ему вдруг счастливая мысль, и он, не откладывая времени, вышел из кондитерской, взял извозчика и покатил в Таганку; но там ему сказали, что Домна Осиповна переехала на Никитскую в свой большой дом. Графу Хвостикову было немножко это досадно, но он решился поставить на своем и на том же извозчике отправился на Никитскую. Его приняли. Проходя новое помещение Домны Осиповны, Хвостиков увидел, что оно было гораздо больше и с лучшим вкусом убрано, чем прежде. Квартиру эту для Олуховых планировал, отделывал и даже меблировал, по своему усмотрению, Янсутский. Домна Осиповна сидела в гостиной разодетая и подкрашенная. Графу Хвостикову Домна Осиповна почему-то очень обрадовалась.

— Здравствуйте, граф, садитесь и рассказывайте! — говорила она голосом, исполненным любопытства, и показывая ему на кресло возле себя.

Граф сел и в первые минуты не знал, как себя держать: веселым или печальным.

— Послушайте,— начала Домна Осиповна,— мне Янсутский писал,— не знаю даже, верить ли тому,— что будто бы Лиза скрылась от Тюменева?

Граф понял, что ему приличнее быть печальным.

— Да-с! — ответил он и вздохнул.
— И полюбила другого?
— Другого!
— Кого?
— Одного мальчишку... не имеющего даже места.
— Сумасшедшая! — произнесла с оттенком негодования Домна Осиповна.
— Хуже, чем сумасшедшая! Она крест мой! — сказал на это граф.— Я столько последнее время перестрадал...
— В одном отношении она, по-моему, права,— перебила его Домна Осиповна,— что любить молодого человека приятнее, чем такого противного старикашку, как Тюменев; но что же делать?.. В ее положении надобно было подумать и о будущем!
— О будущем Лиза никогда не думала,— подхватил граф, сам-то пуще всего думавший когда-нибудь о будущем.— Но ваше как здоровье? — спросил он Домну Осиповну.
— Так себе, ничего!.. Дрязги у меня опять разные начались.
— С кем?
— Семейные! — Более этого Домна Осиповна ничего не объяснила и сама спросила графа: — Зачем вы в Москву приехали и где живете?
Граф грустно улыбнулся.
— Где ж мне жить, кроме Москвы, а обитаю я у Бегушева, вместе с ним и приехал из Петербурга.
— У Бегушева?..— повторила Домна Осиповна не без любопытства.
— У него!.. Его благодеяниями существую... Это такой благородный и добрейший человек!
На это замечание графа Домна Осиповна сделала небольшую гримасу.
— Что он человек благородный,— это может быть, но чтобы добрейший был, не думаю!
— И добрый!.. Его надобно хорошо узнать!
— Я его знала хорошо, но доброты в нем не замечала,— возразила с усмешкою Домна Осиповна и потом, как бы совершенно случайно, присовокупила: — Мне, не помню, кто-то рассказывал, что последнее время он поседел и постарел!
— То и другое есть!.. Страшно хандрит... невероятно.

Домне Осиповне хотелось спросить, о чем именно хандрит Бегушев, однако она удержалась; но когда граф Хвостиков стал было раскланиваться с ней, Домна Осиповна оставила его у себя обедать и в продолжение нескольких часов, которые тот еще оставался у ней, она несколько раз принималась расспрашивать его о разных пустяках, касающихся Бегушева. Граф из этого ясно понял, что она еще интересуется прежним своим другом, и не преминул начать разглагольствовать на эту тему.

— Бегушев — удивительный человек!.. Натура особенная!.. Не нам, дюжинным людям, чета.

— В чем же это особенность его видна? — спросила Домна Осиповна.

— Во всем-с! Я, в Петербурге живя, каждый день почти виделся с ним и, замечая, что он страдает и мучится, стал, наконец, усовещевать его: «Как тебе, говорю, не грех роптать на бога: ты у всех в почете... ты богат, и если с тобой бывали неприятные случаи в жизни, то они постигают всех и каждого!»— «И каждый,— говорит он, — принимает эти случаи различно: на одних они нисколько не действуют, а у других почеркивают сразу всю их жизнь!» Согласитесь вы, сказать такую мысль может только человек с байроновски глубокой душой.

Домна Осиповна слушала это, задумчиво глядя на красивые ногти своей руки.

— Словом, человек страдает о прошедшем и оплакивает его! — заключил граф.

Домна Осиповна на мгновение взяла себя за лоб.

— Очень жаль, если это так! Но только этого прошедшего не воротишь!— проговорила она.

— Почему? — спросил ее граф.

— Так, не воротишь! — повторила Домна Осиповна и не стала больше ни слова говорить о Бегушеве; но Хвостиков все-таки вынес из этого разговора твердое убеждение, что можно воротить это прошедшее и что он был бы очень рад способствовать тому!

Возвратясь домой и увидев сидящую с Бегушевым старушку, граф несколько удивился.

— Это сестра моя Адель! — пояснил ему Бегушев.

Граф Хвостиков при этом почему-то сконфузился, но потом сейчас же и поправился.

— Еще одна минута, и я бы догадался, с кем имею честь встретиться, так вы мало изменились!..— говорил

он, беря и целуя руку Аделаиды Ивановны.— Извините, я по-старинному...

Старушка сначала тоже не узнала его.

— Граф Хвостиков! — объяснил и ей Бегушев.

— А, граф Хвостиков!..— произнесла своим добрым голосом Аделаида Ивановна, не без труда припоминая, что в одну из давнишних зим, когда она жила в Москве, граф довольно часто у ней бывал и даже занял у ней двести рублей, о которых она, по незначительности суммы, никогда бы, разумеется, не решилась ему сказать; но граф, тоже не забывший этого обстоятельства, все-таки счел за лучшее подольститься к старушке.

— Ну, что ваша музыка? — спросил он.

— Музыка? — переспросила не без удовольствия Аделаида Ивановна.— Играю еще... Фортепьян только у меня хороших нет!

— Здесь Вирт превосходный! — говорил Хвостиков, показывая рукой на стоявший в гостиной рояль.— Надеюсь, что вы подарите нам несколько ваших волшебных звуков!

— Да, поиграю как-нибудь,— отвечала Аделаида Ивановна, очень довольная любезничаньем графа.

В это время вошла Минодора и доложила ей:

— Ваша Маремьяша прислала сына дьячка сказать вам, что пора домой; затемнеет очень, и вы будете бояться ехать!

— Да, да, пора!.. — заторопилась старушка.

— Но карета готова ли? — спросил Бегушев.

— Подана-с... у крыльца,— отвечала Минодора.

Аделаида Ивановна расцеловалась с братом и при этом говорила:

— Какова Маремьяша моя? Каково усердие ее?

«Хороша, нечего сказать!»— думал про себя Бегушев, а вслух проговорил Минодоре:

— Адель завтра же переезжает ко мне!.. Скажи ты это Маремьяше этой!

— Скажу-с! — отвечала та.

Старушка пошла. Граф Хвостиков провожал ее. Она было хотела не позволить ему этого, но он следовал за ней и посадил ее под руку в карету.

В продолжение всего остального вечера граф Хвостиков не решался заговорить с Бегушевым о Домне Оси-

повне, но за ужином, выпив стакана два красного вина, отважился на то.

— Я сегодня, между прочим, был и даже обедал у Домны Осиповны, которая переехала близехонько сюда, на Никитскую, в свой новый дом.

— Для чего вы так поспешили? Я не знал, что вы такие с ней друзья! — заметил Бегушев, немного вспыхнувший от слов графа.

— Мы давно с ней дружны,— отвечал тот,— и я убедился... Впрочем, я не знаю, позволишь ли ты мне быть с тобою совершенно откровенным...

— Будь! — разрешил ему Бегушев.

Краска все более и более появлялась в лице его.

— Я убедился,— продолжал граф,— что она тебя до сих пор любит!

Бегушев окончательно вспыхнул.

— А при этом других двух любит и сверх того супруга обожает! — проговорил он с ядовитостью.

— Кого ж она любит?.. Неправда! — воскликнул граф.

— Но ты сам же рассказывал дочери твоей! — уличил его Бегушев.

— Я только говорил, что за Домной Осиповной ухаживают; может быть, даже не двое, а и больше... она так еще интересна! — вывернулся граф.— Но что я наблюл и заметил в последнее свиданье, то меня решительно убеждает, что любит собственно она тебя.

— Из чего ты это наблюл и заметил? — спросил его как бы с неудовольствием Бегушев.

— Слов ее я тебе не могу передать!.. Их, если ты хочешь, и не было; но эти улыбки, полугрустный трепет в голосе, явное волнение, когда она о тебе что-нибудь расспрашивала...

— Но что ж она расспрашивала обо мне? — допытывался Бегушев: ему в одно и то же время досаден и приятен был этот разговор.

— Опять-таки тоже многое и, пожалуй, ничего не расспрашивала!

— Фантазер! — воскликнул Бегушев и, встав со своего стула, так как ужин в это время уже кончился, пошел было.

— Нет, я тебе это докажу — хочешь? — говорил ему вслед Хвостиков.

— Чем?..— спросил Бегушев, обертываясь к нему лицом.

— Тем, что помирю вас.

Бегушев махнул только на это рукой и ушел к себе в спальную.

Граф Хвостиков, оставшись один, допил все красное вино и решился непременно привести в исполнение то, что задумал.

Глава XI

Вещи Аделаиды Ивановны, как приказал Бегушев, на другой же день стали переносить к нему в дом. Прежде всего сам дьячок, у которого она квартировала, сынишка его и сторож церковный притащили на руках божницу с довольно дорогими образáми, и при этом дьячок просил доложить Бегушеву, что все они поздравляют Александра Ивановича с приездом сестрицы; но Минодора не пошла докладывать, а сама поднесла дьячку и сторожу по огромному стакану водки, которую оба они с удовольствием выпили, крякнули и пожелали закусить. Минодора дала им и закусить холодной барской кулебяки с налимами и осетровыми печенками, а маленькому семинаристу насыпала целый карман сладкого печенья. Затем вещи начали подносить один уж сторож и два поденщика с дикими, зверообразными лицами. Поденщики наши, как известно, смирный народ, но с виду очень страшны, и, главное, определить совершенно невозможно, во что они, по большей части, бывают одеты: на старшем, например, из настоящих поденщиков были худые резиновые калоши на босу ногу и дырявый полушубок, а на другом лапти и коротенькая визитка. Первоначально они притащили на головах ванны Аделаиды Ивановны — ножные, поясные, и огромный умывальник: m-lle Бегушева любила очень полоскаться в воде и каждый день почти все утро употребляла на это. За умывальником был принесен попугай в клетке старым лакеем Аделаиды Ивановны Дормидонычем, тоже обитавшим при ней и о котором она не решалась и упомянуть брату. Дормидоныч, по приказанию госпожи своей, прежде всего велел спросить Александра Ивановича, что позволит ли он ей взять с собой попугая, а равно и его, Дормидоныча. Бегушев на это сказал, что

она может всех и все перевозить к нему. За попугаем вскоре прибыла Маремьяша, пожилая горничная девушка, с лицом точно татуированным и испещренным черными пятнышками, но в шляпке, новом бурнусе, в перчатках и даже с зонтиком в руках. Она привела с собой на своре десять болоночек, которые, вбежав в свое новое помещение, сначала было залаяли, завизжали, но после окрика Маремьяши и после того, как она налила им на блюдечко принесенного с собой в пузырьке молока, они принялись лакать его и сейчас же стихли. Маремьяша, сколько можно это судить по ее изжелта-зеленым и беспрестанно бегающим из стороны в сторону глазам, была девка неглупая и очень плутоватая. Аделаиду Ивановну, когда та была богата, она обкрадывала сколько возможно и в настоящее время, имея уже довольно значительный капиталец, не теряла надежды поувеличить его с получением Аделаидою Ивановною долгов ее. Вскоре за Маремьяшей сторож и поденщики, опять-таки на головах, принесли огромные перины и целый ворох подушек для Аделаиды Ивановны и для Маремьяши: обе они спали всегда очень мягко!

На всю эту сцену переноски Прокофий глядел молча, но когда Дормидоныч спросил Минодору, что где же ему можно будет приютиться, и когда та ответила ему: «В комнатке около кухни», Прокофий не выдержал и воскликнул: «Али здесь в доме!.. Будет, что про вас еще и клеушков осталось». Молодые лакеи при этом захохотали. Дормидоныча это оскорбило.

— Не смейтесь, господа, может быть, и самим вам придется в клеушках жить,— проговорил он.

Прокофий собственно Аделаиду Ивановну уважал, как сестру барина, но прислугу ее считал за чистую сволочь.

Вскоре прибыла в карете Бегушева и сама Аделаида Ивановна. Она все утро объезжала чудотворные иконы и разные монастыри и везде со слезами благодарила бога, что он дал ей такого друга и брата, с которым, по приезде облобызавшись, прямо отправилась в свое отделение размещать и расставлять там вещи. За этой работой она провела часа три и так утомилась, такой сделалась замарашкой, что не решилась даже выйти к обеду и просила к себе в комнату прислать чего-нибудь. Покушав, Аделаида Ивановна легла почивать и заснула сном

младенца. Вечером Аделаида Ивановна, почувствовав себя после сна бодрой, приоделась и вышла на мужскую половину, где застала брата, по обыкновению, в диванной, а вместе с ним и графа Хвостикова, нарочно целый день не уходившего для нее из дому, чтобы еще более к ней приласкаться. Как только Аделаида Ивановна появилась, он сейчас же рассыпался перед ней мелким бесом: рассказал ей несколько городских новостей и слухов, рассмешил ее двумя — тремя обветшалыми каламбурами, а затем прямо свел речь на музыку.

— Умоляю вас хоть сегодня сыграть нам что-нибудь,— говорил он.

— Ах, нет... нет! Я сегодня еще такая усталая,— отнекивалась старушка жеманно.

— Вы нисколько не усталая, нисколько! — воскликнул граф и подал Аделаиде Ивановне руку.

Она усмехнулась, но отказаться не могла и пошла с Хвостиковым в гостиную к роялю.

Аделаида Ивановна едва только дотронулась до клавишей, как мгновенно же увлеклась, тем более, что на таком хорошем и отлично настроенном инструменте она давно не играла; из-под ее маленьких и пухленьких пальчиков полились звуки тихие, мягкие. Что, собственно, Аделаида Ивановна играла, она сама не помнила и чисто фантазировала; слушая ее, граф Хвостиков беспрестанно схватывал себя за голову и восклицал на французском языке: «Божественно, превосходно!»

Все это он проделывал кроме той цели, чтобы заставить Аделаиду Ивановну забыть о деньгах, которые он ей должен был, но он, рассчитывая на ее бесконечную доброту и женское самолюбие, мечтал снова занять у ней: изобретательность и сметка графа Хвостикова доходила в этом случае до гениальности!

Бегушев между тем, сидя один, думал о Домне Осиповне. Рассказ графа Хвостикова, что будто бы она еще любит его, не выходил у него из головы, и он все проводил параллель между нею и m-me Меровой. «Разве Домна Осиповна сделала что-нибудь подобное в отношении его, что сделала та против Тюменева? Разве она мучила его хоть сколько-нибудь капризами? Напротив! Домна Осиповна всегда старалась его умерить, когда он впадал в раздражение!.. Наконец, разве ее вина, что судьба заставила ее жить в дрянной среде, из которой, может быть,

Домна Осиповна несколько и усвоила себе; но не его ли была обязанность растолковывать ей это постепенно, не вдруг, с кротостью и настойчивостью педагога, а не рубить вдруг и сразу прекратить всякие отношения?» Какой мастер был Бегушев обвинять себя в большей части случаев жизни, мы видели это из предыдущего. Желание узнать, что есть ли хоть сотая доля правды в том, что наболтал ему Хвостиков, которому он мало верил, узнать, по крайней мере пообстоятельнее, как Домна Осиповна живет, где бывает, с кем видается,— овладевало Бегушевым все более и более. А между тем сестра его Аделаида Ивановна на другой день немножко прихворнула. Он почти обрадовался ее болезни, сообразив, что это отличный предлог ему пригласить Перехватова и выспросить его о Домне Осиповне.

— Я сейчас пошлю за доктором! — сказал он Аделаиде Ивановне.

Та, думая, что она все-таки обременяет этим брата, сначала была и руками и ногами против приглашения доктора.

— Приезд доктора, кроме твоей болезни, меня успокоит, потому что он мне скажет, чем ты, собственно, больна! — возразил Бегушев.

Аделаида Ивановна глубоко сердцем поняла брата и друга и более ему не возражала. Перехватов в то же утро приехал к Бегушеву на его пригласительную записку. Он пополнел несколько и сделался еще представительнее. Румянец по-прежнему горел на его щеках. Досадливого выражения в лице, которое у него было после потери им в банке восьми тысяч, следа не было,— может быть, потому, что Перехватов вполне успел пополнить практикой этот убыток. Костюм его на этот раз состоял из вицмундира и Владимира третьей степени на шее. Несмотря на свои молодые лета, Перехватов был ревизором каких-то больниц и, получа в последнее время сей почти генеральский крест, начал в нем ездить к своим клиентам, из которых многие (по большей части купцы) сразу же сочли нужным возвысить ему плату до десяти рублей серебром за визит.

Войдя к Бегушеву и зная оригинальность того, Перехватов не спешил его расспрашивать о том, чем он болен, и сказал только:

— Вы недавно из-за границы?

— Месяца полтора.

— Лечились там?

— Нет!

На лице Перехватова выразилось маленькое недоумение, зачем же, собственно, его Бегушев пригласил к себе.

— Не я болен, но у меня живет сестра родная, она заболела! — проговорил ему тот.

— А! — произнес доктор.— Где же я могу видеть больную?

Бегушев, сам проводив Перехватова до комнаты сестры, просил его зайти к нему и рассказать, что такое с нею.

— Непременно! — отвечал доктор и, пробыв весьма недолгое время у Аделаиды Ивановны, он прошел к Бегушеву.

— Ничего,— сказал он,— маленькая гастрическая лихорадка... Старушка, вероятно, диеты не соблюла.

Аделаида Ивановна, действительно, после скудного обеда, который она брала от дьячка, попав на изысканный стол Бегушева, с большим аппетитом и очень много кушала: несмотря на свое поэтическое и сентиментальное миросозерцание, Аделаида Ивановна, подобно брату своему, была несколько обжорлива. Бегушев не спешил платить доктору. Тот отчасти из этого, а потом и по другим признакам догадался, что ему не следовало уезжать, ради чего, не кладя, впрочем, шляпы, сел.

— А вы, собственно, совершенно здоровы или попрежнему злитесь? — спросил он Бегушева.

— Нет, теперь хандрю только и адски скучаю! — отвечал тот.

— Неужели же и Европа не поразвлекла вас нисколько?

— Напротив, еще большую нагнала хандру.

— Ах вы, обеспеченные господа! — воскликнул доктор.— Ей-богу, как посмотришь на вас... у меня много есть подобных вам пациентов... так даже мы, доктора, в нашей каторжной, работящей жизни живем лучше!

— Вероятно! — согласился Бегушев, бывший под влиянием своей главной мысли и почти не слушавший то, что ему проповедывал Перехватов.

Разговор на некоторое время прекратился; но Бегушев, наконец, не вытерпел.

— А кого вы из наших общих знакомых видаете? — спросил он.

— То есть кого же общих?..— спросил доктор, смутно, впрочем, догадавшийся, что вопрос этот исключительно касался Домны Осиповны.

О том, что как и из-за чего она рассталась с Бегушевым, он знал до мельчайших подробностей по рассказам самой Домны Осиповны, сделавшейся с ним после разлуки с Бегушевым очень дружною.

— Видаюсь я,— продолжал он,— между прочим, с Янсутским, с madame Олуховой!

При последнем имени доктор бросил коротенький взгляд на Бегушева.

— Как же она существует? — спросил тот, почти задыхавшийся от любопытства или, лучше сказать, от более сильного чувства и желавший, чтобы ему рассказывали скорее и скорее. Но доктор начал довольно издалека:

— Она была некоторое время больна; но потом поправилась было совершенно...

— А теперь что ж, опять больна?

— Нет, но у нее пошли снова дрязги с ее мужем. Это ужасный человек! Ужасный! — повторил два раза доктор.

— Напротив, он мне казался таким смиренным и покорным Домне Осиповне,— заметил Бегушев.

— Не дай бог никому таких покорных мужей! — воскликнул доктор.

— Что же, собственно, он делает? — спросил Бегушев, бывший втайне очень доволен, что Домна Осиповна ссорится с мужем.

— Кутит!.. Безобразничает!.. Этот ходатай по их делам, Грохов, опять свел его с прежнею привязанностью! Они все втроем пьянствуют; у Олухова два раза была белая горячка... Я по нескольку дней держал его в сумасшедшей рубашке! Можете вообразить себе положение Домны Осиповны: она только было поустроила свою семейную жизнь, как вдруг пошло хуже, чем когда-либо было. Я просто советую ей уехать за границу, как и сделала она это прежде.

Этому совету доктора Бегушев вначале тоже обрадовался, так как ему пришла в голову безрассудная мысль

гнаться за Домной Осиповной, куда бы только она ни поехала, и молить ее возвратить ему прошедшее.

— Я очень люблю и уважаю Домну Осиповну,— продолжал доктор как бы совершенно беспристрастным голосом,— и прямо ей говорю, что под влиянием таких неприятных и каждодневно повторяющихся впечатлений она может окончательно разбить свое здоровье.

— И что ж она... никуда не выезжает?

— Нет!.. Выезжает!

— Куда?

— Ездит иногда в Дворянское собрание, где устраиваются очень хорошенькие вечера, потом бывает в театре, гуляет по бульварам, которые от нее два шага!

Все эти слова доктора Бегушев хорошо запомнил и вместе с тем, по своей подозрительности, подумал, что зачем Перехватов, ухаживая, как говорят, за Домной Осиповной, отправляет ее за границу? Он, может быть, как некогда сделать и сам Бегушев хотел, предполагает увезти ее от мужа. Перехватов в самом деле желал удалить Домну Осиповну, но только не от мужа, а от начавшего за ней ухаживать Янсутского.

— А вы, скажите, бывали за границей? — спросил Бегушев, желая позондировать доктора в этом отношении.

— Был... Я в тамошних университетах, собственно, и готовился на степень доктора.

— Но опять съездить не думаете?

— Очень бы хотелось, но как это сделать: практика у меня большая, на кого ее оставить?

Бегушев понял, что ему от доктора больше ничего не добиться. Тому тоже пора было ехать по другим визитам. Он раскланялся.

Со следующего дня Бегушев повел совершенно несвойственную ему жизнь. Он все утра, часов с одиннадцати до пяти, гулял по бульварам, а вечером обыкновенно бывал в обоих театрах, Большом и Малом. Явно, что Бегушев ожидал где-нибудь из этих мест встретить Домну Осиповну. Ему хотелось хоть раз еще в жизни видеть ее красивое лицо. Судьба, наконец, над ним сжалилась. Просматривая однажды газету, Бегушев наткнулся на напечатанное крупными буквами объявление об имеющемся быть в скором времени танцевальном вечере в зале Дворянского собрания.

Бегушев порывисто позвонил. Вошел молодой лакей.

— Граф дома? — спросил его с нетерпением и беспокойством Бегушев.

— Дома-с! — отвечал тот.

— Зови его ко мне сию минуту!

Лакей быстро побежал наверх к графу, который, по решительному отсутствию денег, несколько дней не выходил из дома, а все время употреблял на то, что читал скабрезные французские романы, отрытые им в библиотеке Бегушева. На приглашение хозяина он немедленно сошел к нему.

— Mon cher,— сказал ему почти нежным голосом Бегушев,— в четверг бал в Дворянском собрании; мне хочется быть там, вы тоже поедете со мной. Будьте так добры, поезжайте в моих санях, возьмите два билета: себе и мне.

Бегушев при этом подал графу пятидесятирублевую бумажку.

— Но, mon cher,— воскликнул граф в свою очередь,— кроме билета, мне туалет мой не позволяет нынче бывать на балах.

— Сделайте себе туалет новый; вот вам к этим деньгам еще сто рублей!..— говорил Бегушев.

— Merci, тысячу раз merci! — говорил граф Хвостиков, с удовольствием засовывая деньги в карман.

— Ну и потом...— продолжал Бегушев, совершенно потупляясь,— не зайдете ли вы к вашему другу, Домне Осиповне, и не узнаете ли: будет она в собрании?..

— Непременно зайду!.. Я сам это думал! — подхватил граф, хотя вовсе не думал этого делать,— на том основании, что он еще прежде неоднократно забегал к Домне Осиповне, заводил с ней разговор о Бегушеве, но она ни звука не произносила при этом: тяжело ли ей было говорить о нем или просто скучно,— граф не знал, как решить!

— Только, пожалуйста, вы не скажите ей, что я вас подсылаю!

— О, mon cher, что ж ты меня за ребенка такого считаешь,— отвечал граф и уехал прямо к Домне Осиповне, а в пять часов явился аккуратно к обеду Бегушева и имел торжествующий вид.

— Будет! — сказал он лаконически, так как стеснялся присутствием Аделаиды Ивановны.

— Благодарю! — отвечал ему лаконически и Бегушев.

Но у старушки не прошли мимо ушей эти фразы. Она почти догадывалась, о ком они были сказаны.

Аделаида Ивановна давно интересовалась узнать об отношениях ее брата к m-me Олуховой, и когда ее Маремьяша, успевшая выведать у людей Бегушева все и про все, сказала ей, что Александр Иванович рассорился с этой дамой, Аделаиде Ивановне было это чрезвычайно неприятно: она очень не любила, когда люди ссорились!

Глава XII

Перед балом в Дворянском собрании Бегушев был в сильном волнении. «Ну, как Домна Осиповна не будет?» — задавал он себе вопрос и почти в ужас приходил от этой мысли. Одеваться на бал Бегушев начал часов с семи, и нельзя умолчать, что к туалету своему приложил сильное и давно им оставленное старание: он надел превосходное парижское белье, лондонский фрак и даже слегка надушился какими-то тончайшими духами. Графу Хвостикову Бегушев объявил, чтобы тот непременно был готов к половине девятого.

— Но зачем же так рано? — возразил было граф.

— Я всегда люблю рано приезжать! — сказал ему сурово Бегушев; но в сущности он спешил быть в собрании, чтобы не прозевать Домны Осиповны, а то, пожалуй, он разойдется с ней и не встретится целый вечер.

Приехав с графом Хвостиковым в собрание, Бегушев остановился в первой же со входа комнате и сел на стул около самых входных дверей.

— Ты тут останешься? — спросил его граф, начинавший догадываться о тайной мысли Бегушева.

— Тут! — отвечал тот.

Граф в своем освеженном туалете пошел бродить по совершенно еще пустым залам. Публика начала съезжаться только в конце десятого часа. Бегушев все это время глаз не спускал со входных дверей и еще издали увидал входящую Домну Осиповну в сопровождении Янсутского. Одета она была к лицу, со вкусом и богато. Бегушев поспешил пройти в большую залу и встал около колонны, опять потому же, что Домна Осиповна непременно должна была пройти мимо него. Она действительно прошла и уже

под руку с Янсутским, шедшим гордо и почти презрительно смотревшим на всю публику. С Бегушевым Домна Осиповна была несколько мгновений почти лицом к лицу и вначале заметно взволновалась, но потом сейчас же овладела собой и взглянула в сторону. Янсутский не поклонился Бегушеву; тот ему тоже не пошевелил головой. Затем Янсутский что-то такое шепнул Домне Осиповне. Она сделала при этом небольшую гримасу и ничего ему не ответила. Бегушев по-прежнему оставался у колонны и принял как бы спокойный вид; его порадовало весьма маленькое обстоятельство: Домна Осиповна, отойдя довольно далеко, обернулась и очень пристально взглянула на него.

Подан был сигнал к началу танцев. Перед Бегушевым неожиданно предстал вырвавшийся из тесной толпы граф Хвостиков.

— Она здесь! — произнес он радостно-задыхающимся голосом.

— Я видел ее! — отвечал Бегушев, стараясь по-прежнему оставаться спокойным.

— Я приглашу ее сейчас на кадриль и повыспрошу! — объяснил граф и опять юркнул в толпу.

Бегушев затем все внимание и зрение свое устремил на танцующих, потому что посреди их заметил Домну Осиповну. Она танцевала с Янсутским и ходила, как гордая пава, что было несколько смешно, но Бегушеву не показалось это смешным. Во время пятой фигуры сзади его раздался голос:

— Александр Иванович, вот где я вас встречаю!..

Бегушев оглянулся. Это говорил молодой русский художник, с закинутой назад гривой волос и во фраке, из которого он заметно вырос.

— Ту картину мою, которую вы видели у меня в Риме и одобряли, я кончаю!..— говорил художник, простодушно воображавший, что весь мир более всего озабочен его картиной.— Не заедете ли ко мне в мастерскую взглянуть на нее... Я помню, какие прекрасные советы вы мне давали.

— Если будет время,— заеду! — отвечал ему сухо Бегушев.

Ему ужасно было досадно, что художник, стоя перед ним, совершенно закрывал ему своею косматою головой Домну Осиповну; но тот, разумеется, этого не понимал и продолжал ласково смотреть на Бегушева.

— Какое у вас прекрасное лицо, Александр Иванович! — сказал он.— Сколько в нем экспрессии... Вот если бы вы когда-нибудь позволили мне снять с вас портрет,— какое бы это удовольствие для меня было!

Бегушев молчал.

Художник, наконец, поотодвинулся с своего места и дал ему возможность снова наблюдать Домну Осиповну, хоть и ненадолго, так как танцы кончились, и ее не видать стало. В продолжение всего своего наблюдения Бегушев заметил к удовольствию своему, что Домна Осиповна почти не разговаривала с Янсутским, но в ту сторону, где он стоял, вскидывала по временам глаза.

Следующую кадриль Домна Осиповна танцевала с графом Хвостиковым. Бегушев видел, что граф со своей, хотя несколько и старческой, ловкостью немедля начал занимать Домну Осиповну. Она внимательно прислушивалась к его словам, что же означало выражение лица ее, определить было трудно. Кажется, оно более всего дышало грустью; словом, надежды моего пятидесятилетнего героя все более и более росли, но вдруг ему кинулся в глаза доктор Перехватов, стоявший на противоположной стороне боковой эстрады в щегольском фраке, в белом галстуке, туго натянутых белых перчатках,— и к нему прямо направилась Домна Осиповна. Увидав ее, Перехватов, спустившись с двух — трех ступенек эстрады, подошел к ней и подал ей руку. Затем они ушли в другие залы. Все это точно ножом кольнуло Бегушева в сердце. Утомившись, наконец, стоять, он опустился на одну из ближайших красных скамеек и потупил голову. Ему припомнилось, что в этой же зале и он когда-то ходил с Домной Осиповной под руку, ходил бы, может быть, и до сей поры, если бы сам все, в своем бешеном безумстве, не разломал и не исковеркал!

Граф Хвостиков между тем на средине освободившегося от толпы зала разговаривал с каким-то господином, совершенно седым, очень высоким, худым и сутуловатым, с глазами как бы несколько помешанными и в то же время с очень доброй и приятной улыбкой. Господин этот что-то с увлечением объяснял графу. Тот тоже с увлечением отвечал ему; наконец, они оба подошли к Бегушеву.

— Все идет отлично! Оставайся непременно ужинать,— шепнул прежде всего граф Бегушеву, а потом при-

совокупил, показывая на товарища своего: — Господин Долгов желает возобновить свое старое знакомство с вами!

Бегушев, как ни расстроен был, но узнал Долгова, своего старого товарища по пансиону и по университету.

— Здравствуйте! — сказал Бегушев, приветливо пожимая его руку.

Он любил Долгова за его хоть и бестолковое, но все-таки постоянно идеальное направление. Долгов в каждый момент своей жизни был увлечен чем-нибудь возвышенным: видел ли он, как это было с ним в молодости, искусную танцовщицу на сцене,— он всюду кричал, что это не женщина, а оживленная статуя греческая; прочитывал ли какую-нибудь книгу, пришедшуюся ему по вкусу,— он дни и ночи бредил ею и даже прибавлял к ней свое, чего там вовсе и не было; захватывал ли во Франции власть Людовик-Наполеон,— Долгов приходил в отчаяние и говорил, что это узурпатор, интригант; решался ли у нас крестьянский вопрос,— Долгов ожидал обновления всей русской жизни. В искренность всех этих увлечений Долгова Бегушев верил, но в силу — нет: очень их было много и чрезвычайно они были разнообразны! Долгов сел рядом с Бегушевым на скамейку, а граф опять к кому-то убежал. Долгов, подобно Бегушеву, также склонил свою голову; видимо, что жизнь сильно помяла его.

— Вы в деревне живете? — спросил Бегушев: он давным-давно не видал Долгова.

— Жил было в деревне,— отвечал тот,— хотел настоящим фермером сделаться, сам работал — вон мозоли какие на руках натер! — И Долгов показал при этом свои руки, действительно покрытые мозолями.— Но должен был бросить все это.

— Отчего?

— Семья подросла! Семью надо было воспитывать.

— А велика?

— Слава богу, четыре сына и три дочери; но средства очень ограниченные... Мне бы весьма желалось приехать к вам и побеседовать, знаете, этак по душе, как прежде беседовали.

— Приезжайте! — сказал Бегушев.

Снова явившийся граф Хвостиков прервал их беседу.

— Надо ужинать идти!.. Наши знакомые отправились!..— сказал он с ударением.

Бегушев понял его и поднялся с своего места.

— Пойдемте, поужинаем вместе! — отнесся он к Долгову.

— Хорошо! — согласился тот.

Когда Бегушев пришел в столовую, то Домна Осиповна, Янсутский, доктор Перехватов, а вместе с ними и Офонькин сидели уже за отдельным небольшим столом.

Граф Хвостиков тоже потребовал, чтобы и для их компании дали отдельный стол.

Когда они разместились, то мимо их прошел волосатый художник.

— Присядьте к нам ужинать! — сказал ему Бегушев, желавший его немного вознаградить за свою недавнюю сухость к нему.

Художник несколько замялся: у него ни копейки не было в кармане денег.

— Это Александр Иванович дает ужин своим друзьям!..— поспешил ему пояснить граф Хвостиков, очень хорошо ведавший на себе эту болезнь.

Художник сел к столу.

Нельзя вообразить себе людей, более непохожих между собою, как те, которые сидели с Домной Осиповной, и те, которые окружали Бегушева: они по нравственному складу как будто бы были существами с разных планет, и только граф Хвостиков мог витать между этими планетами и симпатизировать той и другой.

Вскоре в столовой желающих ужинать все более и более стало прибывать; некоторые из них прямо садились и начинали есть, а другие пока еще ходили, разговаривали, и посреди всего этого голос Янсутского раздавался громче всех. Он спорил с Офонькиным.

— Русские женщины, уверяю вас,— самые лучшие в мире!..— говорил он, мельком взглядывая на Домну Осиповну.

— Есть еврейки очень хорошенькие!..— возражал ему тот с любострастной улыбкой.

— Подите вы с вашими еврейками! Особенно они хороши у нас в Виленской, Ковенской губернии: один вид их так — брр!.. (Этим сотрясением губ своих Янсутский хотел выразить чувство омерзения.) У нашей же русачки глаза с поволокою, ресницы длинные! — говорил он, опять-таки взглядывая на Домну Осиповну, у которой в

самом деле были ресницы длинные, глаза с поволокой.— Румянец...— натуральный, вероятно, он предполагал сказать, но остановился.

— Вероятно, во всех странах есть хорошенькие женщины и дурные! — выразила свое мнение Домна Осиповна.

— Да!.. Да! — подтвердил Офонькин.

Бегушев, сверх обыкновения ничего почти не евший, исподлобья, но беспрерывно взглядывал на Домну Осиповну. Она тоже ничего не кушала и только прихлебывала несколько раз вина из рюмки. Болтовню Янсутского, который перешел уж на неблагопристойные анекдоты, она не слушала и очень часто обращалась с разговором к сидевшему рядом с ней доктору. Хоть слова ее, почти все долетавшие до Бегушева, были совершенно пустые, но ему и то не понравилось.

Перед жареным, когда на том и другом столе было подано шампанское, Хвостиков наклонился к Бегушеву и шепнул ему:

— Я предложу тост за дам; ты встань, подойди к Домне Осиповне и выпей за ее здоровье!

— Я тебя убью, если ты сделаешь это! — произнес почти со скрежетом зубов Бегушев.

Граф Хвостиков мысленно пожал плечами: Бегушев ему казался робким мальчишкой... школьником; да и Домна Осиповна была ему странна: когда он говорил с нею в кадрили о Бегушеве или, лучше сказать, объяснял ей, что Бегушев любит ее до сих пор без ума, она слушала его внимательно, но сама не проговорилась ни в одном слове.

К концу ужина Янсутский, как водится, значительно выпил и, забыв, что он не поклонился даже Бегушеву, подошел к нему и, подпершись обеими руками в бока, сказал:

— А мы с вами, Александр Иванович, разве не разопьем бутылочку?

— Нет, не разопьем! — проговорил тот.

— Почему?

— Я не пью вина! — отвечал Бегушев.

Янсутский перед тем только видел, что он пил вино.

— Гм! — произнес язвительно Янсутский и, повернувшись на одной ноге, отправился на прежнее место.

— Шампанского! — крикнул он.

Домна Осиповна что-то негромко, но строго ему сказала.

— Не могу! Я сегодня в экзальтированном состоянии,— отвечал Янсутский.

Домна Осиповна насмешливо улыбнулась.

— А вам смешно это? — спросил ее Янсутский.

— Не смешно, а удивляюсь только! — отвечала, слегка пожимая плечами, Домна Осиповна.

— И мне тоже удивительно,— подхватил злобно Янсутский.

При всем этом разговоре доктор на лице своем не выражал ничего; он даже встал из-за стола и направился к Бегушеву.

— Начали, наконец, и вы немножко развлекаться? — сказал он ему.

— Если вы находите, что быть в этой духоте и толкотне наслаждение, так, пожалуй, я развлекаюсь!..— отвечал резко и насмешливо Бегушев: он на доктора еще более злился, чем на Янсутского.

Перехватов после того отошел от него и стал ходить по столовой, встречаясь, здороваясь и перекидываясь словами со множеством своих знакомых.

Домна Осиповна смотрела то на него, то на Бегушева, у которого за столом начался между Долговым и молодым художником горячий спор.

— Микеланджело гигант!.. Великан!..— восклицал Долгов, разгоряченный вином, которого обильно ему подливал граф Хвостиков.

— Я согласен, что он гигант, но не для нашего времени! — возражал ему, тоже горячась, молодой художник.

— Для всех времен и для всех веков! — восклицал Долгов.— Вот это-то и скверно в нынешних художниках: они нарисуют три — четыре удачные картинки, и для них уж никаких преданий, никакой истории живописи не существует!

— Нет, существует,— петушился не менее его художник,— скорее для таких судей, как вы, не существует школы современных художников, потому что вы ничего не видали!

— Я все видел! — закричал было Долгов и остановился, потому что Бегушев в это время порывисто встал из-за стола. Никто не понимал, что такое с ним. Дело в том, что доктор, пройдя несколько раз по столовой, подо-

шел опять к Домне Осиповне и сказал ей негромко несколько слов. Она в ответ ему кивнула головой и поднялась со стула.

— Разве вы не со мной едете? — спросил ее громко на всю залу Янсутский.

— Нет, я еду с Перехватовым.

— Предпочтение!.. Доколотить хотите меня! — проговорил со злобою и с перекошенным ртом Янсутский.

— Не очень, я думаю, этим доколочу вас! — сказала Домна Осиповна и пошла.

Доктор последовал за ней.

Бегушев, как бы не дающий себе отчета в том, что делает, тоже шел за ними.

В той комнате, где раздают платье, он увидел, что Домна Осиповна и доктор вместе потребовали свои шубы, и затем у надетого Домною Осиповною капора, который к ней очень шел, Перехватов завязывал ленты, и она ему за это улыбалась ласково!..

Если бы Бегушев не прислонился в эту минуту к стене, то наверное бы упал, потому что у него вся кровь бросилась в голову: ему все сделалось понятно и ничего не оставалось в сомнении. Домна Осиповна, обернувшись и увидав Бегушева, в свою очередь вспыхнула, как будто ей сделалось стыдно его; с лестницы она стала спускаться медленно. Доктор следовал за ней; на лице его виден был чуть заметный оттенок насмешки. Сев в карету с доктором, Домна Осиповна вся спряталась в угол ее и ни слова не говорила. Доктор тоже молчал и только у самого почти ее дома спросил ее: «Вы, кажется, нехорошо себя чувствуете?» — «Немножко!» — отвечала она, и, когда карета, наконец, подъехала к крыльцу, Перехватов еще раз спросил Домну Осиповну: «Вы не позволите к вам зайти?» — «Нет! — проговорила она.— Я очень устала!» Доктор пожал торопливо поданную ему Домною Осиповною руку и уехал. Она же быстро поднялась по лестнице, прошла через все парадные комнаты в спальню свою и бросилась на диван.

— Маша, дай мне ножницы!.. Поскорей!.. Меня очень душит!..— вокричала она.

Испуганная горничная прибежала с ножницами.

— Разрезывай мне платье и корсет! — продолжала задыхающимся голосом Домна Осиповна.

Горничная дрожащими руками то и другое частью

расстегнула, а частью разрезала, так что платье, вместе с корсетом, спало с Домны Осиповны, и она осталась в одном белье. Накладные волосы прически Домна Осиповна своими руками сорвала с головы и бросила их.

— Ступай, оставь меня! — приказала она горничной; та, не убрав ничего, ушла.

Глаза Домны Осиповны, хоть все еще в слезах, загорелись решимостью. Она подошла к своему письменному столу, взяла лист почтовой бумаги и начала писать: «Мой дорогой Александр Иванович, вы меня еще любите, сегодня я убедилась в этом, но разлюбите; забудьте меня, несчастную, я не стою больше вашей любви...» Написав эти строки, Домна Осиповна остановилась. Падавшие обильно из глаз ее слезы мгновенно иссякли.

— Нет,— сказала она, закидывая рукою свои красивые распустившиеся волосы. О, как в этом виде всегда любил ее Бегушев! — Нет, я не буду с ним совершенно откровенна!.. Он очень оскорбил мое самолюбие, когда я еще ни в чем не была перед ним виновата!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

С наступлением великого поста Аделаида Ивановна каждый день начала ходить к заутрене и к обедне. В старом салопчике, старом капоре, ведомая под руку Маремьяшей, она часов в шесть утра направлялась по грязной, но подмерзшей мостовой в свой приход. Сухой великопостный звон раздавался по всей Москве; солнце в это время уже всходило, и вообще в воздухе становилось хорошо; по голым еще ветвям деревьев сидели, как черные кучи, грачи. Бегушев, не спавший ночи почти напролет, наблюдал все это из окна. Как он в эти минуты завидовал сестре и желал хоть день прожить ее безыскусственною жизнью!

В одно утро Аделаида Ивановна, выходя со своей половины, чтобы отправиться к заутрене, вдруг увидала Бегушева совсем одетым и даже в бекеше. Старушка перепугалась.

— Что это, друг мой, ты так рано поднялся? — спросила она.

— Я с тобой отправляюсь в церковь,— отвечал Бегушев.

— Ах, это хорошо!.. Очень хорошо!..— подхватила с удовольствием Аделаида Ивановна: ей одно только не нравилось в брате,— что он мало молился.

Церковь в приходе Бегушева была маленькая, приземистая. Она точно присела и поушла в землю; при входе во внутрь ее надобно было перешагнуть ступеньку не вверх, а вниз; иконостас блистал сусальным золотом и яр-

ко-малиновым цветом бакана. Стенная живопись, с подписями внизу на славянском языке, представляла, для Бегушева по крайней мере, довольно непонятные изображения: он только и узнал между ними длинную и совершенно белую фигуру воскресающего Лазаря. Заутрени наши состоят почти исключительно из чтения. Псаломщик, в пальто, стриженый и более похожий на пожилого приказного, чем на причетника, читал бойко и громко; но уловить из его чтения какую-нибудь мысль было совершенно невозможно: он точно с умыслом останавливался не на запятых, выкрикивал слова ненужные и проглатывал те, в которых был главный смысл, и делал, кажется, это, во-первых, потому, что сам плохо понимал, что читал, а потом и надоело ему чрезвычайно это занятие. Маремьяша, стоявшая около Аделаиды Ивановны, беспрерывно крестилась и при этом, для выражения своего усердия, она руку свою закидывала несколько на спину, чтобы сделать таким образом крестное знамение больше, и потом быстро, как бы на шалнере, сгибалась и точно так же быстро выпрямлялась.

Аделаида Ивановна, по слабости ног своих, молилась сидя и перебирала своими пухленькими ручками четки. У Бегушева тоже через весьма короткое время невыносимейшим образом заломило ноги, и он невольно опустился на ближайший стул. Вышел священник и, склонив голову немного вниз, начал возглашать: «Господи, владыко живота моего!» Бегушев очень любил эту молитву, как одно из глубочайших лирических движений души человеческой, и сверх того высоко ценил ее по силе слова, в котором вылилось это движение; но когда он наклонился вместе с другими в землю, то подняться затруднился, и уж Маремьяша подбежала и помогла ему; красен он при этом сделался как рак и, не решившись повторять более поклона, опять сел на стул. Скука овладела им невыносимая. Отправляясь с сестрой в церковь, Бегушев надеялся богомольем хоть сколько-нибудь затушить раздирающий его душу огонь, в которой одновременно бушевали море злобы и море любви; он думал даже постоянно ходить в церковь, но на первом же опыте убедился, что не мог и не умел молиться!.. В нем слишком много было рефлексии; он слишком много знал религий и понимал их суть!.. По окончании заутрени псаломщик вошел в алтарь и сказал священни-

ку, что «господин Бегушев, этот богатый из большого дома, что на дворе, барин, желает с ним переговорить».

— Сюда пожалует? — спросил священник.

— Да-с!

— Очень рад!.. Я всегда готов к услугам Александра Ивановича,— произнес священник.

У Бегушева в доме каждый праздник обыкновенно принимали священников с их славлением и щедро им платили; только он сам редко к ним выходил, и место его заступали прежде Прокофий и Минодора, а теперь Аделаида Ивановна, а иногда и граф Хвостиков.

Войдя в алтарь, Бегушев пожал священнику руку, и тот ему тоже пожал.

— У меня к вам, батюшка, покорнейшая просьба,— начал Бегушев.— Вам, конечно, известны бедные прихожане ваши. Я желал бы им помочь, особенно многосемейным, больным и старым!

Такого рода просьбы священник никак не ожидал. Сначала он откашлянулся, а потом проговорил:

— Мы, признаться, не всех наших прихожан знаем; я вот поспрошу кой у кого.

— У меня брат-с родной — очень бедный чиновник без места!..— проговорил псаломщик.

— Грех тебе, Иван Степанович, говорить это!..— возразил ему священник.— Брат твой мог бы питаться!..

— И питался прежде,— перебил его дерзко псаломщик,— а тут как почти год в Титовке продержали...

— За что ж его в Титовке продержали? — спросил Бегушев.

— Невинно, без всякой причины,— отвечал псаломщик.

Священник и на это махнул рукой.

— Как без причины?.. У Иверских ворот облокатствовал: наплутовал там невесть сколько, а ты говоришь — без причины...— сказал он.

— Плутуют и у алтарей господних! — возразил опять дерзко псаломщик.

Бегушев ожидал, что они разбранятся.

— Так вы, батюшка, узнаете мне?..— поспешил он отнестись к священнику.

— Непременно разведаю, у кого лишь можно, хоть все-таки советую вам справиться и в квартале, ибо там досканальнее это должны знать.

— В квартале? — спросил с удивлением Бегушев.

— В квартале... Потому что мы, священники, что ж? Придем в дом со славой, пославим и уйдем; а полицейский во всякое время вхож в дом и имеет право войти.

— Совершенная противоположность Англии: там пастор имеет право войти всегда в дом, а полисмен — никогда!

— Англия — страна просвещенная,— возразил священник,— а у нас, особенно последнее время, стало очень трудно жить духовенству; в нашем, примерно, приходе все почти дома скупили либо немцы, либо жиды; дворянство почти не живет в Москве... купечество тоже сильно ослабло в вере.

— Нынче причту помогать надо, вот кому! — заметил псаломщик.

— Пожалуй, что и так,— согласился с ним на этот раз священник.

Бегушев очень хорошо понял, что у священнослужителей лично для себя разгорелись глаза на его карман; а потому, сочтя за лишнее с ними долее разговаривать, он раскланялся и ушел. На паперти, впрочем, его нагнал трапезник,— это уж был совсем отставной солдат с усами, бакенбардами и даже в штанах с красным полинялым кантом.

— Ваше превосходительство, не пожертвуете ли чем-нибудь бедному трапезнику!—больше как бы отрапортовал он.

— Вы из духовного звания? — спросил его Бегушев.

— Сын протопопа, ваше превосходительство, и по несчастию... в трапезниках теперь очутился.

— Отчего?

— Оттого, что я тут маленько слаб!..

И трапезник щелкнул себя по галстуку.

— Тут много заливаете? — повторил Бегушев.

— Много-с! — подтвердил трапезник.

Такая откровенность его понравилась Бегушеву; он дал ему три рубля серебром. Трапезник быстро, так что Бегушев не успел остеречься, поцеловал у него руку.

— А это уж глупо! — сказал ему с досадой Бегушев.

— Виноват, ваше превосходительство,— отвечал трапезник, прикладывая руки по швам.

В тот же самый день, часов в одиннадцать утра, Бе-

гушев решился сходить и в квартал, в надежде, что там не узнает ли чего-нибудь о бедных.

Выйдя из дому пешком, он обратился к первому же городовому.

— Где третий квартал помещается?..— спросил он.

— Недалеко тут, ваше благородие, налево и во второй переулок направо,— отвечал городовой.

— Ты мне, любезный, не так отвечай, а скажи: в каком именно по названию переулке и в чьем доме?..

— Дому фамилию, ваше высокородие, я не запомню; переулка — тоже!

— В таком случае проводи меня или, может быть, и сам не найдешь?

Городовой рассмеялся добродушно.

— Как не найти, ваше благородие; только мне нельзя,— я на посту!

— Но у кого же мне узнать? — расспрашивал терпеливо Бегушев.

— Сейчас, ваше благородие, я кликну! — отвечал городовой и, побежав к будке, крикнул: — Самойлов!

На этот зов из будки выскочил другой городовой — в рубашке и с куском пирога во рту.

— В чьем доме квартал и как тут переулок этот зовут?.. Барин спрашивает! — сказал ему первый городовой.

— В Загрябовском переулке, дом Друшелева,— отрезал тот бойко и прожевывая в то же время пирог.

Бегушев пошел в Загрябовский переулок, прошел его несколько раз, но дома Друшелева нигде не было; наконец, он совершенно случайно увидел в одном из дворов, в самом заду его, дощечку с надписью: «3-й квартал». Дом же принадлежал Дреймеру, а не Друшелеву, как назвал его городовой. Когда Бегушев вошел в ворота, то на него кинулись две огромные шершавые и, видимо, некормленые собаки и чуть было не схватили за пальто, так что он, отмахиваясь только палкой, успел добраться до квартала.

Квартальный, молодой еще человек, при входе его поспешил встать.

— Что это у вас в общественном месте такие собаки, что пройти невозможно?..— сказал ему Бегушев.

Квартальный пожал плечами.

— Что делать-с!.. Вы не поверите — всех городовых почти перекусали.

— Но чьи же они?

— Жильца одного!.. Адвоката без практики...

— Говорит, что он очень мнителен и держит собак, чтобы не обокрали его!..— заметил старший письмоводитель.

— Да что у него украсть; ему и самому с собаками есть нечего! — возразил другой письмоводитель помоложе.

— Но полиция имеет же против этого какие-нибудь средства? — сказал Бегушев.

— Какие средства! — отвечал квартальный.— Должны составлять акты и представлять мировому судье, а тот сам собачник; напишет резолюцию, чтобы обязать владельца собак подпискою не выпускать собак из квартиры.

— Он в свою квартиру и не пускает их... всё бегают по чужим кухням,— заметил опять старший письмоводитель.

— Этта тут повар из большой квартиры ловко огрел эту серую собачонку: целую кастрюлю кипятку кувырнул на нее! — рассказал письмоводитель помоложе.

Квартальный и вся прочая канцелярия его засмеялась.

Бегушев тем временем сел.

— Вам угодно что-нибудь приказать мне? — спросил его квартальный, по-прежнему стоя на ногах.

— Просьба моя вся состоит в том, чтобы вы мне сказали: есть у вас списки бедных вашего квартала? — проговорил Бегушев.

Вопрос этот так же удивил квартального, как и священника.

— У нас только паспорты записываются,— объяснил он,— мы стараемся наблюдать, чтобы просрочек не было и чтобы вся прислуга имела чернорабочие билеты.

— Только!.. — протянул Бегушев. — Но квартал, вероятно, вы обходите каждодневно и знаете всех его жителей?

— Извините... господин Бегушев, если я не ошибаюсь?..

— Бегушев,— подтвердил тот,— меня вот вы знаете!

— Я видал вас часто в театре, когда бывал дежур-

ным, а квартал я не могу весь знать, потому что поступил сюда недавно.

— Но ваш помощник, может быть, знает?

— Не думаю!.. Он тоже недавно перешел.

— А вы не знаете? — обратился Бегушев к писарям.

— Мы вот с ними поступили,— отвечали те, показывая на квартального.

— В таком случае, предместник ваш не знает ли?— отнесся Бегушев к сему последнему.

— И того не думаю!.. Он также был тут недолго; но для какой, собственно, надобности вам нужны списки о бедных? — проговорил квартальный.

— Я желал бы помогать им немного!..— пробормотал Бегушев.

Писаря при этом все переглянулись между собою.

— Для этого вам всего лучше обратиться в благотворительный дамский комитет... там все сведения есть об этом!..— посоветовал квартальный.

— Не пойду я туда! — отозвался сердито Бегушев.

«Вот вам вселюбящая церковь наша и всеведущая полиция! — рассуждал он, идя домой, а затем ругнул всю Россию и больше всех самого себя: — Задумал я делать, чего совсем не умею; захотел вдруг полюбить человечество, тогда как всю жизнь никого не любил, кроме самого себя!»

Дома Бегушев, как нарочно, наскочил на довольно неприятную сцену.

Усевшись в своем кабинете, он услыхал, что в гостиной раздавался чей-то мало знакомый ему мужской голос, и спросил подававшего ему кофей лакея:

— Кто у нас?

— Князь Мамелюков приехал к Аделаиде Ивановне,— отвечал тот.

Бегушев сделал недовольную мину. Князь Мамелюков был один из должников Аделаиды Ивановны, которая, будучи почти каждодневно пилима Маремьяшей, что «когда же вы, сударыня, будете собирать долги?.. Когда ж?..» — написала, наконец, циркуляр ко всем своим должникам, приглашая их приехать к ней и поговорить с ней в присутствии ее брата. Князь Мамелюков явился первый. Бегушев, знавший его немного по обществу, всегда его презирал. Князь, при своей гордой и благородной наружности, был отъявленный аферист и прожектер, только

не такой невинный, как граф Хвостиков. Он тоже писал проекты, но умел их и проводить. Аделаиде Ивановне он должен был тысяч сорок и, конечно, давным бы давно мог ей выплатить; но князь очень просто рассчитал, что старушка, по своей доброте, никогда не решится подать на него вексель ко взысканию. Время пройдет, десятилетняя давность минует, старушка, бог даст, умрет, и эти сорок тысяч останутся у него в кармане. Прибыв к Аделаиде Ивановне, князь начал с того, что поцеловал ее в плечо, а затем, слегка упомянув об ее письме, перешел к воспоминаниям о том, как покойная мать его любила Аделаиду Ивановну и как, умирая, просила ее позаботиться об оставляемых ею сиротах, а в том числе и о нем — князе. Старушка сильно начала поддаваться его влиянию, как вдруг появился Бегушев. Князь Мамелюков был несколько озадачен его приходом; Аделаида же Ивановна очень обрадовалась, что брат ее и друг пришел к ней на помощь. Бегушев и Мамелюков весьма сухо раскланялись между собою. Последний снова стал продолжать прежний разговор с Аделаидой Ивановной и как бы совершенно случайно объяснил, что старший брат его — атташе при посольстве. «Знаю, знаю!» — говорила старушка.— «А младший, Петя, ее любимец, вероятно скоро будет полковником!» — «Вот как, очень рада!» — произнесла она, мельком взглядывая на брата, которому начинало сильно надоедать слушать эту ни к чему не ведущую болтовню.

— Вы к сестре по делу вашему, конечно, приехали?— спросил он князя.

— Да, так, по маленькому,— отвечал тот с легкой улыбкой.

Он не полагал даже, что Бегушев знал об его долге Аделаиде Ивановне.

— Что ж, вам угодно будет заплатить ей деньги? — продолжал Бегушев.

Князь немного покраснел.

— К сожалению, теперь я не могу: я в совершенном безденежье!..— сказал он.

— Тогда мы представим вексель ко взысканию!..— отнесся Бегушев к Аделаиде Ивановне.

— Да,— едва достало духу у той проговорить: она почти вся дрожала.

— Но я именно о том бы и просил Аделаиду Ивановну, чтобы она мне отсрочила,— продолжал князь, оконча-



«МЕЩАНЕ».



«МЕЩАНЕ».

тельно смутившись.— Если угодно, я перепишу ей вексель?

— Сестре деньги-с нужны, а не векселя! — сказал ему резко Бегушев.

— Но Аделаида Ивановна сейчас была почти согласна!..— заметил князь.

— Нет!.. Нет, я не могу согласиться!.. Я столько времени живу без копейки, благодеянием только брата!

— Александру Ивановичу есть, я думаю, из чего поддерживать вас!..— проговорил с усмешкой князь.

— Считать в моем кармане, я полагаю, вы не можете, как не считаю я в вашем! — проговорил Бегушев, едва сдерживая себя.

— Нет, вы считаете некоторым образом, убеждая Аделаиду Ивановну непременно взыскать с меня деньги.

— Ах, нет, нет, это я сама! — повторила еще раз старушка, хоть и трепетным голосом.

— Очень жаль,— проговорил князь, вставая и натягивая перчатки,— что ни старое знакомство, ни дружба — ничто не может вас убедить подождать.

Не будь брата, Аделаида Ивановна непременно бы сказала, что подождать она может,— только недолго, но тут промолчала, потому что Бегушев на нее сурово смотрел.

Князь, раскланявшись, уехал.

— Князь, должно быть, очень, очень запутался в своих делах! — начала Аделаида Ивановна глубокомысленным голосом.— А в душе он благородный человек.

— Не серди ты меня, пожалуйста, этим «благородный человек»!.. Ты спроси, что о нем говорят в Петербурге... Его считают там за первейшего плута в России, а у нас, слава богу, плутов довольно, и есть отличные!

— Ну, ты очень строг! — возразила ему кротко Аделаида Ивановна.

— А ты очень добра. Вексель мне извольте сегодня же прислать, я его подам ко взысканию,— проговорил Бегушев и ушел.

Аделаида Ивановна осталась в совершенно расстроенном состоянии: брата не послушаться она боялась, но и взыскивать с князя ей было совестно и жаль его; от всего этого у ней так разболелась голова, что она не в состоянии даже была выйти к столу.

Бегушев решился допечь князя до последней степени и посадить его, если это нужно будет, даже в тюрьму. Хло-

потать по этому делу он предположил сам, рассуждая, что помогать ему истинно несчастным вряд ли удастся; по крайней мере он будет наказывать негодяев,— и это тоже в своем роде доброе дело.

Вечером у Аделаиды Ивановны произошло еще новое свидание с одним из ее должников. Часов в восемь Бегушев сидел с графом Хвостиковым, и тот ему показывал фокусы из карт; ловкость Хвостикова в этом случае была невероятна: он с одной из карт произвел такую штуку, что Бегушев воскликнул: «Как вы могли ее украсть из-под моего носа?» — «Карта — это что! А вот если бы бог привел к осени украсть где-нибудь шубу!» — сострил Хвостиков.— «Не воруйте, к осени я вам подарю шубу!» — утешил его Бегушев. Граф усмехнулся и внутренне был очень доволен, зная, что если Бегушев сказал, так и сделает это. Вдруг раздался звук тяжело въехавшей на двор кареты.

— Кто бы это мог быть? — спросил Бегушев.

Граф Хвостиков поспешил встать, пойти и справиться.

— Сенаторша Круглова прислала к Аделаиде Ивановне внучка своего с гувернером,— проговорил он, вернувшись.

Бегушев рассмеялся.

— Младенцев уж начинают подсылать! — проговорил он.

Перед Аделаидой Ивановной между тем, опять-таки принявшей своих посетителей в гостиной, стоял прехорошенький собой мальчик, лет десяти, и за ним мозглый и белобрысый гувернер его.

— Бабушка больна, она не может к вам приехать,— лепетал на французском языке ребенок,— и она вам прислала! — заключил он, показывая большой пакет.

— C'est l'argent! [1] — подхватил гувернер.

— О, благодарю, благодарю! — воскликнула на первых порах радостным голосом старушка.

Гувернер, взяв у ребенка пакет, разорвал его и начал считать деньги.

— Dix, trente, cinquante... cent roubles! [2] — сосчитал он.

Лицо у Аделаиды Ивановны несколько вытянулось.

---

[1] Это деньги! *(франц.)*

[2] Десять, тридцать, пятьдесят... сто рублей! *(франц.)*

— Что ж это, проценты? — произнесла она тихим-тихим голосом.

— Je n'en sais rien, madame [1],— отвечал гувернер.

Аделаида Ивановна, впрочем, сейчас же помирилась и на этой сумме.

— Благодари, душенька, бабушку, очень благодари,— говорила она, целуя ребенка.— Но мне надобно дать вам записочку, что я получила деньги,— отнеслась она к гувернеру.

— Non, non, c'est inutile, madame! [2] — отвечал гувернер и пояснил, что сенаторша не приказала брать никаких расписок от Аделаиды Ивановны.

Стук четырехместной кареты вскоре возвестил, что они уехали.

Проводив гостей своих, Аделаида Ивановна вошла к брату, стараясь иметь довольное лицо.

— А вот подруга моя, Оля, не так поступила, как князь: помнишь, я думаю, жену покойного сенатора Круглова?.. Она мне часть долга уплатила!

Бегушев уж и не спросил сестру, как велика была эта часть.

— Главное, она, бедная, очень больна,— продолжала Аделаида Ивановна, желая разжалобить брата в пользу своей приятельницы,— и присылала своего внучка, это тоже очень мило с ее стороны.

Бегушев молчал.

Аделаида Ивановна чувствовала, что он был недоволен ею.

— А вексель на князя Мамелюкова я тебе принесла!.. С него ты взыщи!..— проговорила она, подавая ему вексель и думая хоть тем извинить в его глазах свою слабость в отношении сенаторши Кругловой.

Бегушев велел ей сделать на векселе бланковую надпись и положил его в карман себе.

Когда Аделаида Ивановна возвратилась в свою комнату, Маремьяша немедленно же спросила, сколько заплатила ей сенаторша; Аделаида Ивановна призналась, что всего сто рублей. Маремьяша принялась ее точить.

— Что это, сударыня,— затрещала она озлобленным голосом,— старушонка эта смеется, что ли, над вами?

---

[1] Я ничего об этом не знаю, мадам, *(франц.)*

[2] Нет, нет, это не нужно, мадам! *(франц.)*

Мы — мужички, да и то не позволим так с собой делать!..— И кончила свои выговоры тем, что взяла себе полученные Аделаидой Ивановной деньги в счет жалованья.

— Вы знаете хорошо князя Мамелюкова? — спросил Бегушев графа Хвостикова, когда сестра ушла.

— Очень хорошо.

— Что, он богат или только дутый пузырь?

— О, нет, напротив! — воскликнул граф.— И что ужасно обидно: я и князь в одно и то же время начали заниматься одною и тою же деятельностью — он в сотнях тысяч очутился, а я нищий!

«Потому что тот умен, а ты дурак!» — подумал Бегушев.

На другой день он отправился подать вексель князя Мамелюкова ко взысканию. Ему обещали, что недели через две он может надеяться взыскать по этому векселю, а если должник не заплатит, то посадить его в тюрьму.

Бегушев был очень этим доволен, но ненадолго: в ближайших номерах одной газеты он прочел, что действительный статский советник князь Мамелюков отправился на целый год за границу.

— Поди, ищи его там! — воскликнул Бегушев и разорвал газету на мелкие куски.

Глава II

Вскоре та же газета принесла снова известие, поразившее Бегушева и его сожильцов за одним из утренних чаев, который они сходились пить вместе, и , по большей части, все молчали. Бегушев — потому, что последнее время он как будто бы разучился говорить; граф Хвостиков был, видимо, чем-то серьезным занят: он целые утра писал, а потом после обеда пропадал на всю ночь; Аделаида Ивановна грустила, поняв, наконец, всю лживость и бесстыдство своих кредиторов: не говоря уже о поступке князя Мамелюкова, но даже ее друг, сенаторша Оля, когда Аделаида Ивановна приехала к ней навестить ее в болезни и, уже прощаясь, скромно спросила, что когда же она может от нее, милушки, получить хоть сколько-нибудь в уплату,— сенаторша рассердилась и прикрикнула на нее:

— Chére Adéle[1], я вам так недавно уплатила, что вы не имеете даже права снова требовать этого.

Возвратясь домой, Аделаида Ивановна тихонько проплакала целый день: ее не столько огорчило то, что сенаторша не хочет ей платить денег, как то, что она видаться с ней, вероятно, не будет после того.

Когда хотели было уже расходиться из-за чайного стола, Прокофий подал Бегушеву газету; тот сердито отстранил ее рукой, но граф взял газету и, пробежав ее, воскликнул во все горло:

— Скажите, какое происшествие! — и затем торопливо прочел: «Третьего мая в номера трактира «Дон» приехал почетный гражданин Олухов с девицею Глафирою Митхель. Оба они были в нетрезвом виде и, взяв номер, потребовали себе еще вина, после чего раздался крик девицы Митхель. Вбежавший к ним в номер лакей увидел, что Олухов, забавляясь и выставляясь из открытого окна, потерял равновесие и, упав с высоты третьего этажа, разбил себе череп на три части. Он был найден на тротуаре совершенно мертвым».

— Mon Dieu! Mon Dieu!..[2] — произнесла с ужасом Аделаида Ивановна.

— Дурак этакой! — проговорил Бегушев как бы равнодушно, а между тем у него щеки и губы дрожали.

— Не умен, не умен!..— подхватил граф.— Однако я сейчас же поеду к Домне Осиповне,— прибавил он, вставая.

Бегушев на этот раз ничего не сказал против его намерения, и только, когда граф совсем уходил, он спросил его:

— А вы, по обыкновению, поздней ночью воротитесь?

— Нет, как только узнаю подробности, так и возвращусь,— отвечал граф.

— Кто же это такой Олухов? — спросила хитрая Аделаида Ивановна, очень хорошо знавшая через Маремьяшу, кто такой был Олухов.

— Купец один знакомый нам,— отвечал Бегушев неохотно.

Аделаиде Ивановне хотелось бы спросить еще, что почему же граф Хвостиков принял такое живое участие

---

[1] Дорогая Адель, *(франц.)*

[2] Боже мой! Боже мой!.. *(франц.)*

в его смерти, но этого уже она не посмела, да и стыдно было!

Бегушев после того ушел к себе в диванную. Нетерпение отражалось во всем существе его: он то садился на диван, то ложился на нем, то вставал и ходил по комнате, заглядывая каждоминутно в окна; не было никакого сомнения, что так нетерпеливо он поджидал графа Хвостикова. Тот, наконец, вернулся.

— Это ужас, что такое там происходит! — воскликнул он, пожимая плечами.— Но прежде всего, пожалуйста, заплатите извозчику: я его брал взад и вперед.

— Заплатят,— рассказывайте!

— Вообрази,— продолжал граф,— посреди великолепной залы лежит этот несчастный; голова у него связана серебряной проволокой, губы, щеки, нос — все это обезображено!.. Тут с одной стороны полицейские... с другой — попы!..

— А Домну Осиповну ты видел?.. Огорчена она? — перебил его Бегушев.

— Очень!..— отвечал граф, но потом, спохватившись, прибавил: — Натурально, что любви к мужу у ней не было, но ее, сколько я мог заметить, больше всего возмущает позор и срам смерти: женатый человек приезжает в сквернейший трактиришко с пьяной женщиной и в заключение делает какой-то глупый salto mortale!.. [1] Будь у меня половина его состояния, я бы даже совсем не умер, а разве живой бы взят был на небо, и то против воли!

На этих словах граф остановился: он заметил, что на глазах Бегушева навернулись слезы, из чего и заключил, что они были вызваны участием того к Домне Осиповне.

— Вообще, mon cher,— снова продолжал граф,— я бы советовал тебе съездить к новой вдовице,— по словам священного писания: «В горе бе, и посетисте мене!»

Бегушев ничего не отвечал на перевранное графом Хвостиковым изречение священного писания, а встал и несколько времени ходил по комнате.

Граф Хвостиков глядел на него внимательно.

Наконец Бегушев, растирая себе грудь, глубоко вздохнул.

— Я поеду к ней! — произнес он глухим голосом.

---

[1] смертельный прыжок!.. *(лат.)*

— Ты истинно христианское дело сделаешь! — подхватил Хвостиков: у него снова закрадывалась надежда помирить Бегушева с Домной Осиповной и даже женить его на ней.

— А когда похороны Олухова будут? — спросил тот.

— Завтра! — отвечал Хвостиков и на другой день еще с раннего утра уехал из дому.

Бегушев дожидался его часов до двух ночи.

Граф приехал сильно пьяный. Бегушев все-таки велел его позвать к себе и стал расспрашивать. Граф и рассказать хорошенько не мог: болтал, что похороны были великолепные, что полиция палками разгоняла народ,— такое множество набралось,— и что все это, по его соображению, были раскольники.

— А кто похоронами распоряжался? — спросил Бегушев.

— Мерзавец этот — Янсутский!

— Перехватов тоже был?

— Был!.. Он все время около Домны Осиповны юлил, она почти без чувств была!..

Но потом граф изменил это показание и объяснил, что Домна Осиповна в продолжение всей церемонии держала себя с замечательной твердостью духа.

— Где вы напились так? — поинтересовался Бегушев.

— Да так, тут с певчими... Шампанского, я тебе, братец, скажу, пропасть было... рекой лилось!.. Я буду некролог писать Олухова... Домна Осиповна желает этого... Он был во многих отношениях человек замечательный...— бормотал граф.

— Бог знает, до чего вы договорились, ступайте спать,— сказал ему Бегушев.

— Пора!.. Пора!.. А ты должен непременно навестить Домну Осиповну, непременно! — заключил граф и нетвердой походкой отправился к себе наверх.

Три дня и три ночи Бегушев прожил в мучительной нерешительности: каждое утро он приказывал закладывать экипаж, чтобы ехать к Домне Осиповне, и через несколько времени отменял это приказание. Он все обдумывал, что будет говорить с Домной Осиповной и как объяснит ей свой визит: — «Я приехал,— скажет он,— навестить вас в вашем неисправимом горе! А что такое горе поражает людей безвозвратно,— он знает это по опыту!» — Но все это скоро показалось Бегушеву глу-

пым, лживым и почти насмешкой над Домной Осиповной, так как он совершенно был уверен, что смерть мужа вовсе не была для нее горем, а только беспокойством; и потом ему хотелось вовсе не то ей выразить, а прямо сказать, что он еще любит ее, и любит даже сильнее, чем прежде,— что теперешние ее поклонники не сумеют да и не захотят ее так любить! На четвертый день Бегушев пересилил себя и поехал к Домне Осиповне; пространство до ее дома ему показалось очень коротким. Ему легче бы, кажется, было, если бы она жила дальше от него; но когда он позвонил у ее подъезда, то ему захотелось, чтобы как можно скорее отворили дверь; оказалось, что и звонить было не надо: дверь была не заперта. Ее распахнул перед ним швейцар в траурной форме, а вместе с ним встретил и лакей в черном фраке.

— У себя госпожа ваша? — проговорил Бегушев, чувствуя, что у него ноги в это время подкашивались.

— Они нездоровы! — отвечал лакей.

— Это я знаю, но вы все-таки скажите Домне Осиповне, что я приехал навестить ее,— вот вам моя карточка!

Лакей пригласил его войти. Бегушев вошел и сел на первый же попавшийся ему стул в передней. Наверх вела мраморная лестница, уставленная цветами и теперь покрытая черным сукном; лакей убежал по этой лестнице и довольно долго не возвращался; наконец он показался опять на лестнице. Бегушев думал, что в эти минуты у него лопнет сердце, до того оно билось. Лакей доложил, что Домна Осиповна никак не могут принять господина Бегушева, потому что очень больны, но что они будут писать ему.

Бегушев поднялся с места, сел в коляску и уехал домой. Слова Домны Осиповны, что она напишет ему, сильно его заинтересовали: «Для чего и что она хочет писать мне?» — задавал он себе вопрос. В настоящую минуту ему больше всего желалось устроить в душе полнейшее презрение к ней; но, к стыду своему, Бегушев чувствовал, что он не может этого сделать. За обедом он ни слова не сказал графу Хвостикову, что ездил к Домне Осиповне, и только заметил ему по случаю напечатанного графом некролога Олухова:

— А вы не утерпели, настрочили хвалебный гимн Олухову!

— Нельзя было, невозможно,— отвечал тот, пожимая плечами.

«Нельзя» это, собственно, проистекало из того, что Домна Осиповна заплатила графу Хвостикову за этот некролог триста рублей.

— Но как же у вас достало духу написать, что Олухов умышленно убил себя вследствие нервного расстройства от умственных занятий?

— De mortuis aut bene, aut nihil [1],— ответил граф.

Бегушев справедливо полагал, что Домна Осиповна вовсе не была очень огорчена смертью мужа, но что она только была напугана и истерзана последующими сценами: привозом трупа, криками и воплями Агаши, гробовщиками, целою толпой набежавшими на двор, процедурой похорон; когда же все это кончилось, она заметно успокоилась. Приезд Бегушева к Домне Осиповне удивил ее и сильно польстил ее самолюбию. Первоначально она хотела принять его и напомнить ему, как он виноват пред ней; но она предположила, что это будет неприятно *одному человеку,* и не сделала того; а решилась только написать письмо к Бегушеву, которое вышло приблизительно такого содержания: «Александр Иванович! Вы приезжали ко мне... благодарю вас; я никак не ожидала этого, потому что вы мне писали, что между нами все и навсегда должно быть кончено... Неужели вы потому посетили меня, что я сделалась вдовою и что вы не встретите у меня того гадкого общества, которое вас так устрашало? Александр Иванович, «как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом»! — приплела Домна Осиповна стих Пушкина, полагая, что он очень подходит к ее теперешнему положению...— Вы забыли, Александр Иванович, что я женщина, и самолюбивая женщина... Любя, мы все готовы переносить от того, кому принадлежим; но когда нам скажут, что нас презирают, то что же нам другое остается делать, как не вырвать из души всякое чувство любви, хоть бы даже умереть для того пришлось. Эти немногие строки я прошу вас, как благородного человека, сохранить в совершенной тайне и забыть меня навсегда; нас разделяет теперь много пропастей, и я хотела только поблагодарить вас за прошлое, которого никогда не забуду».

---

[1] О мертвых — или хорошее, или ничего, *(латинская поговорка)*

Слова *никогда и навсегда* Домна Осиповна по два раза подчеркнула.

В письме этом Бегушева больше всего возмутила фраза Домны Осиповны: «Когда нам скажут, что нас презирают!..»

— Зачем же она лжет... Когда я говорил, что презираю ее! — вскрикнул он один на один и как бы вопрошая стены.— Она сама, развратная женщина, очень довольна, что освободилась от меня, а обвиняет других!..

И затем пошел и пошел все в том же тоне! Попасться к нему в эти минуты в лапы нельзя было пожелать никому; но судьба, как бы ради насмешки, подвела под его удары самых невинных людей!

Послышался звонок. Бегушеву подумалось, что не опять ли новое письмо от Домна Осиповны. Ну, тогда он решился тоже ответить ей письмецом, и письмецом хорошим. Однако никакого письма не несли.

— Кто же это приехал? — заревел Бегушев на весь дом.

Вошел быстро Прокофий, тот даже испугался на этот раз барского голоса.

— Это к графу Хвостикову какой-то Долгов,— сказал он.

Бегушев еще более обозлился, непременно ожидая, что Долгов и к нему придет, что в самом деле через час какой-нибудь и случилось. Первый вступил в диванную своей сутуловатой и расшатанной походкой Долгов, а за ним и граф Хвостиков.

Оба они переминались и, по-видимому, чувствовали неловкость.

— Вы все хандрите, сказывал мне граф Хвостиков,— начал, наконец, Долгов.

— Зато он все веселится,— отвечал Бегушев.

По такому ответу граф Хвостиков очень хорошо понял, что большого толку не будет из того объяснения, которое он и Долгов предположили иметь с Бегушевым.

— Дело вот в чем,— продолжал Долгов, даже не слыхавший слов Бегушева.— Я к вам с одним серьезным предложением...

Бегушев молчал.

— Согласитесь, что в России... теперь это можно сказать... время глупых увлечений печатным словом прошло... в России нет настоящей, русской газеты.

Бегушев взмахнул на Долгова глазами и проговорил:

— А какие же они у нас?.. Французские, что ли?

— Конечно, не французские,— отвечал тот,— но я хочу этим сказать, что хорошей газеты у нас нет ни одной: один издатель похож на лавочника, который сидит с своими молодцами и торгует... Другой, как флюгер, становится под ветер и каждый год меняет свое направление... Третий — какой-то поп... Четвертый в шовинизм ударился,— словом, настоящей, честной газеты нет!

— А вы думаете, что есть где-нибудь такая? — спросил Бегушев.

— Да те же французские газеты! — воскликнул Долгов.— Я беру газету и понимаю, что это орган клерикалов, это — легитимистов...

Бегушев захохотал.

— Какое же вы удовольствие чувствуете от того, что сначала вам один лакей доложит об интересах своего патрона, потом другой?

— В этом выражается борьба партий.

— А что такое за благополучие партии?.. Припомните: древняя Греция пала и разрушилась по милости партий.

— Разрушиться все на свете должно, и неужели, по-вашему, Людовик Четырнадцатый, говоривший, что «L'etat c'est moi» [1], лучше партий?

Бегушев замотал головой.

— Лучше, гораздо лучше! — произнес он раздраженным голосом и готовый, вследствие озлобленного состояния духа, спорить против всего, что бы ему ни сказали.— И каким образом вы, Долгов, человек умный, не поняли, что газета есть язва, гангрена нашего времени, все разъедающая и все опошляющая?

— Как гангрена?.. Что она разъела, что опошлила? — спрашивал Долгов, пораженный удивлением.

— Она загрызла искусства!..— начал уж кричать Бегушев.— Потому что сделала критику невежественною и продажною; она понизила науку, стремясь к мерзейшей популярности; она пугает правительства, сбивает с толку дипломатию; в странах деспотических она придавлена, застращена, в других — лжива и продажна!..

Долгов, никак не ожидавший слышать от Бегушева подобного варварского мнения, тоже стал кричать:

[1] «Государство — это я», *(франц.)*

— Но вы забываете, сколько благодеяний газета принесла человечеству!.. Она всю потаенную гадость средних веков вывела наружу!.. Она враг и обличительница всякой тирании, всякого злоупотребителя; она оглашает каждое доброе и честное дело, каждую новую мысль.

— Ни больше, ни меньше, как светоносный Аполлон, облетающий землю! — подхватил насмешливо Бегушев.

— Да, Аполлон!.. Выражение очень меткое!.. Прекрасное! — восклицал Долгов.

— Газеты, à dire vraie[1], имеют свои недостатки!.. — скромно заметил граф.— Но их надобно стараться исправить... отрицать же самую форму...

И граф, недокончив, пожал слегка плечами.

— Интересно знать, как и чем можно исправить эти недостатки,— говорил Бегушев прежним насмешливым тоном.

— Ближе всего, чтобы этим делом стали заниматься люди добросовестные, и вот ради этого я и граф Хвостиков решились издавать честную, русскую и правдивую газету,— объяснил Долгов.

Бегушев не мог удержаться и засмеялся.

Долгов этим обиделся.

— Чему вы смеетесь? — спросил он.

— Так, своему смеху! Что ж, дай вам бог успеха! — отвечал ему Бегушев.

— Благодарю за желание,— пробормотал Долгов,— но мы от вас ожидали более живого участия.

— Какого? — спросил Бегушев.

— Мы ожидали,— продолжал Долгов,— что вы поработаете с нами; я так предположил разделить занятия: вам — иностранный отдел, я беру внутренний, а граф Хвостиков — фельетон, критику и статьи об искусствах!

— Нет, я не могу принять на себя иностранного отдела! — проговорил Бегушев, в то же время думая про себя, что «эти два шута совершенно уж, видно, рехнулись».

— Отчего же не можете? — воскликнул искренним голосом Долгов.— С вашим умом, с вашим образованием и вашим знанием Европы!..

— Я потому и не могу, что у меня сохранился еще некоторый умишко и добросовестность! — перебил его Бегушев, в голосе которого продолжало слышаться раздражение.

---

[1] по правде говоря, *(франц.)*

Граф Хвостиков, хорошо уже знавший бешеный нрав своего благодетеля, внутренне обмирал от страха и молил бога об одном, чтобы Долгов лучше и не договаривал своей последней и самой главной просьбы; но тот договорил:

— Не захотите ли вы, по крайней мере, участвовать капиталом тысяч в десять — пятнадцать в нашем деле?

Граф Хвостиков даже побледнел немного в ожидании ответа Бегушева.

— Не захочу! — проговорил тот тихо.— В этом случае вам гораздо лучше обратиться к купцам здешним: они охотно дают деньги на затеваемые в их пользу газеты.

— Были, у нескольких человек были! — признался Долгов.— Не дают; говорят, что дела у них очень плохи!

— Вы бы их дела стали поддерживать вашей газетой, печатая статьи, где бы расхваливали их товары, оглашали в тысячах экземплярах их фальшивые банковые балансы, поддерживали высокий тариф, доказывали бы, что они — ядро России, соль земли русской!

— Да это бог с ними; пускай бы присылали какие угодно статьи, дали бы только мне возможность другое — дорогое для меня — проводить,— проговорил Долгов.

— Что же это такое дорогое для вас? — спросил Бегушев, едва сдерживая себя.

Граф Хвостиков встал и начал расхаживать по комнате; он сохранял еще маленькую надежду, что самой идеей газеты Бегушев будет привлечен в их пользу.

— Дорого для меня,— начал Долгов торжественным тоном,— поднять дух народа, восполнить историческую связь между древней Россией и новой, которая прервана; напомнить России, что она есть!..

В лице Бегушева явно отражалось недоверие, которое как бы говорило: «Врешь, мой милый, дорогое для тебя совсем не то, а тебе кушать надобно на что-нибудь, и ты на газете хочешь поправить свои делишки».

— И вы с графом Хвостиковым надеетесь все это сделать? — произнес он насмешливо.

— Надеемся! — отвечал с решительностью Долгов.

— Сомневаюсь или даже уверен, что вы не сотворите сего чуда!..— сказал Бегушев.

— Увидите!.. Увидите!..— восклицал Долгов.— Отрицать заранее ничего нельзя.

— Можно наперед это отрицать: вы затеваете газету,

глубоко уважая эту форму... Я не охотник до газет; но все-таки становлюсь их заступником: для этого рода деятельности прежде всего нужна практическая сметка, а вы далеко человек не практический!

— Какой я практический, но у нас практик — граф Хвостиков! — возразил Долгов.

— Хорош практик! — произнес почти со злобою Бегушев.— Кроме того вы, я и сотни других русских людей носят в себе еще другой недостаток: мы ничего не знаем! Ничего!.. Кроме самых отвлеченных понятий и пустозвонных фраз, а граф Хвостиков и тех даже не ведает!..

Он, по преимуществу, хотел донять того, предполагая, что замысел издавать газету принадлежит графу.

— Я буду только фельетонистом, не больше, как фельетонистом! — объяснил граф Хвостиков.

— И какой еще будет фельетонист! Вы читали его фельетоны? Прелесть! — подхватил Долгов.

— Сочиненные им некрологи я читал, а другого — нет! — отвечал Бегушев.

— Другого я ничего и не писал! — солгал граф Хвостиков из опасения попасть на зубок к Бегушеву по этой части; но в самом деле он, пристроившись к одной газетке, очень много писал и даже зарабатывал себе порядочные деньжонки!

— Если вы нуждаетесь в деятельности и считаете себя еще способным к ней, так вам гораздо лучше искать службы, чем фантазировать о какой-то неисполнимой газете!.. Вы, сколько я помню, были мировым судьей!..— сказал Бегушев Долгову.

— Был, и первое время все шло отлично; но потом все это испортилось, и я к выборам не намерен более обращаться никогда!

— Что же вас так обидело там?

— Э, рассказывать даже тяжело! — произнес Долгов, махнув рукою.

— Нет, вы расскажите! — посоветовал ему граф Хвостиков.— Александру Ивановичу интересно будет узнать, есть ли у нас возможность заниматься чем-нибудь, исключая свободных профессий!

— Рассказать очень просто,— продолжал Долгов.— Служил я усердно, честно; но вдруг устроилась против меня целая интрига и комплот! (Неумелость свою Долгов имел привычку объяснять всегда какими-то тайными ма-

хинациями, против него устраиваемыми.) Был у меня письмоводитель, очень умный, дельный, которого я любил, холил; но они сумели его вооружить против меня.

— Кто они? — проговорил Бегушев с досадой.

— Я не знаю, собственно, кто,— отвечал Долгов,— но знаю, что по всей губернии начали трубить, что я, когда мне вздумается, рву протоколы моих заседаний, а потом пишу новые.

— А этого не бывало? — полюбопытствовал Бегушев.

— Было один раз,— не скрыл Долгов.— Протоколы у меня обыкновенно лежали на столе в кабинете; заболел мой младший ребенок холериной, а около нас была сильная холера; я перепугался, растерялся, схватил первую попавшуюся мне бумагу, намазал на нее горчичник и приставил к желудочку ребенка; бумага эта оказалась протокол!..

Бегушев невольно усмехнулся. Положение Долгова, впрочем, его тронуло. «Неряха этакой, без средств, с семьею и, вероятно, глупой семьею; но как тут помочь? Дать ему денег на газету? Но это все равно, что их в печку бросить; они у него уплывут неизвестно куда и на что»,— думал он и сказал вслух:

— В таком случае начните государственную службу.

— Где ж государственную службу? — проговорил Долгов.

— Тюменева вы знаете и помните? — спросил Бегушев.

— Еще бы, господи! — воскликнул Долгов.— Подите, куда пролез этот господин, а не бог знает что такое! — прибавил он.

— Тюменев человек целостный, а не такой размазня, как мы с вами! — сказал Бегушев.— Хотите, я напишу ему об вас?

— Пожалуйста, сделайте милость! — произнес обрадованным голосом Долгов.

— Напишу, только вперед уговор: если вы поступите к Тюменеву на службу, то протоколов не рвите на горчичники,— он вам не простит этого!

— Что об этом говорить!.. Это была случайность,— возразил Долгов; но в самом деле это была вовсе не случайность. Он не одни протоколы, а целые дела затеривал и писал такие решения, что мировой съезд, по неясности, их почти постоянно отменял.

От Бегушева Долгов уехал, уже рассчитывая на служебное поприще, а не на литературное. Граф Хвостиков, подметивший в нем это настроение, нарочно поехал вместе с ним и всю дорогу старался убедить Долгова плюнуть на подлую службу и не оставлять мысли о газете, занять денег для которой у них оставалось тысячи еще шансов, так как в Москве много богатых людей, к которым можно будет обратиться по этому делу.

Написанные графом несколько фельетонов, которые были замечены в публике, вскружили ему голову, как некогда заставляли его бредить финансовые проекты.

— Что это за время омерзительное,— сказал Бегушев, оставшись один,— даже из такого благороднейшего пустомели, как Долгов, сделало чуть не жулика!

Глава III

Величию и славе Домны Осиповны в продолжение всего наступившего лета пределов не было. На большей части дач, особенно в парке и Сокольниках, было переговорено, что она теперь владетельница пятимиллионного после мужа состояния. Домна Осиповна действительно, сблизясь опять с мужем после разлуки с Бегушевым, успела от Олухова взять домашнее духовное завещание на все его состояние. Тогда она сделала это под величайшим секретом, но в настоящее время духовная эта была уже утверждена судом. Каждый хороший вечер Домна Осиповна каталась в Петровском парке на паре англизированных лошадей в шорах, с кучером и с лакеем в круглых шляпах, с перекинутыми на задок козел их шинелями. Домна Осиповна за границей видела такую моду, и ей очень она понравилась. Сама она одета была в глубокий траур. Около ее экипажа часто, как два адъютанта, скакали верхами Янсутский и Перехватов. Домна Осиповна очень томно и тонно кивала головой встречающимся знакомым. В одну из таких прогулок Домну Осиповну сопровождал один только Янсутский, который сидел с ней в коляске и был, сверх обыкновения, очень молчалив и мрачен.

— Вы не желаете пройтись? — сказал он, когда выехали на шоссе к Петровскому-Разумовскому.

— Пожалуй!..— сказала Домна Осиповна и не совсем охотно вышла из экипажа.

Они пошли по тропинке. Домна Осиповна заметно старалась не опереживать своей коляски и не отставать от нее.

Янсутский сначала ни слова не говорил и только кусал свои жиденькие усы.

— Домна Осиповна,— произнес он, наконец,— я не очень вам противен?

Домна Осиповна обратила на него удивленные глаза.

— К чему этот вопрос? — проговорила она и вместе с этим вспыхнула.

— Во-первых, вы знаете, к чему этот вопрос,— отвечал Янсутский.— Я человек практический, больших разглагольствований не люблю, и если что говорю, так прямо и правду.

— Ну, не всегда, я думаю, правду!..— заметила Домна Осиповна.

— Всегда!.. Во всех случаях моей жизни!..— продолжал Янсутский.— И прежде всего скажу, что как ни чувствительно жиганул меня Хмурин, но я в порядочном денежном положении, почти в миллионе.

«С первого же слова и солгал!» — подумала Домна Осиповна, потупляясь. Она от многих слышала, что Янсутский, напротив, сильно расстроился в делах своих.

— Холостая жизнь мне надоела,— объяснял он далее,— я желаю завести семейный уголок!.. Вы мне давно чрезвычайно нравитесь! Вследствие всех сих и оных обстоятельств я и прошу вас сказать: согласны ли вы отдать мне вашу руку и сердце?

Янсутский хоть и старался говорить комическим тоном, но видно было, что внутри у него кипело.

— Нет, не согласна,— не замедлила ответом Домна Осиповна, произнося эти слова твердым голосом.

— По какой причине?

— По многим!

— Желательно бы знать хоть одну из них.

— Главная та, что вы человек не нежный, а я прежде всего желаю, чтобы муж был нежен со мною и деликатен!..

— Из чего вы заключаете, что я не нежен?

— Господи, я достаточно видела, как вы обращались с Лизой Меровой!

— Вот еще кого привели в пример: Мерову!.. Дуру набитую, которую я никогда и не любил, доказательством

чему служит то, что я не женился на ней!.. Что мне мешало?

— Мешало вам не то, а другое...

— Что такое другое?

— То, что она бедна!

Янсутского передернуло.

— А вам я делаю предложение, вы полагаете, оттого, что вы богаты?

— Конечно, отчасти и оттого!

Янсутский на некоторое время замолчал и опять стал кусать свои усы. Видимо, что он соображал, как ему далее вести атаку.

— Но замуж вы, конечно, выйдете и, вероятно, скоро? — спросил он.

— Может быть,—отвечала равнодушным голосом Домна Осиповна.

— Я даже знаю, за кого! — подхватил Янсутский.

— И то может быть!

— За Перехватова, так?

— Почему же именно за Перехватова?..— полувоскликнула Домна Осиповна и засмеялась.

— Не за Бегушева же? — говорил Янсутский совсем с перекошенным ртом.

— За Бегушева я вышла бы, но он сам не женится на мне!

— К чему такое отчаяние?.. Попробуйте опять заманить его в свои сети!

— Пробовала, и ничего не вышло.

— Пробовали уж?

— Да!

Янсутский на несколько мгновений был сбит с толку.

— Как бы то, впрочем, ни было, но я не советовал бы вам пренебрегать мною!..— проговорил он мрачным голосом.

— Я вами и не пренебрегаю, а если не иду за вас замуж, то потому, что вы мне не нравитесь настолько, чтобы сделаться вашей женой.

— А Олухов вам когда-то нравился настолько? — спросил Янсутский.

— Нравился!

— А между тем вы очень скоро начали кокетничать с другими молодыми людьми!

Домна Осиповна обиделась: она никогда еще и ни от кого не слыхала подобной дерзости.

— Как вы смеете говорить мне такие вещи!..— сказала она, и у ней при этом губы немного дрожали и ноздри раздувались.

— Что я вам такое сказал! Вы меня хуже окрестили — отъявленным корыстолюбцем, однако я выслушал!

— Большая разница: вы мужчина, а я женщина!.. Вы не можете позволять себе говорить мне то, что могу я вам!

— Это что еще за новые правила выдумали!..— возразил Янсутский и засмеялся.— Полноте, пожалуйста,— продолжал он,— мы с вами давно знаем друг друга; если я люблю деньги, так и вы не меньше моего их любите!.. Мы ровня с вами!..

— Не желаю быть ровней вашей ни в чем!.. Одно мнение общества, которое о вас существует!..— говорила Домна Осиповна, начинавшая совсем выходить из себя.

— Да и вы не знаете, какое о вас мнение!.. Может быть, хуже, чем обо мне!..— подхватил нагло Янсутский.

Домна Осиповна отвернулась от него и прямо ничего не ответила.

— Хорош бы брак у нас был!.. Еще только заговорили о нем, тиграми какими-то стали друг против друга! — произнесла она как бы больше сама с собой.

— Тогда, может быть, лучше бы было!.. Столковались бы как-нибудь!..— сказал Янсутский, ядовито усмехаясь.— А вы напрасно меня отталкиваете; по старой дружбе я еще раз вам повторяю: раскаетесь!..— заключил он с ударением.

— Никогда!.. Наоборот, уверена, что всю жизнь буду хвалить себя! — воскликнула Домна Осиповна.

— Увидите! — пригрозил ей Янсутский и круто повернул назад к парку.

— Вы не желаете, чтобы я вас довезла? — спросила его Домна Осиповна.

— Нет, дорогу я знаю!..— ответил он грубо и быстро пошел.

Домна Осиповна села в коляску. Лицо у ней было очень сердитое; губы надулись, глаза покрылись туманом гнева, хотя в одном отношении она была довольна этим объяснением: оно окончательно развязывало ее с Янсутским, ужасно ей надоедавшим своим ухаживаньем.

В парк Домна Осиповна не возвращалась, чтобы не встретиться опять с Янсутским, и проехала в Москву через Бутырскую заставу.

— Иван Иванович Перехватов не заезжал ко мне? — был первый ее вопрос, когда она вошла в свою великолепную квартиру.

— Никак нет-с! — отвечал ей вежливо красивый из себя лакей.— Чай готов! — прибавил он негромко.

— Я подожду Ивана Ивановича,— отвечала величественно Домна Осиповна.

День этот был днем установленных вечеров Олуховых, которые Домна Осиповна возобновила по истечении шестимесячного траура; на вечерах этих, впрочем, один только бывал Перехватов, который вскоре и явился.

— Пойдемте пить чай! — сказала ему Домна Осиповна, непродолжительно, но крепко пожав его руку.

— С удовольствием! — подхватил доктор.

Когда Домна Осиповна в сопровождении его проходила в столовую, то в ее походке, в ее богатом туалете, в убранстве чайного стола, на котором блестел серебряный самовар, так и чувствовалось пятимиллионное состояние. Домна Осиповна села на особо приготовленное для нее кресло.

Доктор поместился очень близко к ней и тоже на довольно покойный стул. Домна Осиповна налила ему стакан, а себе небольшую чашку; доктор выпил чай и съел при этом массу печенья.

Домна Осиповна, налив ему еще стакан, откинулась на задок кресел и стала на него томно смотреть.

За этим стаканом доктор выпил третий, четвертый, продолжая пожирать сухари, бисквиты, а также и стоящие на столе фрукты: он был большой чаепиец и сладкоежка!

Домна Осиповна не переставала на него смотреть.

— Вы знаете, что сегодня Янсутский делал мне предложение,— начала она, закуривая пахитоску.

Получив в обладание миллионы, Домна Осиповна начала курить вместо папирос пахитосы; сделала это она, припомнив слова Бегушева, который как-то сказал, что если женщины непременно хотят курить, так курили бы, по крайней мере, испанские пахитосы, а не этот тошнотворный maryland doux! [1]. Домна Осиповна вообще очень

[1] сладкий мерилендский табак! *(франц.)*

часто припоминала замечания Бегушева; а еще более того употребляла его мысли и фразы в разговорах.

— Янсутский был поэтому у вас? — спросил доктор неторопливым, но не совсем спокойным голосом.

— Был у меня, обедал, напросился, чтобы я взяла его с собой ехать в парк,— надоел мне до невозможности! — говорила Домна Осиповна, помахивая кокетливо своей пахитоской.

Доктор при этом обратил свое внимание на ее кольцо.

— Однако у вас это новинка,— сказал он, указывая на прелестный перстенек с брильянтом, надетый на указательный палец Домны Осиповны.

— Я у мужа в вещах нашла этот брильянтик и велела себе сделать кольцо... Он воды очень хорошей.

— Вода и грань превосходные! — подтвердил доктор.

— Хотите взять его на память себе? — спросила Домна Осиповна.

— Но оно мне и на мизинец не взойдет!.. У вас ручка такая тоненькая,— произнес доктор, усмехаясь.

— Повесьте его, как брелок!.. Дайте мне вашу цепочку!..

И Домна Осиповна, сняв с руки своей перстенек, сама навесила его доктору на цепочку.

Перехватов после того схватил обе ее руки и начал их целовать. Домна Осиповна смотрела уж на него страстно.

— И что же,— воскликнул доктор,— Янсутский у вас здесь делал вам предложение или дорогой?

— Дорогой!.. Но милей всего — с таким нахальством, как будто бы он уверен был, что я буду в восторге от его предложения... Я, разумеется, засмеялась на первые же слова его, и надобно было видеть, как он обозлился. Бегушев в сравнении с ним кроткий ягненок.

Доктор отрицательно покачал головой.

— Не думаю, чтобы Бегушев в сравнении с кем бы ни было мог быть кротким ягненком.

— Но *ты* забываешь,— обмолвилась Домна Осиповна,— Бегушев человек светский, образованный; он может женщину язвить, убить даже, но говорить сальные дерзости не станет!

— Полагаю, что станет и он! — сказал доктор.

В душе он Бегушева больше даже ненавидел, чем Янсутского.

— Однако кто-то приехал,— проговорила Домна Осиповна, прислушавшись своим чутким ухом.— Неужели Янсутский? — прибавила она уже испуганным тоном.

Но приехал не Янсутский, а граф Хвостиков, который привез с собой Долгова. На последнего Домна Осиповна и доктор взглянули с недоумением: они его совершенно не узнали.

Сии два странника после неудачной попытки у Бегушева целую неделю ездили по Москве и все старались занять денег на задуманную ими газету. К Домне Осиповне граф Хвостиков привел Долгова, как к последнему ресурсу: не ссудит она, все дело пропало,— а потому решился действовать напролом. Что касается Долгова, то он совсем был утомлен, совсем разбит; его славянская натура не имела такого медного лба, как кельтическая кровь графа Хвостикова; он очень хорошо начал сознавать всю унизительность этих поездок. Сверх того, Долгов в этот день утром заезжал к Бегушеву, чтобы узнать от него, не получил ли он ответа от Тюменева. Бегушева он не застал дома и попросил у Прокофия позволения подождать барина. Прокофий позволил ему и даже провел его в кабинет, где Долгов около получаса сидел и, от нечего делать блуждая глазами с предмета на предмет, увидел на столе письмо и в письме этом свою фамилию; не было никакого сомнения, что оно было от Тюменева. Долгов не удержался и прочел письмо, которое оказалось ужасным для него. Тюменев прямо-напрямо бранил Бегушева, что как ему не стыдно рекомендовать на службу подобного пустоголова, как Долгов, и при этом присовокуплял, что Долгов сам неоднократно просил его о месте письмами, написанными с такой синтаксической неправильностью, с такими орфографическими ошибками, что его разве в сторожа только можно взять...

Тут же невдалеке лежал и начатый ответ Бегушева, который Долгов тоже пробежал. Бегушев писал: «Ты — пропитанный насквозь чернилами бюрократ; для тебя скудная ясность изложения и наша спорная грамотность превыше всего; и каким образом ты мог оскорбляться, когда Трахов не принял к себе на службу тобою рекомендованного господина, уже изобличенного в плутовстве, а Долгов пока еще человек безукоризненной честности».

На этом месте Бегушев остановился писать и вышел из дому, чтобы поумерить несколько свой пыл.

Долгов, прочитав письма, решился лучше не дожидаться хозяина: ему совестно было встретиться с ним. Проходя, впрочем, переднюю и вспомнив, что в этом доме живет и граф Хвостиков, спросил, дома ли тот? Ему отвечали, что граф только что проснулся. Долгов прошел к нему. Граф лежал в постели, совершенно в позе беспечного юноши, и с первого слова объявил, что им непременно надобно ехать вечером еще в одно место хлопотать по их делу. Долгов согласился.

— Позвольте вам представить Василия Илларионовича Долгова,— говорил граф, подводя своего друга к Домне Осиповне, которая, не приподнимаясь с места, но довольно приветливо, мотнула им головой.

Оба они уселись.

— Вы видите, Домна Осиповна, перед собой одного из образованнейших людей России,— начал граф, указывая на Долгова.

Домна Осиповна, для выражения чего-то, опять мотнула головой.

— Начну с языков: Василий Илларионович знает в совершенстве латинский, греческий, говорит по-испански, по-французски, по-английски...

— Нет, я по-английски плохо знаю!..— отвечал Долгов.

— Однако вы читаете Шекспира в подлиннике,— сказал граф Хвостиков.— И такой человек у нас без всякой деятельности существует; сидит у себя в деревне и свистит в ноготок!

— Это очень жаль! — сказала с величавым участием Домна Осиповна.

— В России все истинно хорошее, истинно русское должно гибнуть!..— проговорил Хвостиков.

На последнюю фразу его Долгов одобрительно кивнул головой и, зажегши папиросу не с того конца, с которого следует, начал курить ее и в то же время отплевываться от попадающего ему в рот табаку.

— Вы, конечно, патриотка? — продолжал Хвостиков.

— Разумеется! — отвечала Домна Осиповна величаво.

— Так поддержите нас в одном истинно патриотическом деле: дайте нам взаймы тысяч пятьдесят на

газету, которую мы предполагаем издавать! — хватил граф.

— Пятьдесят много, достаточно десяти! — поуменьшил Долгов.

Домна Осиповна сначала не поняла, что они такое говорят, и взглянула на доктора, который сидел молча и выкладывал из сухарных крошек зигзаги.

— Деньги нам нужны на газету,— ссудите! — подхватил Хвостиков.

— Я не имею таких денег,— проговорила Домна Осиповна,— они у меня у самой теперь все в делах!

Граф Хвостиков, а еще более того Долгов поникли головами.

Наступили затем тяжелые и неприятные для всех минуты. Долгов и граф Хвостиков начали прихлебывать чай; главным образом они не знали: уехать ли им или оставаться? Сейчас отправиться было как-то чересчур грубо; оставаться же — бесполезно и стеснительно.

Хозяйке тоже было не совсем ловко, и она уже снова закурила пахитосу. Доктор продолжал выделывать из сухарей зигзаги.

Граф Хвостиков, впрочем, более приятеля сохранивший присутствие духа, принялся доказывать доктору, что Россия самая непредприимчивая страна, что у нас никто не заинтересуется делом за его идею, а всякому дорог лишь свой барыш! Доктор с легкой улыбкой соглашался с ним; Домна же Осиповна держала свои глаза устремленными на Долгова, который сидел совсем понурив голову. Наконец гости увидели, что им есть возможность уехать, и уехали!

— Что это такое... а?.. Что такое? — спрашивала Домна Осиповна доктора.

— Юродивые какие-то! — определил тот.

— Но неужели кто-нибудь и даст им денег?

— Может быть, найдется такой дурак! — ответил доктор и, посмотрев на часы, прибавил: — Ну, мне еще надобно к больным!

— Ох, мне эти больные ваши!— произнесла Домна Осиповна с досадой.— Если бы воля моя была, я взяла бы их или всех вылечила, или всех уморила!

— Что они вам так помешали? — проговорил с усмешкой Перехватов.

— Они отнимают тебя у меня! — сказала томно-нежным голосом Домна Осиповна.— Шутки в сторону: мне решительно некогда с тобой поговорить! — прибавила она.

— Но до конца мы все-таки не договоримся с вами, хоть бы и было когда говорить,— возразил ей доктор.

На лице Домны Осиповны отразилось маленькое неудовольствие.

— Иван Иванович, неужели вам мало того, чем я для вас пожертвовала? — спросила она стыдливо.

— Не мало, но все это пока еще неопределенно и непрочно! — проговорил доктор.

— Jean! — воскликнула Домна Осиповна.— Нельзя же все это вдруг сделать!.. Ты послушай, что и теперь про меня говорят!

— Вас не пугало, однако, когда говорили про вас и про Бегушева!

— Тогда другое было дело! Тогда я прикрывалась именем мужа!

Перехватов, как и Янсутский, со вдовства Домны Осиповны начал сильно желать, чтобы она, сверх сердца, отдала ему и руку свою; но у Домны Осиповны по этому поводу зародились свои собственные соображения: как владетельнице огромного состояния, ей стала казаться партия с ним слишком низменною; Перехватов все-таки был выскочка!.. (Вот уж куда стала бить Домна Осиповна.) Выйдя за него замуж, она будет докторшею,— титул не громкий!.. Домна Осиповна не слыхала даже, чтобы какая-нибудь докторша играла в свете роль, чего в настоящие минуты Домне Осиповне хотелось пуще всего! Были минуты, когда она думала, что если выходить еще раз замуж, так лучше было бы за Бегушева. Домна Осиповна очень хорошо понимала, что в Бегушеве все искали, а доктор, напротив, сам заискивал во всех! Но в то же время, за красоту доктора и его покорное обращение с ней, она была влюблена в него как кошка (в этом отношении в ней проявлялось что-то уж старческое и чувственное). Борьба, в силу этих противоречий, внутри ее происходила немалая!

— Будем ждать-с! — сказал доктор.

Домна Осиповна видела, что он рассердился на нее.

— Ты меня не понимаешь! — сказала она и, еще более пододвинувшись к доктору, положила ему руки и

голову на плечо.— Я готова быть твоей женой, но я боюсь тебя!

Будь доктор более тонкий психический наблюдатель, он почувствовал бы, что в голосе ее было что-то вынужденное и недосказанное.

— Но чего же вы боитесь? — спросил он ее, целуя в голову.

— Боюсь, что ты мало меня любишь,— не так, как я тебя!

— Точно так же, как и вы!

— Нет, не так! Ты даже ни разу не приревновал меня,— говорила Домна Осиповна: по самолюбию своему она любила, чтобы ее ревновали, особенно если сама была ни в чем не повинна!

— А Бегушев разве вас ревновал? — спросил доктор.

— Ужасно! — ответила Домна Осиповна.— Даже когда я раз с этим Хмуриным поговорила ласково по одному делу, так он чуть не убил меня!

— Хорошее доказательство любви!.. А сами вы Бегушева ревновали?

— Что же его было ревновать? Он не отходил от меня и был олицетворенная верность!.. Но тебя я ревную.

— Это отчего? — спросил, усмехаясь, Перехватов.

— Оттого, что ты доктор, и еще дамский доктор: когда я выйду за тебя, ты непременно должен бросить практику.

Последнее требование смутило доктора.

— Это безумие с вашей стороны ставить мне такое условие! — сказал он.

— Вовсе не безумие! — возразила Домна Осиповна.— Состояния у нас достаточно, чтобы нам даже роскошно жить!..

— Дело не в состоянии,— возразил доктор,— но вы забываете, что я служитель и жрец науки, что практикой своей я приношу пользу человечеству; неужели я мое знание и мою опытность должен зарыть в землю и сделаться тунеядцем?.. Такой ценой нельзя никаких благ мира купить!

Домна Осиповна слушала его молча: она сама до некоторой степени сознавала неблагоразумие своего требования.

— В таком случае лечи одних мужчин! — сказала она.

Доктор рассмеялся.

— Вы говорите, как ребенок. Разве это возможно? Позовут меня к мужчине — я еду; позовут к даме — не еду!.. Почему?.. Потому что жена не пускает?..

Домна Осиповна глубоко вздохнула и, переложив свои руки с плеча доктора на стол, склонила на них свою голову. Прошло довольно продолжительное молчание.

— С каким же решением я сегодня уеду от вас?..— проговорил доктор тихим и вкрадчивым голосом.

— Я выйду за вас!..— отвечала Домна Осиповна и с величественной позой протянула доктору руку; тот поцеловал ее руку.— Но только смотрите, Перехватов: вас бог накажет, если вы обманете меня!.. Я слишком многим для любви моей к вам жертвую!..

— Не за что будет богу наказывать меня! — подхватил доктор и, еще раз поцеловав у Домны Осиповны руку, уехал.

Через весьма непродолжительное время по Москве огласилось, что Домна Осиповна вышла замуж за доктора Перехватова. В среде медиков это произвело толки и замечания такого рода: «Молодец этот Хваталкин (так начали называть в последнее время Перехватова): кроме практики — жену с миллионами подцепил!»

Свадьба Домны Осиповны с доктором была отпразднована роскошно; пригласительные карточки на последующий бал были даже посланы к Янсутскому, Бегушеву и графу Хвостикову. Первые двое не приехали, но последний явился и в ближайшем номере той газеты, где сотрудничал, описал торжество брачного пиршества, объяснив читателям, что «молодой и молодая блистали красотою, молодостью и свежестью» — *несколько подкрашенною,*— смертельно хотелось прибавить графу относительно Домны Осиповны, но он не прибавил этого, потому что она обещала ему за этот фельетон сто целковых.

Глава IV

В конторе Грохова, по-прежнему грязной и темной, сидели сам Грохов и Янсутский. Оба они очень изменились: Грохов оплешивел, обеззубел и был с багрово-желтым цветом лица, а Янсутский еще более похудел и походил на оглоданную, загрязненную кость, но энергии своей нисколько не утратил.

— Совершенная случайность открыла мне это!..— говорил он, как и всегда, быстро и бойко.— Ехал я прошлой весной из Казани на пароходе с некоторыми сибиряками... обедали вместе, выпивали, конечно... Вот, батюшка, пить-то здоровы и, главное, все коньяк дуют!.. Болтаем о том, о сем, только один из них, как видно купец этакой солидный и не враль, спрашивает меня, что не знаю ли я в Москве господина Олухова. «Имею, говорю, это счастье!» — «А правда ли, говорит, что он помер?» — «Такая же, говорю, правда, что я жив!» Купец поежился. «Кто ж, говорит, теперь по их делам ответчик должен быть?» — «По каким, говорю, делам?» — «Да как же-с, говорит, старик Олухов, кабы не умер, должен был бы объявить себя несостоятельным!» Что такое за вздор, думаю. «На чем же, говорю, он мог прогореть?» — «У него, говорит, более половины состояния в делах Хмурина лопнуло, а потом он и свое большое колесо не на чистые деньги вел... всему почесть Сибирю должен: мелким капиталистам — кому тысячу, кому три, кому десять!» — «Вы, говорю, тоже кредитор его?» — «Да-с, говорит, и нам бы очень желалось эти маленькие взыскания наши продать кому-нибудь в одни руки».— «А на сколько, говорю, их?» — «Да полагать надо, на миллион!» — «Но какая же, говорю, при ликвидации дела может быть по ним уплата?» — «Более, говорит, семидесяти пяти копеек нельзя получить!» — «А вы, чай, просите за них гривен по шести?» — «Нет, говорит, хорошо, если б дали по полтинничку!»

Все это Янсутский уже знал, сватаясь за Домну Осиповну, и предполагал тогда, сделавшись ее мужем, скупить за бесценок все эти маленькие взыскания и таким образом сделаться главным ее кредитором; но теперь он решился употребить этот план как орудие мести против Домны Осиповны. К Грохову он обратился потому, что ему известно было, что Домна Осиповна с прежним своим поверенным совершенно рассорилась, так как во время кутежа ее мужа с Гроховым написала сему последнему очень бранчивое письмо, на которое Грохов спьяна написал ей такого рода ответ, что Домна Осиповна не решилась даже никому прочесть этого послания, а говорила только, что оно было глупое и чрезвычайно оскорбительное для нее.

— Сведения сии, согласитесь,— продолжал Янсут-

ский,— любопытны, и я вот приехал к вам посоветоваться и спросить вас: правда ли это, и возможно ли банкротство Олуховых? Вы занимались их делами... Домна Осиповна, сколько я помню, и ввод во владение мужа поручила вам.

— Поручать она мне поручала,— отвечал Грохов, немножко сконфузившись,— но я тогда заболел и передал все помощнику... Вас что же так интересуют дела Олуховых? — присовокупил он после короткой паузы.

— Интересуют по чувству жалости,— отвечал Янсутский, пожимая плечами.— Вообразите, сколько несчастных маленьких кредиторов будут обобраны в конкурсе, если он только учредится...

Такому филантропическому движению Янсутского Грохов, конечно, не поверил и даже усмехнулся при этом.

— Потом — выгодная афера может быть! — поспешил подхватить тот, чувствуя и сам, что проврался немного.— Расчет тут очень легко сделать: если тысяч на полтораста, на двести скупить миллион векселей, по которым уплатят, положим, по шестидесяти копеек за рубль — это четыреста тысяч в кармане!

— Уж и в кармане!.. Прежде еще надобно узнать и сделать инвентарь всему состоянию!..— возразил Грохов.

— Инвентарь не бог знает что!.. Дело рук человеческих.

— Узнать, наконец, с точностью количество долгов законных...— продолжал Грохов.

— И то можно!.. Они уже все, как сказывал мне купец, стеклись в тамошнем губернском правлении.

— Знаю, что можно; но каких денег это будет стоить!..— твердил свое Грохов.

— Деньги вздор,— по пословице: когда дрова рубят, щепок не жалеют... Я в этом отношении человек не трусливый и решился купить этот процесс: съезжу сам в Сибирь, узнаю все там до точности и вам теперь предлагаю адвокатуру по этому делу... Предпочитаю я вас другим вашим товарищам вследствие того, что вы человек умный, дельный, а не пустой краснобай, и дела купеческие давно ведете. Плата вам, конечно, будет приличная и своевременная,— отчеканивал Янсутский.

— Благодарю вас за предложение, но я все болею,— произнес нерешительным голосом Грохов.

Он действительно болел: ужасная и внезапная смерть

Олухова сильно поразила его, так как он сам в пьяном виде очень легко мог черт знает откуда и черт знает зачем кувырнуться вниз головой. Грохов понял, что довольно дурить, и, сразу перестав пить, послал за доктором, который, найдя у него в ногах опухоль, объявил, что это предвестие грядущей водянки. Грохов испугался и раз по десяти в день начал снимать с себя сапоги и наблюдать, не поднимается ли опухоль выше; доктор сказал ему, что как опухоль дойдет до сердца, так и капут!

— Какое вы болеете, распустили только себя! — успокаивал его Янсутский.

— Нет,— сказал со вздохом Грохов,— выезжать совсем не могу — одышка, опухоль в ногах...

— Другие за вас будут ездить, а вы, как главный телеграфист, сидите у себя в комнате и наигрывайте на клавишах... В этом деле, кроме денежного интереса, есть нравственный: Домна Осиповна,— полагаю, что вы не будете спорить против того,— очень дрянная женщина.

— Дрянная! — подтвердил Грохов.

— Скупая, жадная,— продолжал Янсутский,— а главное,—неблагодарная, лукавая, и туда же фуфырится еще... Напакостить ей было бы для меня величайшим наслаждением.

— И для меня тоже! — сознался Грохов.

— Значит, и будем работать в этом направлении...

— Начинайте, а там увидим...

По отъезде Янсутского Грохов долгое время сидел, погруженный в размышления, а затем позвонил.

Вошел артельщик.

— Скажи кучеру, чтобы он съездил за Яковом Ивановичем,— приказал он тому.

Яков Иванович вскоре явился. Это был известный нам письмоводитель Грохова, повышенный им в помощники. Яков Иванович вел образ жизни лучше своего патрона и был теперь в новой триковой паре, напомаженный, причесанный: по мере того, как Грохов прибавлял ему жалованье, Яков Иванович все меньше и меньше загуливал и, уже два года быв женат, совершенно почти ничего не пил.

— Садитесь! — сказал ему Грохов.

Яков Иванович сел.

— Как велико было объявлено состояние Олуховых при вводе во владение? — спросил Грохов.

— В разных местах это было... миллионов около шести.

— А долгов?

— Тоже много!..— отвечал Яков Иванович.

— У меня сейчас был один барин,— продолжал Грохов после недолгой остановки,— и говорил, что старик Олухов на волоске держался от банкротства.

— Говорили и мне это в Сибири, но не думаю, чтобы так это было.

— На каком основании вы не думаете?

— Да помилуйте!.. — воскликнул Яков Иванович.— Я своими глазами видел в главной конторе двести тысяч, в другой — пятьдесят; а там — где десять, где тридцать.

— Наличными?

— Наличными!..— продолжал восклицать Яков Иванович.— И в некоторых конторах чистым даже золотом... все новенькие полуимпериалы, точно рыжички блестят.

— Деньги эти теперь, я думаю, все растащены,— заметил Грохов.

— Кроме денег-с,— продолжал Яков Иванович с явным удивлением,— дома во скольких городах... фабрики такие, что трубищи до самого неба...

— И все в ходу? — полюбопытствовал Грохов.

— Все... Я был на многих, светятся ночью, как дворцы... Машины на них всё английские... точно черти какие шумят, стучат...

Грохов слушал, нахмурившись, это красноречивое описание разных имуществ Олухова.

— Главное состояние старика было в землях, я знаю,— проговорил он.

— На земли одних планов — три шкафа! — воскликнул Яков Иванович.

Потолковав еще некоторое время с своим помощником, Грохов, наконец, отпустил его и сам снова предался размышлениям: практическая его предусмотрительность и опытность ясно ему говорили, что в этом огромном и запутанном деле много бы, как в мутной воде рыбы, можно было наловить денег: скупить, как справедливо говорит Янсутский, по дешевой цене некоторую часть векселей, схлопотать конкурс; самому сесть в председатели... назначить себе содержания тысяч двадцать пять... подобрать согласненьких кураторов, а там — отдачи фабрик в

аренды, хозяйственная продажа отдельных имений, словом, золотой бы дождь можно было устроить себе в карман; но вместе с этими соображениями Грохов вспомнил о своих недугах и подумал, что ему, может быть, скоро ничего не надобно будет на земле и что на гроб да на саван немного потребуется!

Эта мысль так его расстроила, что он был не в состоянии оставаться долее в своей конторе и уехал домой. Там его встретила Агаша, взятая им после смерти Олухова аки бы в качестве экономки, но в сущности совершенно на том же положении, на каком она была и у того. Грохов прошел в свою спальню и лег в постель.

Янсутский в это время, побывав еще в местах двадцати, обедать прибыл в Английский клуб, где в обеденной зале увидал генерала Трахова, который сидел уже за столом и просматривал меню. Янсутский, разумеется, не преминул поспешно подойти к генералу и попросил позволения сесть рядом с ним. Генерал очень любезно позволил ему это.

— Вы, однако, довольно часто изволите посещать Москву?..— сказал Янсутский.

— Да,— протянул генерал,— теперь я приехал квартиру для жены нанять, но не знаю где: в отелях грязно и беспокойно...

— Здесь есть отличные шамбр гарни с мебелью, столом, прислугою, сервировкою... Если вы прикажете, я сегодня же объеду их несколько и узнаю, где есть свободные отделения, какой величины и в какую цену.

— Но мне очень совестно беспокоить вас этим! — произнес генерал и обязательно пожал Янсутскому руку.

— Напротив,— воскликнул Янсутский,— это не беспокойство, а величайшее удовольствие: завтра же явлюсь к вам, чтобы донести обо всем. Вы, вероятно, в Славянском Базаре остановились?

— Там! — подтвердил генерал.

Читатель, конечно, заметил, что Янсутский в настоящем свидании с генералом был в отношении того гораздо почтительнее, чем в Париже: он по опыту знал, что господа, подобные Трахову, только за границей умаляют себя, а как вернутся в Россию, так сейчас же облекаются в свою павлинью важность.

— Как вам, ваше превосходительство, нравятся обеды здешнего клуба?.. Не правда ли, они гораздо хуже

обедов петербургского Английского клуба?..— продолжал Янсутский подделываться к генералу.

— О, да!.. Tiens [1]... Рубцы! Что это за блюдо, и чесноком еще пахнет,— отвечал тот, делая презрительную гримасу.

— Оно, впрочем, довольно вкусно,— скромно возразил Янсутский.— А как вы, ваше превосходительство, находите эти знаменитые английские супы из черепахи и из бычачьих хвостов? Они мне показались микстурами аптекарскими, а не кушаньем.

— Надобно, чтобы это по-французски было приготовлено... У меня повар мой отлично делает суп из бычачьих хвостов: не жирно, тонко и в меру пикантно.

— У вас, говоряг, повар один из лучших в Петербурге?..— спросил Янсутский.

— Да, недурен,— отвечал генерал и налил из своей бутылки Янсутскому вина.

Тот поспешил ему тоже налить из своей бутылки.

— По-заграничному чокнемтесь! — проговорил генерал.

— Именно по-заграничному! — подхватил Янсутский, очень довольный, что генерал становится с ним на заграничную ногу.

— Скажите,— продолжал тот вполголоса, когда им и Янсутским еще было выпито по стакану вина,— эта Олухова овдовела и вышла снова замуж за какого-то доктора?..

Все, что случалось с молодыми женщинами, генерал всегда ужасно интересовался узнавать до самых мельчайших подробностей.

— Вышла замуж!..— отвечал Янсутский с злой усмешкой.

— Но такая партия для нее, мне кажется, очень иньебильна.

— Прежняя связь! — объяснил Янсутский.

Генерал сделал удивленные глаза.

— Que me dites vous là?.. [2] А Бегушев как же? — спросил он.

— И при нем еще это существовало... Нынче женщины менее трех любовников в одно и то же время не имеют!..— произнес Янсутский.

---

[1] Вот тебе и на! *(франц.)*

[2] Что вы мне говорите?.. *(франц.)*

— Но она, мне сказывали, сделалась после мужа миллионеркой,— заметил генерал

— Эти миллионы пока еще в воздухе! — воскликнул Янсутский.— Очень может быть, что эти миллионы пообрежут у ней.

— Пообрежут?..— переспросил генерал.

— И очень сильно!.. Тут такой казус вышел: госпожа Домна Осиповна сама имеет свое состояние тысяч в триста, но она приняла наследство и после мужа, а муж, принявший наследство после деда, оказывается несостоятельным должником... Следовательно, госпожа Олухова все, что не доплатится по конкурсу, должна пополнить своими денежками.

— Ах, бедная!..— произнес генерал с искренним чувством сожаления.— Но правда ли, что она очень красива собой?

— Была, а теперь тряпка, вымытая в соляной кислоте: подмазывается... румянится.

После обеда генерал и Янсутский перешли вместе в говорильную комнату, велев себе туда подать шампанского. Там они нашли Долгова, читающего газету, который обыкновенно, за неимением денег платить за обед, приезжал в клуб после своего, более чем скромного, обеда, в надежде встретить кого-нибудь из своих знакомых и потолковать по душе. Янсутский, взглянув на Долгова, сейчас припомнил, что он видел его в Собрании ужинающим вместе с Бегушевым.

Когда подано было шампанское и генерал с Янсутским выпили еще по стакану, то сей последний начал беседу с Траховым совершенно как с ровней.

— А в Москве, ваше превосходительство, нельзя так приятно провести время, как в Париже! — говорил он.

— Нельзя,— подтвердил генерал.

— Припомните Клеманс!.. Что за прелесть девочка!..

Генерал приподнял глаза к небу, и у него вырвался из груди легкий вздох.

Чтобы скрыть волнующие его чувствования, он начал усиленно курить свою дорогую сигару. Жена последний год решительно объявила ему, что он—русский человек и потому должен жить в России. Напрасно генерал жаловался на ожирение сердца, на подагру. Татьяна Васильевна на все отвечала ему: «Вздор, ты совсем здоров!» — и

простым механическим способом не давала генералу денег на поездку за границу. Ссориться же с ней окончательно из-за этого генерал не хотел, да и было бы это для него очень нерасчетливо: оставшись на одном жалованье, хорошо не покушаешь!

Вспомнив о заграничной, или, правильнее сказать, парижской, бульварной жизни и сравнивая ее с настоящей своей жизнью, генерал впал в грустное настроение духа и, молча прислушиваясь к своему пищеварению, продолжал сосать сигару, так что Янсутский, не любивший ни на минуту оставаться без какой-нибудь деятельности, обратился с разговором к Долгову.

— Есть что-нибудь интересное в газете? — спросил он.

Долгов чрезвычайно обрадовался его вопросу, рассчитывая поговорить.

— Очень многое! — отвечал он с повеселевшим взором.— В Герцеговине восстание,— это начинающийся пожар!

— Читал про это восстание! — воскликнул, в свою очередь, Янсутский, разваливаясь на диване.— Но только пожара пока еще не видать.

— Пожар!.. — повторил громогласным голосом Долгов.

— Почему вы так уверены в этом? — спросил его генерал мягко вежливым тенором и в то же время, налив и пододвинув Долгову бокал шампанского, присовокупил: — Не угодно ли вам вина?

— Благодарю! — сказал тот и залпом выпил вино, не разбирая даже того, что он пьет. — С кем имею я честь говорить? — прибавил он.

— Я — Трахов, а это — господин Янсутский! — отрекомендовал генерал.

— А я — Долгов! — воскликнул Долгов. — Пожар оттого... — продолжал он без перерыва, — теперь Герцеговина... Там Черногория... Сербия... Румыния!.. Словом, весь славянский мир с Россией во главе...

— Но зачем же России тут ввязываться? — перебил его Янсутский.

— Для того, — закричал уже Долгов, — что это историческое призвание ее!.. Пришло время резко определяющих себя народностей: славяне, германцы, романские племена, англосаксы. Это выдумал Наполеон III и предугадал.

— Черт с ним, с его предугадыванием!.. Он лучше бы предугадал не драться с немцами, и Франция не поплатилась бы миллиардами... — возразил Янсутский.

— Я сам Наполеона всегда ненавидел и говорил, что он ничтожество, что в нем капли нет крови Наполеона Первого, но в этом он прав: Россия должна обособить славянский мир! — кричал Долгов.

— Позвольте-с! — тоже воскликнул не тише его Янсутский. — Какую же выгоду Россия получит через это?

— Выгоду торжества духа! — воскликнул Долгов.

— Это верно!.. — поддакнул ему генерал.

— Но еще восторжествуем ли мы?.. Бабушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет!.. — не уступал Янсутский.

— Восторжествуем!.. Турция — гнилой, разлагающийся труп!.. Страна невежества... деспотизма... страна узаконенного распутства! — валял на всех парах Долгов.

— А мне так это узаконенное распутство очень нравится,— подзадоривал его Янсутский.— А вы как, ваше превосходительство, полагаете? — отнесся он к генералу.

Тому не совсем понравился этот вопрос.

— Полагаю, что многоженство есть одно из величайших зол Турции, — проговорил он явно недовольным тоном.

— Но почему,— я не вижу! — воскликнул Янсутский.

— Да потому, — старался придумать генерал, — что оно отнимает у турок время, расслабляет их умственные способности, наконец, беспокоит их этими каждодневными, вероятно, ссорами в серале между женами.

— Армия турецкая голодна, не обута, не одета... солдаты их возбуждаются только опиумом и водкой, а в душе они все трус на трусе, хвастун на хвастуне!.. — кричал между тем Долгов, не слышавший даже разговора своих собеседников, как совершенно не входящего в кругозор его собственных мыслей.

— Это неправда!.. Совершенная неправда! — начал уж покрикивать и генерал. — Я с турками сам в Севастопольскую кампанию дрался, это — храбрейшие солдаты!..

— То было прежде, а теперь в Турции все деморализовано и все расшатано! — не унимался Долгов.

— Но откуда вы это знаете?.. Вы были в Турции?.. Путешествовали там? — допрашивал его Янсутский.

«Был!..» — чуть было не хватил Долгов, но удержался.

— Я не был там, но я читал это и слышал от множества достоверных людей! — сказал он.

— Ну-с, а я был в славянских землях и в Турции и скажу вам достовернее ваших достоверных людей, что турки — честный народ, а славяне, по большей части, плутишки.

У Долгова от последней фразы Янсутского голос даже перехватило.

— Нет, вы не были там!.. Вы это врете,— произнес он совершенно низовой октавой.

Янсутский действительно врал: он не был в Турции и только однажды проехал по железной дороге славянские земли, и то ночью.

— Вру не я, а вы врете!.. — говорил он, уже вставая и озлобленно засмеявшись.

Генералу все более и более начинала становиться неприятною эта сцена: он ожидал, что, чего доброго, спорящие договорятся до дуэли.

— До свиданья, ваше превосходительство! — сказал ему Янсутский фамильярно.

— Прощайте!.. — ответил генерал и в протянутую руку Янсутского положил только два пальца.

С Долговым Янсутский совершенно не поклонился и ушел.

— Всех этих рациональников и близоруких консерваторов народ русский должен был бы растерзать на части! — вскрикнул ему вслед Долгов.

Генерал усмехнулся: хоть все, говоримое Долговым, было совершенно то же самое, что говорила и Татьяна Васильевна, — чего генерал, как мы знаем, переносить равнодушно не мог, — тем не менее Долгов ему понравился; он показался генералу поэтом, человеком с поэтической душой.

— Когда жена переедет в Москву, я попрошу вас познакомиться с ней,— она очень рада будет с вами побеседовать! — сказал он ему.

— Благодарю... непременно! — отвечал Долгов.

Генерал поднялся, чтобы уехать.

Долгов проводил его до передней.

— Au revoir!..[1] — простился с ним генерал, приветливо кивнув головою.

— Я явлюсь к вашей супруге! — повторил еще раз Долгов, не спросив даже, когда супруга генерала переедет в Москву и где она будет жить; а затем он пошел бродить по залам клуба, высматривая себе кого-нибудь в слушатели.

Глава V

Трахов прямо из Английского клуба проехал к Бегушеву. Прокофий, отворивший ему дверь, обрадовался генералу. Он любил, когда барина его посещали знатные особы.

— Дома?.. — спросил Трахов.

— У себя-с... пожалуйте!.. — поспешно ответил Прокофий.

Генерал пошел было.

— У нас же живет и Аделаида Ивановна,— счел за нужное присовокупить Прокофий.

— Ах, я очень рад, что увижу кузину,— говорил генерал, идя в знакомую ему диванную.

Бегушева он застал играющим в шахматы с графом Хвостиковым, который, как и на железной дороге, хотел было удрать, увидав Трахова; но удержался, тем более что генерал, поздоровавшись или, лучше сказать, расцеловавшись с Бегушевым, поклонился и графу довольно вежливо. Граф, с своей стороны, тоже ответил ему, с сохранением собственного достоинства, почтительным поклоном.

Все уселись.

— А с вами, кузен, живет и кузина Аделаида Ивановна? — сказал генерал Бегушеву.

— Со мной!..— проговорил тот.

— Как ее здоровье?

— Так себе, ничего!.. Скрипит.

— Мы нынче все скрипим кое-как!..— произнес генерал, проведя рукой по животу своему, и при этом парижские бульвары припомнились ему во всей своей прелести.

— Именно все скрипим!..— подтвердил граф Хвостиков, не могший удержаться, чтобы не заговорить с Траховым; а потом, говоря правду, он и скрипел более, чем кто-

[1] До свиданья!.. *(франц.)*

либо,— денежные обстоятельства его были даже более обыкновенного плохи: издание газеты с Долговым окончательно не удалось; та газета, где он фельетонствовал, отказала ему за то, что он очень сильно налгал в одном из фельетонов, и его даже тянули в суд за оскорбление.

— Как поживает ваша жена? — спросил Бегушев, чтобы о чем-нибудь заговорить с кузеном.

— Благодарю!..— отвечал генерал.— Она нынешнюю зиму думает месяца на два, на три совсем переехать в Москву.

— Это ради чего? — воскликнул Бегушев.

— Ради того, что она в Петербурге очень скучает!.. Ей там дышать нравственно нечем! — объяснил генерал.

— А Тюменев опять стал бывать у вас? — проговорил Бегушев с некоторой насмешкой.

— Редко!.. Камешек раздора с той и другой стороны брошен.

— Чем же в Москве будет нравственно жить Татьяна Васильевна? — пожелал узнать Бегушев.

— Тем, чему я сейчас был свидетелем в Английском клубе: тут такой горячий спор шел о славянах и о Турции, а теперь в этом, как выражается Татьяна Васильевна, вся поэзия ее жизни...

— Между кем был спор?..— полюбопытствовал уже граф Хвостиков.

— Между Янсутским и Долговым!

— Долгов, конечно, был за славян? — подхватил граф.

— Долгов за славян, а Янсутский за турок!

Граф Хвостиков пожал плечами.

— Только такой человек, как Янсутский, может быть за турок,— сказал он.

— Это тоже в каком смысле,— заметил генерал.— Долгов говорит, например, что турки — трусы; это вздор; а Янсутский уверяет, что славяне — плуты...

— Охота вам повторять, что говорят Янсутские, да и Долгов, пожалуй! — произнес с досадой Бегушев.

— Это так: сегодня я убедился вполне, что Янсутский болтун и сплетник большой... Про эту бывшую madame Олухову он таких мне невероятных вещей насказал...— говорил генерал.

При имени Олуховой Бегушев немного вспыхнул.

— Каких же именно невероятных? — спросил граф Хвостиков.

— Он утверждал, что она должна разориться совершенно: она там... я не понял даже хорошенько... приняла какое-то наследство после мужа, а тот — банкрот, и ей придется отвечать за его долги.

Граф Хвостиков хотел было что-то такое возразить генералу, но в это время по дому раздалось беганье, затем шлепанье башмаков и в заключение лай по крайней мере пяти собачьих голосов.

— Qu'est ce que cela? [1] — сказал генерал.

— Это сестра приехала с своими собаками из старушечьего маскерада,— отвечал Бегушев.

— А, понимаю! — произнес генерал.— Милая Аделаида Ивановна до сих пор не утратила своей страсти к собакам?

— За неимением других страстей, хранит пока эту!..— сказал Бегушев.

Вскоре в диванную предстала Маремьяша — красная, пылающая и издающая из себя легкий пар, пропитанный запахом березовых веников. Она доложила, что Аделаида Ивановна, узнав, что у Александра Ивановича кузен их, генерал Трахов, умоляет его прийти к ней, чтобы поскорей на него взглянуть.

Генерал на это приглашение немедля отправился в сопровождении Маремьяши в отделение Аделаиды Ивановны, которое, чем долее жила в нем старушка, все более и более принимало оригинальный или почти исторический характер: оно состояло из маленького, крытого шатром и освещаемого цветным фонарем прохода, потом очень большой комнаты, из которой одна дверь, красного дерева, вела в спальню Аделаиды Ивановны, а другая, совершенно ей подобная, прикрывала собой шкаф, хранящий маленькую библиотеку m-lle Бегушевой. Библиотека эта исключительно состояла из книг духовного содержания и из множества альбомов, в которых были и стихи, и проза, и наклеенные засохшие цветки, и рисунки акварелью, карандашом, пером. Мебель вся была во вкусе ренессанс и довольно покойная. Запах одеколона наполнял всю комнату. Стены почти сплошь были увешаны картинами в потускнелых золотых рамах. Прежде всего кидался в глаза огромный портрет покойной императрицы Марии Федоровны, когда-то из своих рук возложившей на Аделаиду Ивановну, при выпуске ее из Смольного монастыря, шифр

[1] Что это такое? *(франц.)*

первой ученицы. Далее — тоже довольно большой портрет сурового на вид старика в генеральском екатерининских времен мундире, с подзорной трубкой в руке и с развернутою перед ним картою,— это был прадед Бегушевых. Направо от него висел портрет матери Аделаиды Ивановны — дамы с необыкновенно нежным цветом лица и с буклями на висках, а налево — головка совершенно ангелоподобной девочки; то была сестра Аделаиды Ивановны, умершая в детстве. Над диваном, на котором старушка по преимуществу сидела, красовался, почти в натуральную величину, фотографический снимок Александра Ивановича, очень похожий на него, но в то же время весь какой-то черный, а также виднелись: зимний русский пейзаж, изображающий, как отец Бегушева, окруженный крепостными охотниками, принимал медведя на рогатину, и другой, уже летний пейзаж, представляющий их главную, родовую усадьбу с садом, с рекой, с мельницей и церковью вдали. Все это Аделаида Ивановна отчасти привезла с собой, а частью собрала из других комнат братнина дома. Кроме картин, она перетащила к себе много и других вещей, дорогих ей по воспоминаниям; так, например, на подзеркальном столике, выложенном бронзою, помещались у нее стариннейшие сфероидальной формы часы с стоящим над ними Сатурном, под ногами которого качался маятник; несколько выступов изразцовой печи были уставлены фарфоровыми куколками пастушков, пастушек, французского гренадера, опирающегося на ружье, босоногого францисканца и даже русского мужичка с балалайкой в руке.

При появлении генерала произошел весьма пустой случай, но который ужасно сконфузил Аделаиду Ивановну: едва только Трахов переступил порог, как сидевший в клетке попугай тарарахнул ясным и отчетливым образом: «Дурак!»

Генерал сначала попятился было назад, но потом сообразил:

— Это ваш попка так меня приветствует,— сказал он.

— Ах, он пренесносный; я велю скоро его продать,— говорила Аделаида Ивановна, не знавшая, что делать и куда глядеть.

— Дурак! — повторил еще раз попугай, когда хозяйка и гость уже уселись.

Маремьяша, чтобы заставить замолчать глупую птицу, поспешила накинуть покрышку на клетку попугая.

— Извините меня, мой друг, хоть вы и видите, какая я,— говорила Аделаида Ивановна, собравшаяся несколько с духом и показывая на себя: она действительно была в спальном капоте, ночном чепце и пылала не меньше своей горничной.— Но мне так хотелось вас видеть! — проговорила она.

— И я, кузина, желал вас видеть! — говорил генерал.— А вы тут отлично поместились,— присовокупил он, невольно обратив внимание на семейно-историческое убранство комнат Аделаиды Ивановны.

— Ах, как отлично, как бесподобно!..— полувоскликнула она.— Александр, вы знаете, он хоть и серьезен, но ангел доброты!.. Одно, что хвораю я все последнее время; брату уж и не говорю, а хвораю!

— За границу бы вы, кузина, съездили и полечились там,— посоветовал ей генерал, полагавший, что как только пустят человека за границу, так он и выздоровеет непременно,— что лично с генералом в самом деле и случалось.

— Не на что, cousin [1], состояние мое совершенно расстроилось,— отвечала Аделаида Ивановна.

— Каким образом? — спросил генерал с удивлением.

— Деньги все выпросили у меня мои друзья, а теперь мне и платят понемножку!..— посмягчила было свое положение Аделаида Ивановна.

— Ничего вам, сударыня, не платят! — уличила ее Маремьяша, стоявшая около Аделаиды Ивановны и намачивавшая ей по временам одеколоном голову.

Генералу немножко не понравилось вмешательство в разговор горничной.

— Но кто ж именно эти друзья ваши? — отнесся он к Аделаиде Ивановне.

— Первый — князь Мамелюков!.. Вы знаете, cousin, какая почти родственная любовь существовала между нашими семействами, я его воспринимала от купели, хотя и была еще молоденькой девушкой!.. Как мне совестно тогда было...— И старушка, махнув рукой, еще более покраснела, а Маремьяша поспешила налить ей на голову целую пригоршню одеколона.— Князь мне должен сорок тысяч и не платит — мне это так удивительно!

Генерал нахмурился.

---

[1] кузен, *(франц.)*

— И мне тоже: князь — богатый человек!..— проговорил он.

— Очень богатый!.. Брат схлопотал было, чтобы с князя взыскал суд... каково мне это было, посудите, кузен!.. Князь точно что очень испугался суда и уехал за границу...

Генерал продолжал быть нахмуренным.

— Все это тем более неприятно слышать, что князь у меня и служит,— проговорил он.

— О, тогда, cousin, попросите его, чтобы он хоть часть мне заплатил... vous comprenez [1], что мне тяжело же жить все и во всем на счет брата... Конечно, Александр — ангел: он мне ни в чем не отказывает; но как бы то ни было, меня это мучит...

— Je comprend tres bien!..[2] — подхватил генерал, хорошо ведавший, как тяжело иногда бывает жить на чужие деньги, даже на деньги жены.— Я не попрошу князя, а прикажу ему заплатить вам!..— заключил он решительным тоном.

— Пожалуйста! — проговорила старушка и затем сказала своей горничной: —Ты, Маремьяша, можешь идти пить чай.

Та не совсем охотно воспользовалась этим разрешением: ее очень интересовал начавшийся разговор о должниках барыни.

— Я нарочно Маремьяшу услала,— продолжала Аделаида Ивановна лукавым голосом,— она и брат Александр непременно хотят посадить князя в тюрьму... Вы его попугайте, что вот что ему угрожает... Пусть бы он хоть часть мне уплатил, а остальное я подожду.

— Напишу и непременно заставлю его заплатить вам! — повторил генерал.

По натуре своей он был очень услужливый человек и стремился каждому сделать приятное; но только в результате у него почти всегда выходило, что он никому ничего не делал.

— Я вам, cousin, признаюсь еще в одном,— пустилась в откровенности Аделаида Ивановна,— мне тоже должна довольно порядочную сумму сотоварка моя по Смольному монастырю, сенаторша Круглова. Она сначала заплатила мне всего сто рублей!.. Меня это, натурально, несколько огорчило... После того она сама приехала ко мне—больная,

---

[1] вы понимаете, *(франц.)*

[2] Я понимаю очень хорошо!.. *(франц.)*

расплакалась и привезла в уплату триста рублей, умоляя отсрочить ей прочий долг на пять лет; я и отсрочила!..

Проговоря последние слова, старушка грустно рассмеялась.

— Это напрасно!.. Напрасно! — заметил ей генерал.

— Теперь уж и сама каюсь, но что ж делать? — продолжала Аделаида Ивановна.— Только вы, бога ради, не скажите об этом нашем разговоре брату — это его очень рассердит и обеспокоит.

— Для чего ж я ему стану говорить! — произнес генерал, уже слегка позевнув от беседы с кузиной, и затем, распрощавшись с ней, возвратился к Бегушеву. Там он нашел бутылку шампанского и вазу с грушами дюшес: Бегушев знал, чем угощать кузена!

— Ваше превосходительство, вы, как европеец, конечно, не пьете чаю,— сказал он.

— Терпеть его не могу,— отвечал Трахов.

— А потому не угодно ли вам сего благородного напитка,— продолжал Бегушев, наливая стоявшие на столе три стакана.

— Сегодня я много пил! — отнекивался было сначала генерал, но потом жадно и залпом выпил весь стакан; граф Хвостиков и Бегушев также последовали его примеру.

Снова повторено было наполнение стаканов, и таким образом бутылки как бы не бывало. Хозяин велел подать новую. Трахов, попробовав груши, воскликнул:

— Хоть бы в Париже такие груши!

— В Париже нет таких,— подхватил Хвостиков.

Выпитая затем еще бутылка окончательно воодушевила беседующих.

— Знаете, cousin,— начал вдруг генерал,— если у нас начнется война, я непременно пойду: мне смертельно надоела моя полуштатская и полувоенная служба.

— Всем надобно идти, всем! — решил граф.

— А вы, cousin, не тряхнете стариною, не пойдете? Вам надобно послужить еще отечеству! — продолжал генерал.

— Может быть, пойду,— отвечал Бегушев протяжно и какой-то совершенно низовой октавой.

После того разговор перешел на скандалезные анекдоты, которых граф Хвостиков знал множество и передавал

их с неподражаемым искусством. Трахов хохотал до слез, Бегушев тоже посмеивался; между тем спрошена была еще бутылка, выпита, словом, и старики куликнули порядочно. Трахов, наконец, тяжело поднялся со стула, чтобы ехать домой. Граф Хвостиков напросился проводить его и, конечно, провез генерала куда-нибудь в недоброе место. Бегушев остался в грустно-сентиментальном настроении. Он думал о Домне Осиповне: «Что, если это разорение, о котором говорили, в самом деле постигнет ее? Она не перенесет этого. Бедная, бедная!» — рассуждал Бегушев, и как ему досадно было, что он, под влиянием чисто каприза, разошелся с ней и тем погубил ее и себя!.. Закравшаяся мысль идти на войну, буде она разгорится, стала ему казаться единственным исходом из своего мучительного и бесцельного существования.

Граф Хвостиков, возвратившийся домой почти наутро, тоже думал о Домне Осиповне, но только совершенно противоположное: ему нетерпеливо хотелось передать ей, что благовестил про ее дела Янсутский. Желание это он исполнил на следующее утро. Доступ к Домне Осиповне, особенно с тех пор, как она вышла замуж, сделался еще труднее; графа сначала опросил швейцар и дал знать звонком о прибывшем госте наверх, оттуда сошедший лакей тоже опросил графа, который на все эти расспросы отвечал терпеливо: он привык дожидаться в передних! Извещение о приезде графа пришло в довольно поэтическую для Домны Осиповны минуту: она сидела в кабинете у мужа на диване, рядом с ним, и держала его руку в обеих руках своих; взор ее дышал нежностью и томностью. Перехватов только что вернулся с практики и был заметно утомлен.

— Граф Хвостиков? — переспросила гордо Домна Осиповна доложившего ей лакея.

Тот почтительным наклонением головы подтвердил свое донесение.

— Пускай войдет!..— сказала почти презрительно Домна Осиповна лакею, и, когда тот ушел, она выпрямилась на диване и приняла величественную позу, а доктор, очень довольный, кажется, что освободил свою руку из рук супруги, пересел к своему письменному столу, уставленному богатыми принадлежностями.

Граф явился как самый преданнейший и доброжелательствующий друг дома и принес тысячу извинений, что

так давно не бывал. Хозяева отвечали ему улыбками, а Перехватов, сверх того, пододвинул ему слегка стул, и, когда граф сел, он предложил ему из своей черепаховой, отделанной золотом сигарочницы высокоценную сигару.

— Но не обеспокою ли я Домну Осиповну? — спросил граф.

— Нет, я сама курю!.. Jean, дай мне огня! — сказала та нежно-повелительно мужу.

Перехватов подал ей огня, а затем, закурив свою сигару, передал спичечницу графу Хвостикову.

Вскоре довольно сильный дым от зажегшихся любимцев современного человечества наполнил комнату.

— Вы все еще существуете у Бегушева? — спросила Домна Осиповна Хвостикова.

Перехватов сделал недовольную мину: он не любил, когда Домна Осиповна почему бы то ни было упоминала имя Бегушева. Граф тоже обиделся — употребленным ею глаголом «существуете».

— С ним живу,— отвечал он, думая про себя: «Погодите, madame, я сейчас вам поднесу букет, не совсем приятно для вас благоухающий!..»

— Он, говорят, все спит теперь,— сказала насмешливо Домна Осиповна: ей на днях рассказал муж, что Бегушев только и делает, что ест, пьет и спит.

— Ему некогда все спать; у нас очень много бывает...— возразил граф.

— Кто ж именно?..— спросила величественно Домна Осиповна.

— Многие! — отвечал граф, тоже не без величия откидываясь на спинку кресел и пуская синеватую струю дыма от сигары.— Вчера у нас целый вечер сидел его cousin, генерал Трахов, который, между прочим, рассказал, что ему в клубе говорили, будто бы над вами по долгам покойного старика Олухова висит банкротство, для чего я и приехал к вам, чтобы предупредить вас...

Последние слова Хвостиков адресовал прямо к Домне Осиповне.

Та первоначально переглянулась с мужем, потом засмеялась.

— Что за пустяки такие: генерал Трахов рассказывает, что надо мной висит банкротство!..— произнесла она.

Но Перехватов не смеялся; он еще за несколько дней перед тем слышал от одной дружественной ему дамы, ко-

торую он давным-давно лечил, легкие намеки на нечто подходящее к этой неприятной новости.

— Интереснее всего знать,— продолжала Домна Осиповна, сохраняя со свойственною ей твердостью присутствие духа,— кто первый выдумал и повесил надо мной банкротство? Не Трахов же, который меня совершенно не знает?

— Конечно, не Трахов,— отвечал Хвостиков.

— Может быть, Бегушев говорит это про меня? — продолжала Домна Осиповна.

— Бегушев не только этого, но и ничего теперь про вас не говорит! — уязвил ее граф Хвостиков.

— В таком случае Янсутский? — подхватила Домна Осиповна.

— Вот это так, отгадали; он поведал об этом Трахову,— подтвердил граф.

Домна Осиповна злобно, но по-видимому искренно усмехнулась; Перехватов тоже улыбнулся.

— Теперь это понятно! — произнесли они оба в один голос.

В ответ на это граф Хвостиков имел в своем лице выражение невинного агнца, ничего не понимающего, и, поднеся таким образом Домне Осиповне букет, не совсем приятно для нее благоухающий, уехал.

Супруги, оставшись вдвоем, вскоре пошли обедать. Каждый из них старался показать, что новость, сообщенную графом Хвостиковым, считает за совершеннейший вздор; но в то же время у Домны Осиповны сразу пропала нежность и томность во взоре; напротив, он сделался сух и черств; румяное и почти всегда улыбающееся лицо доктора тоже затуманилось, и за обедом он не так много поглотил сладкого, как обыкновенно поглощал. Встав из-за стола, Перехватов велел закладывать карету, чтобы ехать по визитам, чего он никогда почти не делал и выезжал обыкновенно из дому часов в восемь вечера.

— Ты куда так рано? — спросила его Домна Осиповна.

— Заеду в клуб, чтобы узнать там, что такое это за болтовня! — сказал Перехватов.

Домна Осиповна на этот раз не кнюксила и не упрашивала мужа, чтобы он посидел еще с ней и не спешил к своим больным.

— Да, поезжай и узнай, пожалуйста!.. Я предчув-

ствую, что многое тут надобно будет предпринять!..— проговорила она.

Доктор ничего ей не ответил и уехал.

У Домны Осиповны действительно многое теснилось в голове: состояние деда она точным образом не знала, а слышала только, что он очень богатый человек. Главноуправляющего по имениям в Сибири Домна Осиповна несколькими письмами вызывала к себе, однако тот, под разными предлогами, не являлся, и очень возможно было, что совсем не явится к ней. Послать какого-нибудь адвоката в Сибирь Домна Осиповна боялась, так как в последнее время к ней со всех сторон доходили повествования о том, как адвокаты обманывают своих клиентов, и особенно женщин,— что отчасти она испытала и на себе, в лице Грохова. Самой ехать в Сибирь?.. Но ее здоровье, и без того уже потрясенное разными житейскими волнениями, пожалуй, не выдержит; кроме того, Домна Осиповна считала невозможным оставить и мужа, которого она ревновала, как сама выражалась, ко всем его противным дамам.

Вообразив все это, Домна Осиповна начала плакать и нисколько не старалась пересилить в себе начинающуюся истерику, что она делала первые месяцы по выходе замуж. Она хотела хорошенько напугать мужа, чтобы он приискал человека, которого можно было бы отправить в Сибирь: ему легче это сделать, у него знакомых пропасть; а то пусть и сам едет в Сибирь,— у него все-таки не будет там пациентов. Перехватов, сидя в своей щегольской карете, тоже был в весьма беспокойном настроении духа. «Черт знает этих купцов,— размышлял он,— сегодня у него миллионы, а завтра — ничего!..» Приятная перспектива открывалась умственному взору красивого врача: разоренная супруга — подержанная, больная, капризная и ревнивая!

Глава VI

Дня через два — через три Бегушев, по обыкновению, вышел довольно рано из дому, чтобы бродить по Москве. Проходя мимо своей приходской церкви, он встретил выходящего из нее священника, только что кончившего обедню.

— Здравствуйте! — пробасил тот, протягивая Бегушеву руку.— Вот вы желали помогать бедным,— продолжал

священник тем же басовым и монотонным голосом,— вчера я ходил причащать одну даму... вероятно, благородного происхождения, и живет она — умирающая, без всякой помощи и средств — у поганой некрещеной жидовки!

— А в каком это доме? — спросил Бегушев.

— В большом угольном доме, против части, в подвальном этаже.

Бегушев, поблагодарив священника за известие, прямо отправился в указанный ему дом. Он очень был доволен возможности найти существо, которому приятно будет ему помогать. В этих стремлениях преследовать злых и помогать именно несчастным людям в Бегушеве отражалось чисто прирожденное ему рыцарство характера: он еще в школе всегда заступался за слабых и смирненьких товарищей и тузил немилосердно, благодаря своей силе и мощности, нахалов, буянов и подлецов; затрещины, которые он им задавал, носили даже особое название: «бегушевская затрещина».

Чтобы пробраться в подвальный этаж белого угольного дома, надобно было пройти через двор, переполненный всякого рода зловониями, мусором, грязью, и спуститься ступеней десять вниз, что сделав, Бегушев очутился в совершенной темноте и, схватив наугад первую попавшуюся ему под руку скобку, дернул дверь к себе. Та отворилась, издав резкий, дребезжащий звонок, и вместе с тем шлепнулся стоящий у дверей и умевший еще только ходить около стен черномазый, курчавый жиденок и заревел благим матом. Сверх того Бегушеву невольно, сквозь слабо мерцающий свет в комнате, показался лежащий в углу, в навозной куче, маленький ягненочек, приготовляемый, вероятно, к торжеству агнца пасхального. На раздавшийся рев и звонок выскочила тоже курчавая, черноволосая и грязная жидовка. Схватывая ребенка на руки, она прокричала визгливым голосом:

— Кого вам надо?

— У вас тут одна больная дама живет?.. Я хочу ее видеть!

— Она вон тут — в этой комнатке лежит...— отвечала гораздо вежливей жидовка и зажимая ребенку рот, чтобы он не орал.

Несмотря на темноту в комнате, дочь Израиля рассмотрела на Бегушеве дорогое пальто и поняла тотчас, что это, должно быть, важный господин.

— Я уж, сударь, не знаю, что мне с ней и делать,— продолжала она,— хоть в полицию объявлять: живет третий месяц, денег мне не платит... Умрет — на что мне ее хоронить... Пусть ее берут, куда хотят!..

— Вам всё заплатят...— сказал Бегушев и подал жидовке десять рублей.

Точно кошка рыбью головку, подхватила жидовка своими костлявыми пальцами деньги.

— На этом, сударь, благодарю вас покорно! — воскликнула она.

По-русски дочь Израиля, как мы видим, говорила почище любой великорусской торговки: у ней звяканья даже в произношении никакого не чувствовалось.

— Пожалуйте, сударь, вот тут порожек маленький, не оступитесь!..— рассыпалась она перед Бегушевым, вводя его в комнату больной жилицы, где он увидел... чему сначала глазам своим не поверил... увидел, что на худой кроватишке, под дырявым, изношенным бурнусом, лежала Елизавета Николаевна Мерова; худа она была, как скелет, на лице ее виднелось тупое отчаяние!

— Бегушев! — воскликнула она, взмахнув на него все еще хорошенькие свои глазки.

— Елизавета Николаевна, давно ли вы в Москве? — говорил тот, сам не сознавая хорошенько, что такое он говорит.

— Зачем вы пришли ко мне? Зачем?—спрашивала Мерова, горя вся в лице.

Бегушев молчал.

— А, чтобы посмеяться надо мной!.. Полюбопытствовать, в каком я положении... Написать об этом другу вашему Тюменеву!.. Хорошо, Александр Иванович, хорошо!.. Спасибо вам!..

И Мерова, упав лицом на подушку, зарыдала.

У Бегушева сердце разрывалось от жалости.

— Я пришел к вам, чтобы сказать, что отец ваш живет у меня!..— проговорил он, опять-таки не зная, зачем он это говорит.

— Отец мой... у вас?..— спросила Мерова, приподнявшись с подушки.

— У меня,— с тех пор, как вы уехали из Петербурга.

Мерова поникла головой.

— Тюменев прогнал его, я это предчувствовала...— проговорила она.

Бегушев между тем сел на ближайший к ней стул.

— Вот что, голубушка,— начал он и слегка положил было свою руку на руку Меровой.

— Не дотрагивайтесь до меня!.. Это невозможно! — воскликнула она, как бы ужаленная и затрепетав всем телом.

— Хорошо!..— проговорил Бегушев, отнимая руку.— Я теперь пойду домой и предуведомлю поосторожней вашего отца, и мы перевезем вас на хорошую, удобную квартиру.

Сначала Мерова слушала молча и довольно спокойно, но на последних словах опять встрепенулась.

— Нет, Бегушев; не на квартиру, а в больницу... Я не стою большего...— произнесла она.

— Если хотите,— и в больницу! — не спорил с ней Бегушев и поднялся, чтобы поскорее возвратиться домой и послать графа к дочери.

— Вы уже уходите?..— произнесла Мерова, и глаза ее мгновенно, как бывает это у детей, наполнились слезами.— Зачем же тогда и приходили ко мне? — присовокупила она почти отчаянным голосом.

— Я останусь, когда вы желаете этого!..— отвечал Бегушев.

— Да...— почти приказала ему Мерова.

Несмотря на то, что у Елизаветы Николаевны, за исключением хорошеньких глазок и роскошных густых волос, никаких уже прелестей женских не существовало, но она — полураздетая, полуоборванная — произвела сильное раздражающее впечатление на моего пожилого героя; и странное дело: по своим средствам Бегушев, конечно, давно бы мог половину театрального кордебалета победить, однако он ни на кого из тамошних гурий и не глядел даже, а на Мерову *глядел*.

— Мильшинский этот — помните,— сказала вдруг она,— в тюрьме сидит!

— За что?

— Украл казенные деньги в банке... Хорошо, что я тогда, как приехала с ним в Киев, так и бросила его; а то сказали бы, что он на меня их промотал...— проговорила Мерова.

Но где она потом жила — и, вероятно, с кем-нибудь жила,— Бегушев старался как бы забыть и не думать об этом.

Елизавета Николаевна от напряжения при разговоре сильно раскашлялась. Бегушев, чтобы не дать ей возможности затруднять себя, начал сам ей рассказывать.

— А здесь без вас много новостей случилось...

— Какие? — спросила Мерова.

— Самая крупная та, что муж Домны Осиповны пьяный оборвался с третьего этажа из окна и расшибся до смерти.

Мерова широко раскрыла свои хорошенькие глазки.

— Для чего он оборвался? — спросила она с удивлением.

— Это его спросить надобно!

— А Домна Осиповна огорчена была этим?

— Не знаю, слышал только, что получила от него в наследство все состояние.

— Ну да, непременно!..— подхватила Мерова.— Она всегда мечтала об том, чтобы как-нибудь себе в ручку — хап!.. хап!.. Впрочем, это и лучше!..

Проговоря последние слова, Елизавета Николаевна вдруг обеими руками взяла себя за левый бок и стала метаться на постели.

— Что такое с вами? — спросил ее испугавшийся Бегушев.

— Тут очень болит, точно ножами режет,— отвечала она.

— И давно вы чувствуете эту боль?

— Давно, но нынче она сделалась гораздо сильней... Я в последний год вина очень много пила!..

Такое признание Елизаветы Николаевны покоробило Бегушева.

— Но что теперь делает Домна Осиповна? — продолжала больная, едва переводя дыхание.

— Она вышла замуж за доктора Перехватова,— сказал Бегушев.

Елизавета Николаевна опять приподнялась немного на постели и проговорила:

— Ах, она дура этакая, глупее меня даже!

— Что ж тут глупого? — возразил Бегушев.— Доктор молод, красив, влюблен в нее...

— Нет, какое красив!.. Он гадок!.. Он кучер, форейтор смазливый... Я знала его еще студентом, он тогда жил на содержании у одной купчихи и все ездил на рысаке в двухколеске!.. Сам всегда, как мужики это делают, правил. Мы

тогда жили в Сокольниках на даче и очень все над ним смеялись!

— Однако вам вредно так много говорить! — остановил ее Бегушев.

— Вредно!..— сказала Елизавета Николаевна заметно ослабнувшим голосом.— Душенька, поезжайте и пришлите ко мне отца. Мне хочется перед смертью видеть его.

— Он сейчас будет у вас,— отвечал Бегушев, вставая, и, кивнув головой Елизавете Николаевне, хотел было уйти, но она вдруг почти вскрикнула:

— Нет, поцелуйте меня, поцелуйте!

Бегушев наклонился к ней и с искренним удовольствием поцеловал ее; но на конце поцелуя Елизавета Николаевна сильно оттолкнула его от себя.

— Ну, будет! Не целуйте больше, это нельзя...— говорила она и опять затрепетала всем телом.

В темной передней Бегушева, при его уходе, встретила жидовка.

— Это что такое? — спросил он, когда она совала ему в руку какую-то бумажку.

— Счет на Елизавету Николаевну! Я тут копейки лишней не приписала,— говорила жидовка, слышавшая из соседней комнатки, как ласково и почтительно обращался этот знатный господин с ее нищей постоялкой.

Бегушев взял у нее счет. В продолжение всего пути до дому лицо его отражало удовольствие; тысячи самых отрадных планов проходили в его седовласой голове: он мечтал, что как только Елизавета Николаевна поправится несколько в своем здоровье, он увезет ее за границу, в Италию. Бегушев сам лично был свидетелем невероятных излечений от чахотки в тамошнем климате. Елизавета Николаевна молода еще и впала в болезнь свою чисто от внешних причин. К этим планам присоединилась уже...— мне совестно даже передавать рассудительным и благоразумным читателям,— присоединилась мысль жениться на Елизавете Николаевне. Несмотря на то, что он знал про нее, и то, чего еще не знал, но что, вероятно, существовало,— она, по крайней мере в настоящую минуту, казалась ему бесконечно выше Домны Осиповны и даже Натальи Сергеевны. Те обе были слишком русские женщины, очень апатичны, тогда как Мерова — вся энергия, вся импульс! Тюменев справедливо думал, что Бегушев останется до конца дней своих мечтателем и утопистом.

Придя домой, герой мой направился наверх к графу Хвостикову, который в это время, приготовляясь сойти к обеду, сидел перед зеркалом и брился.

Увидев Бегушева, Хвостиков исполнился удивления. Тот в первый еще раз удостоил посетить его комнату.

— Александр Иванович! — воскликнул он, спеша обтереть со щеки мыло.

Бегушев, не снимая ни пальто, ни шляпы, сел на стул.

— Я вам принес довольно приятную новость,— я встретил вашу дочь Елизавету Николаевну.

— Где? — спросил граф и чуть не выронил бритвы из рук: видимо, что это известие более испугало его, чем обрадовало.

— Она живет тут недалеко... в доме Хворостова, в подвальном этаже, и очень больна. Вот вам деньги на уплату ее долга хозяйке; возьмите мою карету и перевезите ее в самую лучшую больницу,— продолжал Бегушев и подал графу деньги и счет.

— Благодетель всей нашей семьи! — воскликнул граф Хвостиков, вскакивая, и хотел было обнять Бегушева.

— Пожалуйста, без нежностей и чувствительностей,— произнес тот, отстраняя графа рукою,— а гораздо лучше — поезжайте сейчас в моей карете и исполняйте то, что я вам сказал.

— Конечно!.. Конечно!..— согласился граф и, когда Бегушев от него ушел, он, наскоро собравшись и одевшись, сошел вниз, где, впрочем, увидав приготовленные блага к обеду, не мог удержаться и, выпив залпом две рюмки водки, закусил их огромными кусищами икры, сыру и, захватив потом с собою около пятка пирожков,— отправился. Граф очень ясно сообразил, что материальную сторону существования его дочери Бегушев обеспечит, следовательно, в этом отношении нечего много беспокоиться; что касается до болезни Елизаветы Николаевны, так тут что ж, ничего не поделаешь — воля божья! Но как бы то ни было, при встрече с ней он решился разыграть сцену истерзанного, но вместе с тем и обрадованного отца, нашедшего нечаянно дочь свою.

Въехав с большим трудом в карете на двор дома Хворостова, граф от кинувшегося ему в нос зловония поморщился; ему, конечно, случалось живать на отвратительных дворах, однако на таком еще не приходилось! Найдя, как и Бегушев, случайно дверь в подвальный этаж, Хво-

стиков отмахнул ее с тем, чтобы с сценически-драматическою поспешностью войти к дочери; но сделать это отчасти помешал ему лежащий в передней ягненочек, который при появлении графа почему-то испугался и бросился ему прямо под ноги. Граф, вообразив, что это собачонка, толкнул ягненка в бок, так что бедняга взлетел на воздух, не произведя, по своей овечьей кротости, никакого, даже жалобного, звука.

Граф проник, наконец, в комнату дочери и, прямо бросившись к ней, заключил ее в свои объятия.

— Дочь моя!.. Дочь моя!..— воскликнул он фальшиво-трагическим голосом; но, рассмотрев, наконец, что Елизавета Николаевна более походила на труп, чем на живое существо, присовокупил искренно и с настоящими слезами:

— Лиза, друг мой, что такое с тобою? Что такое?

Мерова, закрыв себе лицо рукою, рыдала.

— Сейчас в карету!.. Я приехал за тобой в карете!.. Одевайся, сокровище мое!..— говорил граф, подсобляя дочери приподняться с постели.

Когда Елизавета Николаевна с большим усилием встала на ноги, то оказалось, что вместо башмаков на ней были какие-то опорки; платьишко она вынула из-под себя: оно служило ей вместо простыни, но по покрою своему все-таки было щеголеватое.

— Какое у тебя платье ужасное, тебе всего прежде надобно сшить платье,— говорил граф.

— Я, как переехала сюда, все заложила и продала,— произнесла Елизавета Николаевна, торопливо и судорожно застегивая небольшое число переломленных пуговиц, оставшихся на лифе.

— Но что же сверху? — спросил граф.

Елизавета Николаевна показала на свой худой бурнусишко, сшитый из легонького летнего трико, а на дворе между тем было сыро и холодно.

— Это невозможно! — воскликнул граф и надел на дочь сверх платья валявшийся на полу ее утренний капот, обернул ее во все, какие только нашел в комнате, тряпки, завязал ей шею своим носовым платком и, укутав таким образом, повел в карету. Вдруг выскочила жидовка.

— А что же деньги? — взвизгнула она.

— Заплатят! — отвечал ей граф, не переставая вести дочь.

— Да когда же заплатят? — визжала жидовка.

— Когда захочу! — ответил граф, неторопливо усаживая дочь в карету.

— Караул!..— закричала жидовка.

Разгребавший грязь дворник рассмеялся при этом.

— Вот тебе твой счет и твои деньги! — сказал граф Хвостиков, сев уже в карету и подавая жидовке то и другое.

Она обмерла: граф выдавал ей только двадцать пять рублей вместо полутораста, которые жидовка поставила в счете.

— Что же это такое? — произнесла она с пеной у рта.

— А то,— возразил ей Хвостиков,— что я еще в Вильне, когда был гусаром, на вашей братье переезжал через грязь по улице.

— Заплати ей, папа, заплати!..— воскликнула дочь и, вырвав у отца из рук еще двадцатипятирублевую бумажку, бросила ее жидовке.

Та подхватила ассигнацию на лету.

— Пошел! — крикнул граф кучеру.

Тот, с отвращением смотревший на грязную, растрепанную и ведьме подобную жидовку и на ее безобразных, полунагих жиденят, выскочивших из своей подвальной берлоги в количестве трех — четырех существ, с удовольствием и быстро тронул лошадей.

Жидовка, все еще оставшаяся недовольная платой, схватилась было за рессору, но споткнулась и упала.

Разгребавший грязь дворник снова засмеялся. Жидовка, поднявшись на ноги, кинулась на него.

— Ты для чего отпустил? Для чего?..— визжала она.

— Отвяжись...— отвечал ей дворник.

— Я не отвяжусь... Вот что?.. Не отвяжусь!.. — наступала на него жидовка.

— А я те лопатой по роже съезжу! — возразил ей дворник, показывая в самом деле лопату.— Ты не держи на квартире всякую сволочь; а то у тебя что ни день, то новая прописка жильцов.

— Это не сволочь, а благородная дама; ты не ври этого... да!.. Не ври!.. — говорила жидовка, спускаясь уже в свой подвал.

Она сообразила, что ей лучше всего отыскать того господина, который первый к ней приходил и которого она, сколько ей помнилось, видела раз выходящим из одного

большого дома на дворе, где он, вероятно, и жил. Жидовка решилась отправиться в этот дом.

Когда граф Хвостиков проезжал с дочерью по Театральной площади мимо дома Челышева, Елизавета Николаевна вдруг опять закрыла себе лицо рукою и зарыдала.

— Лиза, о чем это? — спросил граф.

— Я тут в этом доме и погибла совсем, папа!.. — отвечала она, показывая на ту часть дома, которая прилегала к кремлевской стене.

Граф не расспрашивал более; он хорошо понял, что хотела сказать дочь.

На одной из значительных улиц, перед довольно большим каменным домом, граф велел экипажу остановиться: тут жил попечитель той больницы, в которую он вознамерился поместить дочь. Сказав ей, чтобы она сидела спокойно, граф вошел в переднюю попечителя и приказал стоявшему там швейцару доложить господам, что приехал граф Хвостиков,— *по вопросу о жизни и смерти.* Швейцар или, говоря точнее, переодетый больничный сторож, хоть господа и кушали, пошел и отрапортовал, что приехал какой-то граф просить о чем-то!.. Старик-попечитель, совсем дряхлый, больной и вздрогнувший при нечаянном появлении швейцара, вместо того чтобы ложкою, которою он ел суп, попасть в рот, ткнул ею себе в глаз и облил все лицо свое.

— Ах, Жорж, как ты всегда неосторожен! — воскликнула супруга попечителя, очень еще бодрая и свежая старуха, и, проворно встав со стула, начала мужа обтирать салфеткой.— Пригласи графа,— прибавила она затем швейцару.

Граф Хвостиков, войдя, прямо обратился к ней.

— Madame! Вы, как женщина, лучше поймете меня, чем ваш муж! — произнес он.

Муж действительно вряд ли что мог понять: все его старание было устремлено на то, чтобы как-нибудь удержать свою голову в покое и не дать ей чересчур трястись.

— К вашим услугам, monsieur le comte! [1] — отвечала попечительша.— Не угодно ли вам пожаловать в гостиную и объяснить мне, в чем дело.

Граф последовал за нею.

— Madame! — начал он своим трагическим тоном.— Я потерял было дочь, но теперь нашел ее; она больна и

---

[1] господин граф! *(франц.)*

умирает... Нанять мне ей квартиру не на что... я нищий... Я молю вас дать моей дочери помещение в вашей больнице. Александр Иванович Бегушев, благодетель нашей семьи, заплатит за все!

— Ах, cher comte[1], стоило ли так беспокоиться и просить меня; я сейчас же напишу предписание смотрителю! — проговорила попечительша и, написав предписание на бланке, отнесла его к мужу своему скрепить подписью. Ветхий деньми попечитель начал вараксать по бумаге пером и вместо букв ставить какие-то палочки и каракульки, которые попечительша своей рукой переделала в нужные буквы и, прибавив на верху предписания: *к немедленному и точному исполнению,* передала его графу. Она давно уже и с большим успехом заправляла всей больницей.

Вооружившись этой бумагой, граф Хвостиков прибыл в приют немощствующих с большим апломбом. Он велел позвать к себе смотрителя, заметил ему, что тот чересчур долго не являлся, и, наконец, объявив, что он граф Хвостиков, отдал предписание попечителя.

Такой прием графа и самая бумага сильно пугнули смотрителя: он немедленно очистил лучшую комнату, согнал до пяти сиделок, которые раздели и уложили больную в постель. А о том, чем, собственно, дочь больна и в какой мере опасна ее болезнь, граф даже забыл и спросить уже вызванного с квартиры и осмотревшего ее дежурного врача; но как бы то ни было, граф, полагая, что им исполнено все, что надлежало, и очень обрадованный, что дочь начала немного дремать, поцеловал ее, перекрестил и уехал.

Чтобы вознаградить себя за свои родительские труды, он завернул в первый попавшийся ему на пути хороший ресторан, где наскочил на совсем пьяного Янсутского.

Граф первоначально не поклонился ему и скромно спросил себе заурядный обед с полбутылкой красного вина, но Янсутский, надоевший своей болтовней всей прислуге, сам подошел к графу.

— Что вы на меня дуетесь?.. За что?..— сказал он.

— Вы знаете, за что!..— отвечал ему с ударением Хвостиков.

— Э, поверьте, на свете все трын-трава! — произнес Янсутский, усаживаясь около графа.— Выпьемте лучше!.. Шампанского!..— крикнул он.

---

[1] дорогой граф, *(франц.)*

Граф, подобно генералу Трахову, очень любил шампанское и не мог от него отказаться; усталый и мучимый жаждой, он с величайшим наслаждением выпил стакан шампанского, два, три.

— А где Лиза теперь? — спросил вдруг Янсутский, наклоняясь немного к графу.

— Она в больнице и умирает,— отвечал тот мрачным голосом.

— Эх, обидно, черт возьми! — воскликнул Янсутский и схватил себя за небольшое число оставшихся волос на голове.— Отдайте мне ее опять — она у меня опять будет здорова,— прибавил он.

— Ни за что, никогда!..— сказал решительно и с благородством граф.— Теперь уже я ее никуда от себя не пущу.

— Глупо!.. Очень глупо... Я сам, впрочем, скоро в трубу вылечу, если не устрою одной штуки; что ж, ничего! Пожито: хоть и спинушке больно, но погулено довольно! — говорил несвязно Янсутский.— Пойдемте на бильярде играть! — предложил он потом.

Граф мастерски играл на бильярде, о чем Янсутский в опьянении забыл.

— Но по какой цене мы будем играть? — спросил Хвостиков невинным голосом.

— По три рубля за партию! — отвечал Янсутский с обычным ему форсом.

Граф согласился, думая про себя: «Я тебя, каналья, обработаю порядком за все твои гадости и мерзости, которые ты делал против меня!»

Пока таким образом опечаленный отец проводил свое время, Бегушев ожидал его с лихорадочным нетерпением; наконец, часу в девятом уже, он, благодаря лунному свету, увидел въезжавшую на двор свою карету. Бегушев сначала обрадовался, полагая, что возвратился граф, но когда карета, не останавливаясь у крыльца, проехала к сараю, Бегушев не мог понять этого и в одном сюртуке выскочил на мороз.

— Где же граф? — крикнул он кучеру.

— В гостинице у Тверских ворот остались,— ответил тот.

— А больная, за которой я его послал?

— Больную-с отвезли в больницу.

И кучер назвал больницу.

— Хорошо там ее поместили? — расспрашивал Бегушев, не чувствовавший даже холода.

— Граф сказывал, что хорошо, и сначала велел было мне дожидаться у гостиницы, а опосля вышли и сказали, чтоб я ехал домой.

— Он пьян, конечно?

Кучер усмехнулся.

— Должно быть, маненько выпивши,— ответил он.

— О скотина, о мерзавец!..— восклицал Бегушев.

В это время нежданно-негаданно предстала пред ним жидовка.

— Ваше превосходительство,— заговорила она, рыдая,— вы изволили мне сказать, что все заплатите, а мне ничего не заплатили и даму эту увезли.

— Как не заплатили? — спросил Бегушев.

— Что вы говорите: «не заплатили»? Вам при мне отдали пятьдесят рублей!..— уличил жидовку кучер.

— Разве пятьдесят рублей она мне должна? Ты пуще это знаешь... Я пойду теперь к губернатору, приведу к нему детей моих и скажу: «Возьмите их у меня! Мне кормить их нечем!.. Меня ограбили!..»

При словах «к губернатору» и «ограбили» Бегушев окончательно вышел из себя.

— Вон отсюда! — крикнул он так, что жидовка от страха присела на месте.

— Вон! — крикнул еще громче Бегушев.

Жидовка благим матом побежала со двора.

Возвратясь в комнаты, Бегушев тем же раздраженным голосом приказал лакеям, чтобы они не пускали к нему графа Хвостикова, когда он вернется домой, и пусть бы он на глаза к нему не показывался, пока он сам не позовет его.

Глава VII

Граф Хвостиков воротился домой не очень поздно. С ним случилась ужасная неприятность: он подрался с Янсутским! Произошло это следующим образом: Янсутский проигрывал сряду все партии, так что граф Хвостиков, наконец, усовестился и, объявив, что ему крайняя необходимость ехать в одно место, просил Петра Евстигнеевича расплатиться с ним.

— Сколько же вам следует? — спросил тот насмешливо.

— Сосчитать легко!.. Сколько мы партий сыграли? — спросил Хвостиков маркера.

— Тридцать шесть партий,— отвечал тот.

Янсутский вынул бумажник и, точнейшим образом отсчитав восемнадцать рублей, подал их графу, проговоря:

— По полтиннику за партию, будет с вас!

Хвостиков таким образом очутился совершенно в таком же положении, в какое поставлена была им самим поутру жидовка: «В нюже меру мерите, возмерится и вам».

— Но мы играли по три рубля партию... Я уж не говорю, что некоторые шли на контро,— скромно заметил он вначале.

— А вы смеете играть с пьяным?.. Смеете? Вы знаете, что вас в Титовку за это посадят! — сказал Янсутский и хотел было уйти.

Граф более не выдержал.

— Подлец! — крикнул он ему.

В ответ на это Янсутский ничего не сказал, а, быстро повернувшись назад, подошел к графу и дал ему пощечину. Тот, в свою очередь, обезумел от гнева: с замечательною для семидесятилетнего почти старика силою он выхватил у близстоящего маркера тяжеловесный кий, ударил им Янсутского по голове, сшиб его этим ударом с ног, затем стал пихать его ногами, плевать ему в лицо. Вся злость, накопившаяся издавна в душе графа против Янсутского, вылилась в эту минуту. Маркеры и сбежавшиеся лакеи едва растащили их, и Янсутского, как более почетного посетителя и много тратившего у них денег, они отправили с знакомым извозчиком домой, а графа, вздумавшего было доказывать, что он прав, вывели не совсем вежливо и просили больше не посещать их отеля. Дома графа, как мы знаем, тоже ожидало не совсем приятное известие. Прокофий, всегда его терпеть не могший и почти вслух называвший «пришлой собакой», нарочно сам ему отворил на этот раз дверь и сказал, что Александр Иванович не приказал графу являться к себе на глаза.

— Как не являться? — спросил тот, будучи удивлен и встревожен таким приказанием.

— Так: сидите там у себя наверху! — дополнил Прокофий.

Граф пожал плечами и, делать нечего, покорился мол-

ча своей участи. Кроме всех этих оскорбительных в нравственном смысле сюрпризов, он чувствовал довольно сильную физическую боль в левой щеке от удара Янсутского и поламыванье в плечах от толчков, которыми будто бы нечаянно при выпроваживании наградили его трактирные служители.

Поутру, впрочем, Бегушев смиловался над графом и позвал его к себе. Хвостиков очень этому обрадовался, и его смущало одно,—что под левым глазом у него выступил большой синяк; тщетно затирал он его помадой, мелом, пудрой — синяк виднелся.

Бегушев встретил графа сурово.

— Что вы, человек или камень бесчувственный? — отрезал он ему прямо.

— До сих пор был человеком,— отвечал Хвостиков уклончиво.

— То-то до сих пор, а теперь перестали: у вас дочь умирает, а вы где-то в кабаке пьянствуете,— продолжал Бегушев.

Граф сделал вид, что этими последними словами очень обиделся.

— Я был не в кабаке, а в одном из лучших отелей, где бываете и вы, и Елизавета Николаевна вовсе не опасно больна: я говорил об ее болезни с докторами; они меня заверили, что она скоро должна поправиться.

— Вы не лжете это? — спросил его Бегушев.

— Можете думать, что я лгу или не лгу,— это как вам угодно,— отвечал граф тем же обиженным тоном: он сообразил уж, из какой причины проистекало такое живое участие Бегушева к болезни Елизаветы Николаевны, и внутренне чрезвычайно этому обрадовался, ожидая, что если случится то, что он предполагал, так он заставит своего патрона гораздо почтительней с ним обходиться.

— Это что у вас за украшение? — продолжал между тем Бегушев, заметивший у графа синяк под глазом.

— На бильярде играл и на кий нечаянно наткнулся! — придумал тот.

— Странная неосторожность!..— произнес, усмехаясь, Бегушев.— Но когда в больницу приезжает главный доктор? — присовокупил он.

— В двенадцать часов, я об этом спрашивал даже,— солгал еще раз граф.

Бегушев посмотрел на часы свои и велел закладывать карету.

— Вы заедете к Лизе? — спросил его граф.

— Да!

— Она вам будет очень рада!..

Бегушев на это промолчал.

— А вам, Александр Иванович, так на меня сердиться грех; я слишком несчастлив и достоин сожаления! — проговорил с чувством граф.

— Что вы несчастливы, я согласен; но чтобы стоили сожаления,— это под сомнением! — объяснил ему Бегушев.

— Стою!..— повторил граф и величественной походкой ушел к себе.

Ровно в двенадцать часов Бегушев приехал в ту больницу, где помещена была Елизавета Николаевна. Его повели по длинному коридору в приемную комнату. Первое, что он встретил, это фельдшера, который нес таз с кровавой водой и с плавающим в оной только что, вероятно, отрезанным пальцем человеческим... Из некоторых палат, сквозь не совсем притворенные двери, слышались стоны; воздух, как ни чисто содержалось здание, все-таки был больничный. В домовой церкви, вход в которую был из того же коридора, происходило заунывное отпевание двух — трех покойников... Бегушев давно не бывал в госпиталях, и все это ужасно его коробило; он дал себе слово, что как только Меровой будет немного получше, перевезти ее в свой дом, что бы по этому поводу ни заговорили! В приемной комнате Бегушев заявил желание видеть старшего врача и подал при этом свою карточку. Кто был старший врач, он не знал и рассчитывал на одно, что тот должен быть опытней молодых ординаторов. На приглашение его старший врач скоро вошел. Оказалось, что это был Перехватов, на днях только возведенный в эту должность. Он был в форменном вицмундире и с Владимиром на шее. Конечно, в Москве было немного таких заклятых врагов, как Бегушев и Перехватов, но при встрече они нисколько не обнаружили того и даже начали разговаривать сначала почти дружелюбно.

— Извините, что я обеспокоил вас, но я интересуюсь тут одной больной — Елизаветою Николаевной Меровой,— начал первый Бегушев.

— Она принята, и ей уж оказана первая медицинская

помощь,— отвечал Перехватов и из своей дорогой сигарочницы предложил Бегушеву сигару. Тот отказался и вместе с тем спросил доктора:

— Вы ее исследовали?

— Конечно!.. Впрочем, вы нашим исследованиям не верите! — слегка кольнул его Перехватов.

— Не совсем верю, хотя убежден, что скорое приближение смерти вы можете предугадать; что такое у Меровой — чахотка?

Перехватов пожал плечами.

— Пока можно только сказать, что сильное затемнение дыхания и сердце, кажется, не совсем в порядке.

— И что же, все это опасно?

— Нет,— протянул с важностью Перехватов,— аневризм в настоящее время, конечно, уж из ста человек у двух — у трех есть, а затемнение дыхания часто бывает от простого катара в легких.

— Кто ее, собственно, будет пользовать? — допытывался Бегушев.

— Ординатор палаты и специалист по грудным болезням,— объяснил Перехватов.

«Слава богу, что не ты!» — порадовался Бегушев.

— А вы по каким болезням специалист? — спросил он.

— Я по нервным и женским болезням,— отвечал Перехватов.

— Гм... гм!..— произнес Бегушев не без значения. Перехватов подметил это.

— Я никак не ожидал, что вы будете принимать такое живое участие в madame Меровой,— поставил он ему, в свою очередь, шпильку.

— Ее отец у меня живет,— отвечал немного смутившийся Бегушев и, чтобы не остаться у доктора в долгу, присовокупил: — А вашей супруги как здоровье?

— Она здорова! — сказал он притворно-равнодушным тоном и поспешил прибавить: — Вы желаете видеть больную?

— Прошу вас разрешить мне это! — проговорил Бегушев.

Перехватов сам его повел к Елизавете Николаевне.

Бегушев глаз с него не спускал и очень хорошо видел, как Перехватов умышленно держал голову выше обыкновенного, как он наслаждался тем, что сторожа и фельд-

шера при его проходе по коридору вытягивались в струнку, а сиделки робко прижимались к стене.

«Этакое пошлейшее ничтожество!» — шептал мысленно Бегушев.

— Madame Мерова помещается в этой отдельной комнате,— сказал, наконец, Перехватов, показывая на одну из дверей.

Бегушев вошел в эту дверь. Доктор не последовал за ним.

— Ах, это вы, Александр Иванович! — произнесла Елизавета Николаевна как-то стыдливо.

Бегушеву она показалась посвежей, и в лице ее не было тупого отчаяния...

— Спали ночь? — сказал он, садясь около ее кровати.

— Спала отлично! — отвечала Мерова.

— А кушать хочется? — спрашивал Бегушев.

— Не знаю! — произнесла Мерова.

— Но подумайте... Вам, может быть, в воображении что-нибудь улыбнется, и я сейчас же пришлю вам!

Мерова подумала.

— Нет, ничего не хочу; вы лучше посидите у меня, это мне лучше всякой пищи.

— Я буду сидеть у вас, сколько вы позволите!

— Вы знаете, сегодня ко мне входил Перехватов, очень любезно и внимательно расспрашивал меня.

— Он тут старшим доктором,— объяснил ей Бегушев.

— Зачем же отец поместил меня к нему? Он, пожалуй, уморит меня!

— Вас будет лечить не он, а другой.

— Ах, это старичок, который был у меня уж два раза; он добрый, должно быть... Я спросила Перехватова о жене его, и он сказал, что Домна Осиповна по-прежнему меня любит.

Бегушев на это промолчал.

— Как вы почувствуете себя хоть немного крепче, я перевезу вас к вашему отцу в мой дом.

Мерова нахмурилась.

— Мне это страшно, Александр Иванович.

— Почему? — спросил он.

— Ах, потому что... Вы не знаете, что во мне происходит... Вы никогда не понимали меня.

— Чего не понимал? — повторил Бегушев, начинавший приходить в смущение.

— Того, что я давно вас люблю! — воскликнула Мерова.

Бегушев поник головой.

— Люблю с тех пор, как увидела вас в первый раз в театре; но вы тогда любили Домну Осиповну, а я и не знаю хорошенько, что все это время делала... Не сердитесь на меня, душенька, за мое признание... Мне недолго осталось жить на свете.

«Что это, кокетство или правда?» — мелькнуло в голове Бегушева, и сердце его, с одной стороны, замирало в восторге, а с другой — исполнилось страхом каких-то еще новых страданий; но, как бы то ни было, возвратить Елизавету Николаевну к жизни стало пламенным его желанием.

— Вы не волнуйтесь; все устроится хорошо!.. Укрепитесь настолько, чтобы переехать ко мне, а там мы поедем с вами в теплый климат... солнце, море, спокойная жизнь...

Елизавета Николаевна слушала Бегушева с жадным вниманием.

— Значит, вам жаль меня? — проговорила она.

— Более, чем жаль, и я устрою вашу судьбу прочно и серьезно,— сказал Бегушев.

Лицо Меровой окончательно просияло.

— Да, да! — подтвердила она радостным голосом.— Я знаю, какой вы добрый!.. Ну, поцелуйте меня.

Бегушев поцеловал ее. Она на этот раз прилипла своими губами к его губам и долго-долго тянула поцелуй, потом опустилась на подушки, глаза у ней почти совсем закатились под верхние веки. Бегушеву она показалась в эти минуты очаровательно хороша!

— Вот дайте мне этих капель, что на столе стоят... Доктор велел мне их принимать, когда я очень взволнуюсь.

Бегушев дрожащей рукой накапал в рюмку показанное на сигнатурке число капель и подал их Меровой.

— Вы уезжайте, друг мой, от меня,— начала она, жадно выпив капли.— Вы слишком много принесли мне счастья: я непременно хочу выздороветь — для себя и для вас. Господи, хоть бы один день еще прожить такого счастья...

Вошедшая сиделка прервала их объяснение.

— Прощайте, мне сейчас мушку будут ставить! —

продолжала Мерова заметно ослабнувшим голосом и вместе с тем улыбаясь.

Бегушев сначала повиновался было и вышел; но, будучи не из таких характеров, чтобы терпеливо ждать чего-нибудь, он не мог удержаться и снова возвратился к Меровой.

— Елизавета Николаевна, есть у вас силы сегодня же переехать в мой дом? Там уход будет лучше за вами,— проговорил он с поспешностью.

— Есть,— отвечала та и, махнув рукой стоявшей около нее сиделке, сказала, что она не будет ставить мушки.

— В таком случае я сейчас распоряжусь,— подхватил Бегушев и, выйдя в коридор, прямо встретился с проходящим важно Перехватовым.

— Я Мерову перевожу к себе и желал бы пригласить навещать ее того доктора, который начал ее лечение,— сказал он ему.

— Tout de suite![1] — отвечал с несколько злой усмешкой Перехватов, а затем громко и строго сказал следовавшему за ним фельдшеру: — Позвать сюда ординатора шестой палаты!

Ординатор пришел. По его скромной и умной физиономии Бегушев заключил, что он не шарлатан. Ординатор действительно был не шарлатан, а вымятый и опытный больничный врач, и между тем, несмотря на двадцатипятилетнюю службу, его не сделали старшим врачом — за то только, что он не имел той холопской представительности, которой награжден был от природы Перехватов.

— Господин Бегушев, хороший знакомый госпожи Меровой, желает ее взять к себе... Распорядитесь, чтобы она покойно и тепло одетою была перевезена! — приказал ему его юный начальник.

Ординатор в знак повиновения склонил перед ним голову.

Перехватов с прежнею важностью пошел далее.

— Я просил бы вас сегодня же перевезти ко мне госпожу Мерову в дом... Я пришлю за ней карету и теплую одежду, а также и вас прошу приезжать к ней.

— Но ей только что поставили мушку! — возразил доктор.

---

[1] Сейчас! *(франц.)*

— Она еще не ставила ее... Можете ли, доктор, вы это сделать и у меня продолжать пользовать госпожу Мерову?

— Я освобожусь из больницы не ранее четырех часов, а после этого могу перевезти.

— В четыре часа поэтому я могу прислать за вами карету?

— В четыре! — разрешил ему доктор.

Бегушев полетел из больницы на всех рысях на Кузнецкий мост, где в магазине готового женского белья и платьев накупил того и другого; зашел тут же в английский магазин, отобрал шерстяных чулок, плед и кончил тем, что приторговал у Мичинера меховой женский салоп, строго наказав везде, чтобы все эти вещи немедленно были доставлены к нему. Возвратясь домой, Бегушев свою ленивую и распущенную прислугу пришпорил и поднял на ноги; прежде всего он позвал Минодору и велел ей с помощью мужа, лакеев и судомоек старательно прибрать отделение его покойной матери, как самое удобное для помещения больной. В отделении этом он сам осмотрел все щелочки в окнах, что не дует ли где-нибудь, осмотрел все вентиляторы, еще с болезни старухи там понаделанные... Лакеи и Минодора сначала недоумевали, что такое барин затевает; наконец это объяснилось, когда Бегушев объявил Минодоре, что привезут больную, умирающую дочь графа Хвостикова и что она должна быть при ней безотлучно!

Минодора хоть по наружности и приняла с покорностью приказание Александра Ивановича, но была не очень довольна таким его распоряжением и, придя в девичью, сказала мужу:

— У нас скоро новая жилица будет!.. Больная дочь графа!.. Барин приказывает мне за ней ходить!

— За потаскушей-то этой? — заметил со злобою Прокофий.

— Кто знает, потаскуша она или нет,— посмягчила приговор мужа Минодора.

— Как же не потаскуша: она вон жила с этим инженеришком, что к нам ездил... В Петербурге, говорят, с Ефимом Федоровичем Тюменевым путалась!..— объяснял с той же злобой Прокофий.

Маремьяша, слышавшая разговор этот, не преминула пойти и слово в слово передать его госпоже своей.

— Какую дочь графа?..— спросила Аделаида Ивановна, не знавшая даже о существовании Меровой.

— Да так, какую-то распутную! — отрезала Маремьяша.

— Ах, Маремьяша, как ты всегда гадко выражаешься! — почти прикрикнула на нее Аделаида Ивановна.

— Как же мне еще выражаться! Вся прислуга здешняя говорит это! — ответила Маремьяша грубым тоном.

Вскоре начали привозить вещи, купленные Бегушевым для Меровой. Минодора принимала их и, несмотря на свою сдержанность, усмехалась и слегка покачивала головою, а Маремьяша просто пришла в неистовство. Она опять вошла к Аделаиде Ивановне и гневным голосом выпечатала:

— Вы мне говорить не приказываете, а Александр Иванович целое приданое накупил...

— Кому приданое? — произнесла с удивлением Аделаида Ивановна, начинавшая уже ничего не понимать.

— Этой дочке графа!.. Вам по пяти да по десяти рубликов выдает, а на чужих ничего не жалеет.

— Ну, пожалуйста, прекрати твои рассуждения!.. Я не хочу их больше слушать!

Но Маремьяша, уйдя в свою комнату, долго еще брюзжала.

Слух о переезде Елизаветы Николаевны в дом к Александру Ивановичу дошел, наконец, и до графа, спавшего крепчайшим сном после всех перенесенных им накануне хлопот и неприятностей. Известие это до того было неожиданно для него, что он сошел вниз узнать, вследствие чего произошла такая перемена.

— Вы Лизу, я слышал, перевозите к нам? — спросил он Бегушева, встретив того в зале.

— Перевожу! — отвечал ему Бегушев коротко.

Граф на несколько мгновений позамялся, придумывая, как бы выразить ему свою мысль, которая, собственно, состояла в том, что если Бегушев предположил взять себе в дом Елизавету Николаевну, то должен был бы прежде всего посоветоваться с ним, графом, но высказать это прямо он, конечно, не решился и только бормотал:

— Вы, по крайней мере, позвольте мне рассказывать, что вы это делаете для меня и по моей просьбе!

— Рассказывайте!.. Мне решительно все равно,— проговорил Бегушев и явно рассмеялся.

Встретив такие сухие и насмешливые ответы, граф счел за лучшее плюнуть на все,— пусть себе делают, как хотят,— и удрал из дому; но, имея синяк под глазом, показаться в каком-нибудь порядочном месте он стыдился и прошел в грязную и табачищем провонялую пивную, стал там пить пиво и толковать с немецкими подмастерьями о политике.

Больную доктор привез в карете Бегушева часам к пяти; она была уже одета в посланное к ней с кучером новое белье и платье и старательно закутана в купленный для нее салоп. Доктор на руках внес ее в ее комнату, уложил в постель и, растолковав Минодоре, как она должна поставить мушку, обещался на другой день приехать часов в восемь утра. За все эти труды доктора Бегушев заплатил ему сто рублей. Скромный ординатор смутился даже: такой высокой платы он ни от кого еще не получал.

Добрая Аделаида Ивановна, услыхав, что больная так слаба, что ходить не может, исполнилась жалостью и за обедом же сказала брату:

— А ты еще доброе дело делаешь: взял к себе больную дочь графа?

— Да! — отвечал тот.

— Ах, как бы я желала познакомиться с ней,— продолжала старушка,— и даже сегодня, если только это не обеспокоит ее, сходила бы к ней.

— Можно и сегодня!.. Вероятно, она теперь отдохнула!..— разрешил ей Бегушев.

Аделаида Ивановна так спешила увидать поскорей Мерову, помимо чувства сострадания, и по любопытству взглянуть своим глазом, что это за дама. Встав из-за стола, она немедленно отправилась к больной, отрекомендовала себя сестрой Александра Ивановича и просила полюбить ее.

Добрый вид старушки произвел приятное впечатление на Мерову.

— Вы, не правда ли, не очень больны и, верно, скоро выздоровеете? Что у вас больше всего болит? — спрашивала ее Аделаида Ивановна ласковым-ласковым голосом.

— Грудь! — отвечала Мерова.

— А если грудь, так ничего,— воскликнула старушка.— Я про себя вам скажу: у меня постоянно прежде болела грудь, а вот видите, до каких лет я дожила! — начисто уже выдумала Аделаида Ивановна; у нее никогда

грудь не баливала, но все это она, разумеется, говорила, чтобы успокоить больную.

— Вы замужняя или девица? — продолжала она занимать больную.

— Я вдова,— отвечала Мерова.

— Давно потеряли вашего супруга?

— Лет двенадцать!

— Не может быть!.. Вы так еще молоды; конечно, вы с ним недолго жили, и какая, я думаю, это была для вас потеря! — То, что о Меровой говорила прислуга, Аделаида Ивановна с первого же взгляда на нее отвергла.— Но где же вы жили?.. Граф ни разу не говорил мне, что у него есть дочь, и такая еще прелестная!

Мерова в самом деле очень понравилась Аделаиде Ивановне своей наружностью.

— Я жила перед приездом сюда в Киеве, на юге! — отвечала Мерова, все более и более краснея.

— А как приехали сюда, так и расхворались,— это очень понятно; я тоже,— как уж мне хорошо жить у брата, все равно, что в царстве небесном,— но прихварываю: то ноги пухнут, то голова кружится.

— От любви, может быть! — пошутила Мерова.

Аделаида Ивановна засмеялась самым искренним смехом.

— Очень может быть, очень! — говорила она.

В это время, однако, сметливая Минодора, заметив, что это беседование смущает и утомляет Мерову, подошла и шепнула Аделаиде Ивановне, что больной пора ставить мушку.

— Непременно, это необходимо! — согласилась она и, встав, сначала поцеловала Мерову, а потом перекрестила.— Целую вас и кладу на вашу грудь крестное знамение с таким же чувством, как бы делала это мать ваша,— проговорила она и вышла.

Мерова по уходе ее залилась слезами: она с детства не встречала такого ухода и такой ласки, как нашла это в доме Бегушева.

Глава VIII

Тучи громадных событий скоплялись на Востоке: славянский вопрос все более и более начинал заинтересовывать общество; газеты кричали, перебранивались между

собой: одни, которым и в мирное время было хорошо, желали мира; другие, которые или совсем погасали, или начинали погасать, желали войны; телеграммы изоврались и изолгались до последней степени; в комитеты славянские сыпались сотни тысяч; сборщицы в кружку с красным крестом появились на всех сборищах, торжищах и улицах; бедных добровольцев, как баранов на убой, отправляли целыми вагонами в Сербию; портрет генерала Черняева виднелся во всех почти лавочках. Все эти явления, конечно, влияли и на выведенных мною лиц, из которых, впрочем, главный герой мой, Бегушев, как бы совершенно этим не интересовался и упорно отмалчивался на все вопросы, которые делали ему многие, так как знали, что некогда он изъездил вдоль и поперек все славянские земли. Зато граф Хвостиков и Долгов, снова сблизившиеся, очень много говорили и, ездя неустанно во все дома, куда только их пускали, старались всюду внушать благородные и гуманные чувствования. За такие их подвиги одна газета пригласила их к сотрудничеству, открыв им целую рубрику, где бы они могли излагать свои мысли. Долгов, разумеется, по своей непривычке писать, не изложил печатно ни одной мысли; но граф Хвостиков начал наполнять своим писанием каждый номер, по преимуществу склоняя общество к пожертвованиям и довольно прозрачно намекая, что эти пожертвования могут быть производимы и через его особу; пожертвований, однако, к нему нисколько не стекалось, а потому граф решился лично на кого можно воздействовать и к первой обратился Аделаиде Ивановне, у которой он знал, что нет денег; но она, по его соображениям, могла бы пожертвовать какими-нибудь ценными вещами: к несчастью, при объяснении оказалось, что у ней из ценных вещей остались только дорогие ей по воспоминаниям. Бегушеву граф не смел и заикнуться о пожертвовании, предчувствуя, что тот новую изобретенную графом деятельность с первых же слов обзовет не очень лестным именем. Таким образом, опять оставалась одна только Домна Осиповна, подающая некоторую надежду, к которой граф нарочно и приехал поутру, чтоб застать ее без мужа. Принят он на этот раз был очень скоро и, увидав Домну Осиповну, чуть не вскрикнул от удивления — до такой степени она похудела и постарела за это непродолжительное время; белила и румяна только что не сыпались с ее лица.

— А я к вам,— начала она без прежней своей важности,— писать уж хотела, чтобы узнать о здоровье Лизы... Она, как мне передавали, тоже у Бегушева обитает.

— У нас, у нас! — поспешно отвечал граф.

— Я бы приехала навестить ее, но господин Бегушев, может быть, не велит меня принять,— продолжала Домна Осиповна.

— Нет, нет! У нее совсем особое отделение... Александр Иванович отдал ей комнаты покойной матери своей,— бухнул, не остерегшись, граф.

— Комнаты матери!..— повторила с ударением Домна Осиповна.— И что же, Лиза в постели лежит? — присовокупила она.

— Иногда; но больше сидит и вместе с нами увлекается великим движением, обхватившим все классы общества!..— ввернул граф газетную фразу, чтобы сильней повоздействовать на Домну Осиповну.— К вам я тоже приехал с кружечкой, хоть и сердит на вас, что вы не хотели поддержать газеты, которая как бы теперь была полезна!.. Впрочем, бог вас простит за это; пожертвуйте, по крайней мере, теперь нашим соплеменникам, сколько можете!..

И граф развернул перед Домной Осиповной свой пустой бумажник, чтобы приять в него посильную дань. Но Домна Осиповна вместо дани сделала ему ручкой и, немного склонив голову, проговорила озлобленнейшим голосом:

— Благодарю вас покорно!.. Очень вам благодарна!.. Я уж много жертвовала!

Домна Осиповна точно что через разных влиятельных лиц много пережертвовала, надеясь в них найти помощь по своим делам. Но помощи этой она до сих пор не ощущала, что ее очень сердило и огорчало.

— Мне теперь не до чужих нужд; у меня своих много!..— объяснила она графу.

— Стало быть, правда, что я вам говорил со слов Янсутского? — спросил тот по наружности как бы с участием, а про себя думал: «Так тебе, скряге, и надо!»

— Конечно, вздор!.. Он сам все это и выдумал,— воскликнула Домна Осиповна.— Тут его несколько времени тому назад избили в трактире,— присовокупила она.

— Скажите! — произнес граф, как бы удивленный тем, что слышит.

— Об этом напечатано было в газетах... Я сама чита-

ла!.. Янсутский назван по имени, а о господине, который бил его, сказано только, что он очень храбрый и силы необыкновенной!

— Скажите! — повторил еще раз граф, как бы приходивший все более и более в удивление, хотя от него именно и пущено было это известие в газеты.

— Я, признаться, ужасно порадовалась, что его поколотили, ужасно!..— заключила Домна Осиповна.

— А где же теперь Янсутский? — спросил граф.

— Он после этого сраму в Сибирь ускакал... Скупает там векселя покойного деда по десяти, по двадцати копеек за рубль и сюда пишет, что как только вернется, так посадит меня в тюрьму, дурак этакой!.. Того не понимает, что я его нисколько не боюсь...

Домна Осиповна в последних словах своих сказала неправду: она очень боялась угрожающего ей дела, тем более, что Янсутский всюду рассказывал, что предполагаемый им процесс он поведет вдвоем с Гроховым.

Граф собрался уходить.

Домна Осиповна при прощанье еще раз повторила, что она непременно приедет навестить Елизавету Николаевну. Граф ничего ей на это не ответил и, сухо откланявшись, отправился домой с твердым намерением напечатать самого ядовитого свойства статейку о черствых и корыстолюбивых людях, к несчастью, до сих пор существующих в нашем обществе, особенно между купечеством. К досаде на Домну Осиповну за отказ ее в пожертвовании у Хвостикова присоединялась и мысль о настойчивом желании Перехватовой посетить непременно его дочь. «Уж не думает ли она отбить Бегушева у Лизы?» — спрашивал он себя. В том, что Елизавета Николаевна, хоть и больная, находится в близких отношениях с Александром Ивановичем, граф не сомневался. Все эти злые и беспокойные мысли сразу, впрочем, выскочили из его головы, когда он встретил ехавшего к нему быстро Долгова, который еще с пролеток кричал, что им сегодня непременно надобно ехать обедать в Английский клуб, куда приедет генерал Трахов, аки бы привезший серьезнейшее известие из Петербурга.

Подозрение графа касательно задней мысли Домны Осиповны было отчасти справедливо: она в самом деле хотела видеть не Мерову, но Бегушева, которого Домна Осиповна ревновала к Елизавете Николаевне. Да, чита-

тель, ревновала!.. До последнего времени Домна Осиповна ни от кого не слыхала, чтобы Бегушев, расставшись с ней, полюбил какую-нибудь другую женщину, так что она, к великой усладе своего самолюбия, начинала думать, что он всю жизнь будет страдать по ней; а тут вдруг Бегушев берет к себе Мерову — зачем?.. Для чего?.. Чтобы он делал это бескорыстно, Домна Осиповна, как и граф Хвостиков, не думала, и при этом совершенно не верила в нравственность своей подруги!.. С такого рода мыслями и чувствованиями приехала она в хорошо ей когда-то знакомый дом, где она провела столько блаженных минут. Готовая расплакаться при этом воспоминании, Домна Осиповна с замирающим сердцем от страха, что не примут ее, послала своего ливрейного лакея узнать: может ли она видеть Елизавету Николаевну Мерову. Встреть сего посланного Прокофий, тот бы прямо ему объявил, что барыню ихнюю барин его никогда не велел к себе пускать; но в передней в это время был не он, а один из молодых служителей, который, увидав подъехавшую карету, не дожидаясь даже звонка, отворил дверь и, услыхав, что приехала Домна Осиповна навестить госпожу Мерову, пошел и сказал о том Минодоре, а та передала об этом посещении Елизавете Николаевне, которая испугалась и встревожилась и послала спросить Александра Ивановича, что позволит ли он ей принять Домну Осиповну.

Бегушев некоторое время думал.

— Отчего ж не принять? Пусть примут,— отвечал он потом не совсем спокойным голосом.

Домну Осиповну привели, наконец, в комнату приятельницы; гостья и хозяйка сначала обнялись, расцеловались и потом обе расплакались: кто из них несчастнее был в эти минуты — нищая ли Мерова, истерзанная болезнью, или Домна Осиповна, с каждым днем все более и более теряющая перья из своего величия,— сказать трудно; еще за год перед тем Домна Осиповна полагала, что она после долгой борьбы вступила в сад, исполненный одних только цветов радости, а ей пришлось наскочить на тернии, более колючие, чем когда-либо случалось проходить.

— Как ты попала сюда? — первое, что спросила Домна Осиповна приятельницу.

— Александр Иванович нашел меня совсем нищую и перевез к себе,— отвечала та.

Спросить Елизавету Николаевну, где она была и что делала с тех пор, как скрылась из Петербурга, Домна Осиповна считала излишним, так как догадывалась, какого рода жизнь вела ее приятельница.

— И тебе не грех было не написать мне о своем положении, а одолжаться у почти незнакомого тебе человека? — заметила она ей.

Мерова вспыхнула.

— У Александра Ивановича отец мой живет; ты же, я слышала, вышла замуж, а потому не зависишь от себя!..— проговорила она.

— Я никогда ни от первого, ни от второго мужа не была в такой зависимости, потому что если им дать волю, так они возьмут их две, три!..

Домна Осиповна так резко отозвалась о мужьях потому, что у ней перед самым отъездом вышла сильная перебранка с супругом, по причинам несколько отдаленным. Перехватов, как только разнесся слух о возможности для Домны Осиповны банкротства, утратил к ней всякую внимательность, нежность и угодливость. Домна Осиповна, конечно, отгадала истинную причину его холодности и окончательно убедилась, что в душе он *подлец;* Бегушев показался ей сравнительно с ним полубогом по благородству своих чувств; он бесился на нее, когда она наживала деньги, и никогда бы, конечно, не кинул ее при какой-нибудь денежной беде. Все это она до поры до времени таила и не высказывала мужу; но когда он услыхал, что Домна Осиповна хочет посетить Мерову, вскипятился и сказал ей повелительным голосом:

— Вам не следует туда ездить!

Домна Осиповна сначала посмотрела ему в лицо, мгновенно утратившее весь свой румянец, и тоже произнесла не очень нежно:

— Почему же не следует?

— Потому что господин Бегушев, у которого живет Мерова, ваш старый поклонник! — ответил ей муж.

— Что ж из того, что он старый мой поклонник; женясь на мне, вы знали это!—возразила Домна Осиповна.

— Мало ли что было прежде, но теперь возобновлять это знакомство неприлично,— проговорил Перехватов.

Тут уж более Домна Осиповна не выдержала.

— А вам прилично целые дни не бывать дома и объезжать под видом практики ваших бывших обожательниц и приискивать, может быть, еще новых?

Что муж делает это, Домна Осиповна твердо была в том убеждена.

— Между нами одна разница,— продолжала она с дрожащими губами и раздувшимися ноздрями.— Вы с ваших обожательниц берете деньги за визиты, а я к Бегушеву еду даром, и не к нему даже, а к моей больной подруге!

Намек этот был очень оскорбителен для Перехватова, тем более что прямо на него он и возразить ничего не мог, так как с самой Домны Осиповны побирал порядочные деньги за свои любовно-врачебные посещения.

— Вас надобно освидетельствовать в умственных способностях; у вас тут немного тронулось от ваших истерик и капризов! — проговорил он, показывая себе на лоб.

— Я знаю, что вы этого желаете и добьетесь, вероятно, потому что все употребляете, чтобы я умерла или помешалась,— подхватила Домна Осиповна.

Далее супруги от напора гнева не в состоянии были говорить, и вскоре доктор уехал в больницу свою, а Домна Осиповна поехала к Меровой с великим желанием встретиться с Бегушевым.

— Александр Иванович заходит к тебе иногда? — спросила она Елизавету Николаевну.

Мерова при этом вопросе нахмурилась.

— Редко! — ответила она нехотя; но вдруг, как бы в опровержение того, вошел Бегушев; при появлении его лицо Домны Осиповны просияло, а у Меровой оно приняло свойственное ему выражение отчаяния.

У Бегушева все это не свернулось с глазу. Домна Осиповна, впрочем, своей набеленною и старающеюся улыбаться физиономиею показалась ему гадка. Он ей наскоро и молча поклонился и обратился ласково к больной.

— Как вы себя чувствуете? — сказал он.

— Очень нехорошо! — отвечала та, закидывая свои маленькие ручки на голову.

— Но граф вчера был у меня и сказал, что ты вовсе не так серьезно больна, как я тебя нашла! — вмешалась в разговор Домна Осиповна.

— Граф, может быть, думает, что я не серьезно боль-

на, но я больна и даже желаю еще больнее быть, чтоб умереть скорее! — произнесла Мерова.

— Но ты забываешь окружающих тебя!.. Какое горе, я думаю, для них твоя болезнь!..— язвила Домна Осиповна.

— Ах, окружающим меня все равно это! Еще порадуются, когда я умру!..— воскликнула Елизавета Николаевна, насколько у ней достало голоса.

Бегушев очень хорошо понимал, что обе эти госпожи прохаживались на его счет, но Меровой он еще прощал, а Домне Осиповне — нет, и решился ее отделать.

— Елизавету Николаевну волнуют наши разговоры, а это ей вреднее всего,— сказал он с резкостью.

Домна Осиповна даже сквозь белила покраснела.

— Извините, я не знала, что мои слова могли почему-либо взволновать Лизу! Вы позволите мне, по крайней мере, закурить пахитоску? — проговорила она.

— Больная сама не курит, и при ней тоже не велено курить,— отказал ей и в том Бегушев.

Домна Осиповна видела, что он с умыслом говорил ей дерзости, и назло ему, а также и Меровой, решилась продолжить свой визит.

— Александр Иванович до сих пор еще, кажется, сердится на меня, хотя я в разлуке моей с ним нисколько не виновата! — отнеслась она к Елизавете Николаевне, у которой опять появилось отчаяние в лице.

Наглость и бесстыдство Домны Осиповны поразили Бегушева.

— О какой это разлуке вы вспоминаете, о которой я давно и забыл...— проговорил он презрительно-насмешливым тоном.

— Вы забыли?.. Это хорошо и может послужить уроком для других женщин, как вас понимать! — не унималась Домна Осиповна.

Бегушев насильственно рассмеялся.

— Если вам нечего другого делать, так хоть всех в мире женщин поучайте, как меня понимать! — проговорил он, вставая, и, сказав Меровой, что он потом зайдет к ней, ушел, не поклонившись Домне Осиповне.

Та осталась решительно рассвирепелой тигрицей.

— Я тебе еще прежде говорила и писала, что это за человек! Побереги себя хоть перед смертью в отношении его! — говорила она, забыв всякое приличие.

— От чего мне себя беречь? — возразила ей Елизавета Николаевна слабым голосом.

— Знаю я, chére amie[1], знаю! Меня нельзя обмануть, и вот к тебе моя просьба теперь: когда он бросит тебя, то напиши мне,— я возьму тебя к себе! — произнесла она взволнованным голосом и, поцеловав больную, уехала.

Злобе и страданиям в душе Домны Осиповны пределов не было: она приехала почти уверенная, что помирится с Бегушевым и что даже будет предостерегать его от Меровой; но вышло, как мы видели, совершенно наоборот.

Бегушев возвратился к Меровой сейчас же, как только уехала Домна Осиповна. Елизавета Николаевна лежала в своей постели мрачнее ночи.

— Что за штуки эта негодяйка выкидывает! — сказал он.

— Она не негодяйка,— отвечала Елизавета Николаевна,— она знает только, что вы ее еще любите!

— Господи помилуй! — сказал, усмехаясь и пожимая плечами, Бегушев.

— Как же не любите! — продолжала Мерова, совершенно не обратившая внимания на его восклицание.— Как только услыхал, что она приехала, сейчас же велел ее принять и сам явился.

Чтобы успокоить Мерову, Бегушев сознался, что в самом деле глупо было с его стороны войти к ней в комнату, когда была там Домна Осиповна, но что сделано было это чисто по необдуманности, а не по какому-нибудь чувству. «Не мальчишка же я...» — заключил он.

— Вы хуже, чем мальчишка,— перебила его уже со слезами на глазах больная,— вы старый волокита... Домна Осиповна хорошо вас знает... Но я вам не позволю этого делать, вы не смейте меня дурачить и обманывать.

— Прежде всего вы не волнуйтесь, это для вас очень вредно!..— продолжал ее успокаивать Бегушев.

— Нет, я хочу волноваться, я буду нарочно волноваться, чтобы мне не оставаться в живых! — говорила Мерова и стукнула ручкой по кровати.

Бегушев не выдержал и тоже вспылил.

— В таком случае плачьте, сколько вам угодно!..— сказал он и, встав, хотел было уйти, но Елизавета Николаевна схватила его за полу сюртука.

---

[1] дорогая подруга, (*франц.*)

— А, вы уж и бежать!.. Ах да, обрадовались; но я вас убью, если вы уйдете, слышите!..— почти кричала она.

Бегушев при этом невольно вспомнил рассказы Тюменева про ее порывистый нрав, превосходящий даже характер Домны Осиповны.

— Целуйте меня!.. Целуйте...— бормотала между тем Елизавета Николаевна.

Бегушев с удовольствием исполнил ее желание и наклонился к ней. Она обвила его шею своими худенькими ручками и начала целовать без конца.

— Я тебе еще не принадлежала; но теперь хочу принадлежать,— прошептала она.

Бегушев потерял, наконец, голову. Мерова в своем увлечении казалась ему очаровательною: глаза ее блистали, все тело пылало в жару.

Приехавший в восемь часов доктор и раздавшийся затем звонок прервал их свидание. Бегушев поспешил уйти от Елизаветы Николаевны. Доктор, войдя к ней, заметил, что она была в тревожном состоянии, и первое, что начал выслушивать,— ее грудь; выражение лица его сделалось недовольным.

— Вам больше всего надобно беречь ваше сердце, а вы его-то и не бережете,— сказал он укоризненным голосом.

— Нет, ничего!.. Мне сегодня гораздо лучше!..— отвечала безумица веселым тоном.

Доктор сомнительно покачал головой и дал ей двойную дозу капель дигиталис и, уезжая, убедительно просил не волноваться и не тревожиться ничем.

Бегушев, возвратясь в свой кабинет, застал там Хвостикова и Трахова.

— Это какими судьбами? — воскликнул он, обращаясь к генералу и дружески пожимая его руку.

— Приехал совсем с женой в Москву.

— А где же его сиятельство вы подцепили? — спрашивал Бегушев.

— В клубе встретились, и, можете себе представить, вдруг там кто-то выдумал, что я привез из Петербурга по современной политике важную новость, а я никого даже не видал перед отъездом оттуда,— говорил генерал с гримасой.

— Передавая московские вести, я обыкновенно при-

бавляю, с позволения сказать: это я слышал в Москве! — сострил граф Хвостиков.

— Именно! — подхватил генерал Трахов, видимо, бывший в весьма дурном расположении духа, что с ним почти всегда случалось, когда он был не в очень дальнем расстоянии от супруги своей.

— Вы главное скажите Александру Ивановичу,— напомнил Трахову граф.

— Главное,— продолжал тот невеселым голосом,— что в воскресенье у нас будет une petite soirée litteraire[1]... будут читать драму жены... Я профан в этом деле, хоть и очень люблю театр...

— Драма будет ко времени... ко времени...— подхватил опять Хвостиков.

— Может быть,— согласился генерал и отнесся к Бегушеву: — Жена умоляет вас, cousin, приехать к нам и прослушать ее творение. Вы хоть и пикируетесь с ней всегда немножко, но она вас бесконечно уважает.

Бегушев молчал.

— Приедете? — повторил генерал.— А в противном случае она меня со света сгонит.

Бегушев колебался еще несколько мгновений: драма кузины заранее ему представлялась чем-то бесконечно бездарным, мертвящим; но, будучи исполнен собственного счастья, он обещался быть.

— Merci, тысячу раз merci...— произнес генерал.— Но теперь вот еще задача! Жена желает, чтобы драму читала актриса Чуйкина... Она где-то слышала ее, как она декламировала поэму Глинки «Капля»... Vous connaissez cet ouvrage?[2]

— Слыхал об нем,— отвечал Бегушев.

— On dit[3], что это высокое произведение!.. Quant à moi, pardon, je ne le comprends pas...[4] Я случайно прочел эту поэму, найдя ее в библиотеке покойного тестя, который был — вы, вероятно, слыхали — заклятый масон, носил звание великого провинциального мастера и ужасно дорожил всеми подобными писаниями.

— Но отчего же Татьяна Васильевна сама не хочет нам прочесть своей драмы? — спросил Бегушев.

---

[1] маленький литературный вечер... *(франц.)*
[2] Вы знаете это произведение? *(франц.)*
[3] говорят, *(франц.)*
[4] Что касается меня, то я, простите, его не понимаю... *(франц.)*

— Ссылается на голос... говорит, что голос у ней слаб, а она желает, чтобы каждое слово из ее пьесы все слышали... Авторское, знаете, самолюбие, но трудность тут та, что подай ей непременно Чуйкину, которую, конечно, я видал, и она всегда мне напоминала парижскую кухарочку, а в то же время, по слухам, очень горда и вдруг на приглашение мое скажет: «Же не ве па, же не пе па, же не манж па де ля репа»[1].

— По-моему, вот какой тут самый практический путь! — отозвался граф Хвостиков.— Чуйкина живет с Офонькиным, который ее никуда без себя не пускает... Единственное средство — ехать вам, генерал, к Офонькину и пригласить его вместе с Чуйкиной.

Генерала покоробило.

— C'est impossible!..[2] — воскликнул было он сначала.

— Иначе она не поедет! — повторил граф настойчиво.

— Но когда же ехать? — спросил генерал.

— Сейчас!.. Я хоть и враг Офонькина, но с вами поеду! — отвечал граф.

Генерал вопросительно взглянул на Бегушева.

— Как вы, cousin, думаете: можно? — сказал он тому.

— Это дело вашего вкуса,— отвечал ему Бегушев.

— Mon Dieu, какой тут мой вкус!.. Я только жертва и мученик моей жены! — воскликнул генерал плачевным голосом.

— Но подобное приглашение, полагаю, не понравится и Татьяне Васильевне... Она так щепетильна и строга в этом отношении! — проговорил Бегушев.

— Для драмы своей она готова идти на все... человека, кажется, убить способна! — заметил генерал.

— Ничего, поедемте! — ободрил его Хвостиков.

Генерал пожал плечами и согласился.

Когда они приехали к Офонькину, то застали его собирающимся уехать из дому и отправиться именно к Чуйкиной; он был уже в передней и держал в руках завернутый в бумагу толстый кусок шелковой материи, которую и вез ей в подарок.

Увидев знакомую ему фигуру графа Хвостикова, Офонькин сделал недовольную мину; но, взглянув на его спутника в генеральских погонах, он вдруг почувствовал

---

[1] Эта рифмованная шутка означает: «Я не хочу, я не могу, я не ем репы».

[2] Это невозможно!.. *(франц.)*

страх. Офонькин подумал, что Трахов — какой-нибудь жандарм и приехал брать его за то, что он на днях очень развольнодумничался в клубе и высказал пропасть либеральных мыслей.

— Прошу покорнейше сюда,— сказал он, сразу попятясь назад и сбрасывая проворно свое пальто, а затем пригласил гостей садиться; ему продолжало мниться, что генерал приехал к нему по доносу Хвостикова, от которого Офонькин всякой гадости ожидал.

— Чем могу служить? — спросил он.

— Очень многим и очень малым,— отвечал развязнейшим тоном граф.— Вы хороший знакомый madame Чуйкиной, а супруга генерала написала превосходную пьесу, которую и просит madame Чуйкину, со свойственным ей искусством, прочесть у ней на вечере, имеющемся быть в воскресенье; генерал вместе с тем приглашает и вас посетить их дом.

Генерал, бывший сначала очень смущен и не могший равнодушно видеть толстого и черномазого шиворотка Офонькина, наконец, приосанился немного и проговорил:

— Вы нас очень обяжете вашим посещением.

Офонькин думал было отказаться; но, заметив на Трахове генеральский погон, счел за лучшее не сказать ничего решительного.

— Я передам ваше желание madame Чуйкиной и какой получу от нее ответ, вас уведомлю,— проговорил он.

— Нет, уж вы категорически скажите нам, можете ли вы и madame Чуйкина приехать читать,— настаивал граф.

— И я вас прошу об этом,— повторил за ним генерал.

— Вы знаете, какой огромный талант у madame Чуйкиной, ей стыдно закапывать его; пьеса скоро будет поставлена на сцену, автору она доставит славу, а madame Чуйкиной прибавит еще новую ветвь к ее лавровому венку!..— расписывал Хвостиков.

— Madame Чуйкина, вероятно, согласится и приедет! — изъяснил, наконец, Офонькин, видимо, подкупленный похвалами графа.

— Мы будем очень рады ее посещению,— произнес генерал; у него уже пот со лба выступил от всех этих объяснений и хлопот.

— Приедет! — повторил еще раз Офонькин и при прощанье уже с важностью, и то слегка только, мотнул головой своим гостям.

Трахов во всю жизнь не бывал в таком унизительном положении, в каком очутился в настоящий вечер по милости супруги!

Глава IX

Независимо от присылки мужа, Татьяна Васильевна написала Бегушеву письмо, в котором умоляла его приехать к ней и, чтобы заманить *«гурмана»* — кузена, прибавляла в постскриптуме, что именно для него будет приготовлен ужин самого изысканного свойства. Бегушев понимал, что не ехать к Траховым значило рассориться с ними на всю жизнь, а ему этого не хотелось, так как, при всем отвращении к Татьяне Васильевне, генерала он, по старой привычке, искренне любил. Приняв это в соображение, он велел им сказать через присланного к нему с письмом лакея, что *«будет непременно!»*

Вечером, часов в девять, граф вошел к дочери, что весьма редко с ним случалось. У Елизаветы Николаевны в это время сидел Бегушев.

— Вы поедете к Траховым? — спросил он его.

— Поеду! — отвечал ему тот с досадой.

— Пора! — сказал граф.— Я распорядился, чтобы карета была готова.

— Куда вы едете?—проговорила Елизавета Николаевна недовольным голосом: Бегушев обыкновенно просиживал у ней целые дни.

— На один родственный вечер,— объяснил он ей.

— Это вас папа все подговаривает: ему всегда куда-нибудь — только да из дому уехать! — продолжала с тем же недовольством Мерова.

— Почему же я?.. Нельзя же Александру Ивановичу не выезжать никуда! — возразил граф.

— Я скажу сестре, чтобы она без нас посидела с вами,— проговорил Бегушев.

— Хорошо!.. Аделаида Ивановна такая добрая... Мы с ней гранпасьянс будем раскладывать!

— Отлично это! — одобрил Бегушев и зашел к сестре, которой сказав, что он едет к Траховым, просил ее, чтобы она провела вечер с Елизаветой Николаевной.

— Непременно!.. Очень рада тому! — полувоскликнула Аделаида Ивановна, сама до одурения скучавшая в своей комнате.

Бегушев, выйдя от сестры, прямо отправился садиться в экипаж. Граф Хвостиков последовал за ним и, видя, что Бегушев был в пальто, не удержался и спросил:

— Александр Иванович, вы не во фраке разве поедете?

— Вот еще что выдумали... Поеду я на дурацкое священнодействие Татьяны Васильевны во фраке!

— Но ловко ли это будет? — осмелился заметить граф.

— Отвяжитесь, пожалуйста! — обрезал его Бегушев.

Когда они подъехали к квартире Траховых и вошли, то генерал стоял уже на лестнице. С самого утра Татьяна Васильевна брюзжала на него за то, что будто бы он не постарался и не хотел устроить ей литературный вечер, и что, вероятно, никто к ним не приедет. Тщетно генерал уверял ее, что все будут; но вот, однако, наступил уже десятый час, а прибыли пока только Бегушев и граф Хвостиков.

— Представьте себе: этой кухарочки парижской—Чуйкиной все еще нет! — сказал он им встревоженным голосом.

— Явится!.. Невозможно, чтобы не приехала,— успокоил его граф.

Татьяна Васильевна встретила Бегушева и Хвостикова с доброй улыбкой.

— Благодарю вас, благодарю! — говорила она, пожимая у того и у другого руку и вместе с тем благоухая аптекарскими травами.

— А ужин будет? — спросил ее злившийся в душе Бегушев.

— Будет!.. Будет!.. Ужасный вы человек, кузен!.. — воскликнула Татьяна Васильевна.

Вскоре приехал еще гость, господин с заломленной назад головой, в синем пенсне и очень нахально вошедший в гостиную.

— Господин Кликушин... театральный критик!..— проговорил генерал, обращая эти слова более к Бегушеву.

Тот молча и издали поклонился критику, который ответил ему столь же сухо.

— А вы, конечно, знакомы? — поспешила прибавить Татьяна Васильевна графу.

— Давно! — отвечал тот.

— Давно! — подтвердил и критик, дружески мотнув головой графу.

Вслед за тем влетел как бы с цепи сорвавшийся Долгов.

— Опоздал? — спросил он.

— Нет, нет! — сказала ему Татьяна Васильевна и, отведя его в сторону, начала ему что-то такое толковать шепотом о пьесе своей. Долгов слушал ее с полнейшим вниманием; а между тем приехал новый гость, старенький-старенький старичок.

— Вы видите, являюсь к моей ученице; вы мой выводок,— ваше первое произведение было напечатано в моем сборнике,— прошамкал он, подходя к Татьяне Васильевне.

— У вас, конечно!.. Еще бы мне не помнить этого; но то что же!.. То были фантазии молодой девушки!.. Теперешний же мой труд,— напротив,— вы не поверите, чего он мне стоил!..— объясняла она ему.

— Я думаю, я думаю!..— шамкал старичок.

— Мне удивительно, как я не ослепла!..— продолжала Татьяна Васильевна.—Три года я училась и читала; сколько мне денег стоило скупить нужный исторический материал...

Генерал при этом слегка отдулся; он тоже помнил, чего и ему стоил этот материал: Татьяна Васильевна беспощадным образом гоняла его по книжным магазинам и ко всевозможным букинистам разыскивать и покупать старые, замаранные и каким-то погребом отзывающиеся книги, которые везя домой, генерал обыкновенно думал: «Есть ли что хуже на свете этих bas bleux!..[1] Лучше их всякая кокотка, всякая горничная, прачка!»

— Я не похожа на нынешних писателей,— продолжала объяснять Татьяна Васильевна старичку,—они любят описывать только то, что видят на улице, или какую-нибудь гадкую любовь...

— Нынешние писатели описывают то, что и в домах видят!..— остановил ее критик, принявший несколько на свой счет фразу Татьяны Васильевны о том, что нынешние писатели изображают одни уличные сцены.

— А я против того мнения Татьяны Васильевны,— подхватил Бегушев,— что почему она называет любовь *гадкою?* Во все времена все великие писатели считали любовь за одно из самых поэтических, самых активных и приятных чувств человеческих. Против любви только те женщины, которых никогда никто не любил.

[1] синих чулок!.. *(франц.)*

Генерал готов был расцеловать кузена за эту мысль, но вместе с тем и смутился немного: намек был слишком ясен!

— А сколько я писал прежде о любви! — зашамкал старичок.— Раз я в одном из моих стихотворений, описывая даму, говорю, что ее черные глаза загорелись во лбу, как два угля, и мой приятель мне печатно возражает, что глаза не во лбу, а подо лбом и что когда они горят, так должны быть красные, а не черные!.. Кто из нас прав, спрашиваю?

На этот вопрос старичка никто не ответил, кроме Бегушева.

— Вы правее вашего противника! — сказал он ему.— Но в нашем споре полагаю, что я прав; зачем же Татьяна Васильевна так унижает любовь?

— Не я унижаю, а вы, вы — мужчины; но успокойтесь, и в моей пьесе будет любовь, и даже *незаконная*,— ублажала она *ужасного* кузена.

Раздавшееся шушуканье в передней заставило генерала вскочить и уйти туда. На этот раз оказалось, что приехали актриса Чуйкина и Офонькин. Чуйкина сначала спустила с себя бархатную, на белом барашке, тальму; затем сняла с своего рта сортиреспиратор, который она постоянно носила, полагая, что скверный московский климат испортит ее божественный голос. Офонькин в это время освободил себя от тысячной ильковой шубы и внимательно посмотрел, как вешал ее на гвоздик принимавший платье лакей.

Генерал торжественно ввел этих двух гостей в свой салон.

— Я думала, что вы и не приедете,— сказала Татьяна Васильевна актрисе.

— Нет, отчего? — отвечала та обязательным тоном.

Татьяна Васильевна указала Чуйкиной на место рядом с собой на диване. Та села. Татьяна Васильевна даже Офонькину, хоть он был еврей и развратник, подала руку и проговорила:

— Вы у нас такой замечательный деятель!

Все разместились, наконец.

Бегушев несколько времени смотрел на актрису: он никогда не видал ее на сцене; но по одутловатой, румяной и тривиальной ее физиономии заключил, что вряд ли у нее мог быть настоящий талант.

— Мы можем начать чтение,— сказала Татьяна Васильевна актрисе, а вместе с тем пододвинула ей свою драму, переписанную щегольским писарским почерком.

Чуйкина взяла рукопись, бегло и почти не глядя перелистовала ее и сказала:

— Всю драму я должна читать?

— Всю!.. Вы знаете, как я люблю ваше чтение, — произнесла Татьяна Васильевна заискивающим голосом.

— Драма *«Смерть Ольги»,*— прочитала актриса заглавие.

— Нашей знаменитой Ольги, жены князя Игоря! — поспешила ей объяснить Татьяна Васильевна.

— Я знаю! — ответила актриса и соврала: ни о какой исторической Ольге она не слыхивала. Далее читала:

— «Ночь, крепостные ворота.

Привратник

Стой, кто идет?

Молодой оруженосец

Идут свои!

Привратник

Княгиня не велела никого впускать!

Оруженосец

Врешь, я более преданный слуга княгине, чем ты!

Между ними начинается борьба; оруженосец убивает привратника и проходит в крепость».

— Я не могу этого читать: тут все мужские роли! — объявила актриса.

— Вы хоть сцену Ольги прочтите! — почти простонала испугавшаяся Татьяна Васильевна и, развернув тетрадь, показала то явление, которое происходило между Ольгой и молодым оруженосцем.

Актриса снова начала читать:

— «Ольга *(стоявшая на коленях перед божницей).*

Вот так, как эти слезы, исходит из меня и жизнь моя!

Оруженосец

Княгиня, дайте мне упасть перед вами на колени и на ковре вашу слезу облобызать».

— Хорошо! — отозвался Долгов

— Прочитано отлично! — заметил критик.

Старичок от восторга разводил только руками и утирал катящиеся из глаз его слезы.

— Теперь далее, далее! — торопила свою исполнительницу Татьяна Васильевна.

— Далее я не могу читать: опять всё идут мужские роли,— отозвалась актриса.

— Отчего же не читать и за мужчин! — заметил ей Офонькин.

— Оттого, что я не мужчина! — ответила ему Чуйкина.

Офонькин слегка пожал плечами. Он знал, что возлюбленная его была недалека и капризна, но чтобы до такой степени простиралась ее глупость,— не подозревал даже: не хотеть читать при таком обществе и при таких похвалах!..

— Но как же тут быть? — спросила Татьяна Васильевна, почти в отчаянии взглядывая на мужа.

— Позвольте, я буду читать! — воскликнул Долгов.

— Ах, пожалуйста! — провопияла Татьяна Васильевна.

Долгов, взяв тетрадь, начал читать громко; но впечатление от его чтения было странное: он напирал только на те слова, где была буква «р»: «Оружие, друзья, берите, поднимем весь народ!.. И в рьяный бой мы рьяно устремимся!» — кричал он на весь дом.

Женские же роли произносил каким-то тихо-сладким и неестественным голосом. Наконец, дочитав второй акт, почувствовал, что чтение его было очень неискусное, и, по своей откровенности, сам сознался в том: «Нет, я скверно читаю!»

Татьяна Васильевна грустно потупила глаза.

Бегушева начинало уже все это забавлять.

— Да вы дайте читать вашему прежнему учителю,— посоветовал он ей, показывая на старичка.

— Готов, готов! — сказал тот.

Татьяна Васильевна, не меняя грустного выражения лица, пододвинула к нему свою тетрадь.

Старик зашамкал:

— «Терем князя. Вдали слышится пение: «Ах, подружки, отчего же нейдете вы в леса!.. Там грибов и ягод много!.. Наберите мне цветов душистых!..»

— Кузина, позвольте мне заметить, что эти стихи очень напоминают «Аскольдову могилу»: «Ах, подруженьки, как грустно!..» — проговорил Бегушев.

— Напоминать хорошее всегда не мешает! — ответила она ему резко и просила старичка продолжать.

Тот продолжал; но только вдруг на одном очень поэтическом, по мнению Татьяны Васильевны, монологе начал кашлять, чихать и в заключение до того докашлялся, что заставил дам покраснеть и потупиться, а мужчин усмехнуться, и вместе с ними сам добродушно рассмеялся.

— Стар, чувствую это! — проговорил он.

— И мы тоже чувствуем! — подхватил Бегушев.

— Кузен! — прикрикнула на него, по обыкновению, Татьяна Васильевна.

— Позвольте мне читать! — предложил себя граф Хвостиков.

Татьяна Васильевна разрешила ему.

Граф, вследствие разнообразных способностей, присущих ему, дочитал драму толково и ясно.

Татьяна Васильевна несколько мгновений поджидала услышать мнение своих слушателей; но все они молчали.

— Как же вам, господа, понравилась моя драма? — спросила, наконец, она, поставив на карту свое авторское самолюбие.

— Драма превосходная! — сказал Бегушев; но по выражению его лица ясно было видно, какого рода была эта похвала, так что Татьяна Васильевна даже заметила это.

— Неправду говорите,—я вам не верю,—отнеслась она к нему, махнув рукой.

— И по-моему, драма превосходная! — подхватил старичок негромко, боясь еще раз раскашляться.

Долгов тщетно приискивал в голове своей, что бы такое сказать в одобрение драмы, но не находил того; конечно, тут был народ и старая Русь, но все это было както слабо связано.

— В драме есть единство,— заговорил критик, заламывая еще более назад свою голову. — Единство времени, места и действия,— дообъяснил он.

Долгов, видимо, хотел было возразить ему, но его перебил старичок восклицанием своим:

— Тут все есть!

— Все! — не опровергнул и граф Хвостиков.

Критик тоже против этого ничего не высказал.

В сущности, граф Хвостиков, встретившись накануне в театре с генералом, и посоветовал ему пригласить быв-

шего тоже там критика на чтение; сему же последнему шепнул, что это приглашают его в один очень аристократический дом.

— А что именно будут читать? — спросил равнодушно критик, но втайне обрадованный таким почетом.

— Драму хозяйки дома, и, разумеется, как дамское произведение, по законам вежливости надо будет расхвалить! — предупредил его Хвостиков.

— Можно! — согласился критик.

— Тем более, что за это можно будет и вознаграждение получить! — добавил граф.

— И то недурно! — отозвался критик.

Все это они, как мы видели, и сделали отчасти. Актрисе между тем становилось невыносимо скучно посреди всего этого общества, и главным образом оттого, что курить было нельзя, а она обыкновенно целые дни не выпускала папироски изо рта.

— Чтение окончилось, и мы можем уехать? — сказала она, не вытерпев более, Офонькину.

Тот, помня золотой аксельбант генерала, ответил ей суровым взглядом. Актриса поняла его и не повторила более своего желания, а чтобы занять себя чем-нибудь, она начала разговаривать с критиком, хоть и зла была на него до невероятности, так как он недавно обругал в газете ее бенефис — за пьесу и за исполнение.

Татьяна Васильевна, в свою очередь, грустно размышляла: «Итак, вот ты, поэзия, на суд каких людей попадаешь!» Но тут же в утешение себе она припомнила слова своего отца-масона, который часто говаривал ей: «Дух наш посреди земной жизни замкнут, оскорбляем и бесславим!.. Терпи и помни, что им только одним и живет мир! Всем нужно страдать и стремиться воздвигнуть новый храм на развалинах старого!»

— Ваше высокопревосходительство, я есть хочу! — сказал Бегушев генералу — опять-таки с единственною целью побесить кузину.

— Сейчас! — отвечал тот протяжно и взглядывая в то же время на жену.

— Поди, узнай, готово ли там? — позволила ему Татьяна Васильевна.

Генерал с удовольствием пошел в столовую и, возвратясь оттуда, просил гостей пожаловать к ужину.

Все начали подниматься, за исключением актрисы, ко-

торая оставалась на своем месте, так что Татьяна Васильевна должна была лично к ней одной обратиться и проговорить:

— Прошу вас!

Актриса с заметной гримасой встала и нехотя пошла за хозяйкой, которая, как ни раздосадована была всеми этими ломаньями Чуйкиной, посадила ее опять рядом с собой, а по другую сторону Татьяны Васильевны поместился граф Хвостиков и стал ее просить позволить ему взять пьесу с собой, чтобы еще раз ее прочесть и сделать об ней заранее рекламу.

— И чтобы в этой рекламе раскритиковать и унизить мое детище, — проговорила грустным голосом Татьяна Васильевна.

— Увидите! — воскликнул Хвостиков и отнесся скороговоркой к критику:—Экземпляр пьесы мы будем иметь!

Тот глубокомысленно кивнул головой и залпом выпил полстакана портвейна, поближе к которому он не без умыслу, кажется, и уселся.

Офонькин, оглядевший убранство стола и стоявших у стен нескольких ливрейных лакеев, остался заметно доволен этим наружным видом и протянул было уже руку к ближайшему стулу к хозяину; но генерал очень ловко и быстро успел этот стул поотодвинуть и указать на него Бегушеву, на который тот и опустился. Офонькин таким образом очутился между старичком и Долговым и стал на обоих смотреть презрительно.

— А вы будете играть в моей пьесе? — спросила Татьяна Васильевна актрису.

— Мы всё играем! — проговорила та.

Что оставалось делать после подобного ответа! Татьяна Васильевна решилась не произносить с актрисой более ни слова.

Долгов по поводу пьесы Татьяны Васильевны начал рассуждать о народе русском и столько навыдумал на этот народ в ту и другую сторону, что ему Офонькин даже заметил: «Это не так, этого не бывает». У Долгова была удивительная способность нигде ничего не видеть настоящего и витать где-то между небом и землею.

Ужин по внутреннему своему содержанию оказался еще лучше, чем был по наружному убранству. Откуда и через посредство кого генерал его устроил, это надо было удивляться, и в награду себе он только взглядом спрашивал

Бегушева, который ему благодарно улыбался. У генерала можно было отнять все человеческие достоинства, но есть он умел!

Долгов, начавший вместе с другими, без всякого, впрочем, понимания, глотать ужинные блага, стремился поспорить с критиком касательно греческой трагедии и об ее трех единствах. Будучи не в состоянии себя сдерживать, он ни с того ни с сего возвестил:

— Греческая трагедия, под давлением своей пластической религии, узка, сжата!

Критик, выпивший уже целую бутылку портвейна, откинулся гордо на задок стула.

— Как?..— сказал он.

— Узка! — повторил Долгов.— Шекспир выше греческих трагиков.

— Чем? — спрашивал лаконически критик.

— Шекспир всеобъемлющ, — лупил, не слушая своего оппонента, Долгов, — как бог творил мир, так и Шекспир писал; у него все внутренние силы нашей планеты введены в объект: у него есть короли —власть!.. У него есть тени, ведьмы — фатум!.. У него есть народ — сила!

— Где народ у Шекспира? — рассчитал было подшибить его критик.

— В могильщиках, в «Кориолане» и целая масса в его хрониках!..

— Кто народ в хрониках? — допытывал его строго критик.

— Все кумушки, Фальстаф и народнейший король Генрих Пятый! — отпарировал его Долгов.

Татьяна Васильевна молча их слушала и была грустна; она полагала, что этим двум спорящим лицам в настоящий вечер следовало бы говорить о ее пьесе, а не о Шекспире.

Долгов бы, конечно, нескоро перестал спорить, но разговор снова и совершенно неожиданно перешел на другое; мы, русские, как известно, в наших беседах и даже заседаниях не любим говорить в порядке и доводить разговор до конца, а больше как-то галдим и перескакиваем обыкновенно с предмета на предмет; никто почти никогда никого не слушает, и каждый спешит высказать только то, что у него на умишке есть. Сам хозяин, которому очень уж наскучил эстетический разговор, рассказал Бегушеву вечернюю телеграмму об одной из последних кровавых сты-

чек на войне. По поводу этой телеграммы критик с заломленной головой начал разбирать и обвинять некоторые наши стратегические движения. Бегушев, прислушавшись к его словам и вдруг весь вспыхнув, почти крикнул ему:

— Как вы позволяете себе так решительно судить?

— Судить, я полагаю, всякий может! — возразил критик.

— Нет, не всякий, а теперь и никто, я думаю: перед вами схватились не машины, сопровождаемые людьми, как это было в франко-прусскую войну, а два тигра-народа, сопровождаемые машинами. Не говоря уже об вас и других разговаривателях, весь мир должен смотреть с благоговейным удивлением на эту войну. Это не люди дерутся, а какие-то олимпийцы, полубоги!

— Превосходно! Превосходно! — закричал добродушный Долгов.

Генерал Трахов поник в восторге головою; Хвостиков одобрительно улыбался; у Татьяны Васильевны слезы капали из глаз. Критик был очень опешен.

— Если вы отрицаете право рассуждать, так и вы не имеете его! — произнес он.

Бегушев ответил ему презрительным взглядом.

— Нет, Александр Иванович может рассуждать. Я с ним сослуживец и знаю его храбрость,— заметил генерал.

Актриса при этом взмахнула глазами на мрачную и все-таки величавую фигуру Бегушева.

Критик, подумав, что Бегушев, в самом деле, может быть черт знает какой храбрец и нахал, счел за лучшее не продолжать спора и в утешение себя выпил стакан вина.

— Туркам англичане очень помогают!—сказал вполголоса Офонькин сидевшему около него старичку.

— А нам бог поможет,— отозвался тот.

— Меня в этой войне одно радует,— продолжал Бегушев,— что пусть хоть на время рыцарь проснется, а мещанин позатихнет!

— Так, верно! — подхватил Трахов.

— Верно! — согласился и граф Хвостиков.

«Верно!..» — хотел было, кажется, сказать и Долгов, но, однако, удержался, вспомнив, что мещане все-таки ближе к народу, чем рыцари, и предположил сейчас же доказать это своим слушателям.

Но в это время один из лакеев что-то такое тихо сказал Бегушеву, а потом и графу Хвостикову. Оба они с беспокойством, встали с своих мест и вышли в переднюю. Там их дожидался Прокофий.

— Аделаида Ивановна меня прислали сказать, что госпожа Мерова умерла,— проговорил он своим монотонным голосом.

Бегушев побледнел, а граф Хвостиков выпучил глаза и затрясся всем телом.

— Ты врешь!.. Не может быть! — едва имел силы сказать Бегушев.

— Все кончено! — воскликнул, опуская голову, граф.

— Умерла! — повторил Прокофий как бы с некоторым даже чувством.

— А доктор был ли позван? — спрашивал Бегушев.

— Меня Аделаида Ивановна послали за вами, а своего этого старичонку Дормидоныча — за доктором,— отвечал Прокофий, оттенив слова «старичонку Дормидоныча» величайшим презрением.

Генерал, проворно вышедший вслед за гостями своими в переднюю и совершенно не знавший, что Мерова живет в доме у Бегушева, недоумевал, по какому случаю Прокофий тут очутился и почему Аделаида Ивановна его прислала.

Граф Хвостиков, Бегушев, а также и Прокофий немедля же уехали, так что генерал не успел ничего от них хорошенько и узнать.

— Что такое случилось?—спросила Татьяна Васильевна, когда он возвратился в столовую.

— Дочь графа одночасно умерла! — объявил генерал, садясь на свое место, и ничего не мог больше есть: перед ним живо рисовалось пикантное личико Меровой.

— Царство небесное! — произнесла, крестясь, Татьяна Васильевна.

— Она так еще молода была,—заметил Офонькин, которого тоже несколько поразило это известие.

— Всем смертным умирать придется!—выразился равнодушно Долгов: он понимал страшное значение смерти только в книгах и на сцене, а в жизни — нет.

— Всем, всем,— пробормотал старичок.

— Но зачем Бегушева тоже вызвали? — пожелала знать Татьяна Васильевна.

— Вероятно, как приятеля графа,—объяснил генерал.

Вскоре затем актриса и Офонькин попросили позволения встать из-за стола и уехать. Хозяева их не удерживали. Старичок тоже поднялся вслед за ними.

— А драма хороша, хороша! — шамкал он.

Татьяна Васильевна после того ушла к себе, но Долгов и критик еще часа два спорили между собою и в конце концов разругались, что при всех почти дебатах постоянно случалось с Долговым, несмотря на его добрый характер! Бедный генерал, сколько ни устал от дневных хлопот, сколь ни был томим желанием спать, считал себя обязанным сидеть и слушать их. Как же после этого он не имел права считать жену свою хуже всех в мире женщин! Мало что она сама, но даже гости ее мучили его!

Бегушев и граф Хвостиков, ехавшие что есть духу домой, всю дорогу молчали. В зале их встретил доктор.

— Умерла? — спросил его Бегушев.

— Да, разрывом сердца,— отвечал тот.

Бегушев первый вошел в комнату умершей. Точно живой лежал маленький труп Елизаветы Николаевны. Бегушев взял ее руку; но та уже начала холодеть. Граф упал на колени перед трупом.

У постели Меровой сидела Аделаида Ивановна и, закрыв лицо руками, потихоньку плакала. В углу комнаты стояли Минодора и Маремьяша.

— Как она умерла? Не рассердили ли вы ее чем-нибудь? — спросил их почти грозно Бегушев.

— Чем нам их рассердить? Мы и в комнату к ним даже не входили,— ответили в один голос Минодора и Маремьяша.

— Они совсем и не входили,— подтвердила Аделаида Ивановна.— Сначала Лиза была очень покойна... так внимательно глядела, как я раскладывала пасьянс; но часов с одиннадцати начала все меня спрашивать: «Александр Иванович скоро приедет?.. Скоро?» Я ее успокаиваю, говорю, что ты уехал в один родственный нам дом, высокоаристократический, и что тебе нельзя оттуда уехать, когда вздумается... Она убедилась и стала даже указывать мне карты, которые я забывала перекладывать!.. Только я и не заметила, как это было,— вижу, что она приложила платок к лицу и, comprenez[1], кровью харкнула... Со мной сделался почти обморок... Я не могу, как ты знаешь, видеть крови и знаю одно, что позвонила...

[1] понимаете, (*франц.*)

Быстро брызнувшие слезы из глаз старушки прервали ее рассказ.

— А мы после вбегаем,—докончила уже Маремьяша,— видим, что Елизавета Николаевна лежит, закрывши глаза, на постельке, из ротику у них кровь идет, и харабрец этот ходит в грудке!.. Я ее перекрестила три раза, и кровушка унялась.

Бегушев сел на один из стульев.

«На поверку выходит, что это я помог путям природы!» — мучительно подумал он, а потом, обратясь к Минодоре, сказал, чтобы она вышла к доктору и попросила его еще раз завтра приехать; графа Хвостикова и Аделаиду Ивановну он услал в свои комнаты. Старушка поплелась, ведомая под руку Минодорой.

Граф сделал вид, что тоже от горести едва идти может.

Бегушев таким образом остался один около трупа.

Единственная свеча тускло горела на комоде; около нее стояли склянки с недоконченными лекарствами; на столике еще сохранился разложенный пасьянс; где-то под полом шеберстели мыши или что-нибудь другое. Бегушеву сделалось не то что страшно, но как-то жутко.

— Лиза, Лиза, неужели ты умерла? — шепнул он и ущипнул ее лицо, грудь; но Елизавета Николаевна оставалась неподвижною.

Бегушев махнул рукой и ушел в свою комнату, где почти упал на диван.

— Еще одна смерть около меня,—говорил он сам с собою,— а может быть, даже и жертва моя. Точно упас я смертоносный: все, что приближается ко мне, или умирает, или погибает.

Наутро, взглянув в окно, Бегушев увидел у ворот своих человек двадцать мужчин в поддевках, в шубенках, с которыми Прокофий перебранивался. Бегушев догадался, что это были набежавшие, как вороны на труп, гробовщики, и отвернул глаза от окна.

В зале тем временем обряжали и клали покойницу на стол. Часов в двенадцать приехал доктор. Бегушев вышел к нему.

— Испытайте, умерла ли она? — сказал он.

Доктор вскрыл покойнице жилу, но кровь не пошла.

— Умерла! — проговорил он и, побыв еще немного, распрощался с Бегушевым.

Тот воротился в свою комнату.

Вскоре пришли священники, засветили свечи и начали служить панихиду. Бегушев, никогда не могший переносить поповского пения, ушел совсем из дому.

В церковь на похороны он, впрочем, пришел и был по наружному спокоен: он не хотел перед посторонними обнаруживать, что Елизавета Николаевна была ему близка. Будет уж: довольно ее бесславили из-за других!

Глава X

Над Домной Осиповной тоже разразились беды немалые. Янсутский успел схлопотать, чтобы по делам умерших Олуховых учредился в Сибири конкурс, и сам, будучи выбран председателем сего конкурса, уведомил о том Домну Осиповну официальным письмом, прося ее вместе с тем объяснить ему, что приняла ли она наследство после мужа или нет. Домна Осиповна, потрясенная страхом, сначала обратилась за советом к мужу, но, тот, объявив, что в этих делах ничего не понимает, уехал на практику. Домна Осиповна, почти не сознающая, что она делает, отправилась в контору к Грохову, чтобы умолить его принять на себя ходатайство против Янсутского. В конторе ей первоначально сказали, что Григорий Мартынович очень болен и никого не принимает, кроме своих старых клиентов. Домна Осиповна объяснила, что она тоже старая его клиентка — госпожа Перехватова, бывшая Олухова. Услышав последнюю фамилию, ее сейчас же пустили к Грохову, который с отекшим лицом и с ногами, окутанными в плед, лежал на кушетке.

— Грохов, вы были всегда так добры ко мне, и я приехала просить вашей помощи!.. — проговорила Домна Осиповна, опускаясь от волнения и усталости на стул; слезы текли по ее щекам и делали борозды на белилах.

— Сколько имею сил,— готов служить,— отвечал тот глухим и не совсем приязненным голосом.

— Вы, кажется, больны очень; что такое с вами? — спрашивала Домна Осиповна.

— У меня водянка! — проговорил Грохов, и лицо его при этом исказилось ужасной гримасой.

— Господи, что же это такое? — воскликнула Домна Осиповна и затем, глядя с участием на Грохова, продол-

жала: — Вы слышали, Янсутский хочет меня совсем разорить?

— Слышал!

— И в самом деле он может разорить меня?

— Может.

Холодная дрожь пробежала по всем нервам Домны Осиповны.

— Но, Григорий Мартынович, возьмите с меня какие хотите деньги, но не дайте мне погибнуть! Я всегда вам платила честно.

Грохов слушал Домну Осиповну с нахмуренными бровями.

— Я не могу по этому делу быть вашим ходатаем: я поверенный от конкурса,— сказал он.

— Откажитесь от них!.. Они скорее вас обманут, чем я!..

На лице Грохова пробежало что-то вроде усмешки.

— Раз взявшись, этого уж нельзя делать!.. Иначе под суд попадешь!..— возразил он.

— Значит, вы совершенно с ними в участии?

— Я не участник в деле, а только ходатай по нему, и не лично даже буду вести его, а мой помощник по передоверию от меня,— едва имел силы договорить Грохов и застонал от невыносимейшей, по-видимому, боли.

— По крайней мере посоветуйте, что я должна делать? Нам обоим осталось жить недолго! Сжальтесь, хоть во имя этого, надо мной! — продолжала молить его Домна Осиповна.

— Ну, как вам недолго... Мне — так точно, что недолго!..— пробормотал он, не переставая стонать.

— Нет, вы должны жить для спасения несчастных женщин!

При этих словах Домны Осиповны Грохов опять как будто бы усмехнулся: он никак себя не воображал заступником и спасителем женщин; но как бы то ни было, к Домне Осиповне почувствовал некоторую жалость, припомня, сколько денег он перебрал с нее.

— По-моему, вам всего лучше помириться с Янсутским.

— Каким образом я могу с ним помириться? — спросила Домна Осиповна.

— Дать ему или там конкурсу отступного, чтобы они вас не касались, — свел на любимый свой способ устраивать дела Грохов.

— Но Янсутский бог знает что с меня потребует! — произнесла Домна Осиповна. Целый ад был вдвинут ей в душу этим советом Грохова. «Что же это такое: собирать, копить, отказывать себе во многом, — все это затем, чтобы отдать свои средства черт знает кому и за что!..» — думалось ей.

— По закону они ничего не могут получить с меня. Я из наследства мужа ни копейки не прожила! Где же справедливость после этого! — воскликнула она.

— Да вы не отказались от наследства, а приняли его,— возразил Грохов. «Конечно...—вертелось было у него на языке,— существуют и другие статьи закона по этому предмету...» Но он не высказал этого из боязни Янсутского, зная, какой тот пройдоха, и очень возможно, что, проведав о советах, которые бы Грохов дал противной стороне, он и его, пожалуй, притянет к суду. — Обратитесь к какому-нибудь другому адвокату, а я умираю,— мне не до дел! — заключил он и повернулся к стене.

— Но к кому? — выпытывала у него Домна Осиповна.

— Не знаю!..— не направил ее даже и в этом Грохов.

Домна Осиповна поняла, что он совершенно ей бесполезен, а так как энергии ее, когда что касалось до дел, пределов не было, то она и поехала в суд, прямо в комнату присяжных поверенных, где дают, как она слыхала, советы по делам. В суде повели ее в эту комнату... Нервный холод с ней продолжался, руки и ноги дрожали; а голова была как бы в огне, и в мозгу что-то такое клокотало и шумело. В комнате присяжных сидело несколько незанятых адвокатов и тех, коих была очередь давать советы. Все они курили беспощадным образом.

— Вам угодно что-нибудь? — спросил Домну Осиповну один из дежурящих адвокатов и очень еще молодой человек.

— Я хочу посоветоваться,— сказала она.

Адвокат предложил ей стул около себя. Двое из незанятых адвокатов, увидев все еще красивое и в настоящий момент весьма одушевленное лицо Домны Осиповны, переглянулись между собою и оба подумали: «Штучка недурная — эта барыня!»

Домна Осиповна начала было рассказывать свое дело; но у ней все перепуталось в голове.

— Madame! Вы слишком взволнованы; позвольте, я

сегодня вечером приеду к вам,— проговорил слушающий ее адвокат.

— Приезжайте! — отвечала Домна Осиповна.

— Ваш адрес?

Домна Осиповна подала ему свою карточку и ушла.

— Кто это такая? — спросил один из адвокатов, которому понравилась наружность Домны Осиповны.

— Перехватова! — прочитал адвокат, принявший от Домны Осиповны карточку.

— Это жена, может быть, доктора Перехватова? — полюбопытствовал тот же адвокат.

— Она самая, а прежде бывшая жена Олухова,— объяснил довольно мрачный на вид адвокат, сидевший в стороне и читавший газету.

— Олухова? — переспросили многие из адвокатов с небольшим волнением в голосе.

Они все почти слышали о начинающемся миллионном процессе Олуховых.

Адвокат, взявший на себя обязанность приехать к Домне Осиповне, потер себе как бы от холода руки, но в сущности — от самодовольства, рассчитывая захватить это дело себе.

Возвратясь домой, Домна Осиповна ждала мужа, который, однако, не возвращался. С рассвирепелым видом начала она ходить по своим богатым апартаментам, чтобы хоть чем-нибудь утишить терзающие ее страх и гнев...

Раздался звонок. Домна Осиповна думала, что приехал муж, но оказалось, что это было городское письмо, которое лакей и нес, по обыкновению, в кабинет к доктору.

— Дай мне письмо! — крикнула ему Домна Осиповна.

Лакей подал ей.

Домна Осиповна сначала понюхала письмо; оно пахнуло духами. Домна Осиповна разорвала пакет, а вместе с ним и самое письмо, которое и начала было читать.

«Cher Перехватов! — писалось в нем.— Я жду вас к себе и больна скукою о вас!..»

Домна Осиповна не стала более читать и бросила письмо на пол; она сама некогда вроде этого посылала письма к Перехватову. В голове ее между тем зародился новый план: ехать к Бегушеву. Он ей стал казаться единственным спасителем, и она готова была, назло мужу, войти во всевозможные компромиссы со своим старым обожателем.

Бегушев еще из окна увидел, что Домна Осиповна подъезжает к крыльцу на дрянном извозчике, но быстро, и когда она позвонила, он крикнул стоявшему перед ним с бутылкою красного вина молодому лакею:

— Поставь это здесь и прими!

Лакей побежал.

Бегушев залпом выпил стакан красного, которое он в в последнее время почти постоянно тянул. В этом маленьком опьянении ему как-то легче было существовать!

Молодой лакей принял Домну Осиповну.

Она прямо прошла в диванную к Александру Ивановичу.

— Здравствуйте, мой добрый, старый друг! — проговорила она.

Бегушев только ответил ей первоначально:

— Здравствуйте!

— Бегушев! — продолжала Домна Осиповна.— Я приехала вас просить о том же, о чем просила вас, может быть, и Мерова: спасите меня от голодной смерти!

— Вас?.. От голодной смерти?

— Да, Янсутский хочет уничтожить все мое состояние, а вы знаете, что он способен это сделать.

— Каким же образом и чем Янсутский может уничтожить ваше состояние? Наконец, ваш муж — такой практический человек, что не допустит, вероятно, сделать его это!..— говорил Бегушев, вместе с тем всматриваясь в лицо Домны Осиповны, которое имело странное выражение, особенно глаза: они были неподвижны и вместе с тем блестели; прежнего бархатного тона в них и следа не оставалось.

— Муж мой дурак и подлец,— хватила Домна Осиповна откровенно, — вы одни только понимаете, можете, если только захотите, пособить мне!.. Любви между нами не может быть,— вы, конечно, меня не любите больше, да и я вас не люблю; впрочем, я уж и никого не люблю!..

И Домна Осиповна взяла себя за голову.

— Если вы приехали ко мне из боязни за ваше существование, то вот вам мое слово: я буду ездить к вам и наблюдать, чтобы чего не случилось с вами,— проговорил Бегушев, у которого явилась снова мысль прийти на помощь к этой разбитой женщине.

— Нет, Бегушев, нет! — воскликнула Домна Осиповна.— Вам ко мне ездить нельзя!.. Нас с вами разделяет

столько врагов... но постойте, где же они и какие?.. Муж, который мне изменил и бросил меня!.. Состояние мое, которого у меня нет!.. Я сказала это вздор, что нет,— продолжала она, — состояние есть, и большое!.. Его только надо «припрятать». Научите, куда я могу уехать за границу, чтобы туда увезти мое состояние, — можно это?

— Не знаю-с, я никогда не упражнялся в этом и скорей бы бросил свое состояние, чем бы стал прятать его.

— Я не могу, Бегушев, этого сделать,— опять громко воскликнула Домна Осиповна,— мне мое состояние слишком дорого досталось... Оно теперь мое и мне должно принадлежать!.. Посмотрю я, как его отнимут у меня... посмотрю!..

И Домна Осиповна засмеялась неприятным, озлобленным смехом.

— И вы, Бегушев, тоже наблюдайте за этим,— продолжала она,— нельзя же целый век прикидываться таким простачком в этих делах!

— Как я буду наблюдать, когда вы запрещаете мне даже бывать у вас? — сказал Бегушев, начинавший не понимать, что такое говорит Домна Осиповна.

— Я у вас буду бывать, это все равно!.. Ездила же я прежде к вам,— проговорила она резко.— Дня через два, значит, я буду у вас... велите меня принимать в каждый час, когда бы я ни приезжала к вам!..— заключила она повелительным голосом и распрощалась с Бегушевым.

Прокофий с мрачным видом провожал ее. В передней Домна Осиповна торопливо и судорожно вытащила кошелек, достала из него двадцатипятирублевую бумажку и подала ее Прокофию. Тот, взглянув на деньги, проговорил:

— Это зачем?

— Тебе,— отвечала Домна Осиповна.

Прокофий возвратил ей бумажку назад.

— Мне не надо! — сказал он.

— Ты должен взять!.. Ты не смеешь этого делать!..— крикнула на него Домна Осиповна.

— Не возьму-с! — отвечал Прокофий и отворил перед ней дверь.

Домна Осиповна, садясь на пролетку, швырнула держимую ею в руках бумажку на землю и велела извозчику проворней ехать домой. Один из игравших с детками Прокофия мальчиков (сын дворника соседнего), увидав

брошенную бумажку и уразумев, вероятно, что это такое, подхватил ее и благим матом удрал домой.

Когда Домна Осиповна возвратилась к себе, муж все еще не приезжал; но зато ее дожидался молодой адвокат. Она увела его в гостиную и снова начала ему рассказывать свое дело; но в словах ее очень мало было связного, а затем она принялась ему показывать множество бумаг, определяющих ее права. Адвокат хоть и знал по опыту, как большая часть дам лукаво, но бестолково рассказывает свои процессы, однако такой чепухи еще не слыхивал; между тем, как мы знаем, Домна Осиповна умела прежде говорить о своих делах ясно и отчетливо. Убедившись, что с госпожою Перехватовой до большого толку не договоришься, он просил ее отдать ему бумаги, которые рассмотрев дома, обещался сказать ей, что можно и нужно сделать. Домна Осиповна объявила, что бумаг своих она ни за что не отдаст ему, потому что он, пожалуй, их потеряет или продаст ее врагам.

Адвокат обиделся и уехал: она показалась ему пьяною!

К Бегушеву Домна Осиповна, хоть и прошла почти неделя, не ехала; он ее поджидал каждый день и не выходил даже из дому: его очень поразил ее беспокойный и странный вид, который, впрочем, он отнес к ее нервному расстройству; наконец, он получил от нее письмо; надпись адреса на конверте ему невольно кинулась в глаза: она написана была кривыми строками и совершенно дрожащей рукой. «Я пишу к вам, Бегушев,— уведомляла его Домна Осиповна,— за минуту перед тем, как хотят посадить меня в долговую тюрьму, и это все устроил мне муж мой... У меня была полиция, и муж умоляет меня, чтобы я слушалась его и была покойна; его-то мне слушаться!.. Будет уж, слушалась его довольно прежде... Бегушев, что вы такое: честный человек или подлец?.. Я гордилась вашей любовью, Бегушев, но других я считала ниже себя... «Я любила его жарче дня и огня, как другие», а потом не помню... «Черный цвет, мрачный цвет!»... Все это, Бегушев, я вам часто пела, и вы хвалили меня!»

Домна Осиповна во всю жизнь свою ни Бегушеву и никому в мире не пропела ни одной ноты. Далее и разобрать было невозможно, что она писала: в словах то недоставало нескольких букв, то они сливались между собой, и только чаще всего мелькала фамилия Янсутского, написанная отчетливо. Видимо, что у Домны Осиповны бы-

ло что-то посерьезней простого нервного расстройства. Бегушев решился разузнать об этом поподробнее; для этой цели он велел позвать к нему Маремьяшу, которую считал на разведки ловчее остальной своей прислуги.

— Послушай, Маремьяша,— сказал он, когда та явилась,— сходи ты к одной госпоже Перехватовой... живет она на Никитской, в собственном доме...

Говоря это, Бегушев держал лицо потупленным вниз.

— Знаю я этот дом... видала его!—подхватила сметливая Маремьяша.

— И расспроси ты там,— продолжал Бегушев все более и более сконфуженным голосом,— что эта госпожа не больна ли и не уехала ли куда-нибудь?

Маремьяша, втайне понимавшая, сколько делает благодеяний Александр Иванович для ее барыни, вследствие этого бесконечно боявшаяся Александра Ивановича, приняла с восторгами это приказание и, очень невдолге исполнив его, возвратилась.

— Домна Осиповна,— начала она докладывать Бегушеву,— не знаю, правда ли это или нет,— изволили в рассудке тронуться; все рвут, мечут с себя... супруг их, доктор, сказывала прислуга, бился-бился с нею и созвал докторов, губернатора, полицеймейстеров, и ее почесть что силой увезли в сумасшедший дом.

— Разве у себя он не мог ее пользовать, негодяй этакой! — воскликнул Бегушев.

— Прислуга их тоже удивляются тому,— отвечала Маремьяша.— «Что ж, говорят, мы при чем теперь остались: жалованья не уплачено никому за месяц, сам господин доктор переехал на другую квартиру и взял только мебель себе!»... В доме все раскидано, разбросано — страсть взглянуть.

— Хорошо, спасибо тебе! — остановил Бегушев Маремьяшу.

Та ушла, не совсем довольная, что Александр Иванович не дал ей ни копейки за исполненное поручение.

«Новый щелчок от судьбы: как только Домна Осиповна приехала ко мне, так сейчас же с ума спятила»,— обвинил он, по обыкновению, себя.

Вслед за тем Бегушев начал ездить по разным присутственным местам и написал письмо к Тюменеву, в котором говорил ему, что он желает поступить в действующую армию на Кавказ и чтобы Тюменев схлопотал ему это в Пе-

тербурге. Тот спросил Бегушева на его письмо телеграммой: «Зачем ты это делаешь?» — «Затем,— отвечал ему тоже телеграммой Бегушев,— что там я могу хоть немножко быть полезен, а в другом месте нет». Граф Хвостиков, которому Бегушев, конечно, ни слова не говорил об этом, стал подмечать и подозревать, что Бегушев что-то такое замышляет и что ему оставаться долее у него ненадежно. Впрочем, на этот случай граф заранее себя до некоторой степени обеспечил, так как немедля же после чтения пьесы Татьяны Васильевны он написал и напечатал хвалебнейшую статью о сем имеющемся скоро появиться в свете произведении и подписался под этой рекламой полной своей фамилией. Номер газеты, где она была напечатана, граф сам привез к Татьяне Васильевне и торжественно сказал ей: «Вы видите, я не обманул вас!»

Когда Татьяна Васильевна читала статью, слезы капали из ее некрасивых глаз.

— Прочти, что обо мне написано! — сказала она растроганным голосом мужу, передавая ему газету.

Тот прочитал.

— Это очень лестно и приятно!—проговорил генерал.— И вы автор этой статьи? — отнесся он к Хвостикову.

— Я!.. Но будет еще статья того критика Кликушина, который был у вас; вероятно, и Долгов напишет разбор... он мне даже говорил о плане своего отзыва.

— Какой же он будет? Расскажите мне! — пристала к нему Татьяна Васильевна.

Хвостиков поставлен был в затруднительное положение. Долгов действительно говорил ему, что он намерен писать о драме вообще и драме русской в особенности, желая в статье своей доказать... — Но что такое доказать, — граф совершенно не понял. Он был не склонен к чересчур отвлеченному мышлению, а Долгов в этой беседе занесся в самые высшие философско-исторические и философско-эстетические сферы.

— Что, собственно, фантазировал Долгов,— передать трудно; для этого надобно иметь его талант и силу его воображения, — вывернулся он перед Татьяной Васильевной.

Она грустно потупила голову.

— Мне очень бы приятно было, если бы Долгов написал что-нибудь о моей пьесе: он с таким возвышенным умом и таким горячим сердцем,— проговорила она.

— Долгов,— продолжал с глубокомысленным видом граф, — как сам про себя говорит, — человек народа, демократ, чувствующий веяние минуты... (Долгов действительно это неоднократно говорил Хвостикову, поэтому тот и запомнил его слова буквально.) А Бегушев, например, при всем его уме, совершенно не имеет этого чутья,— заключил граф.

Последнюю мысль он тоже слышал от Долгова.

— Бегушев — эгоист, циник, чувственник! — решила Татьяна Васильевна, сердившаяся на кузена за его насмешливые выходки на ее литературном вечере.

— Бегушев, напротив, человек отличный, гораздо лучше всех нас,— отозвался вдруг генерал с необычною ему смелостью: ему, наконец, сделалось досадно, что Татьяна Васильевна и какой-нибудь Хвостиков смеют так третировать Бегушева.

— Он потому тебе нравится, что на тебя похож! — возразила ему резко та.

Генерал ей на это ничего не ответил, а встал и ушел в свой маленький кабинетик.

На другой день Траховы уехали в Петербург, куда граф Хвостиков и Долгов написали Татьяне Васильевне письма, в которых каждый из них, описывая свое страшное денежное положение, просил ее дать им места.

Татьяна Васильевна, получив такое воззвание от своих друзей и единомышленников, каковыми она уже считала Долгова и графа Хвостикова, принялась горячо хлопотать об их судьбе. Она при этом прежде всего припомнила, как ее отец-масон радел к положению низших «каменщиков». Средства ее, впрочем, для сей цели ограничивались тем, что она начала толковать и долбить мужу, что он непременно этим двум человекам должен дать места,— на том основании, что в настоящее время они гораздо более нужны, чем он сам. Генерал хотел было сказать жене, что теперь нужны военные люди, а не статские; но зная, что Татьяну Васильевну не урезонишь, ничего не сказал ей и, не спав три ночи сряду, чего с ним никогда не случалось, придумал, наконец, возобновить для графа упраздненное было прежнее место его; а Долгову, как человеку народа, вероятно, хорошо знающему сельское хозяйство,— логически соображал генерал,— поручить управлять их огромным имением в Симбирской губернии.

Татьяна Васильевна нашла этот план недурным и написала своим просителям, что им будут места. Граф, не откладывая времени, собрался в Петербург и вознамерился прямо приехать к Траховым и даже остановиться у них, надеясь, что те не откажут ему на время, по крайней мере, в гостеприимстве.

Накануне отъезда своего он зашел к Бегушеву.

— Александр Иванович, вы были таким благодетелем мне... Я понимаю, что вся моя жизнь должна была бы остаться на служение вам, но теперь совершаются такие крупные дела, что я должен переехать в Петербург по приглашению Трахова.

— На службу к нему? — спросил Бегушев.

— Да,— отвечал горделиво Хвостиков.

Бегушев, конечно, догадался, что, как и почему это так устроилось, и сказал только графу:

— С богом!

— Именно с богом! — повторил граф с чувством и на следующий день в карете Бегушева уехал на железную дорогу.

Долгов тоже зашел к Бегушеву ради объявления, что он уезжает в имение Траховых управляющим.

— Какой вы управляющий, когда вы и с своими делами так плохо владеете,— сказал ему прямо Бегушев.

— У них старост на это много, но я увижу тут народ! — возразил Долгов.

— Увидят этот народ, только уж не вы!

— Кто ж его увидит?.. Вы, что ли?

— Может быть, и я! — отвечал протяжно Бегушев.

— Не знаю, как вы будете видеть и наблюдать этот народ, сидя на диване!..—сказал он и мрачно задумался.— Вообще, скажите мне, Бегушев, вы меня нисколько не любите и не уважаете? — присовокупил он.

Бегушев, немного сконфуженный таким прямым вопросом, отвечал, слегка подумав:

— Напротив, очень люблю и уважаю.

Последнее слово он как бы проглотил.

— За что?

— Вы не мещанин и не торгаш.

— Благодарю, благодарю!..—воскликнул Долгов с расцветшим от удовольствия лицом и тут же старому товарищу под секретом поведал, что, помимо своей управительской деятельности, он везет в Петербург несколько

публицистических статей своих для печати, которые, как он надеется, в настоящих событиях разъяснят многое.

Бегушев усмехнулся про себя, будучи твердо уверен, что у Долгова никаких нет статей, и что ему решительно нечего печатать, и что в Петербург он привезет лишь себя и присущую ему невообразимую способность разговаривать.

Покуда все это происходило, Прокофий, подобно барину своему, тоже обнаруживал усиленную и несколько беспокойную деятельность; во-первых, он с тех пор, как началась война, стал читать газеты не про себя, но вслух — всей прислуге, собиравшейся каждый вечер в просторной девичьей пить чай за общим столом. Более прочих по случаю прочитанных известий разговаривали и воздыхали Маремьяша и старик Дормидоныч. Прокофий на все высказываемые ими мнения и соображения обнаруживал явное презрение и даже некоторую злобу; с своей же стороны он произносил только при названии какого-нибудь города, по преимуществу в славянских землях: «Мы были там с барином!»

— А как там живут, лучше или хуже нашего? — спросил его однажды повар.

— Ну да, есть где-нибудь такое житье, как тебе — борову,— оборвал его, по-видимому ни за что ни про что, Прокофий.

Повар на это лишь рассмеялся. Кстати, об его наружности: несмотря на свои пятьдесят лет, сей великий мастер поваренного искусства был еще молодчина и чрезвычайно походил на Виктора-Эммануила: такие же волнистые усы, такая же курчавая голова; пить он мог сколько угодно, совершенно не пьянея. Вряд ли у него в последние годы не завелось кой-чего с Минодорой. Замечал ли это Прокофий — неизвестно, но только день ото дня он делался все более и более строг с поваром, а тот как бы больше все отшучивался от него.

Десятое сентября, в именины Минодоры, обычное заседание вышло несколько бурнее. На столе, кроме самовара, были наставлены: водка, ром, селедка, изюм, яблоки и орехи. Поваром был приготовлен вкуснейший пирог и зажарена четверть телятины. Минодора — расфранченная, стройная и весьма миловидная — разливала чай. В числе гостей у нее был также и старик Дормидоныч, о внешнем виде которого я тоже теперь хочу сказать. Видали ли

вы картину Перова «Первый чин»? В картине этой на сына дьячка, тупоглазого малого, старик-портной примеривает вицмундир. Портной этот как будто бы писан был с Дормидоныча, который тоже был портной, сильно нюхал табак и страстно любил выпить. Шить, впрочем, он уже ничего не мог — по случаю слабости зрения и дрожания в руках; единственное его занятие было, что он вязал шерстяные чулки, которые и продавал у Иверских ворот, а при этом выпрашивал и подаянье, которое прямо и проносил в кабак; касательно табаку его обеспечивал Александр Иванович, велевший, по ходатайству Минодоры, каждый месяц выдавать Дормидонычу по два рубля серебром в месяц. В настоящий вечер Дормидоныч, стремясь воспользоваться возможностью понасосаться на даровщину, тянул стакан за стаканом пунш. Маремьяша, разодетая еще лучше Минодоры, блистала даже небольшими брильянтиками в серьгах и брошке. Два молодые лакея прислушивались к звонку Александра Ивановича, и когда тот раздавался, они поочередно убегали к нему и, исполнив приказание барина, возвращались к трапезе и тоже позанялись пуншем. Прокофий, ничего почти не пивший, был мрачней, чем когда-либо, и по временам взглядывал то на жену, то на старшего сынишку, которого он любил, кажется, больше других детей.

Посреди всеобщего молчания вдруг заговорил Дормидоныч, обращаясь к Прокофью:

— А гроб господень вы видели там?

— Где?

— Где вы были, как нам рассказывали.

— Дурак! — обругал его Прокофий — вероятно за нетвердое знакомство с географией.

— Хоть бы бог привел съездить на Афонские горы,— сказала Маремьяша.— Когда мы с Аделаидой Ивановной жили еще в деревне, к нам заезжал один греческий монах и рассказывал, как там в монастырях-то хорошо!

Прокофий при этом злобно взглянул на Маремьяшу. Он был с барином и на Афоне; но из этого путешествия помнил то лишь обстоятельство, что у них в сих святых бы, кажется, местах украли чемодан.

— А ты вынимал жеребий? — обратился он затем к одному из молодых лакеев.

— Вынимал-с! — отвечал тот.

Прокофию давно уже вся его собратия говорила «вы», и даже иногда с прибавлением «с».

— Ведь притянут теперь тебя,— продолжал Прокофий.

— Говорят-с! — отвечал лакей.

— И прямо тебе турка пулю в лоб всадит... благо лоб-то широкий,— пошутил над ним повар.

— Что ж, на то и война! — произнес ветрено молодой лакей.

— Как бы и тебе стали целиться в брюхо, так не промахнулись бы! — оборвал еще раз повара Прокофий.

— Это верно! — согласился тот и ударил себя по животу.

Минодора на это чуть заметно усмехнулась, а Маремьяша стыдливо опустила глаза в землю.

— Теперь надо молить царицу небесную, чтобы она помогла нашим воинам завоевать славян...— начала было она выпечатывать.

— А зачем они нам? — остановил ее озлобленным голосом Прокофий.— Видал я их много; шлялись они к нам в Париже... Барин им денег давал, поил и кормил их!..

Прокофий тут перемешал: к Бегушеву ходили не одни славяне, а и эмигранты поляки, жиды и даже обнищавшие французские рабочие.

— Наталья Сергеевна на что уж была добрая,— продолжал он с искаженным от злости лицом,— и та мне приказывала, чтобы я не пускал всех этих шляющих, болтающих: «Моли бога об нас!..» Христарадник народ, как и у нас вон!..— заключил Прокофий и при этом почти прямо указал глазами на Дормидоныча.

Чувства милосердия и сострадания к слабым у Прокофия совершенно не было!

— Христарадники, брат, люди божьи!.. Им помоги — все равно, что Христу помог!..— осмелился было возразить ему уж совсем пьяненький Дормидоныч.

— Это все равно, что тебе, что Христу помочь!.. Ах ты, шваль этакая! — воскликнул Прокофий.

Дормидоныч поникнул окончательно головой.

— Что ты все бранишься и кидаешься на всех! — заступилась, наконец, за старика Минодора.

— Ты сама такая же шваль! — окрысился на нее Прокофий, а потом, поцеловав сынишку в голову, ушел в свою комнату.

— Какой дерзкий мужчина! — сказала Маремьяша, разведя руками.

— Да, вот и поживи с ним! — не утерпела и высказалась Минодора.

— Удивляюсь! — проговорила Маремьяша и начала поглощать изюм.

Минодора между тем серьезно задумалась: она никогда еще не помнила Прокофия в таком раздраженном состоянии!

Оставшаяся компания принялась, под руководством повара, умело разрезавшего пирог и телятину, есть и пить. Минодора, когда все это покончилось, вошла к себе в комнату, где она увидела, что Прокофий лежал на постели, но не спал.

— Для чего ты все эти чемоданы и пальты покупаешь? — спросила она.

Прокофий действительно в то утро купил три новых чемодана и два резиновые непромокаемые пальто.

— Мы едем с барином! — отвечал он ей.

— Куда?

— На войну! На Кавказ.

— Да ты-то едешь для чего!.. У тебя дети!

— Ну да, променяю я всех вас на барина! — проговорил Прокофий и отвернулся к стене.

В этой фразе он сказал не все: кроме того, что он действительно привязан был к Александру Ивановичу, но ему хотелось поразмыкать и свое горе, которое он, по самолюбию своему, таил упорно от всех.

Через несколько месяцев в одном перечне убитых на Кавказе было напечатано имя полковника Бегушева: Тюменев вместе с Траховым, хлопоча об определении Александра Ивановича в военную службу, постарались, чтобы он, по крайней мере, был принят хоть сколько-нибудь в приличном чине.

Один из раненых генералов, возвратившийся с Кавказа и лично знавший Бегушева, рассказывал потом Трахову, что Александр Иванович солдат и офицеров своего отряда осыпал деньгами, а сам в каждом маленьком деле обнаруживал какую-то тигровую злость, но для себя, как все это видели, явно искал смерти!

— Говорят, что он пить много стал в последнее время? — спросил генерала потихоньку Трахов.

— Пил! — не отвергнул тот.— Да и как там не пить,— люди же, а не звери, ничего не понимающие.

— Так! — подтвердил в свою очередь Трахов и спросил еще новую бутылку шампанского.

Что касается до судьбы остальных моих лиц, то Тюменев, назначенный по духовному завещанию душеприказчиком Бегушева, прежде всего отказался от приема дома в наследство от Александра Ивановича, да по правде сказать, ему и не для чего это было: он страдал таким колоссальным геморроем, какому самые опытные врачи примера не видывали и объясняли это тем, что он свою болезнь на службе насидел!

Прокофий, явившийся через месяц после смерти барина в Петербург к Тюменеву, передал ему чемодан Александра Ивановича, в котором оказалось тысяч пять денег, а в одном из уголков, тщательно завернутые, лежали три женских портрета: Натальи Сергеевны, Домны Осиповны и маленькая карточка Меровой. Тюменев, взглянув на эти портреты, проговорил, качая головой: «Романтик, романтик! Каким родился, таким и умер». Карточка Меровой, впрочем, несколько удивила Ефима Федоровича. Он слышал, конечно, что Мерова перед смертью жила у Бегушева, но объяснял это чисто канюченьем графа, не знавшего, как и чем кормить дочь... Добрую старушку Аделаиду Ивановну, как только она получила известие о смерти брата, постигнул паралич, и она лежала без рук, без ног, без языка в своем историческо-семейном отделении. Всеми делами по доставшемуся имению стала заправлять, конечно, Маремьяша и отчасти Прокофий, первым распоряжением которого было прогнать повара, причем Прокофий говорил: «Ему и при барине нечего было делать, а теперь что же? Разве с жиру только лопаться!» На все это ни Аделаида Ивановна, ни Маремьяша, ни Минодора ни слова ему не возражали. Очень уж решительно говорил это Прокофий. Долгов так-таки не ехал в Петербург для принятия управительской должности, а продолжал ездить по Москве в гости и разговаривать. Граф Хвостиков, продолжавший жить у Траховых, вдруг за одним завтраком у них упал со стула и умер мгновенно, как и дочь его,— вероятно, от аневризма. Татьяна Васильевна принялась было усиленно хлопотать в Обществе Красного Креста и при этом прежде всего предложила комитету сего Общества схлопотать постановку на

сцену ее патриотической пьесы, а также напечатать ее в количестве десяти тысяч экземпляров, и все, что от этого выручится, она предоставляла в пользу Красного Креста. Комитет, однако, не принял сего великодушного дара. Татьяна Васильевна обиделась, не стала более участвовать в деятельности Общества и услаждала себя только тем, что читала журналы духовного содержания и готовила себя к смерти. Мой милый генерал Трахов тоже готовил себя к смерти. Его как-то сразу подцепила подагра. Ему предписали диету съестную и винную. Он болезнь выносил довольно равнодушно; но по случаю диеты был мрачен, как теленок, отнятый от соска матери... Мысленно он все порывался уехать на войну, но понимал, что двинуться даже не мог. Грохов помер и оставил своему родному брату, дьякону какой-то приходской церкви, восемьсот тысяч рублей серебром в наследство. Глаше он не завещал ни копейки, которая, впрочем, бросила его, как только он сделался очень болен.

«Но кто же, кто счастлив из выведенных вами лиц?» — может быть, спросит читатель. По-моему, пока только одни Янсутские, Офонькины, Перехватовы и вообще tutti quanti[1]. А что там-то, там-то, на далеком юге, происходит?.. Когда я пишу эти последние слова, мороз и огонь овладевают попеременно всем существом моим, и что тут сказать: бейтесь и умирайте, рыцари, проливайте вашу кровь, начиная уже с царственной и кончая последним барабанщиком. История, конечно, поймет и оценит ваши подвиги, и мое одно при этом пламенное желание, чтобы она также поняла и оценила разных газетных пустословов, торгашей и подстрекателей!

---

[1] все им подобные *(итал.)*.

РУССКИЕ ЛГУНЫ

Очерки

Люди, названные мною в заголовке, вероятно, знакомы читателю. Когда я встречался с ними в жизни, они производили на меня скуку, тоску и озлобление; но теперь, отодвинутые от меня временем и обстоятельствами, они стали дороги моему сердцу. В них я вижу столько национального, близкого, родного мне... Начав с простейших элементов, мне, вероятно, придется перейти и к гораздо более высшим типам. Поле мое, таким образом, широко. Я только робею за свои силы, чтобы все эти фигуры отлить из достойного металла, с искусством и точностью, достойными самого предмета, и в этом случае наперед прошу читателя обращать внимание не столько на тех добрых людей, про которых мне придется рассказывать, как на те мотивы, на которые они лгали.

Выдумывая, всякий человек, разумеется, старается выдумать и приписать себе самое лучшее, и это лучшее, по большей части, берет из того, что и в обществе считается за лучшее. Лгуны времен Екатерины лгали совсем по другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны. В этом смысле мы придаем некоторое значение и нашему труду. Начинаем:

I

КОНКУРЕНТ

Помнит ли читатель одного из моих действующих лиц, Антона Федотыча Ступицына?[1] Я позволю себе другой раз говорить печатно об этом лице единственно потому,

[1] Повесть «Брак по страсти». *(Прим. автора.)*

что, начав слово о вралях, решительно нет никакой возможности пройти молчанием Антона Федотыча. В прежнем рассказе моем я его представил в период полного падения, когда его никто уже не слушал, когда он лгал о самых обыкновенных вещах; но для него существовало и другое время: состояние его тогда было далеко еще не в таком расстроенном виде; носимый им довольно странный чин «штык-юнкера в отставке» вовсе, по духу времени, не служил ему таким позором, каким служил впоследствии; врал он во всевозможные стороны самым свободным образом и только еще начинал замечать, что слушатели от него как-то стушевываются.

Антон Федотыч в собрании. Он проходит из буфета в залу, с удовольствием втягивая в себя запах накуренного одеколона. Публики еще никого нет, и только у колонны стоит молодой человек, Петруша Коробов, закинув голову назад и вообще в довольно отчаянной позе. Антон Федотыч, находя в нем удобную для себя жертву, начинает к нему приближаться, но не вдруг, а исподволь, как обходят обыкновенно охотники дрофу. Сначала он сделал довольно большой полукруг около него, потом поменьше, наконец, в третьем стал уж лицом к лицу с ним.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть Петрушу Коробова? — отнесся он к нему, как бы совершенно еще к мальчику.

Антону Федотычу и в голову не приходило принять в соображение, что сей юный птенец тринадцати лет бежал без позволения родителей из корпуса, прожил затем в Петербурге девять лет без копейки денег и даже без бумаг для свободного проживания, а потому знал жизнь и мог понимать людей.

— Точно так-с! — отвечал молодой человек совершенно развязно.

— Еще маменьки вашей пользовался расположением!..

— Ах да! Очень рад.

Антон Федотыч на всякий случай взял легонько за руку своего нового знакомого.

— Не угодно ли? — сказал он, показывая ему другой рукой на стоявшие два стула.

Молодой человек повиновался, и оба они уселись.

— Хорошенькое зальцо!..— начал Антон Федотыч, недоумевая еще, в которую сторону ему хватить.

— Да, но паркет нехорош! — заметил молодой человек.

— Очень нехорош! — подхватил радостно Антон Федотыч: слова эти прямо навели его на тему.— А все ведь, ей-богу, дворянство наше! Я предлагал им мой дом, ничего бы с них не взял — ездите, танцуйте; ну, а паркет у меня такой, что и в московском дворянском собрании, пожалуй, такого нет.

— Это ваш дом на Ивановской-то? — заметил ему насмешливо его собеседник.

— Да, на Ивановской! — отвечал Антон Федотыч с замечательным хладнокровием.

— Зачем же там паркет? И дом-то весь развалился.

— Случай!..— отвечал Антон Федотыч, делая вид, что как бы не слыхал последнего замечания.— Приехал я раз в Москву, и так как у меня всегда есть свободные деньги, я люблю, знаете, шляться по разным этим аукционам (Антон Федотыч в жизнь свою не бывал ни на одном аукционе и даже хорошенько не знал, как это там делается), только раз вдруг объявляют *паркет:* там дал кто-то какую-то цену, я дал рубль больше, третий сказал еще рубль, я говорю два — за мной и остался. Черт знает, зачем и для чего купил паркет!.. Ведут меня показывать; вижу: целая комната завалена какими-то деревянными кусочками. Делать, однако, нечего: велел я своему человеку купить ящиков, собрали мы с ним всю эту дрянь, повезли восвояси... Дом у меня тогда только еще отстраивался. Дай-ка, думаю, не будет ли чего-нибудь из моего паркета? Призываю я мастера. «Можешь ли, говорю, братец, собрать все это?» — «Могу-с!» — говорит...— «Ну, начинай с богом!» Только вижу, он работает день, другой... Меня любопытство взяло; иду к нему. «Что же, говорю, братец?» — «Да, батюшка, говорит, извольте посмотреть, какая штука выходит!» Смотрю я: все это уж у него разложено, и как бы на самой превосходнейшей картине изображено *бородинское сражение...* Лица всех известных генералов как живые; все это, знаете, выделано из дерева. «Батюшка,— говорит паркетник,— мне за такой паркет рядной цены взять нельзя».— «Да бери, говорю, братец, что хочешь, только увековечь ты мне это сокровище».

— До сих пор так с генералами и стоит? — спросил Коробов, нисколько, по-видимому, не удивленный рассказом Антона Федотыча.

— До сих пор с генералами! — отвечал тот.

— Так как же по генеральским-то лицам танцевать и ходить ногами — неловко!

— Очень неловко! — засмеялся Антон Федотыч.

Молодой человек между тем придал как бы мыслящее выражение своему лицу, потом тряхнул кудрями и начал:

— У меня в Петербурге тоже были всегда свободные деньги, и я раз тоже на аукционе купил для маменьки часы; оказалось потом, что они с будильником...

— Бывает, с такой, знаете, особенной машиной! — подтвердил Антон Федотыч и показал даже рукою как бы некоторое подобие машины.

— Да дело не в машине, а в том, что часы будили в восемь часов, именно когда маменька привыкла вставать.

— Скажите! — произнес Антон Федотыч с некоторой дозой внимания.

— И это ничего! Но они будили не шумом, как будят обыкновенные часы, а выкрикивали человеческим голосом: «Вставайте!.. Вставайте!..»

— Скажите! — произнес опять Антон Федотыч, возвысив на значительное число нот свое внимание и даже показывая некоторое удивление.

— И это еще ничего! — доколачивал его молодой человек.— Будильник прибавлял: «Вставайте, Клеопатра Григорьевна!» — имя мамаши выговаривал.

— Да, это приятно! — заметил Антон Федотыч, как-то насильственно улыбаясь.

Он поставлен был в странное положение. Весь его ум и соображение как бы подернулись каким-то туманом. В молодом человеке он видел точно двойника своего, который мог совершенно то же делать, что и он делал.

— Вы вот справедливо сказали,— начал он после некоторого раздумья,— дом у меня точно что здесь стар. Неприятна, знаете, ветхость эта, а потому я гораздо больше люблю жить в усадьбе своей.

— А у вас хорошая усадьба? — спросил Коробов.

— Превосходная-с! Насчет угодий расскажу вам только одно. Раз, летом, погода этакая прекрасная стояла, сижу я с семейством у себя на балконе; вдруг слышу колокольчик. «Кто такой?» — думаю. Оказывается, становой приехал. Ну, очень рад. «Антон Федотыч, говорит, к вам архиерей сейчас приедет. Услыхал, что вы поблизости: «Везите, везите, говорит, меня к нему»; я нарочно

прискакал вас предуведомить...» И точно, что я со всеми этими высокими духовными особами всегда был дружен, потому что и в молодости и до сих пор люблю заниматься этой богословией; только дело в том, что мы с семейством по слабости наших комплекций всегда едим скоромное... (Читатель, может быть, не забыл, каким слабым здоровьем и малым аппетитом пользовался сам Антон Федотыч и все его семейство.) Но ведь это — монахи; по званию своему они не могут этого делать. Призываю я управляющего. «Скачи, говорю, братец, в город, плати там сколько хочешь, только доставай нам рыбы».— «Ничего-с, говорит, и около дома найдем».— «Как около дома?» — «Да так уж, говорит, не извольте беспокоиться». Ну, я знаю, что он действительно человек расторопный, поуспокоился. Приехал архиерей... Сидим мы... тары-бары распускаем, а меня между тем все червячок гложет: «Ну как, думаю, не найдут рыбы?» Вдруг этот самый управляющий меня вызывает. «Пожалуйте, говорит, на пруд да и его-то преосвященство попросите». Возвращаюсь я к гостям моим. «Вот, говорю, ваше преосвященство, дурак мой управляющий меня и вас на пруд выйти просит — там что-то такое необыкновенное случилось».— «Хорошо, говорит, я очень рад попройтись, а то все сидел». Выходим, и так-таки прямо нам в глаза, на берегу пруда — пуда в два осетр!..

— Бывает это! — подтвердил его слушатель.— Раз мы с мамашей тоже сидим на балконе, только слышим вдруг колокольчик... Это чиновники из города едут к нам, а между тем среда... Мы с матушкой, по слабости нашего здоровья, едим скоромное, а чиновники, по их сану, всегда соблюдают посты... (Повеса на этот раз не счел даже за нужное менять фраз Антона Федотыча.) Только я призываю к себе управляющего: «Скачи, говорю, плати что хочешь за рыбу».— «Достанем, говорит, и дома, да еще и с дичью». Я сначала и поверил ему, но потом, когда чиновники приехали, меня, как и вас, стал тоже червячок поглядывать; однако управляющий вскоре же вбегает. «Пожалуйте, говорит, бога ради, с гостьми на пруд да и винтовку уж захватите с собой».— «Зачем винтовку?» — «Нужно», — говорит... Бежим мы за ним. На берегу реки человек сорок мужиков тянут бредень... в него попал медведь, а белуга ему в ногу впилась!

Антон Федотыч даже уж и не усмехнулся на это; но

тотчас же встал и отошел от своего собеседника и целый вечер был как опущенный в воду. Он полагал, что занимает своими разговорами молодого человека, а тот только смеялся над ним — обидно!

II

БОГАТЫЕ ЛГУНЫ И БЕДНЫЙ

Наклонность полгать — в каких она иногда кротких душах живет! Я знал в В-е мещанина Петра Вакорина — чрезвычайно кроткого малого, обремененного огромным семейством, не способного ничего другого делать, как сходить за охотой, за грибами, рыбки поудить. Существовал он решительно благодеянием одного подгороднего помещика, Саврасова, честолюбивейшего и надменнейшего человека и в то же время псового и ружейного охотника, который, собственно, и благодетельствовал Вакорину за то, что он выслеживал ему иногда места, удобные для охоты, хоть тот по большей части и навирал в этом случае. Слабость поприврать в Вакорине, как в существе загнанном, так умеренно проявлялась, что ее почти никто и не замечал, а в то же время она была, и очень была: придет иногда и расскажет жене, что видел орла с орлятами, да улетели — канальство. А между тем никаких орлят не было, да и быть не могло. А то отправится в соседний монастырь к обедне и там, будто случайно, расскажет казначею: «Какую, ваше преподобие, я на мельнице вашей щуку видел; пуда в два, надо полагать; вся седая ходит, мохом уж, значит, поросла!..» Разгорятся жадностью казначейские очи, велит он спустить омут — хоть бы пескарь! Начнут бранить Вакорина, непременно тут присутствующего; крестится, божится, что видел, тогда как сам очень хорошо знает, что видел нечто гораздо более похожее на палку, чем на щуку.

Раз его благодетель Саврасов на одной из своих осенних охот убил лисицу с черным хвостом. Можете себе представить, как это подействовало на его гордую и самолюбивую душу! Со шкурой этой лисицы он стал по всем ездить, всем ее показывать. «Видали ли вы это?» — говорил он, повертывая свой трофей перед носом почти каждого, и всякий благоразумный человек, разумеется, придавал удивленное выражение своему лицу и говорил: «Да, да».

Случилось, что около того же времени Вакорин зашел

к исправнику, с которым он состоял в близких отношениях уже по случаю рыбной ловли, так как всегда доставлял ему отличных для удочки червяков, а когда сам ходил с ним зимою удить, так держал и отогревал этих червяков у себя во рту.

Смиренно поклонясь хозяину и гостям его (у исправника в это утро было человек несколько из дворянства), Вакорин в своем длиннополом сюртуке уселся в уголку и, положив руки на колени, стал улыбаться своей доброй улыбкой всякому, кто только на него взглядывал. Хозяин, наконец, заметил его одинокое положение и обратился к нему:

— Петруша, что ты там все сидишь? Поди выпей водочки!

Вакорин скромно встал, подошел к закуске, несмелой рукой стал наливать себе рюмку. В это время двери с шумом растворились, и в гостиную вошел Саврасов с лисьей шкурой в руках.

— Как вы это находите? — обратился он прямо к хозяину и ни с кем почти не кланяясь.

— И слов уж не нахожу, как это выразить! — отвечал тот, раболепно склоняя голову перед гостем.

— Во всем европейском ружейном мире в десять лет один такой выстрел бывает! — сказал Саврасов.

На этот разговор их Вакорин, не допив еще рюмки, отвел от нее свои кроткие глаза и проговорил довольно громко:

— Каждый год по три таких штуки бью!

Хозяин уставил на дерзкого удивленные глаза, а Саврасов сначала только попятился назад.

— Как, ты бьешь каждый год по три? — проговорил он, не могши еще прийти в себя.

— Бью-с! — отвечал, покраснев, Вакорин.

— Бьешь? — проговорил опять Саврасов.

— Бью-с! — повторил еще раз Вакорин.

— Бьешь? — заревел уже с вспыхнувшим, как зарево, лицом оскорбленный честолюбец и схватил Вакорина за шиворото́к.

Хозяин и гости подбежали к ним.

— Ну, полноте, бросьте его! — унимали они Саврасова.

— Дурак! Ну, где ты бьешь? — увещевал Вакорина исправник.

— Бью, батюшка,— повторил он и тому.

— Господа! Возьмите его у меня; иначе я его задушу! — сказал Саврасов, отбрасывая от себя Вакорина.

— Что хотите, то и извольте делать, а что бивал,— не унимался бедняк, утирая с лица катившийся пот.

— Ну, так пошел же вон! — крикнул на него уж и хозяин, выведенный из терпения такою ложью.

— Я уйду, сударь, уйду! — говорил Вакорин и пошел.

— Я тебе теперь, каналья, кости оглоданной не дам,— вскричал Саврасов, выбегая вслед за ним.

— И я тоже, и я! — повторял хозяин.

Вакорин бледнел, делал из лица препечальнейшую мину.

В лакейской его стал было даже лакей уговаривать:

— Полноте, Петр Гаврилыч, потешьте господ; скажите, что неправду сказали.

— Что мне тешить-то? Бивал сколько раз! — отвечал ему Вакорин.

Лакей на это не стерпел и плюнул.

— Фу ты, господи боже мой! — проговорил он.

Господа между тем рассуждали о наглом лжеце в гостиной.

— Каков каналья, а? Каков? — кричал Саврасов на весь дом.

Его мелкое самолюбьишко было страшно оскорблено. Недели через две он по наружности как бы и простил Вакорина, стал даже принимать его к себе в дом, но в душе питал против него злобу. Раз... это уж было у самого Саврасова, тоже собралось дворянство, в том числе два брата Брыкины. Еще покойный отец этих господ рассказывал, что поехал он однажды ночью через Галичское озеро — вдруг трах, провалился в прорубь; дыханье, разумеется, захватило; глаза помутились; только через несколько секунд дышать легче — глядит, тройка его выскочила в другую прорубь — и полнехоньки сани рыбы зачерпнулись в озере. Другой раз заговорили о храме Петра в Риме. «Что это такое за важность этот храм! — воскликнул Брыкин.— Говорят, велик он очень! Вздор! Велик сравнительно, потому что вся-то Италия с нашу губернию. Ну, а как наша матушка Россия раскинулась, так что ни построй, все мало. Вот у нас приход или, лучше сказать, приходишко; выстроили церковь — так псалом-

щик за всенощной с клироса на клирос на жеребенке верхом ездил».

— Батюшка! — воскликнул при этом укоризненно даже один из сыновей.

— А длина церкви велика ли? — спросил кто-то из слушателей.

— Длина? — отвечал несколько опешенный замечанием сына старик.— Длина сажени три.

Так он врал, и все его слушали и даже почти верили ему, потому что тысяча душ была у него. Сынки тоже пошли по нем. В настоящее собрание один из них рассказывал: «Стали, говорит, мы спускаться с Свиньинской горы,— ведь вы знаете, это стена, а не гора... что-то одна из лошадей плохо спускала — понесли. Заднее колесо заторможено было — однако, пи, пи, пи! — ничего не помогает; я, делать нечего, говорю брату — мы с ним сидели на передней лавочке, а жены наши на задней: «Давай, говорю, тормозить передние колеса»; нагнулись: я на одну сторону — он на другую, взяли колеса в наши лапки — на один камень колесо наскочит, на другой — в рытвину сухую попадет; смотрим, лошади наши уж не несут, а везут коляску».

— И я заторможу колесо,— отозвался вдруг черт знает с чего и для чего Вакорин, тоже тут присутствовавший.

Глаза хозяина загорелись бешенством.

— Ты затормозишь? — спросил он.

— Я-с.

— Да ты, каналья, не только коляску, а одну лошадь на беговых дрожках обеими твоими скверными руками и ногами не остановишь! — прошипел он.

— И так остановлю-с.

— Остановишь? Люди! — Саврасов хлопнул в ладоши.

Вбежали люди.

— Сейчас заложить серого в беговые дрожки. Останавливай! — обратился он к Вакорину.

Тот только уже улыбался.

Лошадь была заложена и приведена к крыльцу. Все гости и хозяин вышли туда.

— Посмотрим, посмотрим! — говорили самолюбиво братья Брыкины.

Вакорин, как обреченный на казнь, шел впереди всех.

— Как же ты остановишь? — спрашивали его некоторые из гостей, которые были подобрее.

— А вот как,— отвечал Вакорин, ложась грудью на дрожки и сам, кажется, не зная хорошенько, что он делает,— вот руки сюда засуну, а ноги сюда! — сказал он и в самом деле руки засунул в передние колеса, а ноги в задние.

— Отпускай! — крикнул он каким-то отчаянным голосом державшему лошадь кучеру.

Тот отпустил. Лошадь бросилась, колеса завертелись; Вакорин как-то одну ногу и руку успел вытащить, дрожки свернулись набок, лошадь уж совсем понесла, так что посланный за нею верховой едва успел ее остановить.

Вакорин лежал под дрожками.

— Вставайте! — сказал подъехавший к нему верховой.

— Немного, проклятая, наскакала — остановил же! — сказал Вакорин и хотел было подняться, но не мог: у него переломлена была нога.

Лет десять тому назад я встретил его в В... совсем уже стариком, хромым и почти нищим. Он сидел на тротуаре и, макая в пустую воду сухую корку хлеба, ел ее. Невдалеке от него стоял босоногий мальчишка и, видимо, поддразнивал его. «Лисичий охотник, лисичий охотник!» — повторял он беспрестанно. Это было прозвище, которое Вакорину дали в городе после первого несчастного с ним случая по поводу лисьей шкуры. Старик только по временам злобно взглядывал на шалуна. Я подошел к нему.

— Что это, Петр Гаврилыч, до чего это ты дошел? — спросил я его.

— Что делать, сударь? Стар стал уж!.. А добрых господ, как прежде было, нынче совсем нет! — отвечал он, и слезы навернулись у него на глазах.

Кого он под «добрыми господами» разумел — богу известно!

III

КАВАЛЕР ОРДЕНА ПУР-ЛЕ-МЕРИТ

Прелестное июльское утро светит в окна нашей длинной залы; по переднему углу ее стоят местные иконы, принесенные из ближайшего прихода. Священник, уста-

лый и запыленный, сидит невдалеке от них и с заметным нетерпением дожидается, чтобы его заставили поскорее отслужить всенощную, а там, вероятно, и водку подадут. Матушка, впрочем, еще не вставала, а отец ушел в поле к рабочим. Я (очень маленький) стою и смотрю в окно. Из поля и из саду тянет восхитительной свежестью. Тут же по зале ходит ночевавший у нас сосед, Евграф Петрович Хариков, мужчина чрезвычайно маленького роста, но с густыми черными волосами, густыми бровями и вообще с лицом неумным, но выразительным; с шести часов утра он уже в полной своей форме: брючках, жилетике, сюртучке и *пур-ле-мерите.* Орден сей Евграф Петрович получил за то, что в чине армейского поручика удостоился великого счастия содержать почетный караул при короле прусском в бытность того в Москве. Раздражающее свойство утра заметно действует на Евграфа Петровича; он проворно ходит, подшаркивает ножкою, делает в лице особенную мину. Евграф Петрович — чистейший холерик; его маленькой мысли беспрестанно надо работать, фантазировать и выражать самое себя. В настоящую минуту он не выдерживает, наконец, молчания и останавливается перед священником.

— Вы дядю моего Николая Степаныча знавали?

Священник поднимает на него глаза и бороду.

— Нет-с! — отвечает он с убийственным равнодушием.

— Как же, гвардейского корпуса командиром был,— продолжал Хариков опять как бы случайно.— Да вы знаете, что такое корпусный командир?

— Нет-с! — отвечает и на это священник и, в то же время вытянув из своей бороды два волоска, начинает их внимательно рассматривать.

— Войско наше разделяется на роту, батальон, полк, дивизию и корпус — поняли?

Священник вытянул целую прядь волос.

— Понял-с,— произнес он.

— Ну, а слыхали ли вы,— продолжал Хариков чисто уже наставническим тоном,— что покойный государь Александр Павлович великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича держал строгонько?

Священник отрицательно покачал головой.

— Ну, так это было! — произнес Хариков полутаинственно и полушепотом.— И что значит военная-то дисциплина...— продолжал было он, прищуривая глаза, но

в это время в комнату вошел покойный отец, по обыкновению мрачный и серьезный, и сел тут на стул.

Евграф Петрович употребил над собою все усилие, чтобы продолжать разговор в прежнем тоне.

— И так как великий князь был бригадным, дядя корпусным, я — адъютантом...

— У кого это адъютантом? — перебил его отец.

— У дяди Николая Степановича,— отвечал ему скороговоркой и не повернувшись даже в его сторону Хариков.

— А!..— произнес отец.

Все очень хорошо знали, что Хариков никогда и ни у какого своего дяди адъютантом не бывал, и сам он очень хорошо знал, что все это знали, но останавливаться было уже поздно.

— Великий князь обыкновенно каждую неделю являлся к дяде с рапортом,— говорит он, стараясь скрыть волнение в голосе,— я, как адъютант, докладываю... Дядя выйдет и хоть бы бровью моргнул... Великий князь два пальца под козырек и рапортует: «Ваше высокопревосходительство, то-то и то-то!..» Дядя иногда скажет: «Хорошо, благодарю, ваше высочество!», а иногда и распеканье. Так не поверите вы,— продолжал Евграф Петрович, обращаясь уж более, кажется, к иконам, чем к своим слушателям,— идет великий князь назад через залу... Я его, разумеется, провожаю... он возьмет меня за руку, крепко-крепко сожмет ее. «Тяжело, говорит, братец Хариков, жить так на свете».

Эти слова священника даже пробрали; он повернулся на стуле и почесал у себя за ухом. В лице отца появляется какая-то злобная радость.

— А как вы с ним кутить ездили? — спросил он хоть бы с малейшим следом улыбки на лице.

— Ездили! — отвечал Хариков, слегка вспыхнув.— С Николаем Павловичем, впрочем, не часто, а все с Михаилом Павловичем... тот любил это... Пишет, бывало, записку: «Хариков, есть у тебя деньги?» Ну, разумеется, пишу: есть, и отправимся, иногда и Николай Павлович с нами...

— А как вас в часть-то было взяли? — спросил отец с дьявольским спокойствием.

— Да, да! — отвечал Хариков, засмеявшись самым добродушным смехом.— Ну, разумеется, молодые люди

раз как-то на островах перешалили немного!.. Трах!.. Полиция и накрыла. «Бога ради, говорят, не говорите, что мы великие князья, и скажите, что просто офицеры». Как, думаю, сказать: просто офицеры, ведь квартальный их потянет; а дядя, я знаю, только и говорит: «Попадись уж, говорит, этот великий князь в чем-нибудь, я его два года с гауптвахты не выпущу...» Делать нечего, отозвал квартального в сторону... «Дурак, говорю, ведь это великие князья..» Он как стоял, так и присел на корточки и, разумеется, сейчас же скрылся... я деньги там, какие нужно было, заплатил, и уехали.

— Как вы ехали назад: сухим путем или водою? — спросил отец, как бы не думая ничего особенного этим сказать.

— До Дворцового моста на извозчике доехали, а тут встали, до дворца-то пешком дошли,— отвечал Хариков, как бы не поняв насмешки.— И какая, господи, у государя память была... в последний приезд свой к нам... Ну, разумеется, мы все, дворяне, собрались в зале... Впереди вся эта знать наша... губернатор, председатель, предводитель... я, какой-нибудь ничтожный депутатишко от дворянства, стою там где-то в углу... Он идет, только вдруг этак далеко, но прямо против меня останавливается. «Хариков, говорит, это ты?» — «Я, говорю, ваше величество», а у самого слезы так и льются. Вижу, у него на правом глазу слезинка показалась. «Очень рад, говорит, братец, тебя видеть, только смотри, не болтай много...» — «Ваше величество...» — говорю.

— Это и я слышал! — подхватил вдруг отец.

— Ну, да, вот и вы, кажется, тут были! — обратился к нему Хариков, видимо удивленный этой поддержкой.

— Еще тогда государь поотошел немного,— продолжал серьезно отец,— да и говорит дворянству: «Вы, господа, пожалуйста, не верьте ни в чем Харикову: он ужасный лгунишка и непременно вам на меня что-нибудь налжет».

— О, вздор какой! — произнес со смехом Хариков.— Станет государь говорить.

— Как не вздор! — возразил ему отец.— Я дал тебе три короба нагородить, а ты мне маленький кузовочек не хочешь позволить.

К счастию Евграфа Петровича, в то время вошла ма-

тушка. Он поспешил перед ней модно расшаркаться, поцеловал у ней ручку и осведомился об ее здоровье.

Во время всенощной он заметно молился на старинный офицерский манер, то есть клал небольшой крестик и едва склонял голову, затем почему-то с особенным чувством пропел: «От юности моея мнози борят мя страсти!» Но когда начали «Взбранной воеводе», он подперся рукою в бок, как будто бы держась за шарф, откуда бас у него взялся, пропел целый псалом, ни в одной ноте не сорвавшись, и, кончив, проговорил со вздохом: «Любимая стихера государя!»

Мне всего еще раз удалось видеть, уже на смертном одре, этого невинного человека в его маленькой усадьбе, маленьком домике и в маленькой спальне, в которой не было никаких следов здорового человека, всюду был удушливый воздух, везде стояли баночки с лекарством, и только на столике у кровати лежал пур-ле-мерит на совершенно свежей ленте.

Когда я сел около Евграфа Петровича, он крепко сжал мне руку.

— Вы, вероятно, будете у меня на похоронах? — проговорил он довольно спокойным голосом.— Прикажите, пожалуйста, чтобы крест этот несли перед моим гробом: я заслужил его кровью моею.

Евграф Петрович во всю жизнь свою капли не проливал ни своей, ни чужой крови.

Через неделю он помер. Я долгом себе поставил исполнить его предсмертное желание и даже сам нес крест на малиновой подушке, которую покойник задолго еще до смерти поспешил для себя приготовить.

«О судьба! — думал я.— Для чего ты не дала этому человеку звезду... Любопытно бы было видеть ту степень нежности, с какою бы он относился к этой высокой награде служебных заслуг».

IV

ДРУГ ЦАРСТВУЮЩЕГО ДОМА

Честолюбие так же свойственно женским сердцам, как и мужским. Тетка моя, Мавра Исаевна Исаева, была как бы живым олицетворением этого женерозного чувства.

Признаюсь, и по самой наружности я не видывал величественнее, громаднее и могучее этой дамы, или, точнее сказать, девицы: прямой греческий нос, открытый лоб, строгие глаза, презрительная улыбка, густые серебристые в пуклях волосы, полный, но не обрюзглый еще стан, походка грудью вперед; словом, как будто бы господь бог все ей дал для выражения ее главного душевного свойства.

Мавра Исаевна, как можно судить по ее здоровой комплекции, чувствовала большую наклонность к замужеству; но единственно по своему самолюбию осталась в самом строгом смысле девственницею и ни разу не снизошла до вульгарной любви к какому-нибудь своему брату дворянину, единственною страстью ее был и остался покойный государь Александр Павлович. Когда после 12-го года он объезжал Россию, она видела его в маленьком уездном городке из окон своей квартиры.

— Он проехал в коляске, блистающий красотой и милосердием, и судьба сердца моего была решена навек,— говорила она прямо и откровенно всем.

В двадцать четвертом и двадцать пятом годах Мавре Исаевне случилось быть по делам в Петербурге. Она видела петербургский потоп, видела государя, задумчиво и в грусти стоявшего на балконе Зимнего дворца. Она сама жила в это время на Васильевском острове, потеряв все свое маленькое имущество. Из особенно устроенной комиссии ей было предложено вспомоществование.

— Позвольте узнать, из каких это сумм? — спросила она раздававшего чиновника.

— Из сумм государственного казначейства,— отвечал тот.

Мавра Исаевна сделала гримасу презрения.

— Я подаяние могу принимать только от моего бога и государя,— проговорила она и не взяла денег.

Видела Мавра Исаевна и 14 декабря; на ее глазах (она жила тогда уже в Семеновском полку) солдаты вышли из казарм и возвратились туда. В тот же день вечером (поутру она немножко притрухивала выходить из квартиры) она встретила Орлова, проехавшего с своими кавалергардами. Около этого же времени Мавра Исаевна по просьбе одной своей знакомой ездила к ее дочери в Смольный монастырь. Начальница его, оказавшаяся землячкой Мавры Исаевны, очень ласково приняла ее и, видя, что эта

бедная провинциалка все расспрашивает о царской фамилии, пригласила ее на одно из торжественных посещений Марьи Федоровны. Чтобы лучше было видеть, она поставила Мавру Исаевну около главного входа, через который императрица должна была проходить. Мавра Исаевна поклонилась государыне глубоко, но с достоинством; та, по обычной своей любезности, отвечала ей доброй улыбкой и легким наклонением головы.

Все эти случаи, не особенно знаменательные, подействовали, однако, странным образом на воображение пятидесятилетней девицы: она стала считать себя окончательно связанною с царствующим домом и, проживая потом лет тридцать в деревне, постоянно держала около себя воспитанниц, которых единственною обязанностью было выслушивать различные ее фантазии на эту тему; но эти *неблагодарные твари,* как обыкновенно Мавра Исаевна называла их, когда прогоняла от себя, обнаруживали в этом случае довольно однообразное свойство: вначале они как будто бы и принимали все ее слова с должным удовольствием, но потом на лицах их заметно стала обнаруживаться скука, и, наконец, они начинали делать своей благодетельнице такие грубости, что она поневоле должна была расставаться с ними. В последние годы жизни Мавры Исаевны пошло еще хуже. Из соседних дворянок, приказничих, мещанок жить к ней никто даже и не шел.

Она принуждена была входить в переписку с начальницами разных монастырей, приютов, ездить к ним, подличать перед ними, делать им подарки, чтобы они уделили ей хоть какой-нибудь отросток из своего богатого питомника; но и тут счастья не было: первый взятый ею отпрыск вдруг оказался в таком положении, что Мавра Исаевна, спасая уже свою собственную честь, поспешила ее отправить поскорее обратно в заведение.

Последней приживалкой Мавры Исаевны была из дворян богомолка Фелисата Ивановна. Мавра Исаевна сама про нее говорила, что эту девицу ей бог послал. На глазах автора Фелисата Ивановна в глухую полночь, в тридцать градусов мороза, бегала для своей благодетельницы в погреб за квасом; и подобная привязанность оказалась потом непрочною: чрез какой-нибудь год стало заметно, что между Маврой Исаевной и Фелисатой Ивановной пошло как-то нехорошо.

Раз мы ужинали. Тетушка с своей обыкновенною по-

зой, я — всегда ее немножко притрухивающий, и Фелисата Ивановна. Последняя сидела с крепко сжатыми губами и с неподвижно сложенными руками; есть она давно уже ничего не ела ни за обедом, ни за ужином.

— Славный хрусталь! — имел я неосторожность сказать.

— Да, это хрусталь петербургский! — отвечала Мавра Исаевна, кинув почему-то взор презрения на Фелисату Ивановну. Слова *Петербург, петербургский* всегда поднимали в ней самолюбие и как будто бы давали шпоры этому ее чувству.

— У меня бы его было человек на сто, как бы не эта госпожа,— прибавила она, указывая уже прямо глазами на Фелисату Ивановну.

Тонкие губы той еще более сжались.

— Я, кажется, у вас еще ничего не разбила! — возразила она тихо, шипящим голосом.

— Ты разбила у меня то, что дороже было для меня всего в жизни,— стакан, который подарила мне императрица Мария Федоровна.

— Какой уж это стакан императрицы — стаканишко какой-то!

Мавра Исаевна вся побагровела.

— Молчать! — крикнула она.

Фелисата Ивановна действительно разбила какой-то стаканишко, на котором была отлита буква *М* и который Мавре Исаевне вдруг почему-то вздумалось окрестить в подарок императрицы.

— Как то случилось,— продолжала она, обращаясь с некоторою нежностью ко мне,— тогда я познакомилась в Петербурге с генеральшей Костиной. «Марья Ивановна, говорю, на что это похожи нынешние девицы? Где у них бог?.. Где у них манеры? Где уважение к старшим?» — «Душенька, говорит, Мавра Исаевна, позвольте мне слова ваши передать императрице».— «Говорите»,— говорю. Только вдруг после этого курьер ко мне, другой, третий: «Императрица, говорят, желает, чтобы вы представились ей...» Я еду к Костиной. «Марья Ивановна, говорю, я слишком высоко ставлю и уважаю моих государей, чтобы в этом скудном платье (Мавра Исаевна при этом взяла и с пренебрежением тряхнула юбкою своего платья) явиться перед их взоры!» Но так как Костина знала весь этот придворный этикет, «Мавра Исаевна, говорит, вы не

имеете права отказаться, вам платье пришлют и пришлют даже форменное».— «А, форменное — это другое дело!»

Я нарочно закашлял, чтобы скрыть свои мысли.

— Какое же это форменное? — спросил я.

Мавра Исаевна прищурила глаза.

— Очень простенькое,— отвечала она,— черное гласе, на правом плече шифр, на рукавах буфы, спереди наотмашь лопасти, а сзади шлейф... Генеральша Костина тоже в гласе... на левой стороне звезда, на правой лента через плечо... Императрица приняла нас в тронной зале, стоя, опершись одной рукой на кресло, другой на свод законов. «Вы девица Исаева?» — «Точно так, говорю, ваше величество». Она этак несколько с печальной миной улыбнулась. «Скажите, говорит, за что вы порицаете моих детей?» (Она ведь всех воспитанниц своих заведений называла детьми, и точно что была им больше чем мать...) «Ваше величество, говорю, правила моей нравственности вот в чем, вот в чем, вот в чем состоят». Императрица пожала плечами. «Но как же, говорит, скажите, как вы могли так хорошо узнать моих девиц?» — «Ваше величество, говорю, мне нельзя этого не знать, я имею тут дочь... Мне, как матери и другу моей дочери, нельзя этого не знать».

— Какой дочери? — воскликнул я.

У Фелисаты Ивановны ее тонкий рот раскрылся почти до ушей.

— Да, дочери,— отвечала Мавра Исаевна спокойно.

— Кто же отец вашей дочери? — спросил я.

— Странно спрашивать,— отвечала Мавра Исаевна.

На этом месте Фелисата с умыслом или в самом деле не могла удержаться, но только фыркнула на всю комнату.

Мавра Исаевна направила на нее медленный, но в то же время страшный взор.

— Чему ты смеешься? — спросила она ее каким-то гробовым тоном.

Фелисата Ивановна молчала.

— Чему ты смеешься? — повторила Мавра Исаевна тем же тоном.

— Да как же, матушка, какая у вас дочь! — отвечала, наконец, Фелисата Ивановна.

— А такая же... костяная, а не лычная,— отвечала Мавра Исаевна по-прежнему тихо, но видно было, что в

ее громадной груди бушевало целое море злобы.— Я моих детей не раскидала по мужикам, как сделала это ты!

Фелисата Ивановна покраснела. Намек был слишком ядовит, она действительно в жизнь свою одного маленького ребеночка подкинула соседнему мужичку.

— Не было, сударыня, у меня никаких детей,— возразила она,— и у вас их не было... Вы барышня... Вам стыдно это на себя говорить.

— А вот и было же!.. На вот тебе! — сказала Мавра Исаевна и показала Фелисате Ивановне кукиш.

— Где ж ваша дочь теперь? — спросил я, желая испытать, до какой степени может дойти фантазия Мавры Исаевны.

— Не беспокойтесь, она умерла,— отвечала она с заметною ядовитостью,— а если б и жива была, не лишила бы вас наследства. У ее отца слишком было много, чем ее обеспечить... О мой маленький кроткий ангел!—воскликнула нежным и страстным голосом старушка.— Как теперь на тебя гляжу, как лежала ты в своем маленьком гробике, вся усыпанная цветами, я стояла около тебя и не плакала. Его не было... Ему нельзя было приехать...

На этих словах Мавра Исаевна вдруг вскочила из-за стола, встала перед образом и всплеснула руками.

— Господи, упокой его душу и сердце и помяни его в сонме праведников своих!..— зашептала она, устремляя почти страстный взор на иконы.

Мы с Фелисатой Ивановной тоже вскочили, пораженные и удивленные.

Старуха молилась по крайней мере с полчаса. Слезы лились у нее по щекам, она колотила себя в грудь, воздевала руки и все повторяла: «Душу мою, душу мою тебе отдам!» Наконец, вдруг гордо обернулась к Фелисате Ивановне и проговорила: «Пойдем, иди за мной!» и мне, кивнув головой, прибавила: «Извини меня, я взволнована и хочу отдохнуть!» — и ушла.

Фелисата Ивановна последовала за ней с опущенными в землю глазами.

Я долго еще слышал сверху говор внизу и догадался, что это распекают Фелисату Ивановну, потом, наконец, заснул, но часов в семь утра меня разбудил шум, и ко мне вошла с встревоженным видом горничная.

— Пожалуйте к тетушке, несчастье у нас.

— Какое?

— Фелисата Ивановна потихоньку уехала к родителям своим.

Я пошел. Мавра Исаевна всею своей великолепной фигурой лежала еще в постели; лицо у нее было багровое, глаза горели гневом, голая ступня огромной, но красивой ноги выставлялась из-под одеяла.

— Фелисатка-то мерзавка, слышал, убежала,— встретила она меня.

Я придал лицу моему выражение участия.

— Ведь седьмая от меня так бегает... Отчего это?

— Что же вам, тетушка, так очень уж гоняться за этими госпожами! Будет еще таких много.

— Разумеется! — проговорила Мавра Исаевна уже прежним своим гордым тоном.

— Вам гораздо лучше,— продолжал я,— взять в комнату вашу прежнюю ключницу Глафиру (та была глуха на оба уха и при ней говори, что хочешь,— не покажет никакого ощущения)... Женщина она не глупая, честная.

— Честная! — повторила Мавра Исаевна.

— Потом к вам будет ездить Авдотья Никаноровна.

— Будет! — согласилась Мавра Исаевна.

Авдотья Никаноровна хоть и не была глуха на оба уха, но зато такая была дура, что ничего не понимала.

— Наконец, Эпаминонд Захарыч будет постоянный ваш гость.

— Да, Эпаминондка! Пьяница только он ужасный.

— Нельзя же, тетушка, чтобы человек был совершенно без недостатков.

Эпаминонд Захарыч, бедный сосед, в самом деле был такой пьяница, что никогда никакими посторонними предметами и не развлекался, а только и помышлял о том, как бы и где бы ему водки выпить.

— Все они будут бывать у вас, развлекать вас,— говорил я, помышляя уже о собственном спасении. Эта густая и непреоборимая атмосфера хоть и детской, но все-таки лжи, которою я дышал в продолжение нескольких дней, начинала меня душить невыносимо.— А теперь позвольте с вами проститься,— прибавил я нерешительным голосом.

— Прощай! Бог с тобой! — отвечала Мавра Исаевна. Ей в эту минуту было не до меня: ей нужна была Фелисатка, которую она растерзать на части готова была своими руками. Дома я нашел письмо от Фелисаты

Ивановны, которым она хотела объяснить передо мной свой поступок. «Мне, батюшка Алексей Феофилактыч,— писала она мне в нем,— легче было, кажется, удавиться, чем слушать хвастанье и наставленья вашей тетиньки!»

Три остальные года своей жизни Мавра Исаевна, живя в совершенном одиночестве, посвятила на то, чтобы, никогда не умевши рисовать, при своих слабых, старческих глазах, вышивать мельчайшим пунктиром нерукотворный образ спасителя, который и послала в Петербург с такой надписью: *Брату моего покойного государя!* Все потом ждала ответа, и так как ожидания ее не сбывались, то она со всеми своими знакомыми совещалась:

— Уж как бы отказать, так прямо бы отказали, а то, значит, дело в ходу.

— Конечно, в ходу,— отвечали ей те в утешение.

V

БЛЕСТЯЩИЙ ЛГУН

Во лжи, как и во всяком другом творчестве, есть своего рода опьянение, нега, сладострастие; а то откуда же она берет этот огонь, который зажигает у человека глаза, щеки, поднимает его грудь, делает голос более звучным?.. Некто N..., еще в двадцатых годах совершивший кругосветное путешествие, был именно одним из таких электризующих себя и других услаждающих говорунов и лгунов своего времени. Маленький, проворный, живой, с красивыми руками и ногами и вообще своей наружностью напоминающий польского ксендза, имеющий привычку, когда говорит, закрывать глаза и вскрикивать в конце каждой фразы как бы затем, чтобы сильнее запечатлеть ее в ушах слушателей, N... почти целые две зимы был героем Москвы. Князь П... (да простит господь бог этому человеку его гордость, которая могла равняться одной только сатанинской гордости!), князь П... искал знакомства с N... Обстоятельство это, впрочем, надобно объяснить влиянием княгини, которое она всегда имела на мужа. При воспоминании об этой даме автор не может не прийти в некоторый восторг от мысли, что в России была такая умная и ученая дама. Целый день она, бывало, сидит в своей обитой штофом гостиной, вечно с книгой в руках; две ее дочери, стройные и прямые, как англичанки, тоже с книга-

ми в руках. Положим, к княгине приезжает с визитом какая-нибудь m-me Маурова, очень молоденькая и ветреная женщина.

— Avez vous lu Chateaubriand? [1] — спросит вдруг княгиня, показывая глазами на книгу, которую держит в руках.

— Non,— отвечает та очень покойно.

— Non?..— повторит княгиня почти ужасающим голосом.

— Mon mari n'est pas encore allé au magasin de Gothier [2].

— Шатобриан вышел год тому назад! — скажет княгиня и, не ограничиваясь этим, обратится еще к одной из дочерей своих:

— Chére amie [3], принеси мне les Métamorphoses d'Ovide [4].

Она очень хорошо знает, что m-me Маурова и слов таких: *Метаморфозы Овидия* не слыхала,— а потому по необходимости должна растеряться и уехать.

Я привел этот маленький эпизод единственно затем, чтобы показать, какие люди интересовались N... и дали, наконец, ему торжественный обед, к которому все было предусмотрено: во-первых, был приглашен к обеду, как человек очень умный, профессор Марсов, учивший дочерей княгини греческому языку; из других мужчин были выбраны по большей части сановники — друзья князя; кроме того, на обед налетело больше десятка пестрых и прелестных, как бабочки, молодых дам.

N... входит; но мы ловим его не на его официальном поклоне хозяйке, не в то время, когда он почти дружески пожимал руку хозяина, не даже тогда, когда, сидя уже за столом по правую руку хозяйки, после съеденного супа он начинал ей запускать кое-что о супах-консервах, не в тот момент, когда князь, став на ноги, возвестил тост за здоровье N..., как за здоровье знаменитейшего путешественника, а княгиня, дружески пожимая ему руку, проговорила с ударением: «И я пью!» На все это N... ответил краткими и исполненными чувства словами, но и только! Он знал, что минута его еще не настала, и был целомудрен-

[1] Читали ли вы Шатобриана? *(франц.)*
[2] Мой муж еще не был в магазине Готье *(франц.)*.
[3] Дорогой друг, *(франц.)*
[4] «Метаморфозы» Овидия *(франц.)*.

но скромен. Она настала, когда он остался в прекрасном кабинете, освещенном по тогдашней моде восковыми свечами, в совершенно интимном кружку князя, княгини, профессора Марсова и двух — трех дам, самых искренних его почитательниц. N... сидел на покойном кресле; беспечная голова его была закинута назад, коротенькие ножки утопали в ковре; ощущая в желудке приятный вкус высокоценного рейнвейна, он по крайней мере с час описывал разницу между Европою и затропическими странами.

— Наконец, женщины затропические! — воскликнул он в заключение и поцеловал при этом кончики своих пальцев.

Княгиня на короткое мгновение переглянулась с прочими дамами.

— On dit... pardon, это — московские слухи... on dit, que vous avez été marié à une petite négresse[1].

N... стыдливо потупляет глаза.

— Non, на мавританке,— ответил он вполголоса.— Это — маленькое племя, живущее около Триполи,— продолжает он, вздохнув и как бы предавшись воспоминанию.

— Вы были, значит, и в Африке? — спросил его с мрачным видом Марсов.

— Мой бог, я был в Африке везде, где только могла быть нога человеческая.

Говоря точнее, нога N... ни на одном камне Африки не была, и он только в зрительную трубку с корабля видел ее туманные берега.

— Я был, наконец, пленник: меня консул александрийский выменял на слона.

— Почему же александрийский консул? — вмешался в разговор князь. Он всегда интересовался дипломатическим корпусом и считал его почему-то близким себе.

— Очень просто! — отвечал N... и в творческой голове его создалась уже целая картина.— Это случилось на пути моем к Тунису. Я ехал с маленьким караваном... ночью... по степи полнейшей... только и видно, как желтое море песку упирается в самое небо, на котором, как бы исполинскою рукою, выкинут светлый шар луны, дающий тень и от вас, и от вашего верблюда, и от вашего вьюка,— а там вдали мелькают оазисы с зеленеющими пальмами, ко-

[1] Говорят... извините... говорят, что вы были женаты на маленькой негритянке *(франц.)*.

торые перед вами скорее рисуются черными, чем зелеными очертаниями; воздух прозрачен, как стекло... Только вдруг на горизонте пыль. Проводники наши, как увидали это, сейчас поворотили лошадей в противоположную сторону и марш. «Что такое?» — спрашиваем мы. «Бедуины»,— отвечает нам толмач, и представьте себе — мы без всякой защиты, в пустыне, которая малейшим эхом не ответит на самые ваши страшные предсмертные крики о помощи...

— Ужасно! — проговорила княгиня.

— Ужасно! — повторили и прочие дамы.

N... продолжал:

— Пыль эта, разумеется, вскоре же превратилась в людей; люди эти нас нагнали. У меня были с собой золотые часы, около сотни червонцев. Спросили они меня через переводчика: кто я такой? Отвечаю: «Русский!» Совет они между собой какой-то сделали, после которого купцов ограбили и отпустили, а меня взяли в плен. Толмач, однако, мне говорит, что все дело в деньгах: стоит только написать какому-нибудь нашему консулу, чтобы он меня выкупил. «Но какой же, думаю, консул на африканском берегу? Самый ближайший из них александрийский». Кроме того, спрашиваю: «Как же я напишу ему?» — «Ваше письмо, говорят, или с нарочным пошлют, или просто по почте». Между всеми европейскими консулами и этими разбойничьими шайками установлено прямое сообщение.

Проговоря это, N... несколько приостановился. «Ну как,— подумал он,— этого ничего нет, да и быть, вероятно, не может!»

— Впоследствии, впрочем, оказалось,— продолжал он,— что эти самые толмачи и наводят караваны на шайки, а после и делят с ними добычу...

Марсов при этих словах повернулся на стуле.

— Как же толмач может навести? Его дело — переводить с языка, а по дороге вести — дело проводника! — проговорил он своим точным языком.

— О, эти два ремесла всегда в одном лице соединены! — воскликнул N...

— Да ведь вы сами же сказали, что проводники ваши ускакали, а толмач при вас остался.

— То не проводники, а военная стража — только! — возразил N...

— То военная стража! — подтвердил и хозяин.

Марсов, незаметно для других, пожал плечами и замолчал.

— Что же, вас в плену держали в тюрьме, под надзором? Употребляли на какие-нибудь работы? — спросила княгиня с участием.

— О нет, напротив! — воскликнул N... (до какой степени он быстро творил в этом разговоре — удивляться надо).— Я жил в очень маленьком селеньице, состоящем из глиняных саклей — по загородям бананы растут, как наши огурцы; в какое-нибудь драгоценнейшее фиговое дерево — вы вдруг видите — для чего-то воткнуто железное орудие вроде нашей пешни, и на ней насажена мертвая баранья голова...

— Что же, к консулу вы писали? — перебил его князь.

— Писал... С одним купцом, дружественным этому селению, письмо мое было отправлено.

— Что ж он вам отвечал? — продолжал князь.

Он решительно во всем этом разговоре только и заинтересовался, что консулом и отчасти военною стражею, названною проводниками.

— Консул отвечал, — продолжал N..., — что он для выкупа пленных совершенно не имеет сумм; но в то же время, принимая там во внимание мое имя, как литератора и путешественника, и ценя высоко услуги, оказанные мною отечеству, и прочие там любезности, он не может оставаться равнодушным к моему положению и имеет для этого один способ: есть у него казенный слон, подаренный одним соседним беем. Слона этого ему предписано продать, и он уже отдал его купцу, привезшему мое письмо, а тот обещал за это меня выкупить. Так меня и обменяли... на слона!

— А когда же ваша женитьба состоялась? — спросила княгиня. В противоположность мужу, ее более интересовала поэтическая сторона плена N...

— А вот в этот промежуток времени, между моим пленом и освобождением.

— Однако позвольте! — возразила вдруг княгиня, прищурив глаза.— Тут для меня есть маленькое недоразумение. Вы говорите, что вас взяли в плен бедуины, а женились вы между тем на мавританке, тогда как одно племя кочующее, а другое — оседлое...

(Из этих слов читатель может видеть, до какой степени княгиня была учена.)

— О бог мой! — воскликнул ей на это N...— Это по географии ведь только так!.. На самом же деле, бог знает какое племя, мавританское или бедуинское племя — только с теми же воинскими наклонностями, с тою же дикостью нравов.

Марсов при этом опять незаметно для других насмешливо улыбнулся; но княгиня осталась довольна этим объяснением.

— Подробности вашего брака? — спросила она уже несколько лукавым голосом.

— Подробности очень обыкновенны! — протянул N... (он в это время придумывал).— Очень даже обыкновенны! — повторил он.— Приходит ко мне раз с моим толмачом малый из туземцев, чрезвычайно красивый из себя, по обыкновению бритый, с чубом на голове, как у наших малороссиян. «Не желаешь ли, говорит, князь, жениться?» Я посмотрел на него. «У меня есть сестра красавица. Князь, можешь жениться на ней на месяц, на два, на год».

— И вы женились? — заметила княгиня укоризненно.

— Женился!

— На месяц, на два? — продолжала княгиня насмешливо.

— Нет, на два года.

— Не верю! — возразила княгиня, кивнув отрицательно головой.

— Уверяю вас! — сказал искренним голосом N...— Довольно странен обряд их венчанья: если вы женитесь на полгода, вас обводят полкруга, на год — целый круг, на два — два круга.

— Кто же это венчает у них? — спросил почти озлобленным голосом Марсов.

— Мулла: они — магометане! Совершенно как у нас в Крыму: вы можете на татарке жениться на месяц, даже на неделю,— отвечал, не запнувшись, N... (Он собственно только и слыхал, что нечто подобное в Крыму будто бы существует.)

— Скажите, вы вашу жену там на родине и оставили? — продолжала княгиня.

— Нет, я ее привез в Европу, и надобно было видеть восторг этого ребенка всему: и кораблю, и городам нашим, и дилижансам; на каждом почти шагу она вскрикивала, смеялась, хлопала в ладоши; в Париже перед

каждым дамским магазином она решительно замирала и все мне говорила: «Как бы хорошо это украсть!»

— Как украсть? — воскликнули в один голос оставшиеся слушать N... дамы.

— А так украсть,— отвечал он им с лукавой улыбкою.

— Очень просто, я думаю,— разрешила княгиня,— воровство у них, вероятно, считается никак не пороком, а добродетелью.

— И очень большою... Старшины их обыкновенно говорят: «Я старшина, потому что украл сорок жеребцов и тридцать маток».

Лицо княгини между тем приняло опять серьезное, чтобы не сказать строгое, выражение.

— Где ж теперь жена ваша? — спросила она, уставляя на N... пристальный взгляд.

— В могиле! — отвечал он со вздохом и понурил голову.— В Лондоне мне надобно было долго пробыть для подробного описания начинающего там устроиваться пароходного завода; она не перенесла климата и умерла.

— Mais on dit, que vouz aviez un enfant de cette femme? [1]— продолжала княгиня тем же строгим голосом. Дамы, как известно, о всех хоть сколько-нибудь вольных предметах предпочитают говорить по-французски, будучи твёрдо уверены, что этот благородный язык способен облагородить все, даже неблагородное.

— Oui! — отвечал ей в тон по-французски N...— Но и ребенок вскоре вслед за матерью отправился,— прибавил он опять с печалью.

— Monsieur! — начала одна из оставшихся его слушать дам, покраснев до конца своих хорошеньких ушей и, видимо, сжигаемая с одной стороны любопытством, а с другой — стыдом.— Dites moi, de quelle couleur était votre enfant? [2]

— Café au lait! [3] — отвечал N... и при этом сам даже не мог удержаться и засмеялся.

Марсов этого уж не выдержал. Он встал, порывисто поклонился общим поклоном всему обществу и, проговорив лаконически: «Прощайте-с!» — вышел какой-то угрожающей походкой.

---

[1] Но говорят, что у вас был ребенок от этой женщины? *(франц.)*

[2] Сударь... скажите, какого цвета был ваш ребенок? *(франц.)*

[3] Кофе с молоком! *(франц.)*

Всю Поварскую и Никитскую он шел, погруженный в глубокую задумчивость, и все что-то шептал про себя; человек этот всю свою молодость воспитал в мудром уединении, и при этом, имея от природы слонообразную наружность и густой, необразованный голос, он в обществе был молчалив и застенчив до дикости, но так как от природы был наделен сильной фантазией и живым воображением, то любил поговорить дома, особенно выпивши (несчастная привычка, полученная им еще в бурсе: Марсов происходил из духовного звания), и поговорить по преимуществу в присутствии Гани, женщины из простого звания и хоть не освященной браком, но тем не менее верной и нежной его подруги. В глазах ее он как бы постоянно хотел казаться окруженным ореолом и метающим стрелы красноречия на диспутах, которые будто бы он имел с разными господами военными и статскими (уважение к диспутам в нем тоже осталось от семинарии: «Они изощряют ум, волнуют сердце благороднейшими страстями и укрепляют характер человека!» — говаривал он). Последний случай у князя, конечно, послужил обильнейшим источником для беседы на эту тему. Почтенный педагог, придя к себе в квартиру и едва переменив свой синий фрак на покойный и засаленный халат, сейчас же воскликнул:

— Ганя, водки!

Его вульгарный желудок даже и не помнил о тех гастрономических сокровищах, которые он сейчас только поглотил, и вовсе не считал за святотатство отравить все это сивухой. Ганя (претолстое и предобродушнейшее существо), зная хорошо привычки своего патрона, немедля поставила перед ним огромный графин водки, пирог с говядиной и луком и сама села тут же рядом чай пить.

— Выпил бы наперед чайку-то! — сказала она.

— Выпью! — отвечал профессор и вместо того выпил рюмку водки, закусил ее пирогом, потом еще рюмку и еще рюмку.

Впечатление лжи человеческой на этот раз очень сильно подействовало на Марсова: рот его перекосился, или, как выражались хорошо знавшие своего наставника студенты, застегнулся на правое ухо, что всегда означало, что этот добрый человек находился в озлобленном и насмешливом расположении духа.

— Видел я, сударыня, путешественника знаменито-

го! — отнесся он к Гане, качнул затем головой и сделал такую мину, что Ганя сразу поняла, как держать себя в этом разговоре.

— Мало ли их, знаменитых! — сказала она с насмешкой.

— Именно... мало ли!..— подхватил Марсов и захохотал громким каменным смехом.— Знаешь, как трещотка: тр-тр-тр... А я — нет, погоди, барин, постой! И начал ему в колесо-то гвозди забивать — раз гвоздь, два, три...

Читатель видел, как почтенный педагог скромно и умеренно это делал. Но Ганя притворилась, что всему этому верит, и даже как будто бы обеспокоилась этим.

— Да тебе что за дело? Везде ввяжется?..

— И ввяжусь!—расхорохорился Марсов.— Я ему сказал, что он *лжец!* (Многоуважаемый педагог, может быть, думал это, но мысли его, как знаем, решительно не перешли в звуки.) Я диспутировать могу,— продолжал он,— ставь мне свое положение, я обстреливаю его со всех сторон. Я ставлю мое — стреляй и ты! А что это-то тр-тр-тр, так я их заторможу — стой!

— Вот этак ты и старшим-то тормозишь, и не дают до сих пор генерала! — возразила Ганя.

Гане и самому Марсову ужасно хотелось, чтобы он был генерал.

— И буду им тормозить: врут они! (В сущности Марсов никому из начальства слова грубого не сказал.) Теперь Михайло Смирнов генерал, а чья голова крепче — его или моя?

— Кто вас знает! — возразила Ганя.— У обоих крепка, по штофу выпьете — ничего!

Старик улыбнулся.

— Дура!! — сказал он протяжно.— Речь Михайла Смирнова — ветр палящий, на воображение слушателей играющий, а мое слово — молот железный, по мозгу бьющий.

— Ой, да больней молотом-то, чем ветром.

— Зато прочней! — повторил несколько раз старик.

Ганя поспешила подавать ужинать, но ей долго еще пришлось послушать, как Марсов гвозди вбивал в рассказы путешественника.

Хороший был человек, справедливый, честный, а дома все-таки прихвастнуть любил.

VI
СЕНТИМЕНТАЛЫ

Чем человек может лгать?.. Тем же, чем и согрешать: словом, делом, помышлением — да, помышлением!.. Человек может думать, чувствовать не так, как свойственно его натуре. Карамзин, например, был прекрасный писатель, но привил к русскому человеку совершенно несродный ему элемент — сентиментальность!.. Из любви мы можем зарезать, зарезаться, застрелить, застрелиться, но ходить по берегу ручья с цветком в руке и вздыхать — не станем! У нас девушка, кинутая своим любовником, поет:

Изведу себя я не зельем и не снадобьем,
Изведу я горючьими слезами.

Другая, любовница разбойника, говорит, что ей в тюрьме быть:

А за то ль, про то ль,
Что пятнадцати лет на разбой пошла.
Я убила парня белокурова,
Из груди его сердце вынула,
На ноже сердце встрепенулося,
А я ж млада усмехнулася!

Совсем уж мы не сентиментальный народ: мы — или богатыри, или зубоскалы.

Но в нашем читающем обществе сентиментальность была. Сам ядовитый Вигель — читатель, конечно, прочел его умные записки — был, сколько можно заметить, не чужд этого фальшивого чувства. Прекрасным тогда все восторгались. Франты того времени обожали даже это прекрасное в себе подобных, и это обожание, положительно можно сказать, шло в нашем обществе рука об руку с сентиментальностью.

Выбранные мною экземпляры, кажется, довольно ярки и рельефны для выражения того, что я хочу сказать.

Матушка моя, не знаю почему, всегда очень любила, чтобы я знакомился с женщинами умными.

— Друг мой,— говорила она мне однажды с лукавой нежностью,— когда ты сделаешь для меня это одолжение и съездишь к Доминике Николаевне?

Доминика Николаевна, девица лет сорока шести, была большая любительница читать книги и жила у себя в усадьбе, по ее словам, как канарейка в клетке.

— Когда ты, помнишь, писал ко мне твое милое, длинное письмо,— продолжала матушка,— она была у меня, я при ней получила его и дала ей прочесть; читая его, она, без преувеличения, заливалась слезами. «Дайте, говорит, мне видеть эту руку, которая начертала эти смелые строки!»

Мне в это время было лет восемнадцать. Я был студент и действительно в этот год отмахал матушке длиннейшее письмо, в котором, между прочим, описывал Кремль и то, как царевна Софья Алексеевна вывела перед бунтующим народом царевичей Иоанна и Петра и как Петр при этом повернул на голове корону и сказал: «Как повернул я эту корону, так поверну и стрельцов!» Относительно душевного моего настроения надо объяснить, что я в это время был влюблен в одну из жесточайших моих кузин и жаждал иметь друга-женщину, с которой мог бы поделиться своими печальными мыслями. Доминика Николаевна, по всем тем представлениям, которые я об ней составил, могла, казалось мне, быть таким другом. Она — девушка умная и по выражению лица моего поймет, что волнует и терзает мою душу, спросит меня о том, и я ей скажу все, скрываться мне нечего: чувства мои не преступны. Поехал я. Дорогою мечтательное мое настроение все больше и больше росло. Мне представлялось уже, что я лежу тяжко больной у Доминики Николаевны и она тайком проводит ко мне жестокую кузину, которая становится на колени перед моей кроватью и умоляет меня возвратиться к жизни.

— Поздно,— говорю я ей слабым голосом,— это вы меня привели ко гробу.

Читатель, конечно, видит, что и в моих мечтаниях была значительная доля буколического.

Домик, или клетка, Доминики Николаевны начинался небольшим прирубным, полуразвалившимся крылечком. Я вошел по нем. В передней встретил меня старый лакей, с очками на носу и с чулком в руке.

— У себя Доминика Николавна? — спросил я его с некоторою строгостью, как вообще спрашивают люди, когда приезжают туда, куда их ждут.

— Оне в поле вышли-с, сейчас придут,— отвечал лакей.

В зале мне первое бросилось в глаза крашеное дерево с жестяными крашеными листами, по веткам которого

было рассажено огромное количество чучелок колибри. Дерево, как нарочно, стояло перед открытым окном, из которого виднелись настоящие деревья и светило летнее солнце. Сопоставление этой поддельной Австралии с живой природой меня неприятно поразило; так и хотелось это мертвое дерево с его мертвыми птичками вышвырнуть куда-нибудь. По самой длинной стене комнаты стояло открытое фортепьяно. На нем развернут был романс, из которого я теперь только и помню два стиха:

Что в сердце есть жестокие страданья,
И тем я с ранних лет безмолвно изнывал.

Мне захотелось сесть. Я прошел в гостиную. Там вышивался огромный ковер. Узор представлял поэтического Малек-Аделя, отбивающегося от двух рыцарей. Искусства и старания на вышиванье было употреблено пропасть: брови и усы сарацина сверх шерстей были даже, кажется, тронуты краскою; красный плащ с левого плеча его спускался бесконечными складками; конь отличался яростию и бешенством, и особенно эффектно выставлялись две его, слегка красноватые ноздри. Рыцари замечательны были своими наклоненными позами к Малек-Аделю. По стенам гостиной развешаны были гравюры, изображающие пастушков и пастушек с пасущимися стадами; мебель была не новая, но довольно мягкая; на свечах висели абажуры — все это, если хотите, было довольно уютно, но чересчур уж как-то грязновато, и от всего точно пахнуло какой-то сухой травой.

Послышался, наконец, шелест женского платья и женский, несколько дребезжащий голос:

— Очень, очень рада!

Доминику Николаевну предуведомили уже о моем приезде. Она вошла в гостиную, свернувши несколько голову набок; в костлявых руках ее, заключенных в шелковые à jour[1] перчатки, она держала зонтик; на голове у ней была полевая соломенная шляпка. Как бы в прямое противоречие этому летнему костюму, к щеке Доминики Николаевны была привязана ароматическая подушечка; кроме того, делая мне книксен, она махнула подолом платья и обнаружила при этом, что была в теплых шерстяных

[1] ажурные *(франц.)*.

ботинках. Я, по тогдашней моде, подошел к ней к руке. Она на это мне поспешно сдернула с руки перчатку à jour.

— Благодарю вашу матушку и вас! — сказала она, кидая на меня отчасти нежный и отчасти покровительственный взор.

— Усядемтесь,— прибавила она в заключение.

Уселись.

Доминика Николаевна несколько времени осматривала меня с головы до ног.

— Хорошо ли вы, во-первых, учитесь? — спросила она.

Я обиделся.

— Хорошо-с! — процедил я сквозь зубы.

Доминика Николаевна закатила глаза вверх.

— Я читала ваше письмо: перо превосходное, мысли возвышенные!

Я помирился несколько с ней.

— Вы застали меня,— продолжала Доминика Николаевна с глубоким вздохом,— убитую горем и болезнью...

Я молчал.

— Дмитрий Дмитрич... вы, конечно, его знаете?.

— Знаю-с!

— Он получил еще новый удар от своих врагов: его опять хотели посадить в тюрьму.

В печальном выражении лица Доминики Николаевны была видна и насмешка и грустное презрение к людям.

— Но, вероятно, он как-нибудь избавится от этого,— произнес я.

— Друзья его, конечно, не допустили; я вот это мое имение заложила и внесла за него.

Дмитрий Дмитрич, как все это знали и чего она сама не скрывала, был друг ее сердца.

— Вот вам всем, молодым людям,— продолжала она,— этот человек образец, который имеет все достоинства.

Дмитрий Дмитрич в самом деле имел много достоинств: всегда безукоризненно и по моде одетый, с перетянутой, как у осы, талией, с тонкими каштановыми и уже с проседью усами и с множеством колец на худощавых руках — Дмитрий Дмитрич был сын какого-то важного генерал-аншефа. Воспитывал его французский граф, эмигрант и передал впечатлительному мальчику все свои добродетели и пороки. Сначала Дмитрий Дмитрич слу-

жил в гвардии, танцевал очень много на балах, потом гулял на Невском уже в штатской бекеше и, наконец, вдруг вследствие чего-то выслан из Петербурга с обязательством жить в своей губернии.

— По четырнадцатому декабря замешан,— говорили сначала про него таинственно.

Сам Дмитрий Дмитрич по этому поводу больше или отмалчивался, или делал гримасу.

Все раскрывающее время, впрочем, дало и другого рода толкование сему обстоятельству, и впоследствии, когда кто-либо из приезжих спрашивал какого-нибудь туземца, за что Милин (фамилия Дмитрия Дмитрича) выслан из столиц:

— Выслан-с он...— отвечал туземец, и если при этом была жена в комнате, он говорил ей: «Выдь, душа моя!» Та выходила, туземец что-то такое тихо говорил приезжему, тот делал знак удивления в лице.

— Неужели? — восклицал он.

— Говорят! — отвечал грустным голосом хозяин.

Дмитрий Дмитрич наследовал после отца хорошее состояние, но, к несчастию, имел два совершенно противоположные качества: проживать деньги он знал тысячи миллионов способов, но наживать их — ни одного; он даже в карты играл только с дамами, и то в бостон, и то всегда проигрывал; а между тем он любил принять ванну с дорогими духами, дом у него уставлен был превосходными, почти редкими, растениями... Дмитрий Дмитрич был дамский, а с другой стороны, и совершенно, пожалуй, не дамский кавалер. Для поправления обстоятельств своих он мог только занимать деньги. Способ этот и навлек ему впоследствии столько врагов, о которых упоминала Доминика Николаевна.

— Он у меня будет сегодня, вы его не узнаете: несчастие сломило и этого могучего человека, — проговорила она.

Я очень хорошо понял, что с Доминикой Николаевной можно только говорить об ее собственных чувствах, а потому, отложив всякую надежду побеседовать с ней о кузине, стал невыносимо скучать и молил бога, чтобы по крайней мере поскорей явился Дмитрий Дмитрич. Часов в восемь он приехал, развалясь в коляске, на четверне каких-то кляч и тоже в соломенной шляпе и летнем пальто и башмаках.

Лицо Доминики Николаевны осветилось. Она пошла навстречу Дмитрию Дмитричу скорей какой-то торжественной, чем радостной походкой. Я не пошел за ней, но в зеркале видел их первую сцену свидания. Дмитрий Дмитрич взял и по крайней мере раз двадцать поцеловал руку Доминики Николаевны.

— Добрый друг, вы все для меня сделали! — проговорил он, наконец.

В голосе его как будто бы слышались слезы.

— И делается это для доброго друга,— отвечала Доминика Николаевна с какой-то знаменательностью, затем прежней торжественной походкой ввела Дмитрия Дмитрича в гостиную.

— Bonjour! — проговорил он, мотнув мне головой, и сел.

Доминика Николаевна села против него.

— A propos [1], сейчас сюрприз,— начал Дмитрий Дмитрич и потом крикнул довольно громко: — Cher Назар!

На этот зов вошел в комнату красивый из себя лакей в казакине и перетянутый поясом, сплошь выложенным серебром с чернетью. Усы и волосы у него были совершенно черные, на руках было множество колец, а из-за борта казакина выставлялась толстая золотая цепочка.

— Подай, знаешь, это!.. — проговорил Дмитрий Дмитрич.

Лакей вышел и, возвратясь, принес клетку, в которой сидели два кролика.

Доминика Николаевна вдруг вскочила и начала перед ними прыгать.

— Ах, как это мило, прелесть, прелесть!

— На шейке у них розовые ленточки! — проговорил лакей.

Доминика Николаевна вдруг переменила выражение в лице и посмотрела на него строго. Лакей, кажется, это заметил и с какой-то насмешливой улыбкой замолчал; а потом, постояв немного, совсем вышел из комнаты, не переставая усмехаться про себя. Доминика Николаевна все еще продолжала прыгать перед кроликами.

— Взамен этого я иду вам показать мои цветы! — ска-

---

[1] Кстати, *(франц.)*

зала она Дмитрию Дмитричу.— Молодой человек, вы тоже должны за нами следовать,— прибавила она мне развязно.

Я пошел.

Садишко был обыкновенный, очень запущенный, цветы даже не прополоты; но главная сущность состояла в том, что Доминика Николаевна сорвала одну из роз и прикрепила ее в петлю Дмитрию Дмитричу.

Всю эту прогулку они совершили под руку. Моя юношеская брезгливость невольно возмущалась этим. «Все-таки этот господин,— думал я,— был человек светский, видал же он женщин красивых и, вероятно, сближался с ними, каким же образом он мог так близко переносить около себя подобное безобразие».

Когда мы возвратились в комнаты, нас ожидал чай, или, как выразилась Доминика Николаевна, супе фруа, состоящий из протухлой солонины и плохого масла. Дмитрий Дмитрич принялся с большой жадностью есть варенье. Для меня, собственно, Доминика Николаевна велела принести кринку превосходнейшего молока и при этом рассказала все высокие достоинства надоившей его коровы. Напрасно я с божбой и клятвой уверял ее, что терпеть не могу этого аркадского напитка,— меня заставили выпить стакан. Сама Доминика Николаевна и Дмитрий Дмитрич тоже выпили по стакану. Можно быть почти уверену, что они восхищались молоком единственно потому, что в их романических головах непременно соединялись вместе: деревня, молоко, ручеек, овечка, и, кроме того, так еще недавно французская королева держала у себя в Трианоне коров и сама снимала сливки. После чаю я сейчас же хотел ехать.

— Подождите четверть часа, поедемте вместе,— остановил меня Дмитрий Дмитрич.

— А вы не останетесь у меня? — спросила Доминика Николаевна, и как бы молния блеснула из ее глаз.

— Завтра у меня покос, молотьба...— отвечал Дмитрий Дмитрич несколько сконфуженным голосом.

Когда они говорили это, мы выходили уже на балкон. Доминика Николаевна села там на небольшой диванчик, а Дмитрий Дмитрич довольно далеко от нее на стул. Я пошел бродить по саду. Долетавший до меня разговор между ними был довольно незначительный.

— Вы знаете, в прошлое воскресенье в Веденском ваш Назар опять был пьян! — говорила Доминика Николаевна.

— Может быть! — отвечал Дмитрий Дмитрич равнодушно.

— Вы говорите, что он пьет только красное вино; он напился просто водкой,— продолжала Доминика Николаевна насмешливо.

— Очень жаль,— отвечал Дмитрий Дмитрич тем же равнодушным голосом.

Далее я уже ничего не слыхал, но когда возвратился назад, то увидел, что Доминика Николаевна почему-то лежала в обмороке, и около нее хлопотал Дмитрий Дмитрич. Он поливал ей голову водой, уксусом. Пришел также и Назар и довольно близко остановился около дивана, на котором лежала Доминика Николаевна. При этом одна из ее ног сначала согнулась, а потом вдруг вытянулась и толкнула Назара так, что тот попятился и с прежней своей насмешливой улыбкой вышел из комнаты.

После этого Доминика Николаевна опять как бы впала в обморок, Дмитрий Дмитрич опустился на стул и в утомлении закрыл лицо руками. Несколько времени все мы молчали. Доминика Николаевна открыла, наконец, глаза.

— Где я? — проговорила она.

— У себя на балконе,— отвечал Дмитрий Дмитрич.

Доминика Николаевна начала подниматься, как поднимаются обыкновенно в театре актрисы после обморока. Дмитрию Дмитричу, кажется, сделалось совестно за нее; он отвернулся и не смотрел на нее. Чтобы не помешать разговору, который мог между ними начаться, я снова сошел в сад, и когда возвратился оттуда, Дмитрий Дмитрич стоял уже со шляпою в руках. Доминика Николаевна сидела, как разваренная в воде: волосы у нее спускались на лоб, голова была опущена, руки опущены.

Когда я с ней прощался, она с чувством взглянула на меня.

— Мой добрый привет вашей матушке,— проговорила она больным голосом.

Когда с ней прощался Дмитрий Дмитрич, она подала ему, точно плеть, слабую руку и, кажется, не имела даже силы ответить ему поцелуем в щеку.

Мы вышли и сели в экипаж. Дмитрий Дмитрич упросил меня сесть с ним.

— Фу,— произнес он, как бы человек, вырвавшийся из тюрьмы на свежий воздух.

— Что такое с Доминикой Николаевной? — спросил я.

Дмитрий Дмитрич пожал плечами.

— Вы видели? — отвечал он мне больше вопросом.— Подобные сцены,— продолжал он с расстановкой и грустно-насмешливым голосом,— она делает мне на бале, на рауте, при двухстах, трехстах человек...

— Зато какую она к вам искреннюю дружбу питает!

— Mais, mon cher! [1] — воскликнул Дмитрий Дмитрич.— Дружба, я полагаю, все-таки должна выражаться со стороны женщин скорей самоотвержением, чем тиранией. Она, наконец, хочет войти во весь порядок моей жизни, заставить там меня пить чай или нет, держать в доме таких людей, а не других; этого нельзя. Назар! — крикнул он затем сладким голосом.— Дай мне сигару!

Назар, сидевший на козлах рядом с кучером, вынул изза пазухи сигару, сам закурил ее и подал барину. Дмитрий Дмитрич взял и с наслаждением стал попыхивать из нее дымом.

— У человека вашего физиономия совсем не русская!— заметил я ему.

— Да, il est... je ne sais pas pour sûr... [2] армянин, или грузин, или черкес — не знаю... но превосходный человек... чудо... это мой эконом, нянька, мамка моя! — И затем Дмитрий Дмитрич опять стал с наслаждением попыхивать.

— Encore un mot об Доминике Николаевне,— начал он, — tout le monde dit, que je suis son amant... [3].

Я улыбнулся.

— Mais ce n'est pas vrai [4]. Я люблю изящное в природе, в картине, в поэзии, в мужчине, в женщине. Но Доминика Николаевна каким образом может быть отнесена к изящному?

— Какое же, собственно, ваше чувство к ней? — спросил я. По молодости моих лет я любил тогда потолко-

---

[1] Но, мой дорогой! *(франц.)*
[2] Он... я не знаю точно... *(франц.)*
[3] еще одно слово... все говорят, что я ее любовник... *(франц.)*
[4] Но это неправда *(франц.)*

вать о психологической стороне человека и полагал, что люди так сейчас и скажут в этом случае правду.

— Чувство простого уважения,— отвечал Дмитрий Дмитрич,—которое я имею ко всякой женщине, равной мне по воспитанию и по положению в обществе; это — результат моих привычек. Я — человек, порядочно воспитанный, и чувство вежливости всосал с молоком моей матери.

На этих словах мы уже подъезжали к перекрестку, на котором должны были разъехаться; я попросил остановиться и выпустить меня.

— Adieu, cher ami [1], — сказал Дмитрий Дмитрич, пожимая мне с нежностию руку.— Назар, пересядь ко мне в экипаж! — крикнул он потом.

Назар пересел, и я видел, что Дмитрий Дмитрич прилег ему на плечо, как бы желая вздремнуть. Поехали. Утро между тем совершенно уж наступило. Пара моих лошадей после поворота, узнав дорогу домой, побежали быстрей, на меня подуло свежим ветром; с реки подымался густой туман росы; выкатившееся на горизонте солнце было такое чистое, на деревьях, на траве блестели крупные капли росы — все это было как-то молодо, здорово и полно силы, и как вся эта простая природа показалась мне лучше изломанных людишек, с их изломанными, исковерканными страстишками!

Когда я дописывал эти последние строчки, мне сказали, что приехал старик кокинский исправник [2] и желает меня видеть.

— Боже мой,— воскликнул я в восторге,— его-то мне и надо! — и пошел навстречу гостю.

Старик очень постарел, сделался совсем плешивый, глаза у него стали какие-то слезливые, но говорун, как видно, оставался по-прежнему большой.

— Скажите, пожалуйста,— начал я, усаживая его,— живы ли ваши соседи, Доминика Николаевна и знаменитый Дмитрий Дмитрич?

— Он помер, а она еще жива.

— Что ж, страсть их все продолжалась?

— Как же-с, до самой смерти его все путались, ссорились и мирились, видались и не видались.

---

[1] Прощайте, дорогой друг, *(франц.)*

[2] Рассказ «Леший». *(Прим. автора.)*

— Он, однако, мне сам говорил, что не был ее любовником.

— Нет-с, не был; людишки вот ихние часто тоже бегали к нам и сказывали, что она, как они выражаются, одной этой сухой любовью его любила... он ведь в этом отношении, вы слыхали, я думаю...

— Ну да, из-за чего же он-то?

— Из-за денег больше, надо полагать, говорил и делал ей эти разные комплименты. После ссоры, бывало, помирятся, он станет перед ней на колени, жесты этакие руками делает, прощенья в чем-то просит — умора! Неглупые были оба люди, а уж какие комедианты и притворщики, боже упаси!.. Перед смертью Дмитрия Дмитрича любимый камердинер его обокрал, все, какие там были у него деньжонки, перстеньки, часы, ковры, меха — украл и бежал, так что уж он и не разыскивал. Доминика Николавна перевезла его к себе, на ее руках он и помер; пишет мне: «Помогите, говорит, похоронить моего друга!» Приехал я к ней, сидит она на диване, глаза представляет как у помешанной, и все точно вздрагивает. «Сама, говорит, смерти хочу!» — а форточки, заметьте, не позволяет отворить: простуды боится. Покойник промеж тем лежит в зале; я скорей, чтобы его в церковь стащить; только мы, сударь, подняли гроб, она и вылетает. «Куда вы, говорит, моего ангела уносите? Не пущу, не пущу!» — и сама уцепилась за гроб и повисла. «Ах ты!» — думаю. «Хорошо, говорю, ребята, оставьте!» Оставили ей гроб, а сам ушел. Посидела она этак, целый день, однако, высидела, но видит — невтерпеж, опять шлет за мной.

— Унесите,— говорит,— теперь — можно.

VII
ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ

— Вот мы с вами вчера насчет комедиантов говорили,— начал старик Шамаев, пришедши на другой день ко мне обедать.— Становой у меня был, такой тоже актер, что какую, кажется, роль только хотите, он может разыграть перед вами; родом он был из хохлов, по фамилии Карпенко, и все это, знаете, в каждом слове, в каждом шаге своем делал лицемерство. Определяясь на

службу, в стан приехал в самый храмовой праздник, народу собралось почти что со всего уезда. Не заходя никуда, господин Карпенко прямо в церковь и тихим голосом подзывает к себе церковного старосту. «В какую, говорит, икону народ больше веры имеет?» — «Феодоровской престол-то»,— отвечает ему мужик. Он сейчас помолился перед этой иконой и первый ей свечку поставил. После обедни зашел в другое наше собрание — в кабак; пьяных там, как поленьев, по углам валяется. Вместо того чтобы велеть их подобрать, еще ободрил: «Пейте, говорит, православные: рабочему человеку выпить надо!» По лавкам потом пошел, к каждому торговцу с поклоном и приговором: «В честь и в деньги торговать!..» — и так дальше пошло: тихо, смирно, ласково, только никто что-то этому не верит. Ни одного безмена у торговцев не оставил, чтобы не оглядеть, клейменый ли он, да еще подсылы делает, верно ли продают. Где мертвое тело поднимут, точно стопудовая гиря свалится на селенье; сидит-сидит, пока пятидесяти, ста рублей не сдерет с мужиков; да потом их же соберет в сборную, прямо поднимет у них перед глазами с полу соринку: «Вот, говорит, мне чего вашего не надо». Те после и говорят: «Что, наши деньги-то он хуже соринки, что ли, полагает?» Слышу я все это, вызываю его к себе, говорю ему, вдруг он заплакал: «Слезы, говорит, мой ответ!» — «Ах, боже ты мой, думаю, мужчина, в кресте военном, плачет, что такое это?» В другой раз губернатор на него на ревизии напустился: «Почему, говорит, вас все не любят?» — «Мнителен, говорит, ваше превосходительство, я очень по службе!.. И себя мучу и другим не угождаю!» А губернатор, заметьте, сам был премнительный человек, и поверил ему... Это вот, изволите видеть, он — тихий, а то и строгим, крикуном иногда прикидывался. Едет он раз мимо одного села богатого, тысячи две душ... и только еще, знаете, в околицу-то въехал, закричал, загайкал... Сотские были народ наметанный, сбегаются, видят: *сердит приехал!* Прямо входит он в сборную и обращается к одному из них:

— Какое,— говорит,— было в селенье происшествие?

— Никакого,— говорит,— ваше благородие!

— Как никакого? Ах ты,— говорит,— земская полиция! — Трах его по зубам.

К другому сотскому — тот этак из рыжих, плутоватый случился.

— Какое? — говорит.

— Было, ваше благородие, Иван Петров там у Николая Михайлова, что ли, петуха зарезал!

— Позвать,— говорит,— Николая Михайлова!

Приходит мужик.

— Здравствуйте,— говорит,— батюшка!

— Здравствуй,— говорит,— братец; все ли у тебя в доме благополучно?

— Все, батюшка, кажись, слава богу.

— Погляди-ка на образ!

Смотрит мужик.

— И не совестно тебе и не стыдно? Не отворачивай глаз-то, нечего!..

— Да что мне, сударь, отворачивать!

— Как что, а черный-то петух где?

Мужик, знаете, и рассмеялся.

— Подлец Ванька,— говорит,— надругатель, зарезал!

— А объявил ты о том земской полиции?

— Что, сударь-с;— говорит,— объявлять!..

— Как что?.. У тебя сына зарежут, ты скажешь: что объявлять!..

— Батюшка! — говорит мужик удивленный.— Разве сын и петух все одно и то же?

— Одно и то же! Прочтите,— говорит он это писарю уж своему,— статью, где сказано, что совершивший преступление и покрывший его подвергаются равному наказанию!

Прочитали мужику; стоит он разиня рот. Сотские между тем шепчут ему:

— Видишь, — говорят,—сердит приехал; поклонись ему червонцем!

Поклонился мужик — освободили.

— Ну, теперь, — говорят, — убийцу давайте.

Приводят мужика; бойкий такой был, и прямо к руке господина станового.

— Прочь! — крикнул тот на него.— От тебя,— говорит, — кровью пахнет!

Отошел мужик.

— Как,— говорит,— ты смеешь производить дневной грабеж с разбоем?

— Я,— говорит,— сударь, никого не грабил!

— Как никого? А петух Николая Михайлова где?

— Николая Михайлова петуху,— говорит мужик,— я завсегда голову сверну — он у меня все подсолнечники перепортил!

— Ну так,— говорит ему Карпенко, возвысив уже голос,— я тебе прежде голову сверну. Эй! Колодки!

Струсил и тот парень; сотские и ему шепчут:

— Видишь,— говорят,— сердит; поклонись красненькой!

Стал мужик кланяться, так еще не берет господин становой. Он в ноги ему повалился: «Возьми, батюшко, только!» Принял.

Я после услыхал это; приезжаю, спрашиваю мужиков:

— За что,— говорю,— дураки, вы деньги ему давали?

— Да что, батюшка,— говорят,— сами видим, что одно только его надругательство над нами было, только то, что горячиться он очень изволил, как бы и настоящее дело шло... Думаешь: прах его возьми, лучше отступиться!

Слушая Шамаева, я предавался довольно странным мыслям: мне казалось, что и он все это лжет и выдумывает для моей потехи. «Да, старичок,— думалось мне,— и ты сумеешь разыграть сцену, какую только захочешь...» Наконец, сам-то я... автор? Правду ли я все говорю, описывая даже этих самых лгунов?

VIII

КРАСАВЕЦ

Народы дикие более всего ценят в человеке силу, ловкость и красоту физическую; народы образованные... нет, впрочем... и народы образованные очень ценят это: кто не помнит того времени у нас, когда высокий рост, тонкая талия и твердый носок делали человеку карьеру? Даже в высокопросвещенной Европе Леотар любим и почитаем женщинами. Весьма многие дамы, старые и молодые, до сих пор твердо убеждены, что у красивого и статного мужчины непременно и душа прекрасная, нисколько не подозревая в своем детском простосердечии, что человек своим телом так же может лгать, как и словом, и что весьма часто под приятною наружностью

скрываются самые грубые чувственные наклонности и самые низкие душевные свойства.

На эту тему нам придется рассказать очень печальный случай.

Наступали уже сумерки...В воздухе раздавался великопостный звон к вечерне; но была еще масленица, и вокруг спасовходского монастыря, в губернском городе П..., происходило катанье. В насмешке над уродливостью провинциальных экипажей столько моих собратьев притупило свои остроумные перья, что я считаю себя вправе пройти молчанием этот слишком уж опозоренный предмет и скажу только, что во всем катании самые лучшие лошади и сани были председателя казенной палаты (питейная часть, как известно, переносящая всегда на своих жрецов самые благодетельные дары, была тогда еще в прямом и непосредственном заведывании председателей казенных палат). В санях этих сидели две молодые дамы: одна в прекрасной шляпке и куньем салопе, с лицом, напоминающим мурильевских мадонн, в котором выражалось много ума и чувства; другая была гораздо хуже одета, с физиономией несколько загнанной, по которой сейчас можно было заключить, что она гораздо более привыкла слушать, чем сама говорить. Первая была молоденькая жена председателя, а вторая — ее компаньонка. Хорошенькие глаза хорошенькой председательши беспрестанно направлялись в одну из боковых улиц.

— Александр Иваныч выехал не оттуда-с! — проговорила, наконец, ее компаньонка.

Председательша сейчас же перекинула взгляд на ее сторону. К ним подъезжал верхом на карабахском жеребце высокий, статный мужчина, и хоть был в шляпе и статской бекеше, но благородством своей фигуры, ей-богу, напоминал рыцаря. Конь не уступал седоку: около красивого рта его, как бы от злости, была целая масса белой пены; он беспрестанно вздрагивал своим нежным телом... Ему, казалось, хотелось бы и взвиться на дыбы и полететь, и только опытная, смелая рука, его сдерживавшая, заставляла его идти мелкой и игривой рысью.

Господин этот назывался Александр Иванович Имшин. Он подъехал к нашим дамам.

— Хорошо, хорошо — так поздно!..— говорила предсе-

дательша в одно и то же время ласковым и укоряющим голосом.

— Я объезжал в поле Абрека; он ужасно у меня сегодня шалил,— отвечал Имшин и ударил коня по шее; тот еще заметнее вздрогнул телом своим и еще ниже понурил голову.— Что ваш муж? — спросил Имшин.

— Спит! — отвечала председательша.

Она уже с красивого наездника не спускала глаз.

— Стало быть, покоен? — продолжал тот.

— Он еще ничего не знает. Я буду кататься до самых поздних сумерек и заеду к вам!

Имшин, в знак согласия, мотнул головой; затем, сделав лансаду, повернул лошадь так, что поехал не по направлению катанья, а навстречу ему, и через несколько минут очутился в самом заднем ряду. Там, между прочим, ехала отличнейшая пара лошадей в простых пошевнях, в которых сидела толстая женщина в ковровом платке с красно-багровым лицом и девочка лет тринадцати — четырнадцати, прехорошенькая собой.

— Выехали? — спросил их Имшин ласково.

— Да-с! — отвечала толстая женщина.

— А тебе, Маша, весело? — спросил он девочку.

— Весело-с! — отвечала та с вспыхнувшим лицом.

Имшин дал шпоры лошади и опять стал нагонять председательские сани.

— Уж темнеет! — сказал он.

— Да, теперь можно! — отвечала председательша и не совсем твердым голосом сказала кучеру: — Выезжай!

Кучер выехал и, зная, вероятно, куда ехать, не ожидал дальнейших приказаний и поехал в ту сторону, в которую при начале катанья госпожа его беспрестанно смотрела. Лошади побежали самой полной рысью; Имшин поскакал за ними. Молодой человек этот, будь он немножко не то, далеко бы ушел: еще в корпусе, при весьма ограниченных способностях, он единственно за свою красоту предназначен был к выпуску в гвардию; но в самом последнем классе, в самое последнее время, у него вышла, тоже по случаю его счастливой наружности, история с одним мужем, который хотел его вышвырнуть в окно, а Имшин его вышвырнул, и, как молодым юнкером ни дорожили на службе, однако послали на Кавказ; здесь он тоже, говорят, опять по решительному влиянию жены полкового командира на мужа, получил солдатско-

го Георгия, офицерский чин, шпагу за храбрость и вышел в отставку. Как бо́льшая часть красивых людей, Имшин говорил мало, а больше своею наружностью и позами, к нему идущими, старался себя запечатлеть в душе каждого. Губернские дамы принялись в него влюбляться, как мухи мрут осенью, одна за другой, беспрерывно. Молоденькая жена председателя, Марья Николаевна Корбиева, прелестнейшее существо, в первое же отсутствие мужа в Петербург впала с ним в преступную связь. Искания со стороны Имшина в этом случае были довольно непродолжительны; он несколько балов потанцевал с этой милой женщиной исключительно, а потом, в один из безумно шумных вольных маскарадов, они как-то очутились вдвоем в довольно отдаленном углу. У Имшина случайно поднялся рукав фрака, и оказалось, что на руке у него был надет браслет.

— Это у вас браслет? — спросила председательша, сгораемая каким-то внутренним огнем.

— Браслет.

— Женщины?

— Да.

— И дорог вам по воспоминанию?

— Очень.

Председательша надулась.

— Хотите, я его сниму для вас?..— несколько протянул Имшин.

— Для меня?

— Да! Если только вы полюбите меня за это.

Имшин был очень смел с женщинами.

— Ну, снимите! — ответили ему.

Имшин снял браслет и подал его председательше.

— Я не имею на него права,— сказала она, отстраняя от себя браслет рукою.

— В таком случае я его выброшу в окно...

И Имшин встал, отворил форточку у окна и выбросил в нее браслет.

Внутренний огонь председательши выступил у ней на личико, осветил ее глазки, которые горели, как два черные агата.

— Когда ж доказательства вашей любви? — спросил Имшин.

— Когда хотите.

— Сегодня я могу к вам заехать?

— Нет, это слишком будет заметно для людей.

— Ну, так завтра?

— Хорошо.

Имшин встал и отошел от председательши. Через полчаса она уехала из маскарада. От переживаемых ощущений с ней сделалась такая лихорадка, что она едва имела силы сесть в карету.

Последнее время страсть ее к своему избранному возросла до размеров громадных: она, кажется, только и желала одного, чтобы как-нибудь сесть около него рядом, быть с ним в одной комнате; на вечерах у них, когда его не было, она то и дело взглядывала на входную дверь; когда же он являлся, она обыкновенно сейчас же забывала всех остальных своих гостей.

— Entrez! [1] — говорил Имшин, ловко соскакивая с лошади и обращаясь к дамам, когда они подъехали к крыльцу его.

Те вышли из саней и стали взбираться по лестнице.

— Лестница моя крута, как Давалагири,— говорил он, следуя за ними.

Внутренность квартиры молодого человека была чисто убрана на военную ногу. В зале стояла цель для стрельбы, в средине которой вставлена даже бритва острием вперед. В гостиной, по одной из самых больших стен, на дорогом персидском ковре, развешаны шашки, винтовки, пистолеты, кинжалы, оправленные в золото и в серебро с чернью.

Имшин, как вошел, сейчас же оставил своих гостей, прошел в кабинет, переоделся там и возвратился в черкеске с патронами и галунами. В наряде этом он еще стал красивее. Между тем компаньонка осталась ходить по зале, а председательша вошла и села в гостиной. Когда она сняла салоп, то очень стало видно, что прелестное лицо ее истощено, а стан, напротив, полон. Имшин осмотрел ее, и во взгляде его отразилось беспокойство.

— Он ничего не замечает еще? — спросил он.

— Нет,— отвечала председательша.—Я нарочно заехала к тебе: научи меня, что мне делать.

Имшин пожал плечами. Склад красивого рта его принял какое-то кислое выражение.

---

[1] Войдите! *(франц.)*

— Что делать? — повторил он; но в это время в лакейской раздалось чье-то кашлянье.

Имшин проворно вышел туда. Там стояла катавшаяся пожилая женщина с той же молоденькой девочкой.

— Ступайте туда, на нижнюю половину,— проговорил Имшин торопливо.

Старуха на это повернулась, отворила боковую дверь и вместе с девочкой стала спускаться по темной лестнице вниз.

Имшин снова возвратился к председательше.

— Делать одно самое лучшее,— заговорил он,— ехать тебе к отцу твоему или матери, остановиться вместо того в Москве; там есть женщины, у которых ты получишь приют.

— Прекрасно! — возразила председательша.— Но муж может спросить отца и мать, у них ли я.

— Неужели же они не сделают для тебя этого?

— Ни за что, особенно отец. Он скорее убьет меня, чем покроет подобную вещь. Я решилась на одно: скрываться — это только тянуть время; в первый раз, как он обнаружит подозрение, я ему скажу все откровенно. Он меня, конечно, прогонит, и я тогда приду к тебе.

— Разумеется, приходи! — проговорил Имшин каким-то странным голосом и хотел, кажется, еще что-то прибавить, но в это время в лакейской опять послышался шум. Имшин вышел; там стоял гайдук в ливрее.

— Барин прислали за барыней; узнали, что оне здесь,— проговорил он нахальным лакейским тоном.

Имшин немного изменился в лице.

— Муж за вами прислал! — сказал он, входя в гостиную.

Председательше в это время человек подавал чай, и взятая ею чашка сильно задрожала у ней в руке.

— Что ж? Ничего; я скажу, что озябла и заезжала к тебе. Я ему говорила, что была у тебя без него в гостях,— проговорила она притворно смелым голосом.

— Да, пожалуйста, как-нибудь без решительных объяснений.

— Не знаю, как уж выйдет.

Из залы вошла компаньонка.

— Николай говорит, что Петр Антипыч очень сердится и приказал, чтобы вы сейчас же ехали домой.

— Подождет, ничего! — отвечала председательша, однако сама встала и начала надевать шляпу.

— Ну, прощай! — проговорила она Имшину и, перегнув головку, поцеловала его.— До скорого, может быть, свидания,— прибавила она.

— Прощай!..— отвечал Имшин и сам страстно поцеловал ее.

Свидетельница этой сцены, компаньонка, немного тупилась и краснела. Наконец, дамы уехали.

Имшин остался в заметном волнении. В поданный ему чай он подлил по крайней мере полстакана рому, скоро выпил и спросил себе еще чаю, подлил в него опять столько же рому и это выпил. Красивое лицо его вдруг стало принимать какое-то зверское выражение: глаза налились кровью, усы как-то ощетинились. Он кликнул человека.

— Федоровна там? — спросил он лакея.

— Там.

— И с Машей?

— С Машей.

— Ступай на свое место!

Лакей ушел.

Имшин подошел к одному из шкафов, вынул сначала из него пачку денег, потом из нижнего ящика несколько горстей конфект и положил их в карман. Подойдя к стене, он снял один из пистолетов и его тоже положил в карман и начал спускаться по знакомой уж нам темной лестнице. В комнатах не осталось никого.

В тусклом свете поставленных на столе двух свечей было что-то зловещее. Через час по крайней мере двери из низу с шумом отворились, и в комнату вбежал Имшин, бледный, растрепанный; глаза у него были налиты, как у тигра, кровью; рот искривился. Он подбежал опять к тому же шкафу, вынул из него еще пачку денег, огляделся каким-то боязливым и суетливым взглядом и снова спустился вниз по лестнице. Вслед за тем в сарае и в конюшне, в совершенной темноте, послышалось тихое, но торопливое закладывание лошади; вскоре после того со двора выехали сани и понеслись в сторону, где город уж кончался, на так называемое Прибрежное поле.

На другой день по городу разнесся довольно странный и любопытный слух, что молоденькая председательша

бросила мужа и убежала от него к Имшину на квартиру, мимо которой некоторые из любопытствующих нарочно даже проезжали и действительно видели в одном из окон хорошенькую головку председательши.

В мире так устроено, что когда один сановник заболевает, другой сановник приезжает навещать его: к нашему председателю приехал сам губернатор. Добродушный старик этот был в некоторой зависимости от председателя по тем любезностям, которые, по влиянию председателя, делал ему откуп. Говорим мы это не в обличение начальника губернии, а единственно затем, чтоб объяснить те отношения, в которых находились между собой эти два почтенные лица.

Председатель по наружности был мужчина ужасно похожий на осиновый кряж. В жизни своей он все сам себе приобрел: учился на медные деньги, перенес потом страшные служебные труды, страшное подличание перед начальством и, наконец, всем этим достиг достояния, почета и женился на самой хорошенькой девушке в губернии. Двух вещей только он никак не мог побороть, это — своей хорошенькой жены, которая выезжала, танцевала, наряжалась, веселилась, плакала, сердилась совершенно безо всякого с его стороны разрешения. Другое обстоятельство, затруднявшее председателя, было то, что когда он стал занимать довольно видные места, то ему ужасно хотелось представить из себя, что он во всех случаях жизни своей поступает и говорит, как человек образованный.

Перед последним несчастием он, проснувшись после обеда, спросил горничную, подававшую ему воду:

— Где барыня?

— Оне на катанье сначала были, а потом, я их видела, оне к Имшину проехали,— доложила та.

В горничной этой председатель еще и прежде находил для себя всегда некоторое утешение и развлечение во всем претерпенном от жены, и она еще с самого приезда объяснила ему, что у них часто-часто бывал без него Имшин.

— Ну, поди же пошли человека и скажи, чтобы она сейчас же, сию минуту ехала домой,— сказал он.

Горничная пошла и сказала лакею:

— Поди сейчас за барыней к Имшину, чтобы она ехала домой: барин очень сердится.

Когда председательша возвратилась, муж спросил ее:

— С какой стати вы поехали к Имшину?

— А с такой, что я люблю его,— отвечала безумная женщина.

Дорогой она еще больше рассердилась за то, что ее требуют от ее ангела Имшина к чурбану-мужу.

Председатель, как человек высокой практической мудрости, почти признавал необходимость, чтобы жена его изменила ему, и он только желал одного, чтобы это вышло, как выходит между образованными людьми.

— Вы любите? — повторил он более насмешливым, чем угрожающим голосом.

— Даже больше того: я беременна от него! — объявила Марья Николаевна.

Первым движением председателя было поколотить жену; но он удержался.

— В таком случае я засажу вас в вашей комнате и запру там! — проговорил он и взял в самом деле жену за руку, привел ее в комнату, запер за ней дверь и ключ положил к себе в карман; но, придя в кабинет свой, рассудил, что уж, конечно, он поступает в этом случае, как самый необразованный человек: жен запирали только в старину!

Он пошел и опять отпер двери.

— Я вас выпускаю, но только из дому вы шагу не смеете делать, а Имшину велю отказывать — слышите!

— Я готова повиноваться во всем вашей воле,— проговорила притворно покорным голосом жена; но когда, на другой день, председатель уехал в свою палату, она сама надела на себя салоп, сапоги, сама отворила себе дверь, вышла, с полверсты по крайней мере своими хорошенькими ножками шла по глубокому сумету, наконец подкликнула извозчика и велела везти себя к Имшину.

Узнав о побеге жены, председатель до приезда губернатора решительно недоумевал, что ему делать.

— Что такое, скажите мне на милость? — говорил тот, еще входя.

Председатель придал мрачную мину своему лицу.

— Что, я теперь вызывать его на дуэль, что ли, должен? — больше спросил он, чем обнаружил собственное свое мнение.

— Ни, ни, ни! Ни, ни, ни! — воскликнул губернатор.— Во-первых, он — мальчишка, вы — человек пожилой; он — военный, вы — штатский. Это значит смешить собой общество!

Губернатор, родом из польских жидов, чувствовал какое-то органическое отвращение к дуэлям и вообще в этом случае хлопотал, чтобы все-таки во вверенном ему крае не произошло комеражу. Председатель с своей стороны хоть и считал губернатора за очень недальнего человека, но в понятия его, как понятия светского господина, верил.

— В этом случае самое лучшее — презрение! — продолжал губернатор.— Все мы — я, вы, Кузьма, Сидор — все мы рогоносцы.

Председатель, пожалуй, готов бы был на презрение; но дело в том, что в душе у него против Имшина и жены бушевала страшная злоба, которую ему как-нибудь да хотелось же на них выместить.

— И этот господин очень странный,— говорил губернатор, ветрено постукивая своей саблей.— Сегодня... одна женщина... какая-то, должно быть, нищая... подала мне на него прошение... что он убил там ее дочь... девочку... четырнадцати лет... из пистолета, что ли, как-то застрелил.

— Девочку убил? — спросил председатель, и лицо его мгновенно просияло, как бы смазали его маслом.

— Убил!.. Я велел там следствие полицеймейстеру произвести.

— Этакие дела, я полагаю, нельзя так пропускать... Тут кровь вопиет на небо,— проговорил председатель чувствительным и в то же время внушающим губернатору голосом. Тот, кажется, несколько это понял.

— Я велел произвести самое строгое исследование, беспощадное!..

— Что он дворянин, так, пожалуй, откупится и отвертится! — продолжал подзадоривать губернатора председатель.

— Нет, у меня не отвертится, не бывает у меня этого! — петушился губернатор, и так как всегда чувствовал не совсем приятные ощущения, когда председатель, человек характера строгого, укорял его за слабость по службе, потому поспешил сократить свой визит.

— Ну, а вы пока до свидания, поуспокойтесь немного,— говорил он, вставая и надевая перчатки.

— Я поуспокоюсь! — сказал председатель в самом деле совершенно покойным голосом.

Зимнее солнце светило в окна гостиной Имшина: его кавказское оружие ярко блестело своим серебром и золотом. На турецком диване, стоящем под этим оружием, сидел сам Имшин в шелковом, стеганом и выложенном позументом архалуке. Марья Николаевна лежала у него на плече своей хорошенькой головкой; худоба ее в лице и полнота в стане стали еще заметнее.

Вошел лакей.

— Солдаты из полиции к вам пришли! — сказал он барину.

Имшин заметно встревожился; он сейчас же встал и вышел. Председательша последовала за ним беспокойным взглядом.

В дверях из передней в залу стояли полицейский солдат и жандарм.

— Что вам надо? — спросил их строго Имшин.

— В часть вас, ваше благородие, взять велено! — отвечал полицейский солдат глупым голосом.

— Как, в часть? — переспросил Имшин, более уже обращаясь к жандарму.

— Приказано-с! — ответил тот.

— Ну, ступайте, я сейчас приеду,— сказал Имшин не совсем уверенным голосом.

— Я, ваше благородие, на запятки, теперь выходит, стану к вам,— начал полицейский солдат тем же своим голосом.— Пристав так и говорил: «Не отпускай, говорит, его от себя!..»

— Убирайся ты к черту с своим приставом! Пошел вон!..— крикнул Имшин, наступая на солдата, и хотел его вытолкнуть за двери.

Тот стал упираться своим неуклюжим телом.

— Пошел и ты! — прибавил он жандарму.— На тебе рубль серебром, убирайтесь оба! Вот вам по рублю!

И он дал обоим солдатам по рублю.

Те ушли.

Имшин возвратился в гостиную; лицо его из бледного сделалось багровым.

— Что такое? — спрашивала председательша.— Тебя в часть? Зачем?

— Не знаю, черт их знает! — отвечал Имшин с не-

вниманием и торопливо стал переменять архалук на сюртук.

— Лошадь живее запрягать! — крикнул он.

Председательша подавала ему шляпу, палку, бумажник, но он как будто бы и не видел ее и, не простясь даже с ней, пошел и сел в сани.

Солдаты, получившие по рублю, сошли только вниз, от подъезда не отходили, и, когда Имшин понесся на своем рысаке, жандарм поскакал на лошади за ним, а бедный полицейский солдат побежал было пешком, но своими кривыми ногами зацепился на тротуаре за столбик, полетел головою вниз, потом перевернулся рожею вверх и лежит.

Марья Николаевна, видевшая всю эту сцену, несмотря на то, что была сильно встревожена, не утерпела и улыбнулась. Она ждала Имшина час, два; наконец, и лошадь его возвратилась. Марья Николаевна сошла задним крыльцом, в одном платье, к кучеру и спросила:

— Где барин — а?

— В части остался.

— Когда же он приедет?

— Неизвестно-с, ничего не сказал.

Марья Николаевна постояла немного, потерла себе лоб, потом велела подать салоп.

— Вези меня туда, в часть! — сказала она, садясь в сани, когда кучер только что было хотел откладывать лошадь.

Кучер неохотно стал опять на облучок и стал неторопливо поворачивать.

— Скорей, пожалуйста! — воскликнула она.

В части, в первой же комнате, Марья Николаевна увидела знакомого ей полицейского солдата, приходившего к ним поутру. На этот раз он был уже не в своей военной броне, а просто сидел в рубахе и ел щи, которые распространяли около себя вкуснейший запах.

— Где Имшин, барин, за которым ты приходил? — спросила она его.

— В казамат, ваше благородие, посажен.

— За что?

— Не знаю, ваше благородие. Он тоже говорил: «Поесть, говорит, мне надо... Ступай в трактир, принеси!» Я говорю: «Ваше благородие, мне тоже далеко идти нельзя. Вон вахмистр, говорю, у нас щи тоже варит и сту-

день теперь продает... Разе тут, говорю, взять... У нас тоже содержался барин, все его пищу ел».— «Ну, говорит, давай мне студеня одного».

— Пусти меня, проводи к нему!

— Нельзя, ваше благородие.

— Я тебе десять рублей дам!

— Помилуйте! Теперь квартальный господин скоро придет, невозможно-с!

— Ну, хоть записочку передай!

— Записочку давайте, ваше благородие. Он тоже просил было, чтобы водки... «Ваше благородие, хлещут, говорю, за это! Вот, бог даст, пообживетесь... Господин квартальный и сам, может, то позволит».

Выслушав солдата, Марья Николаевна и сама, кажется, не знала, что ей делать; в голове ее все перемешалось... Имшина отняли у нее... посадили в казамат... на студень... Что же это такое? Она села в сани и велела везти себя к мужу.

Председатель только что встал из-за стола и проходил в свой кабинет. Горничная едва успела вбежать к нему и сказать:

— Барыня наша приехала-с!

Председатель проворно сел в свои вольтеровские кресла и принял несколько судейскую позу. Марья Николаевна вошла к мужу совершенно смело.

— Имшин посажен в часть,— начала она,— это ваши штучки, и, если вы хоть сколько-нибудь благородный человек, вы должны сказать, за что?

Председатель улыбнулся.

— Я вашего Имшина ни собственного желания и никакого права по закону не имел сажать,— проговорил он.

— Кто ж его посадил?

— Это уж вы постарайтесь сами узнать: я этим предметом нисколько не интересуюсь.

— Его мог посадить один только губернатор. Я поеду к губернатору.

Председатель молчал, как молчат обыкновенно люди, когда желают показать, что решительно не принимают никакого участия в том, что им говорят.

— О, какие вы все гадкие! — воскликнула бедная женщина, всплеснув своими хорошенькими ручками, и, закрыв ими лицо свое, пошла.

— Ваш гардероб, вы сами за ним пришлете или мне прикажете прислать его вам? — сказал ей вслед муж.

Марья Николаевна ничего ему на это не ответила.

Председатель остался совершенно доволен собой. Он сам очень хорошо понимал, и с этим, вероятно, согласится и читатель, что во всей этой сцене вел себя как самый образованный человек; он ни на одну ноту не возвысил голоса, а между тем каждое слово его дышало ядом.

Марья Николаевна между тем села в сани и велела себя везти к губернатору. Кучер было обернулся к ней:

— Лошадь, сударыня, очень устала! Барин после гневаться будет.

— Вези! — вскрикнула она, и в ее нежном голосе послышалось столько повелительности, что даже с полулошадиной натурой кучер немножко струсил и поехал.

Губернатор еще не кушал, когда она к нему приехала. Дежурный чиновник, увидев председательшу, бросился со всех ног докладывать об ней губернатору. Тот, в свою очередь, тоже бросился к зеркалу причесываться: старый повеса в этом посещении ожидал кой-чего романического для себя.

— Pardon, madame...[1]. Позвольте вам предложить кресла.

Марья Николаевна села.

— Говорят, вы посадили Имшина,— вы знаете мои отношения к этому человеку; скажите, за что он посажен?

— Не могу, madame!

— Почему ж не можете?

Губернатор был в странном положении — сказать даме о такой вещи, которая, по его понятию, должна была убить ее; он решился лучше успокоить ее:

— Сказать вам этого я не могу, тем более что все это, может быть, пустяки, которые пустяками и кончатся, а между тем нам всем очень дорого ваше спокойствие; мы вполне симпатизируем вашему положению, как женщины и как прелестнейшей дамы.

— Не знаю, что вы со мной все делаете! Ах, несчастная, несчастная я! — воскликнула председательша и пошла, шатаясь, из кабинета.

Губернатор последовал за ней до самых саней с каким-то священным благоговением.

---

[1] Извините, сударыня... *(франц.)*

Дома она написала записку к Имшину:

«Я везде была и ни у кого ничего не узнала; напиши хоть ты, за что ты страдаешь, мучат тебя... Твоя».

На это она получила ответ:

«Все вздор, моя милая Машенька, проделки одних мерзавцев; посылаю тебе сто рублей на расход. Прикажи, чтобы хорошенько смотрели за лошадьми... Твой».

Никакое страстное письмо не могло бы так утешить бедную голубку, как эта холодная записка.

«Он спокоен; значит, в самом деле все вздор»,— подумала она, покушала потом немножко и заснула.

К подъезду между тем подъехала ее компаньонка Эмилия, с огромным возом гардероба Марьи Николаевны. Со свойственным ее чухонскому темпераменту равнодушием, она принялась вещи выносить и расставлять их. Шум этот разбудил Марью Николаевну.

— Кто там? — окликнула она.

Эмилия вошла к ней.

— Платья ваши Петр Александрыч прислал и мне не приказал больше жить у них.

— Ну, и прекрасно; оставайся здесь у меня.

Эмилия в церемонной позе уселась на одном из стульев.

— Ты слышала, Александра Иваныча в часть посадили?

— Да-с!

— Скажи, что про это муж говорит или кто-нибудь у него говорил; ты, вероятно, слышала.

— Девочку, что ли, он убил как-то!

— Какую девочку, за что?

— Мещанка там одна, нищенки дочь.

Марья Николаевна побледнела.

— Да за что же и каким образом?

— Играл с ней и убил.

— Что такое, играл с ней?... Ты дура какая-то... врешь что-то такое...

Эмилия обиделась.

— Ничего я не вру-с... все говорят.

— Как, не вру!.. Убил девочку — за что?

Эмилия некоторое время колебалась.

— На любовь его, говорят, не склонилась,— проговорила она как бы больше в шутку и отворотила лицо свое в сторону.

Марья Николаевна взялась за голову и сделалась совсем как мертвая.

— В этот самый вечер это и случилось, как мы были у него с катанья,— продолжала Эмилия.— Мужики на другой день ехали в город с дровами и нашли девочку на подгородном поле зарытою в снег и привезли в часть, а матка девочки и приходит искать ее. Она два дня уж от нее пропала, и видит, что она застрелена...

— Почему же девочку эту застрелил Александр Иваныч?..— спросила Марья Николаевна.

— Солдаты полицейские тут тоже рассказали: она, говорят, каталась на Имшиных лошадях со старухой, и прямо к нему они и проехали с катанья.

Молоденькое лицо Марьи Николаевны как бы в одну минуту возмужало лет на пять; по лбу прошли две складки; милая улыбка превратилась в серьезную мину. Она встала и начала ходить по комнате.

— Мужчина может это сделать совершенно не любя и любя другую женщину! — проговорила она насмешливым голосом и останавливаясь перед Эмилиею.

— Он, говорят, совершенно пьяный был,— подтвердила та.— Человека его также захватили, тот показывает: три бутылки одного рому он в тот вечер выпил.

— Каким же образом он ее убил?

Личико Марьи Николаевны при этом сделалось еще серьезнее.

— Сегодня полицеймейстер рассказывал Петру Александрычу, что Александр Иваныч говорит, что она сама шалила пистолетом и выстрелила в себя; а человек этот опять показывает — их врозь держат, не сводят,— что он ее стал пугать пистолетом, а когда она вырвалася и побежала от него, он и выстрелил ей вслед.

Дальнейшие ощущения моей героини я предоставляю читательницам самим судить.

У входа в домовую церковь тюремного замка стояли священник в теплой шапке и муфте и дьячок в калмыцком тулупе. Они дожидались, пока дежурный солдат отпирал дверь. Войдя в церковь, дьячок шаркнул спичкой и стал зажигать свечи. Вслед же за ними вошла дама вся в черном. Это была наша председательша. Священник, как кажется, хорошо ее знал. Она подошла к нему под благословение.

— Холодно? — сказал он.

— Ужасно! Я вся дрожу,— отвечала она.

— Не на лошади?

— Нет, пешком... У меня нет лошади.

— А Александра Иваныча кони где? Все, видно, проданы и в одну яму пошли.

— Все в одну! — отвечала Марья Николаевна грустно-насмешливым голосом.— Но досаднее всего обман: каждый почти из них образ передо мной снимал и клялся: «Не знаем, говорят, что будет выше, а что в палате мы его оправдаем».

— Ну, да губернатора тоже поиспугались.

— Да что же губернатору-то?

— А губернатор супруга вашего побоялся: еще больше, говорят, за последнее время ему в лапки попал.

— Ну да, вот это так... но это вздор — это я разоблачу...— проговорила Марья Николаевна, и глаза ее разгорелись.

— На каторгу приговорили?

— На каторгу, на десять лет, и смотрите, сколько тут несправедливости: человек обвиняется или при собственном сознании, или при показании двух свидетелей; Александр Иваныч сам не сознается; говорит, что она шалила и застрелила себя,— а свидетели какие ж? Лакей и Федоровна! Они сами прикосновенны к делу. А если мать ее доносит, так она ничего не видала, и говорит все это она, разумеется, как женщина огорченная...

— В поле он мертвую-то свез... Зачем? Для чего?

— Прекрасно-с!.. Но ведь он человек: мог перепугаться; подозрение прямо могло пасть на него, тем более что от другой матери было уж на него прошение в этом роде, и он там помирился только как-то с нею — значит, просто растерялся, и, наконец, пьян был совершенно... Они вывезли в поле труп и не спрятали его хорошенько, а бросили около дороги — ну, за это и суди его как за нечаянный проступок, за неосторожность; но за это не каторга же!.. Судить надобно по законам, а не так, как нам хочется.

Любовь сделала бедную женщину даже юристкою.

— Это все я раскрою,— продолжала она все более и более с возрастающим жаром,— у меня дядя член государственного совета; я поеду по всем сенаторам, прямо им скажу, что я жена такого-то господина председателя,

полюбила этого человека, убежала к нему, вот они и мстят ему — весь этот чиновничий собор ихний!

— Дай бог, дай бог!..— произнес священник со вздохом.— Вас-то очень жаль...

— О себе, отец Василий, я уж и думать забыла; я тут все положила: и молодость и здоровье... У меня вон ребенок есть; и к тому, кажется, ничего не чувствую по милости этого ужасного дела...

Священник грустно и про себя улыбнулся, а потом, поклонившись Имшихе (так звали Марью Николаевну в остроге), ушел в алтарь.

Она отошла и стала на женскую половину. Богомольцев почти никого не было: две — три старушонки, какой-то оборванный чиновник, двое парней из соседней артели.

Дежурный солдат стал отпирать и с шумом отодвигать ставни, закрывающие решетку, которая отделяла церковь от тюремных камор. Вскоре после того по дальним коридорам раздались шаги. Это шли арестанты к решетке. К левой стороне подошли женщины, а к правой мужчины. Молодцеватая фигура Имшина, в красной рубашке и бархатной поддевке, вырисовалась первая. Марья Николаевна, как уставила на него глаза, так уж больше и не спускала их во всю службу. Он тоже беспрестанно взглядывал к ней и улыбался: в остроге он даже потолстел, или, по крайней мере, красивое лицо его как-то отекло.

Когда заутреня кончилась, Имшин первый повернулся и пошел. За ним последовали и другие арестанты. Марья Николаевна долго еще глядела им вслед и прислушивалась к шуму их шагов. Выйдя из церкви, она не пошла к выходу, а повернула в один из коридоров. Здесь она встретила мужчину с толстым брюхом, с красным носом и в вицмундире с красным воротником — это был смотритель замка. Марья Николаевна раскланялась с ним самым раболепным образом.

— Я прошу вас сказать Александру Иванычу,— начала она заискивающим голосом,— что я сегодня выезжаю в Петербург; мне пишут оттуда, что через месяц будет доклад по его делу в сенате; ну, я недели две тоже проеду, а недели две надобно обходить всех, рассказать всем все...

Смотритель на все это только кивал с важностью головой.

— Тут вот я ему в узелочке икры принесла и груздей

соленых — он любит соленое,— продолжала она прежним раболепным тоном, подавая смотрителю узелок.

— Пьянствует он только, сударыня, очень и буянит,— проговорил тот, принимая узелок.— Этта на прошлой неделе вышел в общую арестантскую, так двух арестантов избил; я уж хотел было доносить, ей-богу!

— Вы ему, главное дело, водки много не давайте,— совсем нельзя ему не пить — он привык, а скажите, что много нельзя; я не приказала: вредно ему это.

— Нет-с, какое вредно — здоров очень! — возразил простодушно смотритель, так что Марья Николаевна немножко даже покраснела.

— Так, пожалуйста, не давайте ему много пить,— прибавила она еще раз и пошла.

На углу, на первом же повороте, на нее подул такой ветер, что она едва устояла; хорошенькие глазки ее от холода наполнились слезами, красивая ножка нетвердо ступала по замерзшему тротуару; но она все-таки шла, и уж, конечно, не физические силы ей помогали в этом случае, а нравственные.

19 мая 184... было довольно памятно для города П... В этот день красавца Имшина лишали прав состояния. Сама губернаторша и несколько дам выпросили в доме у головы позволение занять балкон, мимо которого должна была пройти процессия. В окнах всех прочих домов везде видны были головы женщин, детей и мужчин; на тротуарах валила целая масса народу, а с нижней части города, из-под горы, бежала еще целая толпа зевак.

На квартире прокурора, тоже находящейся на этой улице, сидели сам он — мужчина, как следует жрецу Фемиды, очень худощавый, и какой-то очень уж толстый помещик.

— Она при мне была у министра,— говорил тот,— так отчеканивает все дело...

Прокурор усмехнулся.

— У сенаторов, говорят, по нескольку часов у подъезда дожидалась, чтобы только попросить.

— Любовь! — произнес прокурор, еще более усмехаясь.

— Но как хотите,— продолжал помещик,— просить женщине за отца, брата, мужа, но за любовника...

— Да...— произнес протяжно и многозначительно прокурор.

— Тем более, говорят, я не знаю этого хорошенько, но что он не застрелил девочку, а пристрелил ее потом.

— Да, в деле было этакое показание...— начал было прокурор, но в это время раздался барабанный стук.— Едут,— сказал он с каким-то удовольствием.

Из ворот тюремного замка действительно показалась черная колесница. Имшин сидел на лавочке в той же красной рубахе, плисовой поддевке и плисовых штанах. Лицо его, вследствие, вероятно, все-таки перенесенных душевных страданий, от окончательно решенной участи, опять значительно похудело и как бы осмыслилось и одухотворилось; на груди его рисовалась черная дошечка с белою надписью: *Убийца...*

Из одного очень высокого дома, из окна упал к нему венок. Это была дама, которую он первую любил в П... С ней после того сейчас же сделалось дурно, и ее положили на диван. На краю колесницы, спустивши ноги, сидел палач, тоже в красной рубахе, синей суконной поддевке и больше с глупым, чем с зверским лицом.

В толпе народа, вместе с прочими, беспокойной походкой шла и Марья Николаевна; тело ее стало совершенно воздушное, и только одни глаза горели и не утратили, кажется, нисколько своей силы. Ей встретился один ее знакомый.

— Марья Николаевна, вы-то зачем здесь?.. Как вам не грех? Вы только растревожитесь.

— Нет, ничего! С ним, может быть, дурно там сделается!

— Да там есть и врачи и всё... И отчего ж дурно с ним будет?

Дурно с преступником в самом деле не было. Приговор он выслушал с опущенными в землю глазами, и только когда палач переломил над его головой шпагу и стал потом не совсем деликатно срывать с него платье и надевать арестантский кафтан, он только поморщивался и делал насмешливую гримасу, а затем, не обращая уже больше никакого внимания, преспокойно уселся снова на лавочку. На обратном пути от колесницы все больше и больше стало отставать зрителей, и когда она стала приближаться к тюремному замку, то на тротуаре оставалась одна только Марья Николаевна.

— Я уж лошадь наняла, и как там тебя завтра или послезавтра вышлют, я и буду ехать за тобой! — прогово-

рила она скороговоркой, подбегая к колеснице, когда та въезжала в ворота.

— Хорошо! — отвечал ей довольно равнодушным голосом Имшин.

Оставшись одна, Марья Николаевна стыдливо обдернула свое платье, из-под которого выставлялся совершенно худой ее башмак: ей некогда было, да, пожалуй, и не на что купить новых башмаков.

В теплый июльский вечер по большой дороге, между березок, шла партия арестантов. Впереди, как водится, шли два солдата с ружьями, за ними два арестанта, скованные друг с другом руками, женщина, должно быть, ссыльная, только с котомкой через плечо, и Имшин. По самой же дороге ехала небольшая кибиточка, и в ней сидела Марья Николаевна с своим грудным ребенком. Дорога шла в гору. Марья Николаевна с чувством взглянула на Имшина, потом бережно положила с рук спящего ребенка на подушку и соскочила с телеги.

— Ты посмотри, чтобы он не упал,— сказала она ехавшему с ней кучером мужику.

— Посмотрю, не вывалится,— отвечал тот грубо.

Марья Николаевна подошла к арестантам.

— Ты позволь Александру Иванычу поехать: он устал,— сказала она старшему солдату.

— А если кто из бар наедет да донесут,— засудят!..— отвечал тот.

— Если барин встретится, тот никогда не донесет — всякий поймет, что дворянину идти трудно.

— И они вон тоже ведь часто ябедничают! — прибавил солдат, мотнув головой на других арестантов.

— И они не скажут. Ведь вы не скажете? — сказала Марья Николаевна, обращаясь ласковым голосом к арестантам.

— Что нам говорить, пускай едет! — отвечали мужчины в один голос, а ссыльная баба только улыбнулась при этом.

Имшин ловко перескочил небольшую канавку, отделяющую березки от дороги, подошел к повозке и сел в нее; цепи его при этом сильно зазвенели.

Марья Николаевна проворно и не совсем осторожно взяла ребенка себе на руки, чтобы освободить подушку

Имшину, он тотчас же улегся на нее, отвернулся головой к стене кибитки и заснул. Малютка между тем расплакался. Марья Николаевна принялась его укачивать и стращать, чтобы он замолчал и не разбудил отца.

Когда совсем начало темнеть, Имшин проснулся и зевнул.

— Маша, милая, спроси у солдата, есть ли на этапе водка?

— Сейчас; на, подержи ребенка,— прибавила она и, подав Имшину дитя, пошла к солдату.

— На этапе мы найдем Александру Иванычу водки? — спросила она.

— Нет, барыня, не найдем; коли так, так здесь надо взять; вон кабак-то,— сказал солдат.

Партия в это время проходила довольно большим селом.

— Ну, так нà вот, сходи!

— Нам, барыня, нельзя; сама сходи.

— Ну, я сама схожу,— сказала Марья Николаевна весело и в самом деле вошла в кабак. Через несколько минут она вышла. Целовальник нес за ней полштофа.

— Что за глупости — так мало... каждый раз останавливаться и брать... дай полведра! — крикнул Имшин целовальнику.

Марья Николаевна немножко изменилась в лице.

Целовальник вынес полведра, и вместе с Имшиным они бережно уставили его в передок повозки.

— Зачем ты сама ходила в кабак? Разве не могла послать этого скота? — сказал довольно грубо Имшин Марье Николаевне, показывая головой на кучера.

— А я и забыла об нем совершенно, не сообразила!..— отвечала она кротко.

Печаль слишком видна была на ее лице.

Этап находился в сарае, нанятом у одного богатого мужика.

— В этапе вам, барыня, нельзя ночевать; мы запираемся тоже...— сказал Марье Николаевне солдат, когда они подошли к этапному дому.— Тут, у мужичка, изба почесть подле самого сарая: попроситесь у него.

Марья Николаевна попросилась у мужика, тот ее пустил.

— Там барин один идет, дворянин, так чтобы поесть ему! — сказала она хозяину.

— Отнесут; солдаты уж знают, говорили моей хозяйке.

Марья Николаевна, сама уставшая донельзя, уложила ребенка на подушку, легла около него и начала дремать, как вдруг ей послышалось, что в сарае все более и более усиливается говор, наконец раздается пение, потом опять говор, как бы вроде брани; через несколько времени двери избы растворились, и вошел один из солдат.

— Барыня, сделайте милость, уймите вашего барина!

— Что такое? — спросила Марья Николаевна, с беспокойством вставая.

— Помилуйте, с Танькой все балует... Она, проклятая, понесет теперь и покажет, что на здешнем этапе,— что тогда будет?

Марья Николаевна, кажется, не расслышала или не поняла последних слов солдата и пошла за ним. Там ей представилась странная сцена: сарай был освещен весьма слабо ночником. На соломе, облокотившись на деревянный обрубок, полулежал Имшин, совсем пьяный, а около него лежала, обнявши его, арестантка-баба.

Марья Николаевна прямо подошла к ней.

— Как ты смеешь, мерзавка, быть тут? Солдаты, оттащите ее! — прибавила она повелительным голосом.

Солдаты повиновались ей и оттащили бабу в сторону.

— А ты такая же, как и я — да! — бормотала та.

— И вы извольте спать сию же минуту,— прибавила она тем же повелительным голосом Имшину; лицо ее горело при этом, ноздри раздувались, большая артерия на шейке заметно билась.— Сию же секунду! — прибавила она и начала своею слабою ручкою теребить его за плечо, как бы затем, чтобы сделать ему больно.

— Поди, отвяжись! Навязалась! — проговорил он пьяным голосом.

— Я вам навязалась, я? — говорила Марья Николаевна — терпения ее уж больше не хватало.— Низкий вы, подлый человек после этого!

— Я бью по роже, кто мне так говорит,— воскликнул Имшин и толкнул бедную женщину в грудь.

Марья Николаевна хоть бы бровью в эту минуту пошевелила.

— Ничего; теперь все уж кончено. Я вас больше не

люблю, а презираю,— проговорила она, вышла из этапа и в своей повозочке уехала обратно в город.

История моя кончена. Имшина, как рассказывали впоследствии, там уж в Сибири сами товарищи-арестанты, за его буйный характер, бросили живым в саловаренный котел. Марья же Николаевна... но я был бы сочинителем самых лживых повестей, если б сказал, что она умерла от своей несчастной любви; напротив, натура ее была гораздо лучшего закалу: она даже полюбила впоследствии другого человека, гораздо более достойного, и полюбила с тем же пылом страсти.

— Господи, что мне нравилось в этом Имшине,— решительно не знаю!..— часто восклицала она.

— Стало быть, и героиня ваша лгунья? — заметят мне, может быть, читательницы.

Когда она любила, она не лгала, и ей честь делает, что не скрывала потом и того презрения, которое питала к тому же человеку. За будущее никто не может поручиться: смеем вас заверить, что сам пламенный Ромео покраснел бы до конца ушей своих или взбесился бы донельзя, если бы ему напомнили, буква в букву, те слова, которые он расточал своей божественной Юлии, стоя перед ее балконом, особенно если бы жестокие родители не разлучили их, а женили!

УЖЕ ОТЦВЕТШИЕ ЦВЕТКИ[1]

I

КАПИТАН РУХНЕВ

Это было лет двадцать пять назад. Я служил чиновником особых поручений при м — м военном губернаторе. Однажды я получил от него повестку немедленно явиться к нему. Я поехал и застал губернатора в сильно раздраженном состоянии.

— Поезжайте сейчас в острог,— начал он сердитым голосом,— там содержится отставной капитан Рухнев, скажите ему от моего имени, что если он еще раз позволит себе шутки в сношениях с начальствующими лицами, так я посажу его в одиночное заключение!

И с этими словами губернатор подал мне данное капитаном Рухневым местному полицеймейстеру объяснение, которое было такого рода: «На предъявленное мне вашим высокородием взыскание имею честь объяснить, что оное взыскание я признаю вполне законным; но удовлетворить его затрудняюсь, потому что, как известно это и вашему высокородию, имею единственное только благоприобретенное состояние — 4-й номер в м—м тюремном замке, который, если ваше высокородие найдете это законным, предоставляю продать с аукциона для уплаты моего долга или предоставить оный и без торгов во владение г. кредитора, каковый номер он может занять, когда только пожелает!»

---

[1] Это ряд рассказов из жизни и типов 40—50-х годов. (*Прим. автора.*)

— Пугните его хорошенько и напомните ему, что я острот в службе не люблю! — заключил губернатор.

Я поехал. Мне давно хотелось посмотреть на Рухнева и побеседовать с ним. По слухам, он был человек умный, большой говорун и ни перед законом, ни перед своей совестью страха не ведавший. Караульный унтер-офицер провел меня к нему в номер. При входе моем Рухнев, окинув меня с некоторым удивлением глазами, вежливо поклонился мне. Я сказал ему свое звание и фамилию. На губах Рухнева пробежало что-то вроде усмешки. Я объяснил ему, в чем состояло мое поручение. Тут Рухнев явно уже усмехнулся и, пригласив меня сесть, сам тоже опустился на свое кресло. Видимо, что он пообжился и пообзавелся в своем номере: у него был письменный стол, на котором стояли чернильница, счеты, лежала засаленная колода карт, а около постели лежала огромная датская собака. Рухнев, заметив, что я осматриваю его номер, поспешил сказать:

— Я надеюсь, что вы нашему свирепому начальнику губернии не опишете подробно моего помещения: для заключенного в этом только и отрада!

— Нет, не опишу,— отвечал я.

Рухнев взял меня за руку и крепко пожал ее. По-видимому, ему было лет около сорока. Одежда на нем была не арестантская и состояла из нанкового казакина, на котором висел даже какой-то крестик, и из широких черных, с красным кантом, шаровар. Он был полноват, небольшого роста, с выдвинутыми, как у рака, вперед глазами, которые он закрывал очками; волосы и усы имел подстриженными и вообще в лице своем являл более дерзкое, чем умное выражение.

— Вы изволите говорить, что начальник губернии велел мне напомнить, что он не любит в службе шуток,— заговорил он.— Помню-с это, очень хорошо помню, потому что он выгнал даже меня из службы за мою шутливость.

— За одну только шутливость? — спросил я.

— Да-с!..— подтвердил Рухнев и, заметив во мне любопытство, он продолжал: — Дело происходило таким манером: я служил исправником, и не по выборам, а по личному назначению самого начальника губернии; сверх того, за мою распорядительность мне, опять-таки лично им же, поручено было смотреть за благочинием и благо-

устройством присутственных мест. Смотрю я за всем этим: только раз зимой в сени присутственных мест затесалась ворона и, вероятно, перепугавшись и удивившись, где она очутилась, начала метаться по окнам и перебила все стекла. Что тут прикажете делать?.. Медлить нельзя было, снежищу наваливало каждое утро в сени по колено!.. Я велел стекла вставить и доношу губернскому правлению, которое тогда заведывало строительною частию, что, к великому прискорбию, в здание присутственных мест влетела ворона и, по глупому своему птичьему разуму, перебила все стекла, каковые мною уже заменены новыми и вместе с тем просил распоряжения о возврате мне израсходованной мною на сей предмет суммы. Губернское правление, получив этот рапорт, вошло в такого рода рассуждение, что так как влетение и разбитие стекол вороною показывает явную небрежность со стороны лиц, смотрению которых непосредственно подлежат присутственные места, то израсходованную сумму возложить на виновных, то есть, значит, прямо на мой счет... Мне показалось это несправедливым. В ответ на такое распоряжение я пишу, что, по строгим соображениям настоящего дела, виновною в разбитии стекол оказывается одна только ворона; но что для взыскания с нее мне неизвестно ни места жительства вороны, а равно имущества и капиталов, ей принадлежащих,— в ведомстве моем не состоит, а потому покорнейше прошу о разыскании того и другого учинить должную публикацию; приметы же вороны обыкновенные: мала, черна, глупа!..

Я невольно захохотал.

— Вы вот смеетесь, и я думал, что посмеются только; ан вышло не то-с! — слегка воскликнул Рухнев.— Начальнику губернии подшепнул ли кто, или самому ему помстилось, что будто я под последними словами моего рапорта разумел его супругу, которая действительно была черна, глупа и мала; и он мне, рабу божию, предложил через одно лицо подать в отставку, угрожая в противном случае уволить меня по третьему пункту без прошения,— хорошо?

— Хорошо,— согласился и я, но вслед за тем прибавил: — Неужели же это одно только и было причиной вашей отставки?

— Конечно, не одно!..— воскликнул откровенно Рухнев.— Я как теперь понимаю, главная моя ошибка была, что я с духовенством и дворянством не умел ладить. Долж-

ность исправника прежде всего дипломатическая: с мужика он хоть шкуру дери — это ничего,— похвалят еще; но попа и дворянина за дело даже не трогай, а по головке его гладь. И, как вот наблюдал я над этим нашим сельским духовенством, так который поп еще пьет, из таких бывают честные и добрые; но которые совершенно трезвые — спаси бог от них всякого; всем они завидуют, против всех злобствуют, и если уж кому крупица от них перепала,— они тебе во всю жизнь этого не забудут. Какой случай у меня был с двумя попами: один из них, с виду этакой степенный, осанистый, всякое дело начинал с крестом да с молитвою, а сам между тем лошадьми торговал, как цыган какой-нибудь: расплодит, знаете, жеребят и начинает их кормить собранным с приходу печеным хлебом, и лошади выходили у него хорошие, так что в околотке их называли особым именем: *поповские выкормки!..* Мне тоже тогда... только что я еще определился в исправники...— коренная понадобилась. Присмотрел я у этого попа одного меринка. «Продайте, говорю, святой отец!» — «Купите!» — говорит.— «А что цена?» — «Четыреста рублей!» Меня как варом обдало. «Святой отец, говорю, я исправник! С меня можно и подешевле взять... Если вы пастырь духовный и блюдете вашу паству от греха, так я, говорю, храню вас от конокрадов».—«Не меня, говорит, одного вы храните, а весь уезд... что ж мне за всех откупаться!..» — и ни копейки не спустил. Как хотите, это обидно... Я не даром у него просил выкормка: возьми с меня цену, но только человеческую, а не поповскую... Думаю про себя: «Ну смотрите, святой отец, не попадитесь мне сами... Тогда и я запрошу с вас мзду не малую»,—и точно что очень скоро вышел случай к тому: еду я раз мимо села этого священника в день преображенья... идет служба... я в церковь и, по обыкновению, прямо направился в алтарь, где и встал в уголок... В успенки, как вы знаете, наши деревенские бабы целыми селеньями причащают своих детей маленьких: мрет тех очень много в эту пору. Ягод они, конечно, наедаются и животишки себе расстраивают... Только-с, когда святой иерей наш — и скуфьеносец он был, заметьте,— вышел со святыми дарами и стал совершать причащение, слышу, что такое это?.. Рев, визг и плач раздался по церкви неописанный!.. Я испугался даже; выглянул из-за северных врат, смотрю: другого уж мальчика лет трех подносят к причащению, веселенький этакой, улыбается, а как

причастили — заплачет, заорет, а который поменьше, так матери, видно, и унять никак не могут, корчится и кричит младенец почти до черноты... А тут как нарочно, когда я обернулся опять в алтарь, смотрю: около самого меня на окне стоит бутылка с красным вином, употребляемым для причастия, и не закупоренная даже... Я, по невольному любопытству, хлебнул из нее и чуть сам не заревел, как младенцы те. Вместо кагора, как предписано еще регламентом Петра Великого, оказался чихирь последнего кабацкого свойства, так что ни один пьяный приказный за деньги пить не станет. Хотел было тут же начать дело, но, думаю, в храме божием, во время священнодействия, заводить уголовщину — грех! Промолчал-с! Но тем не менее на той же неделе постарался заехать в заштатный городок Дыбки, где есть ренской погребок, из которого, я знаю, для всего околотка в церкви берут вино. Я прямо в этот погребок: дурака тут какого-то сидельца краснорожего, над всем надзирающего, послал шампанского мне заморозить, а сам немедля к приходо-расходной книге и на четвертой же странице встречаю расписку отца Николая Магдалинского, этого самого скуфьеносца и лошадиного барышника, в заборе красного вина по рублю серебром за ведро, тогда как настоящего кагора меньше десяти рублей серебром не купишь,— разница, значит, значительная! Я этот листок выдрал и в карман, а в первое же воскресенье опять к обедне в село и только уж не в сюртучке штатском — а в вицмундире и при всех своих крестах и регалиях. В алтарь тоже на этот раз не пошел, а стал направо на дворянской стороне. Опять идет причащенье-с, опять мальчишки плачут, так что и утешить их ничем не могут. Наконец, отец Николай выходит с крестом... Я подхожу и говорю ему: «Отец протоиерей, я желаю с вами объясниться по одному делу!» Он, надо полагать, сметил, что что-то неладное для него выходит, засеменил, заюлил и в гости меня к себе зовет. Я пошел к нему и прямо начал с того, что вот, посещая нередко в успенский пост церковь его, я заметил, что при причащении младенцев, особенно грудных, они очень сильно кричат и плачут, а потому нашел нужным исследовать причины тому, каковая и оказалась в дурном качестве вина! Смутился попенка. «У меня, говорит, вино хорошее покупается!» — «Хорошим, я говорю, оно никак не может быть, потому что вы платите по рублю серебром за ведро, а кагор стоит десять рублей!» —

«Как же, говорит, ваше высокородие, вы это знаете?» — «Да я, говорю, видел вашу расписку в книге в погребке и листок этот выдрал». Смутился поп сильно.

— Чего ж он мог смутиться!—невольно перебил я Рухнева.— Дети плакали вовсе не от вина, а что их поражала вся эта церемония!

— Знаю-с это я! — подхватил он, лукаво подмигнув.— И поп это понимал, но заноза тут, чего он испугался, была не в том-с, а что, покупая красное вино по рублю серебром, он ставил его, может быть, в отчете церковном пять или десять рублей, вот главным образом в какую жилу я бил и, кажется, попал в нее, потому что отец скуфьеносец поспустил с себя немного важности. «Что ж,— спрашивает он меня,— вы можете мне этим листом сделать?» Я говорю: «Я не знаю; я представлю его губернатору при объяснительном рапорте, а тот, вероятно, препроводит его к архиерею, который, чего доброго, передаст дело в консисторию». Ну, а для всякого попа, знаете, попасть в лапы консистории все равно, что очутиться на дороге между разбойниками — оберут нагло! «Вы, говорит, совсем уж, видно, очернить меня хотите!..» — «Я, говорю, чернить вас вовсе не желаю, а исполняю свой долг!..» — «Нет, говорит, вы не долг свой исполняете, а потому что вы злобу против меня имеете за выкормка... так извольте, говорит, я вам его подарю».— «Подарков, говорю, я не принимаю, а купить — куплю».— «Прошу вас о том!» — «Что же цена?» — «Что дадите». Я подумал: купить у него совсем дешево — подло. «Сто целковых, говорю, дам!» — «Берите-с»,— говорит, и этаким печальным голосом; а на поверку вышло, что выкормок этот никуда не годная лошадь, только что толст, а ленивый, сырой, так что сто целковых цена красная за него была; но попу, по жадности поповской, казалось, что я чуть его не разорил, и принялся он кричать по уезду, что я с него ни за что, ни про что взял выкормка даром! «Ах ты, лживая душа», — думаю, и вся внутренность во мне, знаете, перевернулась от злости за такую клевету... Я дал себе слово во что бы ни стало поднять опять дело об чихире; прямо мне это не удалось, но косвенно, по крайней мере: был-с у отца Магдалинского брат родной, тоже священник в маленьком, бедном приходе... Был он вдов-с и работницу держал молодую, что по правилам церковным воспрещается, и однажды, когда мне как-то случи-

лось быть в его приходе на весьма продолжительном следствии, слышу я тут, что работница попа беременна-с! Ну и бог, значит, с ней!.. Потом говорят, что работница родила... опять, значит, слава богу — царю прибыль, кантонист новый... Далее меня извещают, что работница эта бегает по селу и плачется, что младенец у нее занедужил, а там и помер,— и это, думаю, возможно; однако все-таки поручил становому узнать: из какой именно деревни работница попа. Дознано-с. Я опять поручаю становому донести, нет ли в этой деревне у кого-либо из крестьян подкидышей... «Есть»,— говорят. «У кого?» — «У старика Фадея».— «А как этому Фадею приходится работница попа?» — «Дочерью!» Дело, значит, ясное. У нас обыкновенно все солдатки, коли родят мальчика, так, чтобы избавить его от солдатства, подкидывают отцам своим, матерям, дядям, сестрам, у кого кто есть. Но тут меня заинтересовало другое обстоятельство: все говорят, что ребенок у работницы помер; значит, он и похоронен. Еду я в это село и спрашиваю священника, что действительно ли проживающая у него в работницах солдатка родила, что ребенок у ней будто бы помер и похоронен при его церкви? «Действительно-с»,— говорит.— «Но каким же образом,— возражаю я ему,— до меня дошли довольно достоверные слухи, что ребенок этот жив и подкинут к деду?» Поп, как рак вареный, покраснел. «Нет-с, говорит, как это возможно,— помилуйте!» — «Миловать я, говорю, тут не вправе, а вы извольте мне объяснить: какого именно числа работница родила, когда у ней умер ребенок, а также покажите мне и его могилку». Поп совсем растерялся, завилял: «Я не знаю, я не помню!» Тогда я работницу его за бока; та тоже мялась-мялась, наконец, показала могилку. Я распорядился могилку эту разрыть; однако говорят, что поп не пускает, запер даже калитку и ворота ограды и что на защиту его прибыл даже благочинный. Ну что ж, милости просим! Вижусь я на другой день с этим благочинным, начинается между нами спор. «На каком основании,— говорит мне он,— вы хотите произвести кощунство на церковном погосте, не пригласив даже депутата с духовной стороны?» — «Да вот извольте, говорю, я вас приглашаю,— благо вы прибыли,— я начинаю дознание по рапорту станового пристава!» Благочинный видит, что меня не напугаешь; а потому, содрав с попа многие динарии, уехал к себе восвояси, как бы ничего тут не зная и не ве-

дая. Я, однако, могилку раскопал при понятых, вынул оттуда гробок, раскрыл его, и оказалось, что в нем похоронен был не младенец, а кошка мертвая, и, знаете, не просто, а в этакой тряпке, как бы в саване.

— Почему же они не пустой гробик похоронили? — невольно перебил я Рухнева.

— Точно такой же вопрос и я сделал работнице. Она, конечно, разревелась и говорит, что пустой гробик ей показалось грешно похоронить, а у них тем временем кошечка ее любимая околела, она ее и похоронила! А?.. Умница какая! Пустой гробик хоронить, по ее, грех, а с кошкой — ничего!.. Я вам говорю — все эти наши русские бабы дура на дуре, свинья на свинье.

— Но священник знал, кого он хоронит? — спросил я.

— Конечно, знал!.. Из его же дома увезли ребенка подкидывать, да вряд ли не сам он это дело и творил, но он, без сомнения, заперся, а также и работница на него не показала. Тем не менее, однако, я обо всем этом деле донес губернатору, так как тут уж действительно производится кощунство; а кроме того, чинится укрывательство слуг царя, долженствующих поступать в кантонисты; а также кстати присоединил и об беспорядках братца родного этого священника, торгующего лошадьми и покупающего вместо кагора чихирь астраханский.

— Поблагодарили они, я думаю, вас за это,— заметил я.

— Благодарить-то, к несчастию, не за что было,— воскликнул злобно Рухнев,— их пальцем никто не тронул, потому что черномазая супруга губернатора...— я надеюсь, что вы не передадите ничего из моих слов губернатору, хотя, впрочем, и передайте, пожалуй, мне все равно!..— супруга губернатора, как всем известно, ханжа великая, водится с архиереями, попами и в то же время держит мужа под башмаком... и можете судить, что для меня из всего этого произошло.

— Но вы упомянули, что и с дворянством тоже не ладили? — спросил я.

— Как вам сказать: с дворянством средней руки — ничего, я не ссорился особенно и даже хлебосольничал им: всегда уж, кто из них в город приезжал, прямо ко мне: обедает, днюет, а другой и ночует у меня; но вот высшему дворянству, этим, как их там называют, нашим козырным тузам, пришелся не по вкусу, и главным образом на-

скочил я тут на некоего князя Архарина, самого богатого здешнего помещика и весьма важной особы в Петербурге, благодетеля, по наружности, всех чиновников; им еще издавна предписано было его вотчинному начальству преподносить к рождеству и перед пасхой всей земской полиции праздничные деньги, отводить чинам оной при наезде их удобные квартиры, поставлять содержание и лошадей; но меня, конечно, этим не умаслишь: дружба дружбой, а служба службой! Вышел такой казус: назначен был ко мне в уезд на стоянку полк,— а надобно сказать, что все мужики боятся таких стоянок пуще черта, потому что солдаты, чтò я знаю уж по своей военной службе, объедают мужиков, да еще вдобавок развращают ихних баб и девок всплошь... Что хотите мужики каждой деревни готовы дать, чтобы не было полковых стоянок, а это зависит главным образом от исправников... Сижу я раз у городничего и играю с ним в преферанс, вдруг вижу, что его вызвали в переднюю к карташке... Потолковали они там между собою, и городничий опять возвратился играть,— дрянь этакой был, размазня. «Что такое, спрашиваю, не случилось ли чего-нибудь?..» — «Да говорят,— зашамкал он,— что бурмистр князя Архарина другой день здесь в городе пьянствует, буянит, колотит в трактире посуду, стекла!» — «Что ж, говорю, велите его посадить в кутузку»,— и тут вдруг, по моей полицейской сметке, пришло мне в голову: бурмистр княжеский кутит, и не на свои, разумеется, деньги, а на княжеские, между тем идет разверстка по солдатскому постою,— не на этот ли предмет он учинил сбор с крестьян и пропивает его? «Вы, однако,— говорю городничему,— прикажите попридержать этого пьяницу в полиции, потому что я нюхом чувствую, что тут что-то нечисто». И так меня стала моя мысль подмывать, что я, не кончив даже пульки, уехал домой, сел в тарантас и отправился в село Зиньково — главный пункт всех княжеских имений; спрашиваю: «Где бурмистр?..» — «В отлучке»,— говорят... Я велел сотским, которые были половчее, разведать, не происходило ли чего особенного в вотчинной конторе князя, и оказалось, что там случилось точь-в-точь, что я предполагал: была в недавнее время мирская сходка мужиков и собрана с них значительная сумма на откуп от солдатского постоя; сверх того: сбор этот был произведен на мое имя... Тут уж я не на шутку взбесился: послал двух сотских в уездный город и велел им, по бума-

ге от меня, взять у городничего бурмистра, привезти его ко мне живого или мертвого, связанным или несвязанным. Поутру доставили мне моего голубчика... Рожа у него, я вам говорю, была на облик человеческий непохожа: оплывшая, вся в синяках, исцарапана, в крови... Видно, его самого тоже тузили в трактире не жалеючи. «Где деньги, которые ты собирал на мое имя?» — спрашиваю его прежде всего. Он мне в ноги. «Виноват, говорит, деньги одни прогулял, а другие украли у меня».— «Врет»,— думаю и велел его раздеть догола... Денег не оказалось... успел уж каналья передать их кому-либо из своих!.. Имея все это в виду, я посек его и не очень сильно, и спрашиваю вас теперь, сделал я в этом случае что-нибудь противузаконное?

— Сделали,— сказал я ему откровенно.

Рухнев гордо и с удивлением выпучил на меня через очки свои глаза.

— Вы должны были бы не сечь бурмистра, а произвести формальное следствие об его поступках,— добавил я.

— О хо, хо, хо! — воскликнул Рухнев.— Вы поэтому не понимаете полицейской службы. Как нам заводить письменные дела о плутнях всяких старост, так и бумаги недостанет. И что хуже всего: князь, казалось бы, стоявший на таком высоком посту, так же понял это и вместо того, чтоб поблагодарить меня и сменить своего бурмистра, он написал гневное письмо против меня губернатору, изложив не то, что от меня узнал, а что донес ему сам бурмистр, что будто бы я это заставлял его делать сбор и что, когда он послушался меня, я отпорол его не на живот, а на смерть!.. Хороша логика тут: человек меня послушался, а я его наказал за это!.. Но, как говорится, княжеская голова: пусто, видно, в ней, звенит!.. Словом-с: все точно нарочно слилось в одно, чтобы погубить меня совершенно, так как я, скажу уж это с гордостью, каким поступил нищим на службу, таким нищим вышел из нее.

Проговоря это, Рухнев знаменательно мотнул головой и замолк.

Не было сомнения, что он вышел из службы без копейки, но никак уж не от бескорыстия, а оттого, что, по своей размашистой натуре, все мгновенно проживал, что наживал. Таких типов было и будет всегда много, и Рухнев разве только превосходил их тем, что ему решительно

уж ничего внутри не мешало измышлять и приводить в исполнение всякого рода плутни и мошенничества, доходя иногда до глупости, до дурачеств!

— А за что вы сюда попали? — пожелал я узнать, хотя отчасти и слышал об этом.

Рухнев захохотал.

— Да опять,— воскликнул он,— та же почти старая песня, что была у меня с попами и бурмистром, повторилась: здешние начальствующие лица как ненавидели меня на службе, так ненавидят и до сих пор... Я хотел-с, по долгу каждого дворянина, открыть им уголовное преступление, а они меня самого повернули в преступника!.. Дело это любопытное... Сначала я сердился, а теперь уж смеюсь, потому что оправдаться я оправдаюсь; но нельзя же так надругаться над человеком, как они надругались надо мной и как еще, кажется, намерены надругаться. Началось с того: еду я однажды ночью на легковом извозчике, на котором и прежде, во дни моего богатства и славы, езжал и платил ему хорошо. Разговорился я с ним о том о сем... Он был выпивши порядочно и только вдруг обертывается ко мне и спрашивает меня: «Как ты думаешь, барин, почту обокрасть можно?» Я, по своей привычке шутить всегда, отвечаю: «Отчего ж не можно — можно! Умным людям только, а не дуракам!..» Он помолчал немного. «То-то, говорит, удалых из нас много, а умных нет!» Тут у меня мелькнула другая мысль: «Черт их знает, умных они, пожалуй, и приищут!» — «Что ж, говорю, если между вами удалых много, так умным я могу быть у вас!» — «А разве ты пойдешь на это дело?» — спрашивает он меня. «Отчего ж, говорю, не пойти? Чем топиться в реке от голоду, лучше малую толику заработать!» И пошло тут между нами по этому предмету калякание. «Много ли по почте возят денег? Правда ли, что тысяч по двадцати?» — спрашивает он. «Какое, говорю, и по двести возят».— «То-то, говорит, тоже надо набрать народу человек десять, ружьев искупить, пороху, пуль!» — «Достанет на всех и на все!» — ободряю я его; а сам на другой день отправился к жандармскому полковнику, повествую ему, что вот так и так...

Рассказывая это, Рухнев вовсе и не подозревал, до какой степени он сам являлся омерзителен, и продолжал далее:

— Выслушал меня господин полковник внимательно,

но в толк, вижу, ничего не взял и, вместо того чтобы к малейшему слуху держать ухо востро, только хлопает, как филин, глазами. «Хорошо-с, говорит, наименуйте этих заговорщиков, мы их сейчас переловим!» — «Переловить их,— толкую я ему,— никакой пользы не будет!.. Заговор у них еще не созрел!.. Вы, говорю, дайте мне первоначально на раскрытие этого дела триста рублей серебром,— я всю их шайку окончательно выщупаю, соберу их всех к себе и живьем вам выдам в руки!..» Опять явилось затруднение по случаю требования моего, чтобы мне прежде всего было выдано триста рублей. «У нас, говорит, нет на это сумм!» — «А когда нет, так прощайте, без денег мне ничего тут не сделать!» — «Но постойте, говорит, я должен по крайней мере прежде всего посоветываться с начальником губернии!» — «Это, говорю, сколько угодно, вам, советуйтесь; но сущность дела от этого не изменится: своих денег у меня нет, а поэтому я и сделать ничего не могу!..» Крутит мой полковник свой ус и отпустил, наконец, меня; советывался он с губернатором дня два и на третий приглашает меня к себе, выдают мне триста рублей и читают такую рацею, что если я ничего не открою, так они распорядятся со мною по всей строгости российских законов!.. Открыть мне, конечно, очень легко было: я в один зимний вечер рассадил в моей квартире под полом жандармов, созвал всю извозчичью шаварду, начинаю с ними говорить по душе. Они, как водится, выболтали все, как и когда думают ограбить почту, потом, конечно, жандармы арестовали всех нас. Сначала я думал, что меня, собственно, берут для виду только, но когда началось формальное следствие, то оказалось, что я такой же арестант, как и извозчики, и что я в чем-то заподозреваем. Следствие поручено было полицеймейстеру — злейшему моему врагу по разным моим столкновениям с полицией, и он вывел так, что ограбление почты выдумали не извозчики, а я их на то подговаривал!.. Понимаете, слова-то мои, которые говорил я для шутки, для выпытывания, господин полицеймейстер, а вместе с ним и губернское правление, поняли так, что я говорил все это взаправду... Я, конечно, в своих показаниях и на всевозможных очных ставках старался опровергнуть подобную бессмыслицу и теперь вот посмотрю, как уголовная палата взглянет на это дело... Смешно-с, ей-богу, смешно!

Я сидел молча и потупившись, чувствуя невыносимое

озлобление на Рухнева за его бесстыдство, наглость и лживость.

Он это заметил и проговорил:

— Вы мне тоже, может быть, не верите?

— Не верю! — ответил я ему строго.

Рухнев усмехнулся.

— А верите ли тому, что я буду оправдан?

— Этому верю!

— Почему?

— Потому что Фемида вообще, а у нас в особенности, слепа.

— Это так, так!..— весело подхватил Рухнев.

На том наше свидание и кончилось.

Прошло лет десять. Я жил уже в Петербурге и, идя раз по Невскому, встречаю Рухнева в толстом, английского покроя, внушительном пальто, в сапогах на пробковой подошве, в кашне из настоящего индийского кашемира, в туго надетых перчатках, в шикозной круглой шляпе,— и при этом самодовольство светилось во всем его лице. Узнав меня, Рухнев протянул мне почти дружески руку, которую я, делать нечего, пожал.

— Зайдемте к Палкину позавтракать... Отличнейший там делают салат из ершей! — пригласил он меня сразу же.

Я отказался.

— Вы знаете: я с этими господами, которые, помните, упрятали меня в острог, порасквитался немного: одного, милостию божией, причислили к запасным войскам, а господина полицеймейстера и совсем по шапке турнули... Он, полячишка, чересчур уж не скрывал своей любви к родине,— тараторил Рухнев.

— И все это вы устроили? — спросил я.

— Отчасти! — отвечал он хвастливо.— Я в подобных случаях ни у кого еще в долгу не оставался!..

— А сами вы оправданы судом? — кольнул я его.

— Оправдан, если хотите,— отвечал Рухнев уж скороговоркой,— но подвергнут там... этому нашему великомудрому изречению: *Оставить в подозрении.*

— На службу поэтому вы поступить не можете! — продолжал я язвить его.

— Разумеется,— воскликнул он,— но я об этом нисколько и не жалею: нынче столько открылось частных и

общественных деятельностей, что всякий неглупый человек может не бояться, что он умрет с голоду!.. Я в новых учреждениях имею даже не одно, а несколько мест...

В это время густо шедшая толпа разделила нас, и я видел только, что Рухнев, приветливо кивнув мне головой, завернул в палкинский трактир, я же невольно подумал про себя: «Ну, не поздравляю эти общественные и частные деятельности, которые приняли господина Рухнева в лоно свое».

Опасение мое оправдалось впоследствии: Рухнев оказался одним из первых в многочисленном списке обворовавших свои учреждения, и — увы! — приговора своего он не дождался и отравился в тюрьме, очень испугавшись, как меня уверяли, нового суда: отписываться и отговариваться он умел, но явиться и оправдываться перед глазами целой публики — сробел!

ПРИМЕЧАНИЯ

МЕЩАНЕ

Впервые роман был напечатан в журнале «Пчела» за 1877 год (№№ 18—49). В отдельное издание «Мещан», вышедшее в 1878 году (СПб, изд. М. Микешина), писатель внес лишь мелкие стилистические изменения. В настоящем собрании сочинений роман печатается по изданию 1878 года с исправлениями опечаток по журнальной публикации.

Работа А. Ф. Писемского над «Мещанами», шедшая с большими перерывами, растянулась на несколько лет. Роман был задуман не позднее 1873 года, и тогда же, видимо, был написан ряд глав его первой части. В письме к Ф. Бергу от 6 января 1877 года писатель указывал, что первая часть «Мещан» написана «года три тому назад» [1]. А. Г. Достоевская в своих «Воспоминаниях» отмечает, что у В. Кашпирева, издателя журнала «Заря», «в 1873 году состоялся в присутствии многих литераторов интересный вечер, на котором известный писатель А. Ф. Писемский читал свой не напечатанный еще роман «Мещане» [2]. Но вскоре «Мещане» были надолго оставлены (В. Авсеенко в статье «Памяти А. Ф. Писемского» — «Московские ведомости» от 26 февраля 1881 года — писал: «Роман «Мещане», задуманный давно, завалялся на первых главах»). Писатель возвращается к своему произведению лишь в начале 1875 года. 11 марта этого года он сообщает сыну Павлу, что им дописана первая часть романа [3]. 4 марта 1875 года Писемский читает отрывки из романа своим московским друзьям, а в апреле — мае 1875 года в Париже — И. С. Тургеневу. Затем следует опять длительный перерыв в работе. В письме к Н. Зуеву от 31 октября 1876 года писатель сообщал: «Начат большой роман, написана 1-я часть его, но на том дело и встало» [4]. Договорившись в феврале 1877 года с редакторами «Пче-

---

[1] А. Ф. Писемский. Письма. М.-Л. 1936, стр. 340.
[2] «Воспоминания А. Г. Достоевской». ГИЗ. 1925, стр. 182—183.
[3] Письма, стр. 304.
[4] Письма, стр. 337.

лы» М. Микешиным и А. Праховым о печатании «Мещан» в этом журнале, писатель приступает ко второй части, которую кончает в начале мая. 1 мая начинается печатание романа в «Пчеле». Параллельно с чтением корректур первой и второй частей писатель работает над третьей частью. Дата окончания романа в целом устанавливается пометкой А. Ф. Писемского в черновой тетради: «Роман «Мещане» мною кончен 24 октября 1877 г.»[1].

И по времени написания и по своей идейно-тематической направленности «Мещане» тесно примыкают к антикапиталистическим пьесам А. Ф. Писемского 70-х годов: «Ваал» («Русский вестник», 1873, № 4), «Просвещенное время» («Русский вестник», 1875, № 1), «Финансовый гений» («Газета Гатцука», январь 1876 года). Биржевой туз Хмурин и коммерсант в полковничьем мундире Янсутский из «Мещан» — родные братья таких прожженных дельцов пореформенной формации, как директора компании «по выщипке руна из овец» Дарьялов и Гайер («Просвещенное время»), коммерции советник Сосипатов и отставной генерал-майор Прокудин («Финансовый гений») и др. Антикапиталистические тенденции отчетливо выражены уже в произведениях А. Ф. Писемского 50-х и начала 60-х годов, особенно в «Тысяче душ». Но в середине 70-х годов разоблачение капиталистического хищничества, критика «века без идеалов, без чаяний и надежд, века медных рублей и фальшивых бумаг» («Ваал» — заключительная сентенция Мировича) становится центральной темой его творчества. В автобиографическом письме к своему переводчику Дерели (октябрь 1878 года) писатель заявляет: «...в конце концов принялся... за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за *Ваала* и *за поклонение Золотому тельцу* и только в прошлом году был глубоко утешен тем, что мещане и купцы (что под этими кличками я разумею, вы уясните себе из романа моего М е щ а н е),— мещане и купцы отодвинуты на задний план и в массе случаев опозорены. Открылось воочию всех, что мошенничества разных предпринимателей и поставщиков колоссальны, что торговля идет на постыднейшем обмане; банковские воровства чуть не каждодневно совершались и совершаются... но довольно, всего не перескажешь, что кипит и волнуется в моей бы уж, кажется, старческой душе!»[2]. (Под словами «в прошлом году... опозорены» писатель имеет в виду, вероятно, слушавшийся несколько ранее, в октябре 1876 года, громкий процесс о мошенничестве членов правления Московского ссудного банка, выдавших аферисту Струсбергу необеспеченные ссуды на сумму около 7 млн. рублей, что вызвало крах банка.— *Ф. Е.).*

Внимание, уделенное А. Ф. Писемским в 70-е годы антикапиталистической теме, вполне естественно и закономерно. Эта тема выдвигалась на первый план самой жизнью. Не случайно к ней обращаются в те же годы писатели самых различных направлений: и Некрасов (сатирическая поэма «Современники», 1875 год), и Достоев-

---

[1] Письма, стр. 755.
[2] Письма, стр. 391—392.

ский (роман «Подросток», 1875 год), и Щедрин («Дневник провинциала в Петербурге», 1872 год), и Боборыкин (роман «Дельцы», 1872—1873 годы). Не последнее место критика буржуазного приобретательства занимает и в «Анне Карениной» (1873—1877 годы).

Во второй половине 60-х годов и в 70-е годы процесс капиталистического накопления в России не только неизмеримо ускорился, но и принял небывало паразитические, хищнические формы. Все усиливается предпринимательская горячка, десятками и сотнями создаются новые акционерные компании, банки, причем многие из них с самого начала оказываются дутыми. Царское правительство не скупится на концессии, подряды, казенные заказы, раздает сотни миллионов рублей в виде авансов, субсидий, премий, гарантированных прибылей. Золотой дождь сыплется в карманы предприимчивых дельцов, особенно тех из них, которые связаны с железнодорожным строительством. Правительственные подряды на постройку железных дорог послужили источником молниеносных обогащений, небывалых еще злоупотреблений и спекуляций. Содрав с казны грабительскую поверстную оплату, подрядчик нередко строил затем дорогу с нарушением технических правил и требований безопасности движения, нещадно эксплуатируя в то же время рабочих. Колоссальные взятки, которые брали даже министры и члены императорской фамилии; подлоги и мошенничества разного рода; акционерные и банковские крахи; злостные банкротства на крупные суммы; скандальные уголовные процессы над ловцами денег — все это становится бытовым явлением. Стремление к наживе, как бы разлитое в воздухе, кружит головы не только профессиональным дельцам, но и людям из дворянской знати, из интеллигенции. Спутниками буржуазного хищничества оказались, как всегда, моральная деградация, рост разврата и преступности среди господствующих классов.

Эту стихию капиталистического хищничества 70-х годов А. Ф. Писемский воплотил в «Мещанах», прежде всего в образах Янсутского, Офонькина, Хмурина. В Хмурине, миллионере, гордящемся тем, что он был когда-то простым землекопом, отражены, может быть, черты реального исторического лица — известного финансового воротилы Губонина, который разыгрывал из себя «человека из народа». В ряде сюжетных перипетий и диалогов романа без труда распознаются характерные «приметы времени»: напомним, например, фантастические проекты новых предприятий, сочиняемые Хвостиковым; разговор о железнодорожном строительстве, дутых акционерных компаниях и быстро наживаемых миллионах между Янсутским, Бегушевым и Тюменевым (часть первая, глава IV); скандальное банкротство Хмурина, вызывающее крах банка «Бескорыстная деятельность» (название «со значением»!), вкладчики которого в мгновение ока лишаются своих вкладов, и судебный процесс над Хмуриным; аферу Янсутского по скупке за бесценок долговых обязательств умершего миллионера Олухова; кутеж с француженками, устраиваемый «героями времени» в московском ресторане, и т. д., и т. д.

Та же жажда обогащения определяет собой поведение ловкого адвоката Грохова, пройдохи-врача Перехватова и даже красавицы Домны Осиповны. Все они в конце концов успешно сколачивают себе состояние, но Домна Осиповна оказывается жертвой своих собственных миллионов, на которые накладывают лапу более энергичные и беззастенчивые приобретатели — Янсутский и Перехватов.

Колоритные фигуры графа Хвостикова и князя Мамелюкова наглядно демонстрируют экономическую и моральную деградацию в пореформенные годы значительной части «высшего сословия» — дворянской знати: одни из ее представителей вынуждены были, на манер Хвостикова, все ниже опускаться по социальной лестнице; другие, подобно Мамелюкову, сумели сохранить свое привилегированное положение лишь благодаря тому, что пополнили собой ряды преуспевающих капиталистических дельцов-рвачей.

Всему этому миру буржуазного хищничества («мещанства») Писемский противопоставляет импозантную фигуру Бегушева,— как «рыцаря без страха и упрека», хранителя лучших традиций предыдущей эпохи. В письме писателя к Микешину от 10 марта 1877 года говорится: «Что барство Бегушева необходимо выразить, это вытекает из внутреннего смысла романа: на Бегушеве-барине пробуются, как на оселке, окружающие его Мещане; не будь его,— они не были бы так ярки; он фон, на котором они рисуются» [1].

В другом письме, от 23 февраля 1877 года, А. Ф. Писемский дает Микешину следующие разъяснения о внешности своего героя: «...в типе его, когда будете набрасывать карандашом, если можете, постарайтесь сохранить [то, что я писавши сам имел в моем воображении] характер лиц Бестужева и Герцена» [2].

«Бестужевское» в Бегушеве (обратим внимание на совпадение в этих фамилиях начальной и конечной букв и всех гласных) по замыслу писателя должно было, видимо, заключаться в романтической восторженности и горячности, неистребимом идеализме, благородстве натуры, пронесенных через всю жизнь вплоть до гробовой доски. Эти черты характерны для каждого из четырех братьев Бестужевых — Николая, Михаила, Александра и Петра,— которые все были причастны к движению декабристов (см. о них сборник «Воспоминания Бестужевых». М. 1931). Но в письме от 23 февраля 1877 года А. Ф. Писемский, вероятно, имел в виду Михаила Александровича Бестужева (1800—1871), жившего с 1867 года до самой смерти в Москве и снискавшего там известность и всеобщее уважение. Отрывки из его «Записок» печатались в 1870 году в «Русской старине», читателем которой был А. Ф. Писемский.

Но нельзя не заметить, что в паразитическом существовании Бегушева нет ничего, что могло бы служить параллелью к главному — *героическому* в жизни М. А. Бестужева, активно участвовавшего в восстании декабристов и проведшего затем ряд десятилетий в Сибири.

---

[1] Письма, стр. 347.
[2] Письма, стр. 342—343.

Более конкретны и легко распознаваемы многочисленные черты сходства с Герценом, приданные Писемским своему персонажу. Они не ограничиваются внешними признаками (Бегушева зовут Александр Иванович, его первую жену — Натальей; в его фигуре есть «что-то гордое и осанистое», волосы у него — «львиная грива» и т. д.). Как установил Б. П. Козьмин («Писемский и Герцен». Сб. «Звенья», VIII. 1950, стр. 103—152), многое во взглядах и высказываниях героя «Мещан» непосредственно восходит к писаниям Герцена.

Как и Герцена, к разочарованию в Западе Бегушева приводит неудача революции 1848 года, причем главную роль в обоих случаях играет резкое осуждение буржуазии, неприятие буржуазных нравов и порядков, окончательно восторжествовавших в Западной Европе после разгрома революционных сил и во многом определивших собой все содержание европейской культуры 1850—1870 годов. Размышления Бегушева о том, что победа «мещанства» оказала губительное влияние на судьбы искусства, весьма сходны с публичными высказываниями Герцена («Письма из Avenue Marigny», 1847; «Концы и начала», 1862). Даже вложенные в уста Бегушева выражение «статисты революции» (стр. 72), слова о «курице во щах», о которой мечтал Генрих IV (стр. 23), и фраза о Кошутах и Мадзини, которым следует «сойти со сцены», так как «из-за задних гор показывается каска Бисмарка» (стр. 73), почти точно воспроизводят аналогичные формулировки Герцена из «Концов и начал» и «Былого и дум».

Однако нельзя не видеть, что, несмотря на все эти черты сходства и даже прямые совпадения, в самом главном и основном очень многое отличает Бегушева от Герцена. Герцен, дворянин, решительно порвавший со своим сословием, критиковавший его не менее резко, чем буржуазию, противопоставлял капитализму не «утонченное» и «благородное» барство, а обездоленные в буржуазном обществе классы. Бегушев же — типичный представитель знати, хоть и увлекавшийся в молодости передовыми идеями, но не связавший свою жизнь с освободительным движением; полный барской спеси, барских предрассудков. Герцен был революционером, стремившимся к уничтожению собственнического строя, к перестройке всего общества на новых, более справедливых началах. Для Бегушева же, хоть и возмущенного вакханалией хищничества 60—70-х годов, заветной целью является не коренное общественное преобразование, а лишь «моральное перевоспитание» людей, возрождение в них «рыцарских добродетелей» и, главное, религиозного чувства («Бога на землю!.. Пусть сойдет снова Христос и обновит души, а иначе в человеке все порядочное исчахнет и издохнет от смрада ваших материальных благ» — стр. 24).

Б. Козьмин справедливо замечает: «Он (Писемский.— *Ф. Е.*) любуется Бегушевым, сочувствует ему и готов высоко вознести его над толпою «мещан»... Для нас симпатии Писемского не обязательны. ...У нас нет причин любоваться им (Бегушевым.— *Ф. Е.*) и ставить его кому бы то ни было в пример. Для нас он сам столь же непри-

емлем, как и ненавистные ему мещане. Но это не мешает отдать справедливость Писемскому, признав, что в лице Бегушева он дал удачный в художественном отношении образ» («Звенья», VIII, стр. 149). Действительно, если рассматривать героя «Мещан» прежде всего как представителя старой знати, в котором «идеализм» и ненависть к «мещанству» уживаются со многими отрицательными и смешными, типично барскими чертами (А. Ф. Писемский, понятно, стремится представить эти черты в ином, более благоприятном для своего героя свете), то образ Бегушева можно признать и достаточно типичным для некоторых прослоек родовитого дворянства и весьма колоритным.

Из органов передовой печати 70-х годов на роман Писемского откликнулись лишь «Отечественные записки» (1878, № 5) в «Литературных заметках» Н. К. Михайловского. Воздав должное актуальности темы, избранной писателем, и поставив «Мещан» гораздо выше антикапиталистических пьес Писемского 70-х годов, Михайловский все же дает роману весьма сдержанную оценку. Резкие возражения критика вызывает стремление Писемского представить Бегушева «идеальным героем». Пересказав с ироническими комментариями ту сцену романа, где Бегушев доказывает Домне Осиповне, что он гораздо больше смыслит в трюфелях, нежели «мещанин» Янсутский (часть первая, глава X), Михайловский недвусмысленно намекает читателю, что подлинным героем антикапиталистического романа мог бы быть лишь деятель, отвергающий все формы эксплуатации человека человеком. Он пишет: «Вообще мысль противопоставить последнего могикана (то есть Бегушева.— *Ф. Е.*) растущей силе мещанства нельзя признать неудачною. Напротив, это тема очень благодарная. Но при разработке ее надо иметь в виду следующее... Рыцарями Бегушевых можно называть только в шутку, а в сущности они рыцари трюфельного права. Значит, вся борьба идет, собственно, из-за того, кому принадлежит право есть трюфели: разбогатевшим мещанам или родовым дворянам. Борьба, без сомнения, любопытная, достойная внимания мыслящего художника. Но так как обе стороны стоят на одной и той же почве, то ни та, ни другая не могут выставить идеального типа... Положительным типом, героем романа «Мещане», романа, действительно заслуживающего этого заглавия, мог бы быть только такой человек, который не борется за трюфельное право, а отрицает его».

Более высокую оценку роман получил в письме И. С. Тургенева к автору его от 25 апреля 1878 года: «Чтение «Мещан» доставило мне много удовольствия, хотя, конечно, поставить этот роман на одну высоту с «Тысячью душ»... и другими вашими крупными вещами— нельзя; но вы сохранили ту силу, жизненность и правдивость таланта, которые особенно свойственны вам и составляют вашу литературную физиономию. Виден мастер, хоть и несколько усталый, думая о котором все еще хочется повторить: «Вы, нынешние — ну-тка!» [1].

[1] Новь, 1886, № 23, стр. 195.

Стр. 9. *Фотоген* — так назывались в 70-е годы минеральные масла, применявшиеся для освещения.

Стр. 11. *Таганка и Якиманка — безапелляционные судьи.*—Имеется в виду купечество, жившее в старой Москве, главным образом в Замоскворечье — в «Таганках и Якиманках».

Стр. 13. *Сент-Жермен* (точнее Сен-Жермен) — аристократический квартал в Париже.

Тверские бульвары, Большие и Малые Никитские.— На этих улицах Москвы когда-то селилась преимущественно дворянская знать.

Стр. 16. *Как итальянка Майкова: «Гордилась ли она любви своей позором».*— Имеется в виду строка из стихотворения А. Майкова «Скажи мне, ты любил на родине своей?» (1844) из цикла «Очерки Рима».

Стр. 23. *Курица во щах, о которой мечтал Генрих Четвертый.*— Имеется в виду французский король Генрих IV (1553—1610), якобы выражавший желание, чтобы у каждого французского крестьянина была к обеду курица.

Стр. 27. *Рейс* Филипп (1834—1874) — немецкий физик.

Стр. 41. *«В мои ль лета свое суждение иметь!».*— Граф Хвостиков перефразирует здесь реплику Молчалина из «Горя от ума» (явление 3, действие III):

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Стр. 44. Crédit mobilier (точнее Societé générale du crédit mobilier) — крупный французский акционерный банк (1852—1871), широко занимавшийся рискованными спекулятивными аферами; руководители его были связаны с императором Наполеоном III.

Стр. 53. *Земляник* — землекоп.

Стр. 124. *Калям* Александр (1810—1864) — швейцарский пейзажист.

Стр. 128. *Иверская* — часовня в старой Москве, в которой хранилась «чудотворная» Иверская икона божьей матери.

Стр. 129. *Бенеке* Фридрих Эдуард (1798—1854) — немецкий философ.

Стр. 134. *«Славься сим, Максим Петрович, славься, нежная к нам мать!»* — Это двустишие, приводимое Бегушевым, заимствовано из рассказа М. Загоскина «Официальный обед»: «Осип Андреевич Кочька или сам недосмотрел, или переписчики ошиблись, только в припеве польского второй стих остался без всякой поправки, и певчие, по писанному, как по сказанному, проревели во весь голос:

«Славься сим, Максим Петрович!
Славься, нежная к нам мать!»

Стр. 152. *«Свет не карает заблуждений, но тайны требует для них!»* — строки из стихотворения Пушкина «Когда твои младые лета» (1829):

Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.

Стр. 166. *«Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад»* — начальные строки стихотворения Лермонтова «Дары Терека» (1839).

Стр. 170. *...у нас везде матери Митрофании...*— Игуменья Серпуховского монастыря и начальница московской епархиальной общины сестер милосердия мать Митрофания (урожденная баронесса Розен) была уличена в мошенничестве, подлогах и злоупотреблении своим саном и приговорена к лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Громкий процесс игуменьи Митрофании, разбиравшийся Московским окружным судом в октябре 1874 года, привлек к себе всеобщее внимание и нашел отражение в художественной литературе (например, в «Волках и овцах» А. Островского).

Стр. 174. *Наян* — бесстыдно навязчивый человек.

Стр. 188. *Савл* — языческое имя апостола Павла.

Стр. 201. *Клеушок* — небольшой хлев.

Стр. 218. *Бакан* — карминный лак.

Воскресающий Лазарь — персонаж евангельской легенды, в которой рассказывается о смерти Лазаря и о воскрешении его Христом.

Стр. 219. *Титовка* — тюрьма в Москве.

Стр. 226. *Мозглый* — тщедушный, хилый.

Стр. 230. *В горе бе, и посетисте мене!* (Был в горе, и вы посетили меня.) — Здесь искажен евангельский текст: «Был болен, и вы посетили меня» (Евангелие от Матфея, глава 25).

Стр. 285. *«В нюже меру мерите, возмерится и вам»* — то есть такой же мерой, какой мерите, возмерится и вам,— евангельское изречение (Евангелие от Марка, глава 4).

Стр. 310.—*...старенький-старенький старичок.*— Писемский здесь и далее имеет в виду Н. В. Сушкова (1796—1871) — бесталанного автора ряда стихотворений и пьес, имя которого стало нарицательным для обозначения писательской бездарности.

Стр. 313. *«Аскольдова могила»* — опера А. Верстовского (1835) на сюжет и либретто М. Загоскина.

Стр. 317. *Могильщики* — персонажи трагедии Шекспира «Гамлет» (1601).

Кумушки, Фальстаф и народнейший король Генрих Пятый — персонажи исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV» (1597—1598) и его комедии «Виндзорские проказницы» (1598).

Стр. 321. *Шеберстеть* — скрести, царапать.

Упас... смертоносный — то же, что анчар: ядовитое дерево, распространяющее вокруг себя смерть.

Стр. 333. *Виктор-Эммануил.*— Имеется в виду Виктор-Эммануил II (1820—1878), первый король объединенной Италии.

Стр. 334. *Афонские горы* — в Греции район сосредоточения ряда монастырей и скитов, одно из «святых мест» православной церкви, когда-то усердно посещаемое богомольцами из России.

РУССКИЕ ЛГУНЫ

Впервые напечатаны в «Отечественных записках» за 1865 год (№№ 1, 2, 4, январь, февраль, апрель).

Работа над рассказами данного цикла начата в 1864 году. Первоначальный замысел «Русских лгунов» был изложен Писемским издателю «Отечественных записок» А. Краевскому в письме от 25 августа 1864 года: «...пишутся у меня очерки под названием «Русские лгуны» — выведен будет целый ряд типов вроде снобсов Теккерея. Теперь окончена мною первая серия: Невинные врали — то есть которые лгали насчет охоты, силы, близости к царской фамилии, насчет чудес, испытываемых ими во время путешествий; далее будут: Сентиментальы и сентименталки, порожденные Карамзиным и Жуковским. Далее: Марлинщина. Далее: Байронисты российские. Далее: Тонкие эстетики. Далее: Народолюбы. Далее: Герценисты и в заключение: Катковисты...

Теперь у меня написано листа на два печатных, а печатать я желал бы начать с генваря. Уведомьте пригоден вам этот труд мой или нет; если не пригоден, не стесняйтесь и пишите прямо» [1].

На основании этого высказывания можно судить, что Писемский рассматривал «Русских лгунов» как продолжение начатой «Фанфароном» серии рассказов под общим заглавием «Наши снобсы». Об этом свидетельствует также и то, что в «Русских лгунах» (рассказы «Сентименталы» и «История о петухе») снова появляется образ кокинского исправника Ивана Семеновича Шамаева, который фигурировал и в «Фанфароне».

В задуманном цикле рассказов «Русские лгуны» писатель намеревался направить удары как против сторонников «чистого» искусства и катковистов — самых крайних реакционеров того времени,— так и против революционеров — сторонников Чернышевского и Герцена. 21 сентября 1864 года Писемский сообщил Краевскому о завершении первой серии «Русских лгунов»: «Вместе с этим письмом я высылаю Вам 1-ю серию «Лгунов» — это пока все еще невинные врали — дальнейшую программу я писал уже Вам. Всех очерков, я полагаю, хватит листов на 7 или на 8 печатных... Следующую серию я непременно надеюсь изготовить к генварю и много к февралю» [2].

Однако первоначальный замысел «Русских лгунов» в процессе его осуществления скоро изменился. Уже к январю 1865 года Писемский, по-видимому, отказался от намерения выполнить полностью тот план, который он изложил в письме к Краевскому от 25 августа 1864 года. 24 января 1865 года, посылая Краевскому рассказы из второй серии «Русских лгунов», Писемский сообщал: «...ко 2 февр. или 1 мартовской (книжке.— *М. Е.*) я Вам вышлю еще два рассказа; один будет называться: «Лживой красавец» (первоначальное заглавие рассказа «Красавец».— *М. Е.*); опишется мужчина, у которого

---

[1] Письма, стр. 170

[2] Письма, стр. 174—175.

уже тело лжет: он прелестной наружности, но подлец душой; и второй — называемой: «Все лгут», где опишется, что все лгут, чиновники, артисты, хозяева, барышни, и никто того не замечает»[1]. Рассказ «Все лгут», который, как показывает уже и само его название, должен был, вероятно, иметь итоговый характер, не был написан, и предшествовавший ему «Красавец» оказался последним рассказом цикла.

Таким образом, было написано только восемь рассказов, охватывающих лишь первые три серии изложенного в письме к Краевскому плана: 1. «Невинные врали» — рассказы «Конкурент», «Богатые лгуны и бедный», «Кавалер ордена Пур-ле-мерит», «Друг царствующего дома» и «Блестящий лгун»; 2. «Сентименталы и сентименталки» — рассказ «Сентименталы»; 3. «Марлинщина» — рассказ «Красавец». Рассказ «История о петухе», включенный Писемским во вторую серию «Русских лгунов», был напечатан в журнале после «Сентименталов», хотя в герое «Истории о петухе» едва ли можно отыскать какие-либо признаки сентиментальности.

Основной причиной изменения первоначального плана «Русских лгунов» были цензурные препятствия. Уже при посылке первой серии рассказов Писемский высказал опасение насчет цензуры. «С цензурой, бога ради, употребите все усилия,— писал он Краевскому.— Если она будет ставить препятствия в рассказах о кавалере ордена Пур-ле-мерит и о друге царствующего дома, то объясните им, что если эти люди хвастаются своею близостью к царям, то это показывает только любовь народную,— в предисловии у меня прямо сказано, что лгуны стараются обыкновенно приписать себе то, что и в самом общественном мнении считается за лучшее, а если очень станут упираться, то, не давая им марать, напишите мне, что их особенно устрашает»[2].

Опасения Писемского оправдались: цензор запретил два рассказа: «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома». Получив от Краевского сообщение об этом, Писемский настаивал на том, чтобы хлопоты о разрешении по крайней мере одного из этих рассказов не прекращались. С этой целью он даже советовал обратиться за содействием к фаворитке министра двора — Мине Бурковой. «Думал я, думал,— писал он Краевскому 24 октября 1864 года,— по получении Вашего письма, и вот что придумал: к министру двора вы пошлите только один рассказ. «Друг царствующего дома» и уж хлопочите, бога ради, чтобы его пропустили — этот рассказ может быть напечатан· в нем тронуто все так легко. Нельзя [ли] попросить покровительства в этом случае *Мины.* Мне как-то в Петербурге говорили, что она благоволит ко мне, как к автору. «Кавалер ордена Пур-ле-мерит», вероятно, никак не пропустят, а потому я переделаю, вероятно, невдолге и к вам вышлю»[3].

---

[1] Письма, стр. 181.
[2] Письма, стр. 174.
[3] Письма стр. 175.

«Друг царствующего дома» был послан министру двора под измененным заглавием: «Старуха Исаева». Не надеясь на то, что министр двора разрешит этот рассказ, Писемский советовал Краевскому напечатать его без цензуры: «Есть нынче правило... что редакция, если цензор чего не пропускает, печатает с личной своей ответственностью и штрафу за это подвергается 50 руб. сер. Ваши «Отеч. Записки», вероятно, еще ни разу не подпадали штрафу этому, а потому, если старуху Исаеву Адлерберг не пропускает (благо его, говорят, снимают), то печатайте без цензуры, я эти 50 руб. плачу из собственного кармана. Как вы об этом думаете, уведомьте меня, пожалуйста, не поленитесь и черкните, меня это очень беспокоит»[1]. В конце ноября 1864 года председатель С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Турунов получил решение министерства двора: «Вследствие отношения Вашего превосходительства от 19-го сего ноября за № 838 имею честь Вас, милостивый государь, уведомить, что препровожденная при оном и у сего возвращаемая статья под заглавием «Русские лгуны» была представлена господину министру императорского двора, и его сиятельство изволил отозваться, что он полагал бы отклонить напечатание означенной статьи, так как некоторые из приведенных в ней случаев относятся к высочайшим особам, а между тем рассказ, как и самое заглавие свидетельствует, заключает в себе лишь грубый вымысел и вообще не имеет никакого интереса»[2].

Сохранилась и раздраженная резолюция министра Адлерберга: «Не понимаю, с какой стати эта статья посылается на мой просмотр... Если рассказ о лжи Исаевой не выдумка, то этот рассказ вовсе не интересен; если же это выдумка, то надобно признаться, что выдумка чрезвычайно глупа»[3].

Краевский отказался напечатать рассказ «Друг царствующего дома» в его первоначальном виде без цензурного разрешения. Писемский вынужден был радикально переделать его. «Письмо ваше крепко поогорчило меня,— жаловался он Краевскому,— тем более что оно застало меня после тяжкой болезни: был болен жабой и чуть не умер. Старуху Исаеву на будущей неделе, то есть числу к 15, я переделаю, она выйдет не менее забавна...»[4]. 9 декабря 1864 года новый вариант рассказа был послан Краевскому. Этот вариант под заглавием «Фантазерка» и был опубликован в «Отечественных записках». В четвертом томе сочинений Писемского, изданных Стелловским, был опубликован журнальный текст этого рассказа, поскольку, по-видимому, цензурный запрет сохранял еще свою силу.

Таким образом, рассказы «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома» при жизни Писемского печатались в переработанном под давлением цензуры виде и поэтому не отражали

---

1 Письма, стр. 178.
2 Письма, стр. 657.
3 Там же.
4 Письма, стр. 179.

подлинных замыслов автора. Только в первом посмертном собрании сочинений Писемского, изданном М. О. Вольфом, эти рассказы были напечатаны в их первоначальном, доцензурном виде (т. V, СПб., 1884).

В настоящем издании «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома» печатаются по тексту первого посмертного собрания сочинений. Подцензурные варианты этих рассказов ввиду их самостоятельной художественной ценности ниже приводятся полностью. Остальные рассказы печатаются по тексту издания Ф. Стелловского, СПб., 1861.

Кавалер ордена Пур-ле-мерит

Прелестное июльское утро светит в окна нашей длинной залы; по переднему углу ее стоят местные иконы, принесенные из ближайшего прихода. Священник, усталый и запыленный, сидит невдалеке от них и с заметным нетерпением дожидается, чтобы его заставили поскорее отслужить всенощную, а там, вероятно, и водку подадут. Матушка, впрочем, еще не вставала, а отец ушел в поле к рабочим. Я (очень маленький) стою и смотрю в окно. Из поля и из саду тянет восхитительной свежестью: мне так хочется молиться и богу и природе! Тут же, по зале, ходит ночевавший у нас сосед, Евграф Петрович Хариков, мужчина чрезвычайно маленького роста, но с густыми черными волосами, густыми бровями и вообще с лицом неумным, но выразительным; с шести часов утра он уже в полной своей форме: брючках, жилетике, сюртучке и *пур-ле-мерите*. Раздражающее свойство утра заметно действует на него: он проворно ходит, подшаркивает ножкою, делает в лице особенную мину. Евграф Петрович — чистейший холерик; его маленькой мысли беспрестанно надо работать, фантазировать и выражать самое себя. В настоящую минуту он не выдерживает молчания и останавливается перед священником.

— Вы дядю моего, Николая Степаныча, знавали? — спрашивает он как бы случайно.

Священник поднимает на него глаза и бороду.

— Нет-с! — отвечал он с убийственным равнодушием.

— Храбрый был генерал, храбрый!..

Священник продолжает молчать.

— Я, собственно, служил в кавалерии! — говорил Хариков.

Он, собственно, служил офицером в комиссариате.

— И под Глагау, господи!.. Двинули нас сбить неприятельскую позицию по правую, этак, сторону от города... Пошли мы сначала на рысях, палаши наголо... Глядим, пехота — раз, два — выстроились в каре. Вы знаете, что такое каре?

— Нет-с! — отвечал и на это священник и, вытянув из бороды два волоска, начал внимательно их рассматривать.

— Отличная штука! Четырехугольник из людей — ни больше, ни меньше; штыки вперед, задняя шеренга: «Пиф! паф!» — совершенная щетина, с пульками только, которые летают около вас, как шмели,

никакая кавалерия не возьмет — надо сразу... Командир наш командует: «Марш назад!» — потом: «Налево кругом, марш, марш!» Летим!.. Мне как-то,— уж это именно бог! — между двух ружей удалось проскакать. Тут стоит только одному прорваться, и, конечно: весь полк за мной. Направо саблей!.. Налево саблей!.. Лошади ногами топчут!

Евграф Петрович стал было даже своими маленькими ручками и ножками представлять все это в лицах и особенно живо, как лошади топчут неприятеля ногами; но в это время вошел покойный отец, по обыкновению мрачный и суровый, и сел тут же в зале.

— Что это он тебе расписывает? — спросил он священника, указывая глазами на Евграфа Петровича.

— Про войну рассказывает-с,— отвечал тот.

— Про дело при Глагау припоминаю,— подхватил Хариков.

Он знал, что в присутствии отца продолжать разговор в прежнем тоне ему не было никакой возможности, но и замолчать сразу было неловко: он решился выбрать средину.

— В тот день,— продолжал он далеко уже не с такой самоуверенностью,— послали меня с известием...

— К кому? — перебил его отец каким-то бесстрастным голосом.

— Не помню к кому...— почти пискнул Евграф Петрович.

— О чем?

— Кажется, что, сколько теперь помню, что... Витгенштейн наступает или отступает...

— А!.. — протянул отец.

— Только поехал я с... Лошадь у меня была отличная,— продолжал Хариков, голос его заметно дрожал,— только вдруг, вижу я, от неприятельского авангарда отделился польский уланчик и за мной... Я как бы дальше от него, а он ко мне все ближе; вижу, и копьецо от меня недалеко — я хвать из седла пистолет; бац — осечка! Копьецо уж и гораздо ближе ко мне: я другой раз бац — осечка! Копьецо уж почти у хвоста моей лошади... делать нечего, перекрестился (Евграф Петрович закусил при этом злобно губы), перехватил пистолет дулом в руку и пустил его на волю божию и прямо угадал молодцу в висок... закачался он на седле — и головку закинул назад.

— Это случилось не в двенадцатом году... — перебил его отец.

— Как не в двенадцатом? — спросил Хариков.

— И не при Глагау, и не с тобой, а в польскую кампанию действительно один наш кирасир убил польского улана холодным пистолетом, и это я тебе даже и рассказывал...

— С кирасиром, может быть, случилось само по себе, а со мной само по себе! — затараторил Хариков.

— С тобой случилось другое,— ответил отец,— ты убежал из провиантского магазина от сорока мышей.

Евграф Петрович сильно покраснел.

— Вот вздор какой! Я бежал не от крыс, а от неприятеля: на меня кинулись два французские карабинера; я схватил одного за ши-

вороток, другого за шивороток, треснул их головами и ушел от них.

— Ты сидел в магазине,— продолжал отец тем же бесстрастным голосом,— и считал там казенные мешки с хлебом; в это время из одного амбара в другой переходило стадо крыс; ты испугался и убежал от них.

— Говорить все можно! — произнес Хариков обиженным голосом.— Если я убежал от крыс, за что же мне пур-ле-мерит дали?

— Не знаю, за что! — отвечал отец оскорбительнейшим образом.

Собственно говоря, Евграф Петрович и сам хорошенько не знал, за что ему дали этот крест. За какие-то успешные распоряжения нашего интендантства при Глагау или где-то прислано было от прусского правительства десятка два пур-ле-меритов, и один из них упал на благородную грудь моего героя.

— Вот он мне за что дан! — воскликнул он и, проворно отмахнув рукав сюртука, показал довольно большой рубец.

— Э, брат, нет! Знаем! Это нарочно травленный! — воскликнул, в свою очередь, отец.— Боздерман сказывал нам, как ты просил его травить тебе руку и непременно, чтоб рубец остался.

Евграф Петрович развел только на это руками. Выражение его лица как бы говорило, что клевета человеческая дальше идти не может. Чем бы этот разговор кончился — неизвестно, но вошла матушка. Евграф Петрович поспешил перед ней модно расшаркаться, поцеловал у нее руку и осведомился об ее здоровье.

Во время всенощной он заметно молился на старинный офицерский манер, то есть клал небольшие крестики и едва склонял голову. Затем почему-то с особенным чувством пропел «От юности моея мнози борют мя страсти», но когда начали «Взбранной воеводе», он подперся рукою в бок, как бы держась за шарф; откуда бас у него взялся, пропел целый псалом, ни в одной ноте не сорвавшись, и, кончив, проговорил: «Прекрасная стихера! Теперь бы духовенство сзади; в воздухе знамена; барабанщики и кларнетисты вперед — прелесть!»

Мне всего раз еще удалось, уже на смертном одре, видеть этого маленького храбреца в его маленькой усадьбе, в маленьком домике и маленькой спальне, в которой не было уже никаких следов здорового человека: всюду был удушливый воздух, везде стояли баночки с лекарством, и только на столике у кровати лежал пур-ле-мерит на совершенно свежей ленте. Когда я сел около Евграфа Петровича, он крепко сжал мне руку.

— Вы, вероятно, будете у меня на похоронах,— проговорил он совершенно спокойным голосом,— прикажите, пожалуйста, чтоб крест этот несли перед моим гробом, я заслужил его кровью моею!

Читатель знает, какою он его кровью заслужил.

Через неделю он умер. Я долгом себе поставил исполнить его предсмертное желание, и даже сам нес крест на малиновой подушке, которую покойник, задолго еще до смерти, поспешил для себя приготовить.

Слава великого Суворова, еще свежо тогда витавшая над всем нашим войском, задела своим обаятельным крылом и душу Евграфа Петровича; во всех своих мечтаниях он воображал себя и храбрецом, и генералом, и увешанным крестами. «Отчего,— думал я,— судьба не дала этому человеку вместо какого-то темного и не для всех понятного пур-ле-мерита, Георгия или какую-нибудь звезду? Любопытно было бы видеть ту степень нежности, с какою он относился бы к этим высоким наградам воинских доблестей!»

Фантазерка

Гордость так же свойственна женским сердцам, как и мужским. Тетка моя, Мавра Исаевна Исаева, была как бы живым олицетворением этого грандиозного чувства. Признаюсь, и по самой наружности я не видал величественнее, громаднее и могучее этой дамы, или, точнее сказать, девицы: прямой греческий нос, открытый лоб, строгие глаза, презрительная улыбка, густые серебристые в пуклях волосы, полный, но необрюзглый еще стан, походка грудью вперед — словом, как будто господь бог все ей тело дал для выражения главного ее душевного свойства. Мавра Исаевна, как можно это судить по ее здоровой комплекции, чувствовала сильную наклонность к замужеству; но, единственно по своему самолюбию, считая всех мужчин недостойными себя, осталась в самом строгом смысле девственницей. Сердце ее всего один раз было пленено: сын губернатора Лампе, камер-юнкер и большой повеса (это было еще до двенадцатого года), танцевал с ней на бале у отца мазурку и вдруг выкинул какую-то ухарскую штуку — Мавра Исаевна на это только еще гордее подняла голову и пошла уж совсем грудью вперед. Камер-юнкер стал по-польски что есть силы стучать ногами — Мавра Исаевна прижала одну руку в бок и начала тоже по-польски довольно сильно выкидывать ноги. Камер-юнкер перевернулся вверх ногами — Мавра Исаевна сделала движение рукой и пошла от него в сторону. Камер-юнкер, наконец, пропел петухом — Мавра Исаевна представила, что как будто бы закудахтала курочкой. «Русскую!» — грянул камер-юнкер и в мундире (тогда на балы ездили в мундирах, чулках и башмаках) пошел вприсядку — Мавра Исаевна сейчас, как следует в русской пляске, стала поводить плечами и бровями...

Все зрители были в восторге и хохотали до упаду.

Старик Лампе, впрочем, на другой же день положил предел этой начинавшейся страсти и отправил сына обратно в Петербург.

— Воли родителей не было на то, и мы повиновались... — объясняла Мавра Исаевна, с покорностию в голосе, всю жизнь свою этот случай.

Главным отличительным свойством Мавры Исаевны было то, что бы она ни делала, она полагала, что делает это лучше всех: грибы ли отварит — лучше всех, по делам ли станет хлопотать — тоже лучше всех. Ставила она со своего имения рекрута: Мишку поставила — затылок! Петьку — затылок.

— Наконец,— говорит она,— я сама иду в присутствие. Брейте, говорю, меня самое, мне больше ставить некого!..

— Как в присутствие? Ведь там стояг голые мужики?—воскликнули ее слушатели.

— А характер нам, женщинам, на что дан? — отвечала Мавра Исаевна.

Проживая лет около тридцати в деревне, она постоянно держала у себя воспитанниц, единственною обязанностью которых было выслушивать рассказы ее о самой себе; но эти *неблагодарные твари*, как обыкновенно называла их Мавра Исаевна, когда прогоняла от себя, обнаруживали в этом случае довольно однообразное свойство: вначале они как будто бы и принимали все ее слова с должным вниманием, но потом на лицах их заметно стала обнаруживаться скука, и они начинали или грубить, или дурить... Пробовала было Мавра Исаевна по этому предмету входить в сношения с начальницами разных монастырей, приютов, ездила к ним, ласкалась, делала им подарки, чтобы они уделили ей хоть какой-нибудь отросток из своего богатого питомника, но и тут счастья не было: первый же взятый ею отпрыск вдруг обеременел, так что Мавра Исаевна, спасая уж собственную честь, поспешила ее поскорее отправить обратно в заведение. Последней приживалкой Мавры Исаевны была из дворян девица Фелисата Ивановна, девушка богомольная и вначале обнаруживавшая к своей благодетельнице такое почтение, что мыть ее в бане никому не позволяла, кроме себя, и при этом еще объясняла, что у Мавры Исаевны такое тело, что как ткнешь в него пальцем, так он и уйдет весь туда.

Раз мы обедали: тетушка, с своей обычно-гордой позой, я, всегда ее немного притрухивавший, и Фелисата Ивановна. Последняя была что-то грустна и молчалива. Мавра Исаевна, напротив, находилась в каком-то умиленном настроении.

— Когда я была в Петербурге,— начала она даже несколько заискивающим голосом,— познакомилась я с генеральшей Костиной. Муж ее, сенатор, вдруг заинтересовался мной... просто этим скотским чувством, как все вы, гадкие мужчины. «Генерал,— говорю я ему,— ни ваше звание, ни мое звание, ни ваши лета, ни мои лета не позволяют нам упасть в эту пропасть».

— Что ж, эти Костины были богатые люди, хорошо жили? — поспешил я спросить, чтоб как-нибудь не дать Мавре Исаевне разговориться на любимейшую ее тему: оставаясь равнодушною к мужчинам, она любила рассказывать о победах над ними!

— Она была племянница светлейшего, только, не больше...— отвечала она мне внушительно,— каждую неделю бал со двором. Я говорю: «Я не могу у вас бывать; вы знаете мой туалет и мои платья— раз, два и обчелся».— «Да вы сделайте,— говорит мне Костина, — форменное платье, всякая дворянка имеет на это право!»

— Какое же это форменное? — спросил я

Мавра Исаевна прищурила глаза.

— Очень простенькое! — начала она.— Не знаю, как нынче, мо-

жет быть, уже переменилось, а тогда — черное гласе, на правом плече шифр дворянский, на рукавах буфы, спереди, наотмашь, лопасти, а сзади — шлейф. Генеральша Костина тоже в гласе, на левой стороне звезда, на правой — шифр уже придворный... Три у них дочери были... очень милые девушки... танцуют... Тогда только еще эта ваша дурацкая французская кадриль начала входить в моду. Смотрю... что это такое? Растопырят платья и ходят, как павы. Ни вкусу, ни манер — просто гадко видеть... чувствую, что внутри во мне все так и кипит, а старый этот повеса, Костин, еще с любезностями вздумал адресоваться... глазками делает... «Подите, говорю, прочь; видеть вас не могу!» На другой день, только что еще проснулась и чувствую себя очень нехорошо, приезжает ко мне Костина. Тут уж я не вытерпела. «Марья Ивановна,— говорю я ей,— на что это нынешние девицы похожи? Где у них манеры, где у них обращение, где эти умные разговоры?..» — «Душенька, душенька, говорит, возьмите всех детей моих на воспитание...» Скороспелка этакая была, все бы ей сейчас сделать, не обдумавши... «Марья Ивановна, говорю, правила моей нравственности вот в чем состоят»,— и этак, знаете, серьезно поговорила. Ну, разумеется, не понравилось. «Посудите, говорит, я мать».— «Очень, говорю, сужу и знаю; я сама мать и имею тоже дочь».

— Как дочь? — воскликнули мы оба в один голос с Фелисатой Ивановной.

— Да, дочь! — отвечала Мавра Исаевна, слегка вспыхнув (она, кажется, и сама была не совсем довольна, что так далеко хватила).

— Кто ж отец вашей дочери? — спросил я.

— Мужчина!

Фелисата Ивановна на этих словах не выдержала и фыркнула на всю комнату. Мавра Исаевна направила на нее свой медленный взор.

— Чему ты смеешься? — спросила она ее каким-то гробовым голосом.

Фелисата Ивановна молчала.

— Чему ты смеешься? — повторила Мавра Исаевна тем же тоном.

— Да как же, матушка, какая у вас дочь? — отвечала Фелисата Ивановна.

— А такая же, костяная, а не лышная,— говорит Мавра Исаевна по-прежнему тихо; но видно было, что в ее громадной груди бушевало целое море злобы,— я детей своих не раскидала по мужикам, как сделала это ты.

Фелисата Ивановна сконфузилась; намек был слишком ядовит: она действительно в жизнь свою одного маленького ребеночка подкинула соседнему мужичку.

— Не было у меня, сударыня, никаких детей,— возразила она,— и у вас их не было; вы барышня, вам стыдно на себя это наговаривать.

— А вот же и было; на, вот тебе! — сказала Мавра Исаевна и показала Фелисате Ивановне кукиш.

— Где ж теперь ваша дочь? — спросил я, желая испытать, до какой степени может дойти фантазия Мавры Исаевны.

— Не беспокойтесь; она умерла и не лишит вас наследства!..— отвечала она мне с заметной ядовитостию.— О мой миленький, кроткий ангел! — продолжала старушка, вскинув глаза к небу.— Точно теперь на него гляжу, как лежала ты в своем атласном гробике, вся усыпанная цветами, а я, безумная, стояла около тебя и не плакала...

Что тут было говорить? Мы с Фелисатой Ивановной потупились и молчали.

Мавра Исаевна несколько раз моргала носом, поднимала глаза к небу и тяжело вздыхала, как бы желая показать, что удерживает накопившиеся в груди слезы.

После обеда я ушел к себе наверх, но часов в шесть, когда уже смерклось, услыхал робкие шаги.

— Кто это? — окликнул я.

— Это я, батюшка!— отозвалась Фелисата Ивановна.— Подите-ка посмотрите, что тетенька делает.

— Что такое?

— Извольте посмотреть!— и затем, сказав, чтобы я шел на цыпочках, подвела меня к двери в гостиную и приложила мой глаз к небольшой щели. Тетушка сидела на диване перед столом, на котором светло горели две калетовские свечи. Она говорила сама с собой. «Да, это конечно!» — бормотала она, делая движение рукой, как бы играя султаном на шляпе. Потом говорила гораздо уж более нежным голосом. «Но это невозможно, невозможно!»— повторяла она неоднократно. Затем щурила глаза, поднимала плечи, вряд ли не воображая, что на них были эполеты. (Она, должно быть, в этом случае, представляла какого-нибудь военного.) «Ваша воля, ваша воля!»— говорила она.

— Батюшка, что это такое? Ведь это часто с ними бывает!— вопияла Фелисата Ивановна.

— Ничего,— успокоивал я ее,— пойдемте; пусть она себе пофантазирует.

— Да я, батюшка, очень боюсь,— говорила она и в самом деле дрожала всем телом.

На другой день поутру в доме опять поднялся гвалт, и ко мне в комнату вбежала уж горничная.

— Пожалуйте к тетушке: несчастье у нас...

— Какое?

— Фелисата Ивановна потихоньку уехала-с к родителям своим с.

Я пошел. Мавра Исаевна всею своею великолепной фигурой лежала еще на постели; лицо у ней было багровое, глаза горели гневом, голая ступня огромной, но красивой ноги выставлялась из-под одеяла.

— Фелисатка-то, мерзавка, слышал — убежала! — встретила она меня.

Я придал лицу своему выражение участия.

— Ведь седьмая от меня так бегает! Отчего это?

— Что ж вам, тетушка, так очень уж гоняться за этими госпожами! Будет еще таких много.

— Разумеется! — проговорила Мавра Исаевна уже прежним своим гордым тоном.

— Вам гораздо лучше,— продолжал я,— взять в комнату вашу прежнюю ключницу, Глафиру... (Та была глуха на оба уха, и при ней говори, что хочешь,— не покажет никакого ощущения.) Женщина она не глупая, честная.

— Честная! — повторила Мавра Исаевна.

— Потом к вам будет ездить Авдотья Никаноровна.

— Будет! — согласилась Мавра Исаевна.

Авдотья Никаноровна хоть и не была глуха на оба уха, но зато такая была дура, что ничего не понимала.

— Наконец, Эпаминонд Захарыч будет постоянный ваш гость

— Да, Эпаминондка! Пьяница только он ужасный!

— Нельзя же, тетушка, чтобы человек был совершенно без недостатков.

Эпаминонд Захарыч, бедный сосед, в самом деле был такой пьяница, что никогда никакими посторонними предметами и не развлекался, а только и помышлял о том, как бы и где бы ему водки выпить.

— Все они будут бывать у вас, развлекать вас! — говорил я, помышляя уже о собственном спасении. Эта густая и непреоборимая атмосфера хоть и детской, но все-таки лжи, которою я дышал в продолжение нескольких дней, начинала меня душить невыносимо.

— А теперь позвольте с вами проститься! — прибавил я нерешительным голосом.

— Прощай, бог с тобой! — отвечала Мавра Исаевна.

Ей в эту минуту было не до меня, ей нужна была Фелисатка, которую она растерзать на части готова была своими руками. Дома я нашел плачевное и извиняющееся письмо от Фелисаты Ивановны:

«Ваше высокородие, Алексей Филатыч (писала она), хоша теперича, может, вы и ваша тетенька на меня, рабу вашу, гневаться изволите, но мне, батюшка Алексей Филатыч, было не жить при них — я сама девушка нездоровая и очень этого боюсь... Прошлый год, Алексей Филатыч, когда господь бог сподобил нас быть у Феодосия тотемского чудотворца и когда тетенька ваша стала прикладываться к раке святого угодника, так они плакали и до того их корчило, что двое монахов едва имели силы держать их... Значит, он, окаянный, в них сидел, и трудно ему там было, а оне еще святой себя называют. «Праведница, говорит, я». Это все его наущение; на этакой грех он их наводит, и я так теперь понимаю, что быть при них не то что нам, грешницам великим, а какому разве священнику безмест-

ному, чтобы он мог отчитать их, когда враг ихний заберет их во всю свою поганую силу»

Фелисата Ивановна считала бедную старушку за одержимую бесом, тогда как все дело было в том, что могучая фантазия Мавры Исаевны и в сотой доле своей не удовлетворялась скудною действительностью.

Стр. 348. *Пур-ле-мерит* — за заслуги *(франц.)*.

Стр. 352. *Женерозного* — благородного *(франц.)*.

Стр. 368. *Вигель* Филипп Филиппович (1786—1856) — чиновник, автор известных «Воспоминаний», в которых подробно описывался быт дворянского общества первой четверти XIX века.

Стр. 370. *Малек-Адель* — герой одного из романов французской писательницы Мари Коттен (1770—1807).

Стр. 374. *Супе фруа* — холодный ужин *(франц.)*.

Стр. 381. *Леотар* Жюль — французский акробат, гастролировавший в Петербурге в 1861 году.

Стр. 385. *Давалагири* — одна из высочайших горных вершин на Гималаях.

УЖЕ ОТЦВЕТШИЕ ЦВЕТКИ

Капитан Рухнев

Впервые напечатано в «Газете Гатцука» за 1879 год (№№ 2 и 3) с подстрочным примечанием к первому заглавию: «Это ряд рассказов из жизни и типов 40—50-х годов». О том, что «Капитан Рухнев» открывал серию рассказов из прошлого, Писемский сообщал и переводчику своих произведений на французский язык В. Дерели: «Рассказы такие по мере воспоминаний из моей прошлой и довольно уж длинной жизни я буду продолжать и ради чего озаглавил их: «Уже отцветшие цветки» (Письма, стр. 403).

Однако этот замысел не был выполнен. «Капитан Рухнев» остался единственным рассказом этого цикла.

В настоящем издании воспроизводится текст первой публикации.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ.
Собрание сочинений
в 9 томах. Том 7.

Оформление художника
Г. Фишера.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 9/IV 1959 г.
Тираж 236 000 экз. Изд. № 626. Зак. 313.
Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 6,875.
Печ. л. 22,55+4 вкл. (0,41 п. л.)
Уч.-изд. л. 25,32.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина. Москва,
улица «Правды», 24.